

Г. ЭМАР



Г. ЭМАР



Γ.ΘΜΑΡ

Г. ЭМАР

собрание сочинений
в двадцати пяти томах



МОСКВА
«ТЕРРА» — «TERRA»
1995

Г. ЭМАР

собрание сочинений
в двадцати пяти томах

том двадцать второй

Приключения
Мишеля Гартмана

Часть вторая



МОСКВА
«ТЕРРА» — «TERRA»
1995

Оформление художника
А. ЕВДОКИМОВА

- Э54 **Эмар Г.**
Собрание сочинений: В 25 т. Т. 22: Приключения Мишеля Гартмана: Часть 2: Роман / Пер. с фр. — М.: ТЕРРА, 1995. — 528 с.

ISBN 5-300-00151-1 (т. 22)

ISBN 5-85255-092-2

В настоящий том Собрания сочинений известного французского писателя Гюстава Эмара (1818—1883) вошла вторая часть романа «Приключения Мишеля Гартмана» — «Черная собака».

Э 4703010100-200 Подписное
А30(03)-95

ББК 84.4 Фр.

ISBN 5-300-00151-1 (т.22)

ISBN 5-85255-092-2

© Издательский центр «ТЕРРА», 1995

ЧАСТЬ ВТОРАЯ
ЧЕРНАЯ СОБАКА





ГЛАВА I

Поблеско появляется вновь

По приказанию офицеров солдаты поспешили вытащить из печки несчастного трактирщика и, не зная, куда девать его, спрятали кое-как под стол.

Хотя бедный трактирщик от нестерпимой боли и лишился чувств, однако не так пострадал, как можно бы предположить. Солдаты развели огонь в печи, набив в нее столько дров, сколько вошло, но за огнем никто не смотрел уже несколько часов, он почти угас и вообще не разгорался сильно. К тому же и солдаты, случайно взявшись за это дело, имели одну добрую волю при совершенном отсутствии искусства; они не могли сравниться со своим соотечественником, разбойником Шиндерганесом, который в первых годах XIX века славился своим умением жечь ноги, чтоб выпытывать деньги, и жестоко поживился на счет этих несчастных стран, оставив в них о себе страшное воспоминание. С намерением или нет, солдаты положили свою жертву чрезвычайно далеко от горящих дров, и раны трактирщика, хотя мучительные, в сущности не были опасны. На коже во многих местах вскочили пузыри, однако язвы, очень неглубокие, легко могли зажить. По нужде трактирщик даже был бы в состоянии идти, если б дать ему отдохнуть час-другой; но, разумеется, необходимо было прекратить пытку его как можно скорее.

Фон Штанбоу — читатели, вероятно, помнят, что это настоящее имя того, кто под личиною Поблеско играет такую важную роль в этом рассказе, — фон Штанбоу,

повторяю, был в чем-то среднем между штатским платьем и военным мундиром, в мягкой, пером украшенной поярковой шляпе, нахлобученной на глаза, в плотно застегнутом до верха однобортном сюртуке с короткими фалдами, в сапогах выше колена и со шпорами и в узких штанах; к его черному кожаному кушаку были прицеплены два шестиствольных револьвера, длинная шпага и туго набитый патронташ; поверх всего накинута толстый военный плащ с капюшоном, и в руке он держал дюжий хлыст из бегемотовой кожи; в таком костюме он мог путешествовать, при настоящем критическом положении края, не навлекая на себя внимания и не возбуждая опасного для своих планов любопытства.

Появление его в большом зале трактира, как уже сказано, сильно изумило немецких офицеров и произвело между ними смятение. Они имели причину опасаться, как бы он не заметил их жестокого препровождения времени в ту минуту, когда отворял дверь.

Лицо Штанбоу было, как всегда, холодно и мрачно; его надменные черты оставались непроницаемы; он сухо ответил на усердное приветствие полковника, приложил руку к козырьку в ответ на поклон остальных офицеров и сел, не говоря ни слова, на поданный ему стул.

Настала минута молчания. Вероятно, все ожидали, когда неожиданному посетителю благоугодно будет заговорить.

— Господа, — сказал он наконец свойственным ему равнодушным тоном, — вы были очень оживлены, когда я вошел, по-видимому, вы чем-то забавлялись. Неужели я имел несчастье помешать вам?

— О, барон, вы этого предполагать не можете, — возразил с живостью полковник, — правда, мы были веселы, что естественно после долгого пути по непроходимым тропинкам, в грязи по колено; здесь мы нашли хороший огонь, что поесть и все такое; конечно, мы, в виду настоящих наслаждений, забыли вынесенные муки с беспечностью, которая лежит в основе нашего славного, но тяжелого ремесла.

— Понятно, полковник фон Лансфельд.

— Вы знаете, барон, что в известных случаях следует ослаблять несколько дисциплину, иначе...

— Чересчур напряженная струна лопнет, — перебил Штанбоу с ледяною улыбкой.

— Именно это я и хотел сказать, — подхватил полковник.

— И были бы правы, полковник.

— Не удостоите ли выкупать кружку пива? Хоть и эльзасское, однако пиво недурно.

— Нет, благодарю.

— Или не предпочитаете ли выкурить трубку? Пиво и трубка, как вам известно, барон, полжизни для нашего брата, немца; одно без другого быть не может.

— Я не стану ни пить, ни курить, — ответил барон отчасти сухо, — у меня много другого дела, да и у вас также, господа...

Все лица нахмурились и приняли выражение озабоченное.

— Во-первых, позвольте вам высказать, полковник, что я очень недоволен тем, что тут делается. Генерал фон Вердер дал нам поручение, которое исполнить чрезвычайно трудно, и то при величайшей осторожности и быстроте, не так ли, полковник?

— Точно так, барон, но я позволю себе заметить...

— Вы ни в чем не исполнили вашей обязанности, полковник, — перебил Штанбоу повелительно и так грубо, что полковник побледнел.

— Я прибыл сюда точно на какую-нибудь площадь Берлина или Дюссельдорфа; никто из ваших часовых, если предположить, что вы поставили хоть одного, не обратил внимания на мое присутствие и не окликнул меня, чтоб осведомиться, кто я такой; вы не оберегаете своей позиции, полковник, это большая, это капитальная ошибка среди гор, где полно французских вольных стрелков, этих демонов, которые то и дело застигают нас врасплох, и все по нашей собственной вине, потому что дисциплина падает в наших войсках самым плачевным образом.

— Барон...

— Молчать, господин полковник! Пред вами французы, да еще какие, вольные стрелки, то есть крестьяне, ремесленники, студенты, все избранная молодежь, люди, соединившиеся — и богатые, и бедные, без различия каст или мнений — под влиянием одной ненависти к нам, доведенной до остервенения, для святого дела — уничтожить нас; те вольные стрелки, самые грозные противники ваши, которые, пренебрегая холодом и голодом и смеясь над все-

ми лишениями, вечно бодрствуют и, притаившись в засаде, стреляют в вас из-за каждого дерева, из-за каждого выступа утеса, побежденные или побеждающие — все равно веселы и не унывают духом; которых вы только вообразите разгромленными, уничтоженными, как они вдруг явятся пред вами страшнее прежнего; эти змеи, всюду проскальзывающие, для которых всякий путь хорош и преград не существует, которые нападают на вас с песнями и насмешкою и убить которых надо два раза, чтоб быть уверенными в их смерти!.. Вы слепы, если не видите всего этого. Французская армия уничтожена или в плену в Германии, наши единственные противники в этих провинциях — дети, едва в силах прицелиться из ружья, слишком тяжелого для их слабых плеч, и все же они останавливают наше войско, оспаривают у нас шаг за шагом землю и часто вынуждают отступать. Подобный неприятель, вся тактика которого состоит в прихоти, который действует отдельно, повинувшись одним внушениям ненависти к нам, разбивает самые ученые соображения, самые тщательно составленные планы; у нас одно средство побороть его — это удвоить бдительность и терпеливо ждать случая раздавить его по частям, противопоставляя дисциплинированные массы, о которые разобьются его силы и притупится его оружие, несмотря на всю его храбрость и чертовскую прыть.

— Будьте уверены, барон, что с часовых...

— Да разве о часовых речь? — запальчиво вскричал Штанбоу. — Виновны одни вы, все, слушающие меня. Вместо того чтобы исполнять возложенный на вас долг, вы забавляетесь пыткой несчастного, который ничего вам не сделал. Уж не думаете ли вы, что я не видел этого?

Все опустили голову в смущении под тяжестью сильного и заслуженного укора.

Надменный полковник и офицеры его, не менее надменные, дрожали, как школьники, захваченные наставником на месте преступления, пред этим суровым и ледяным человеком, который подавлял их своим презрением, небрежно хлопая по столу хлыстом.

Штанбоу пользовался большим доверием графа Бисмарка за многочисленные и важные услуги, оказанные от начала войны немецким войскам; не было офицера, который не знал бы этого, к тому же и генерал Вердер поручил именно ему руководить настоящею экспедицией, действительно чрезвычайно важною по своему значению.

С минуту барон наслаждался смущением своих слушателей, потом, удостоверившись, что достиг желаемого результата, он продолжал:

— Давно вы пришли в Прейе, полковник?

— С час назад, барон, — ответил тот, кланяясь натынуто.

Он едва сдерживал внутреннее раздражение, но воли давать ему не смел, хотя весь дрожал, покоряясь железной дисциплине, за упущение в которой сейчас получил такой суровый выговор.

— Довольно ли отдохнуло ваше войско?

— Оно может выступить по первому приказанию.

— Вы сейчас станете во главе его и займете все дороги, чтобы никто не мог пройти сюда, не ответив удовлетворительно на вопросы, поняли?

— Понял, барон.

— Явятся только два лица.

— С какой стороны?

— Не знаю, да это и все равно.

— А если б явилось третье лицо?

— Мало вероятия на это, двое только положительно обязались явиться, но все надо предвидеть. Итак, в случае, что явится кто-либо третий, он должен отвечать теми же условными словами.

— Слушаюсь.

— Вы спросите: «Зачем пришли?» Вам ответят: «Wir wollen dem Gernn dienen und unserm König Wilhelm». Тогда вы возразите: «Euer Vaterland?»* И незнакомец скажет: «Wir sind die Verklärten»**.

— Очень хорошо, а тогда что, барон?

— Вы позволите им пройти сюда ко мне. Что касается вас, то вы будете ждать моих приказаний. Поняли?

— Понял, господин барон, — ответил полковник с новым поклоном.

Штанбоу отпустил его движением руки; полковник и вслед за ним офицеры вышли молча.

Барон остался один в зале трактира, по крайней мере он полагал, что один.

* Мы хотим служить Богу и нашему королю Вильгельму (нем.).

** Ваше отечество? (нем.)

*** Мы иллюминаты (нем.).

Совсем забытый во время предыдущей сцены, трактирщик лежал все там же, куда пихнули его солдаты; он не раскрывал глаз и едва переводил дыхание; казалось, он без чувств, но странно, даже непостижимо было то, что веревки, которыми его скрутили, таинственно исчезли и руки лежали так, что от лица его оставался на виду один край лба, бледного, как у трупа. Барон бросил только рассеянный взгляд на бедняка и, не обращая более на него внимания, вынул из бокового кармана своего казакина бумажник в виде салфетки, положил его перед собою на стол, открыл и достал из него несколько бумаг, в чтение которых углубился до того, что вскоре весь был поглощен ими.

Тогда трактирщик сделал едва заметное движение, слегка отвел руки и оставил на виду лицо, которого судорожно передернутые черты приняли выражение ненависти и неумолимого зверства; широко раскрытые глаза словно метали пламя из-под густых сдвинутых бровей, и улыбка, или, вернее, оскаленный рот, как у осужденного на огонь вечный, обнажала зубы, белые и острые, точно у дикого зверя.

Искусно рассчитанным, медленным движением он стал ползти по земле мало-помалу, дюйм за дюймом приближаясь к барону, в которого впился взором.

Снаружи царствовало глубокое молчание; порой только нарушал его отрывистый лай бродячих собак, повторенный эхом и приносимый ветром, который, неистово врываясь в неплотные рамы окон и дверей трактира, заставлял их жалобно скрипеть.

Как медленно ни полз трактирщик, он приближался к барону все более и более; еще одно усилие, и он коснулся бы его рукой, когда вдруг в глазах его выразилось беспокойство, он вытянул шею, как бы прислушиваясь к шуму, который доносился до него одного, и припал к земле, где остался недвижим и, по-видимому, безжизнен.

В дверь постучали три раза с равномерными промежутками.

Барон тотчас ответил на этот сигнал таким же стуком по столу ручкой револьвера, который вынул из-за пояса и положил потом под рукой.

Дверь растворилась, и в небольшое отверстие проскользнул человек, тщательно затворил за собою дверь,

пытливым взглядом окинул комнату и подошел к барону с лукавыми ухватками кота, который отваживается в первый раз в неизвестные ему пределы.

Человек этот был роста высокого, в громадном плаще, который покрывал его с ног до головы, даже нижнюю часть лица, и в нахлобученной на глаза серой пуховой шляпе с большими полями; сзади из-под шинели висели стальные ножны длинной и широкой шпаги и виднелись сапоги со шпорами все в грязи.

Когда он подошел к барону фон Штанбоу, который не говорил ни слова, но пристально смотрел на него и небрежно играл ручкой револьвера, незнакомец распахнул плащ и снял шляпу, которую бросил на стол. Этим двойным движением он показал лицо молодое, очень красивое, почти без бороды, отчасти женственное и с выражением чрезвычайно кротким, если б его большие, точно фаянсовые, голубые глаза не сверкали холодным и мрачным пламенем, которого блеск не смягчался даже длинными и шелковистыми ресницами. На незнакомце был богатый полувоенный костюм, надетый, вероятно, с целью скрыть его звание и настоящее положение в немецком обществе.

— Любезный барон, — сказал он без всякого предварительного вступления, голосом нежным и чрезвычайно благозвучным, — вы позволите мне, надеюсь, расположиться удобно. Мы здесь ограждены, кажется, от нескромных взоров.

— Мы тут как дома, любезный граф, — с улыбкой ответил барон, — не стесняйтесь.

— Благодарю; представьте себе, что я загнал двух лошадей, мчась во весь опор. Видно, я должен передать вам нечто важное! К черту эту войну, право! Я так был счастлив, мне так приятно жилось в Париже, в моем небольшом доме на Гельдерской улице.

— Извините, любезный граф, — перебил барон с легким оттенком нетерпения, — я не ожидал счастья видеть вас у себя. Если ваш благородный кузен, его сиятельство граф Мольтке, удостоил меня чести прислать вас гонцом, то, полагаю, как вы и сами это выразили, он имел повод чрезвычайно важный.

— И я это полагаю, потому что мой любезный кузен поставил мне в обязанность спешить изо всей мочи и не давать себе покоя, пока я не отыщу вас.

— Вот видите. Итак, я буду очень обязан, если вы вручите мне без замедления депеши, которые, вероятно, на вас.

— О! Одну минуту, черт возьми, любезный барон, дайте дух перевести! Шутка, что ли, вы думаете, для человека, как я, привыкшего ко всем удобствам, не слезая с лошади, проскакать во весь дух целых двадцать миль, да еще по гнуснейшим дорогам, на самом деле существующим только на карте? Я разбит.

Говоря таким образом, молодой человек взял со стола кружку с пивом, налил из нее в громадный стакан и залпом осушил его с очевидным удовольствием.

Барон нахмурил брови, но удержался от изъявления неудовольствия и терпеливо стал ждать, когда угодно будет этому странному кабинетному гонцу исполнить свое поручение. Штанбоу слышал о графе Горацио фон Экенфельсе; он знал, что граф Мольтке питал к нему почти отцовскую привязанность и счел за лучшее с ним не ссориться.

— Ах! — вскричал молодой человек, ставя пустой стакан на стол. — Между нами будь сказано, любезный барон, мне нужно было освежиться. Ну его к черту, моего благородного кузена! — прибавил он смеясь. — Ему-то все равно, он воюет из своего кабинета, в тепле, в комфорте, а в особенности огражденный от пуль, к которым питает отвращение до того глубокое, что слышать не может их свиста, чтобы не содрогнуться и не позеленеть, словно вырытый из могилы.

— Граф, граф! — с живостью перебил барон.

— Что такое, что с вами, любезный барон? Я говорю, что мой благородный кузен трус; да ведь вы знаете это не хуже меня, это всем известно; он великий стратег, я признаю это, но повторяю, если б ему приходилось самому действовать и лично исполнять свои чудесные планы, войне скоро настал бы конец.

— Ваши слова очень резки, любезный граф.

— Полноте, вы шутите, ведь я сто раз повторял их самому кузену.

Он громко захохотал; барон решил последовать его примеру.

Граф выпил второй стакан, закурил великолепную сигару и только тогда наконец собрался с духом и достал депеши.

— Вот, любезный барон, — сказал он, подавая их Штанбоу, — будьте счастливы, извольте вам знаменитые депеши. Чтобы черт их побрал вместе с тем, кто поручил мне их!

Барон поспешно взял депеши.

— Вы позволяете, любезный граф? — сказал он.

— Пожалуйста, не занимайтесь мною; я сижу, пью, курю, мне тепло, чего мне еще желать? Тем не менее, — прибавил он сквозь зубы, — как только кончится война, и давай Бог, чтоб она кончилась скорее, я вернусь в Париж. Что ни говори, а там только и слышишь, что бьется в груди сердце, там только дворянин и может вести образ жизни, для него приличный. Если разоряешься, знаешь, по крайней мере, из-за чего и в особенности как. О, Париж!

Он осушил свой стакан до дна, грустно покачал головой, принялся усиленно курить и вскоре окружил себя облаком дыма, в котором почти исчез.

Барон распечатал депешу; сперва он пробежал ее глазами, потом прочел медленно, спокойно, как будто хотел взвесить каждое слово, вникнуть в смысл каждой фразы; когда же он наконец кончил, то опустил голову на грудь и несколько минут оставался погружен в размышления, неприятные, судя по нервной натянутости в его чертах.

Наконец он поднял голову, вынул из бумажника все письменные принадлежности, осмотрелся вокруг рассеянно, потер лоб раза два-три и стал писать лихорадочно быстро. Более двадцати минут перо его бегало по бумаге без остановки; он весь был поглощен своей работой и, кончив, подписался не перечитывая, будучи вполне уверен, что ничего не забыл и даже ни одного слова не переменит. Он сложил бумагу, запечатал ее и потом обратился к графу Экенфельсу. Тот позы своей не менял; с пасмурной неподвижностью, отличающей немцев, он продолжал пить и курить, глядя с блаженством на голубоватые облака душистого дыма, в которых исчезала его сигара.

— Граф... — начал он.

— Что вам угодно, барон? — вскричал тот, словно пробудившись внезапно.

— Лошадь ваша не загнана?

— Гм, не очень.

— Надеюсь, однако, что она в состоянии сделать пять или шесть миль?

— Думаю, что может, но к чему все эти расспросы, позвольте узнать?

— Просто к тому, граф, что вы сейчас должны сесть на лошадь и скакать в главную квартиру, нигде не останавливаясь на пути.

— Я?! Ну ее к черту! Шутите вы, что ли, любезный барон?

— Вовсе не шучу, граф, — сухо возразил Штанбоу и прибавил, вставая: — Это служба.

Граф вскочил, как бы движимый пружиной, хотя ругался сквозь зубы.

— Дешешу давайте, — сказал он.

— Вот она.

Граф взял депешу и положил ее в бумажник, потом надел шляпу, плащ накинул на плечи и кивнул барону головой.

— Какие инструкции? — спросил он.

— Дешеша эта должна быть отдана в собственные руки графа Мольтке, только ему; если остановят вас на дороге французские вольные стрелки, уничтожьте ее, поняли?

— Понял.

— Могу я положиться на то, что вы поторопитесь?

— Можете.

— Прощайте, граф, доброго пути.

— Прощайте, барон, желаю успеха.

Граф поклонился, на каблуках повернулся направо кругом и вышел со всею прусской натянутостью; через минуту раздался топот скачущей во весь опор лошади.

Оставшись один, барон облокотился о стол и опустил голову на руки.

Прошло несколько минут, когда снаружи опять слышался сигнал и человек в крестьянской одежде вошел в залу.

— А, это ты, Бидерман? — сказал барон, торопя его рукой. — Поздно же ты приходишь.

— Не моя вина, барон, — ответил заискивающим голосом новый посетитель, теребя в руках свою шляпу, — я спешил что было мочи.

— Принес ли ты по крайней мере какие-нибудь вести?

— Сейчас сами изволите судить, господин барон, — ответил тот с лукавою улыбкой.

— Правда, однако расположись-ка поудобнее, сядь тут, возле меня; вот стакан и пиво, табак и трубки, пей, кури, не стесняйся.

Крестьянин или мнимый крестьянин буквально повиновался приглашению.

— Ну теперь, — продолжал барон, — выгружай свою кипу новостей. Что ты узнал?

— Порядочно всего; спрашивайте.

— Сперва про Страсбург.

— Он в положении отчаянном и терпит недостаток во всем, но жители не унывают и защищаются как львы.

— Знаю, взять его дело не многих дней, быть может часов, вот и все.

— Мне удалось ночью пробраться в город, выдав себя за альтенгеймского вольного стрелка, из предосторожности я запасаю пакетом с депешами, взятыми у французского офицера, который был захвачен несколько дней назад, когда пытался пройти сквозь наши линии. Приняли меня эти бедняки страсбургцы с распростертыми объятиями. Вот-то ненавидят нас! Не хвастаясь можно сказать, что они сильно точат на нас зубы. Разумеется, меня принимали за француза и наперерыв друг перед другом осыпали ласками, они не знали, чем угостить меня, и буквально отнимали у себя хлеб, чтобы мне отдавать, а Богу одному известно, какая редкость в Страсбурге хлеб. Города просто не узнаешь, везде развалины, жители кое-как расположились на площадях, в водосточных трубах, в подвалах, словом, — везде, где только можно укрыться от бомб, и богатые и бедные умирают с голоду, едят собак, кошек, крыс, — словом, все. Страшно глядеть на этих людей, это одна кожа да кости, словно движущиеся мертвецы, и на ногах-то они держатся одним чудом, однако не унывают; женщины, дети и старцы, все борются весело и бодро.

— Дальше, дальше! — прервал барон хриплым голосом. — Говори о тех, кого я знаю.

— Очень хорошо, к этому я и веду; вам ведь известно, что госпожа Гартман с дочерью и капитаном Мишелем успели как-то скрыться из города до его окружения.

— Знаю, я видел их.

— Господин Гартман, отец, поместился в ратуше; при помощи и содействии друга своего доктора Кузиана ему удалось наэлектризовать население. Эти два челове-

ка — душа обороны, ничто не может побороть их или заставить упасть духом, их самоотвержение не знает предела, они на ногах день и ночь, возбуждая одних, укоряя других, утешая наиболее страждущих, с радостью принося все жертвы для облегчения самой гнетущей нищеты, и при этом они всегда там, где опасность всего страшнее.

— Да, — пробормотал про себя барон, — это люди другой эпохи, души избранные. Дальше, дальше...

— Им удалось выговорить право для нескольких женщин и детей выйти из города беспрепятственно и уехать в Швейцарию.

— Что такое? Что вы говорите? — вскричал барон. — Женщинам и детям было разрешено выйти из Страсбурга и уехать в Швейцарию?

— Точно так, барон, но трудно было этого добиться. Когда наконец пришло разрешение, госпожа Гартман, мать, наотрез объявила, что не уедет, утверждая, что, когда сын ее показывает пример храбрости и самоотвержения мужчинам, ей должно показывать такой же пример женщинам, и она отважно осталась в доме, полуразрушенном бомбами. Госпожа Вальтер и дочь ее Шарлотта, не столь стойкие, поспешили воспользоваться разрешением.

— А графиня де Вальреаль?..

— И она уехала с ними. В последнее время у них завязалась тесная дружба, графиня почти не выходила из гартманского дома, вот они и уехали все вместе. В минуту отъезда даже произошло нечто весьма забавное; вы, верно, помните, барон, и видали в Страсбурге очень богатого банкира?

— Жейера! — вскричал с живостью Штанбоу.

— Именно. Ведь вы знали его?

— Очень даже. Не случилось ли с ним чего?

— Сейчас сами увидите, не из наших ли он.

— Действительно. Что же с ним?

— Главнокомандующий поручил мне передать ему депешу, должно быть, очень важную, но так как необходимо соблюдать осторожность и я главным образом боялся подвергнуть риску свою популярность, то не отправился прямо к нему, а сперва, не подавая вида, искусно собрал сведения. И хорошо же я сделал, что поступил таким образом. Несмотря на разыгрываемую

им роль патриота и рьяного республиканца, Жейер, надо полагать, кем-нибудь был выдан за приверженца Германии, за ним стали тайно наблюдать, некоторые поступки его показались подозрительны — словом, в один прекрасный день полиция нагрянула к нему неожиданно, произвела обыск и арестовала его.

— Арестовали Жейера? — ужаснулся барон.

— Да, арестовали, и даже речь шла о том, чтоб судить его военным судом, но он ведь очень богат, как вам известно.

— Правда, очень богат, — машинально повторил собеседник.

— Не знаю, как он устроился, только успел бежать из темницы и так искусно скрыться, что не могли словить его никаким образом. В ту самую минуту, когда женщины собирались выйти из города, графиня де Вальреаль, прощаясь с поручиком зуавов из своих приятелей по имени Ивон Кердрель... Это сущий демон во плоти, доложу вам, который наделал нам больше вреда, чем все остальные вместе...

— Да к делу же, болтун! Что ты начал мне говорить про графиню де Вальреаль?

— Сейчас, к этому и веду. Графиня вдруг прервала прощание, указала на женщину, стоявшую возле нее с опущенною вуалью, и вскричала:

«Господин Кердрель, возьмите под стражу этого негодяя, который хочет уйти от заслуженного им наказания!»

«О ком вы говорите, графиня?» — спросил поручик.

«Об этой женщине, или, вернее, об этом подлеце, переодетом женщиною», — ответила графиня вне себя.

«Мужчине, переодетом женщиною! — вскричали несколько человек, услышав слова графини. — Где он? Арестовать его, арестовать!»

«Вот он, — сказала графиня де Вальреаль, вторично указав на женщину, которая тщетно силилась юркнуть между группами и затеряться в толпе. — Это банкир Жейер, прусский шпион!»

Здесь поднялся шум и гам, которые я не берусь описывать, толпа с криками и угрозами ринулась на злополучного банкира — это действительно был он, — сорвала с него одежду и буквально растерзала бы его на части,

если б Кердрель и другие офицеры с помощью солдат не отстояли его. Наконец им удалось вывести его из толпы, помятого, избитого, полумертвого, и отнести, окружая его со всех сторон, в больницу, где он, кажется, и теперь. Вы понимаете, барон, что я не искал с ним свидания после всего этого и просто уничтожил депешу, которая могла выдать меня.

— Ты очень хорошо сделал; но как же тебе удалось выйти из города?

— Как я вышел? В этом и состояла вся загвоздка.

— Как, что? Загвоздка? Что ты хочешь сказать? Объяснись!

— Сейчас сами увидите, барон, и вовсе это не забавно, могу вас уверить.

— Еще, должно быть, какое-нибудь похождение!

— Страшное. Я не трус, как сами изволите знать, барон, но, доложу вам, при одном воспоминании у меня волосы становятся дыбом.

— Видно, очень уж тебя напугали?

— Еще как, даю вам слово. В сущности, ремесло мое опасно, однако я служу преданно своему отечеству и зашибаю копейчку на старость. Надо же жить чем-нибудь.

— К чему ты все это ведешь, несносный болтун?

— Сейчас увидите, господин барон. Всмотрев и разузнав в Страсбурге все, что мне нужно было видеть и знать, разумеется, я так и рвался скорее из города и думал уже дать стрелка в госпитальные ворота, где меня встретили бы друзья. По условию, я должен был выйти из города между часом и двумя ночи, в это время будут настороже и отзовутся на первый мой сигнал. Хорошо. Было около десяти часов, я решился уйти в ту же ночь и заснул в ожидании назначенного времени, когда меня вдруг кто-то разбудил, дергая за руку, так что чуть не вывихнул ее. Я открыл глаза и сел, на полу стоял фонарь, а возле меня человек, который левой рукой дергал меня за руку, а в правой держал пистолет, приставив дуло к моей груди. Я хотел вскрикнуть.

«Молчи!» — приказал мне неизвестный.

Тогда я узнал его: это был поручик Кердрель, каким-то образом пробравшийся в мою комнату.

«Что вам надо от меня?» — спросил я.

«Узнаешь, — грубо ответил он, — ни слова, ни движения, или я положу тебя на месте. Ты знаешь меня, итак, слушай».

Я действительно знал его и потому сидел смирно.

«Ты обманул нас, — продолжал он, — ты изменник и прусский шпион, ты проник в крепость, чтоб доставить неприятелю сведения о нас, мне стоит сказать слово, и ты будешь вздернут на виселицу менее чем в десять минут; но у тебя должны быть средства выйти из города целым и невредимым. Мне также надо выбраться из Страсбурга. Хочешь услужить мне? Подумай, прежде чем отвечать, даю тебе пять минут на размышление».

Действительно, он ждал пять минут, стоя возле меня молча и неподвижно, но чертовского пистолета все не отнимал от моей груди. Я был ни жив ни мертв, мороз меня подирал по коже, на каждом волоске дрожала капля холодного пота.

«Надумал?» — спросил он наконец.

«Я в вашей власти, — ответил я, — приказывайте, что делать».

«Помочь мне выйти из города, как я уже сказал, сообщить мне слова, которыми ты даешь знать о себе, и провести меня сквозь посты осаждающих войск. Когда же я пройду конный форпост и буду в безопасности, то дам тебе пятьсот франков. Всякий труд должен быть оплачен и добросовестность, в ком бы ни была, вознаграждена. Но предупреждаю, при первом слове, при первом подозрительном движении, хоть как быстро бы к тебе ни подспели на помощь, я застрелю тебя как собаку, понял?»

«Понял», — ответил я.

«В котором часу мы выйдем?»

«В час».

«Хорошо, для большей верности мы не расстанемся».

Так он и сделал.

— Что ж, исполнил ты обещанное?

— Поневоле. У этого черта были такие веские доводы. Я предпочел остаться в живых и мстить.

— Отчего же ты не выдал его на конном форпосте, когда вы разошлись?

— Отчего? В этом-то и штука! Конечно, я имел это намерение, но он заподозрил меня, сущий дьявол во плоти, говорю вам. Только что я собирался удрать от него,

миновав все посты, когда он накинудся на меня, повалил наземь, и я не успел опомниться, как очутился связан, с кляпом во рту и в канаве, где пролежал до восьми часов. Утром уланский патруль случайно заметил меня и освободил. Наиболее огорчает меня, что разбойники уланы украли мои честно заработанные пятьсот франков, которые дал мне французский офицер согласно своему обещанию. Немцам обворовывать своих же соотечественников, не гнусно ли это, барон! Другое дело французов грабить!

— Поделом тебе, олуху, ты поступал как дурак.

— Я?

— Разумеется, как суший дурак. От страха ты потерял голову, иначе вспомнил бы, что французы, особенно офицеры, никогда не убивают хладнокровно человека беззащитного, их удерживает какое-то смешное чувство чести, они считали бы себя опозоренными, если б в увлечении исполнили подобную угрозу, которой единственная цель напугать.

— Ах, если б я знал это! — вскричал с отчаянием шпион, ударив себя по лбу. — Что прикажете, ведь я французских офицеров не знаю, я думал, они такие же, как наши, вот я до смерти и перепугался, прусские офицеры не задумываясь убивают мужчину ли, женщину ли, если считают выгодным для себя.

— Теперь о вольных стрелках.

— Это другая песня.

— Разве есть новости?

— Много.

— Посмотрим, какие.

В эту минуту в дверь постучали три раза.

— Слышите? — спросил шпион.

— Да, слышу, — ответил барон, постучав по столу так же, — это друг; я ждал его.

Дверь тихо отворилась, и вошел мужчина.

Бурное объяснение

Новый посетитель был человек лет тридцати пяти, высокий, стройный, красиво сложенный, тонкий, но не худой. Его правильные черты носили отпечаток изящества, черные глаза исполнены были огня, открытое, прямое и умное лицо выражало отвагу и силу воли; костюм его, очень простой, был похож на одежду вогезских горцев, с тою лишь разницей, что на нем были высокие мягкие сапоги и широкий голубой пояс, обвитый вокруг талии несколько раз, а сверху была застегнута портупея из лакированной кожи, к которой прикреплялись длинная прямая шпага с железными ножами и стальной рукояткой и два великолепных шестиствольных револьвера в чехлах из невыделанной кожи.

Плотно затворив за собою дверь, человек этот подошел к столу, у которого сидели барон и шпион Бидерман, слегка кивнув им головой, и сбросил с себя на стул свой большой плащ.

Штанбоу устремил на него пристальный взор и следил за всеми его движениями с изумлением, которого не давал себе даже труда скрывать; но когда новый посетитель, сбросив плащ, показал лицо, которого барон до того времени не мог разглядеть порядком, у него вырвался крик изумления и он протянул руку к револьверам, лежавшим возле него на столе, однако не взял их.

— Теперь потолкуем немного, — сказал незнакомец, садясь на стул против барона.

— Сперва позвольте узнать, милостивый государь, — сказал барон, — кто вы и как сюда попали?

— Видно, начинается с допроса, — ответил незнакомец, закуривая сигару, — пожалуй, я согласен. Когда вы кончите, начну я.

— Прикажете повторить вопрос, милостивый государь? — продолжал барон надменно.

— Как угодно, — слегка кивнув головой, ответил собеседник, выпуская дым.

— Так я повторю. Кто вы и как попали сюда?

— Вы назначили нескольким лицам свидание в этой лачуге; каждое из созванных вами лиц снабжено было паролем и условным знаком, не так ли?

— Действительно, милостивый государь.

— Стало быть, как сами видите, вопрос ваш бесполезен, да и присутствие мое здесь уже доказывает это. Как вошел бы я сюда, если б не знал пароля и условного знака, и как мог бы я узнать этот условный знак и этот пароль, если б не был призван? Итак, я полагаю, что вам лучше бросить этот вопрос и перейти к другому.

— Я не хочу ни обвинять вас, ни вести с вами прения, — возразил барон с глухим раздражением, — не угодно ли к делу?

— Во-первых, что называете вы делом? — сказал незнакомец с полной непринужденностью, как будто обсуждал в гостинной вопрос политической экономии или гражданского права.

— Ваше присутствие в этом трактире, которое в моих глазах не оправдывается ничем.

— Так вы моего объяснения не допускаете?

— Из вашего объяснения не следует, чтобы вы какими-нибудь неизвестными мне средствами, пожалуй подкупом, не узнали пароль и условный знак, которые облегчили вам доступ...

— Горите, горите, барон, — перебил с насмешливой улыбкой незнакомец.

— Как горю?

— Я хочу сказать, что вы близки к истине.

— Стало быть, вы сознаетесь, что подкупили...

— Позвольте, я не сознаюсь ни в чем, но мне кажется, что вы напали на настоящий след или около того, и заявляю это, вот и все, потрудитесь продолжать, — прибавил незнакомец, небрежно закинув левую ногу на правую.

— Берегитесь, милостивый государь, мне стоит сказать слово, махнуть рукой и...

— Вы не сделаете ни того, ни другого, — тихо перебил он.

— Вы думаете?

— Уверен.

— Чем же вы удержите меня? — вскричал барон, стиснув зубы.

— Безделицей. Прежде чем вы успеете вскрикнуть или взяться за пистолеты, ручки которых ласкаете так любовно, я всажу вам пулю в лоб.

Произнося эти слова с спокойствием тем страшнее, что подобно молнии сверкающий взор его изобличал решимость исполнить угрозу не колеблясь, он вынул из-за пояса револьвер и направил его дуло на барона Штанбоу.

Как храбр тот ни был, однако содрогнулся от ужаса; холод пробежал по его спине, протянутая рука упала бессильно, и он не пытался даже взяться за оружие.

— Да чего же вы от меня хотите наконец? — вскричал он с отчаянием, которое при менее страшной обстановке было бы комично. — Я вас совсем не знаю!

— В этом я имею преимущество над вами. Вы не знаете меня, это правда, но я знаю вас, и даже очень коротко.

— Вы?

— Имею эту честь, барон фон Штанбоу.

— Хорошо, допустим это, все же я не пойму, какая достаточно важная причина могла побудить вас пробраться в самый центр немецкого войска с опасностью быть захваченным как шпион, и для того только, чтоб вынудить меня дать вам аудиенцию?

— Ваши выводы построены на ошибочном основании, барон, речь идет не об аудиенции, но о важном объяснении.

— Объяснении между нами?

— Вы сейчас поймете меня. По причинам не частным, но общим я очень желаю этого объяснения, хотя вы не знаете меня и никогда не имели со мною прямых сношений.

— Так что же это?

— Постойте. Боже мой, как вы нетерпеливы. Вы пруссак, милостивый государь, истый пруссак, это вы признаете, надеюсь?

— Разумеется, и горжусь этим.

— Нечем.

— Милостивый государь...

— Не будем ссориться. Мнение ваше пусть остается при вас, меня же касается близко следующее: вам угодно было, принявшись за довольно гаденькое ремесло, отречься от вашей национальности и, по прибытии во Францию, выдавать себя за поляка, под эту заимствованную национальностью вы приобрели доверие самых благородных семейств в Страсбурге, вы изменили французам, которые великодушно протянули вам руку помощи, и так как вы, к несчастью, одарены умом действительно замечательным, то и производили шпионство с большою пользою для целей вашего хищного правителя...

— Да что же это наконец! Смеемся вы, что ли, надо мною? — вскричал барон в порыве гнева.

— Долго же вы не могли раскусить этого, милостивый государь, — ответил незнакомец с насмешливым поклоном.

— Положим этому конец, милостивый государь, что вам угодно?

— Сейчас доложу. Вы поляк ложный, я родом поляк, настоящий поляк, как говорится в пресмешной песне, которую лет с двадцать поют во всех мастерских живописцев в Париже. Мне сильно не понравилось, что вы обманом присвоили себе такую благородную национальность, как польская, чтобы прикрывать ремесло гнусное. Поляки многим обязаны Франции, они ей благодарны за братское гостеприимство и всегда готовы будут, как и теперь готовы, проливать кровь за эту великодушную нацию. Не допущу я, чтоб могли сказать, будто в такую войну, как эта, нашелся между нами подлый изменник. Я дал клятву и сдержу ее, будьте покойны, смыть вашей кровью то пятно, которое вы осмелились наложить на нас.

— А! — вскричал барон с скрытой яростью.

— Я знаю, что вы не трус, быть может, храбрость — единственное ваше качество; и нас называют северными французами за нашу отвагу и, пожалуй, за ум. С одной стороны, пришли я вам вызов письменный, вы остерегались бы явиться по моему требованию, не из страха, а просто потому, что вы человек положительный и в особенности честолобивый; с другой стороны, я смотрю на вас как на существо злоторное и в высшей степени вредоносное; вообще же мне казалось забавным отыскать

вас среди ваших друзей и достойных сообщников и расстроить ваши великолепные планы, предложив так, что отказаться вам нельзя, скрестить со мною шпагу. Я знаю, что делаю вам более чести, чем вы заслуживаете; но хочешь достигнуть цели, не брезгай средствами; я согласен подвергнуться случайностям этого поединка.

— А если б я, милостивый государь, не согласился на предложение? — надменно возразил барон.

— И на такой случай принята мера.

— А! Какая же?

— Я убью вас как бешеную собаку; итак, послушайтесь меня, бросьте ваши револьверы, которые не послужат вам ни к чему, и обнажите шпагу. Ваш достойный товарищ, который во все время свято хранил молчание, будет нашим секундантом за неимением лучшего.

Настало непродолжительное молчание. Штанбоу задумался; быть может, он искал средство, все равно, благородное или нет, избежать боя; но незнакомец зорко следил за его малейшими движениями.

— Милостивый государь, — сказал наконец барон, — для меня очевидно, что тот повод, который вы поставляете на вид, один предлог, чтоб скрыть причины более важные.

— Быть может, вы и правы, — согласился незнакомец ледяным тоном, — но так как этой причины достаточно, никакой нет надобности излагать вам другие.

— Положим, а теперь держитесь, милостивый государь, предупреждаю вас, я шпагою владеть умею.

— Знаю, но и я не промах.

Барон обнажил свою длинную шпагу и стал в позицию с точностью и знанием дела, свидетельствовавшими о долгом изучении фехтовального искусства.

У незнакомца шпага уже была в руках. Между этими двумя людьми завязался безмолвный и ожесточенный бой.

Барон угрожал то лицу, то груди противника с удивительной быстротой; но шпага незнакомца в его сильной руке следовала за шпагою барона, как железо за магнитом, обвиваясь, так сказать, вокруг нее и неразлучная с нею.

Прошло около пяти минут; незнакомец не нанес еще ни одного удара, но отпарировал все.

Он был спокоен, холоден, насмешлив, как будто упражнялся в фехтовальной зале; барон, напротив, весь

красный и с яростью в душе, такого упорного сопротивления не ожидал.

При одном переносе, более быстром, чем другие, незнакомец спарировал несколько поздно и почувствовал, что острие шпаги коснулось его груди.

— Тронул! — хриплым голосом вскричал барон с зверскою усмешкой.

— Ба! Безделица, — возразил со смехом противник, — око за око, — прибавил он, кольнув его в правую руку.

— Ох! — взревел барон с яростью.

— Теперь начистоту, — сказал незнакомец, все такой же невозмутимый.

Бой возобновился ожесточеннее прежнего; противники приступали к борьбе решительной.

Однако шпион Бидерман, единственный свидетель поединка — никто не обращал внимания на трактирщика, который лежал под столом, по-видимому полумертвый, — шпион Бидерман, говорим мы, вовсе не был равнодушным зрителем волнующих видоизменений разыгрываемой перед ним драмы; напротив, он испытывал сильное беспокойство и не знал, на что решиться. Разумеется, все сочувствие его было на стороне барона и в душе он молил Бога, чтобы Штанбоу вышел победителем из опасного боя. Он задрожал от радости, когда незнакомец был ранен, но радость эта не замедлила превратиться в печаль, когда, в свою очередь, был ранен барон; само собою, достойный шпион с этой минуты об одном только и думал, как бы подать помощь тому, кого считал своим начальником.

Но как это сделать? В том-то и состояло затруднение. Бидерман ломал себе голову. Вдруг улыбка удовольствия выразилась на его тонких губах и взор его исподлобья сверкнул ненавистью. Одетый мужиком, шпион не имел оружия, по крайней мере на виду, но из предосторожности он сунул на всякий случай в карман своих широких брюк один из тех страшных каталонских ножей с складным лезвием шириною в три дюйма и длиною в десять, на котором зарубка не дает ему закрываться вновь, когда оно открыто, и образует оружие в двадцать три дюйма длины. Дело было просто. Стоило только тихо открыть нож, внезапно броситься на незнакомца и вонзить ему лезвие в грудь или куда бы ни было. Таким образом барон избавился бы от

своего врага, а он, Бидерман, великодушно был бы награжден победителем за свое вмешательство; как видно, это представляло выгоды для всех сторон.

По счастью, шпион совсем забыл про злополучного Герцога. Честный трактирщик пострадал не так сильно, как находил удобным показывать, у него также на уме была месть; после входа в залу барона фон Штанбоу все его мысли, все стремления, все желания клонились к одной цели; мы уже видели, как он полз, словно змея, чтоб приблизиться к барону. До сих пор он оставался безучастен к происходившему из одного опасения, что от излишней поспешности с его стороны месть ускользнет из его рук; но он караулил минуту в свою очередь вмешаться в борьбу и решить победу.

С трепетом радости следил он за тайными проделками Бидермана. Он видел, как, пошарив в кармане брюк, тот вынул нож и осторожно отворил, дабы не щелкнула пружина и не выдала его. В то мгновение, когда шпион вскочил, или, вернее, рванулся, со смехом гиены с своего места, достойный трактирщик схватил его за ноги и дернул к себе с такою силою, что он потерял равновесие и, не имея возможности удержаться при внезапности нападения, грохнулся наземь, выпустив из руки нож.

Герцог кинулся на своего врага, став коленом ему на грудь, схватил за галстук и, вооружившись его же ножом, всадил ему в горло по черенок. Несчастный испустил хриплый стон, его передернуло от предсмертной судороги, и он остался недвижим, он был мертв.

Секунду трактирщик холодно смотрел на свою жертву, потом отер лезвие ножа, закрыл его, сунул к себе в карман, встал, подошел к столу, взял два револьвера барона, заткнул их за пояс и спокойно сел на стул, бормоча вполголоса:

— Теперь бой честный, его решит Господь!

И он с высочайшим интересом стал следить за видоизменениями борьбы, которая уже не могла длиться долго.

Сцена, переданная нами, произошла едва в несколько секунд; итак, противники все бились с одинаковым ожесточением.

Однако незнакомец, при всей своей силе, уже начал чувствовать, что шпага как будто тяжелее в его руке, что его одолевает утомление от долгой борьбы и что ему необходимо кончить скорее решительным уда-

ром, чтобы не дать времени противнику заметить его усталость и воспользоваться ею; он сделал внезапный выпад и так сильно отразил удар противника, что шпаги коснулись эфесами, барон был настолько опытный фехтовальщик, что тотчас сообразил опасность положения, в котором неожиданно очутился, — удар снизу — и гибель его была неизбежна. Он сделал громадный прыжок назад.

Но от поспешности он не рассчитал расстояния и, каблуком левого сапога поскользнувшись в луже крови, которая текла из разверзтой раны шпиона Бидермана, споткнулся о его тело; при усилении удержаться на ногах он невольно, по естественному и почти безотчетному движению, приподнял немного правую руку, и противник мгновенно воспользовался благоприятным для себя случаем, напал на него с быстротою молнии и проколол шпагою насквозь.

После этого удара незнакомец в свою очередь отскочил назад, чтоб не подвергнуться отбою, но ему нечего было опасаться.

Несколько мгновений барон оставался недвижим на своем месте, дико закатывая глаза, потом выронил шпагу, зашатался как пьяный и, машинально приложив обе руки к жгучей ране, свалился как сноп, бормоча сиплым голосом:

— Ihr verfluchte Hunde (проклятые собаки)! Я убит!

Кровавая пена выступила на его губах; он испустил рев загнанного зверя, тщетно пытался сказать что-то и закрыл глаза; тогда судорожно искаженные от страдания черты его окаменели, бледность цвета слоновой кости покрыла лицо его, он внезапно содрогнулся всем телом, точно в последней предсмертной судороге, и вдруг стал неподвижен и безжизнен как мертвый.

«Умер ли он?» — так подумал незнакомец, когда наклонился над ним и положил ему руку на сердце. Однако он мгновенно поднялся опять, покачал головой и пробормотал:

— Бедняга! При жизни он был страшный негодяй... Да простит ему Бог!..

— Как бы ни было, — заговорил тогда трактирщик, — если молодец этот умер, что правдоподобно, ему не на что жаловаться; он был убит по всем правилам.

— По-видимому, — заметил незнакомец, ткнув ногою труп шпиона Бидермана, — и вы, любезнейший, маху не даете.

— Делаешь что можешь, сударь, не позволять же было этому мерзавцу убить вас!

— Разумеется, и я искренно признателен. Я обязан вам жизнью и не забуду этого, а покамест не дадите ли вы мне пожать вам руку.

— Очень охотно, сударь, касательно же возмездия за оказанную вам услугу, то это лишнее, я действовал столько же для себя, как и для вас.

— Что вы хотите сказать?

— Взгляните на мои бедные ноги.

— В самом деле! — вскричал незнакомец. — Кто вам обжег их так страшно?

— Немцы, для препровождения времени, ожидая прибытия того, кого вы убили.

— О, какое зверство!

— Силою вторглись они в дом и ограбили его, хотели изнасиловать мою жену и дочь, но они каким-то чудом спаслись от поругания. Без всякого повода с моей стороны они связали меня и сожгли мне ноги, как видите, я был человек смирный, старый солдат, который только желал честным трудом зарабатывать кусок хлеба, не занимаясь вопросами политики, а сделали они из меня тигра, и, пока душа в теле держится, я буду преследовать их неутомимо и безжалостно.

— Да, да, — сказал незнакомец, грустно покачав головой, — гнусную войну ведет с нами Германия, это война варварская, исполненная ненависти; но не отчаивайтесь, немцы роют яму под своими ногами, которая их и поглотит, час возмездия скоро пробьет, и тогда горе этим презренным, которые победили одною неожиданностью и так гнусно злоупотребляют мнимым своим торжеством, ведь и нам они вселили ненависть!

— Вы правы, сударь, кровь требует крови, око за око, зуб за зуб, вот как мы должны сражаться с ними, пока не победим, чтобы попать ногами, как сделали это уже некогда; но теперь мы будем безжалостны к ним, как были они к нам, и их гнусное племя сотрется с лица земли, возмущенной тем, что так долго носила подобных зверей. Но теперь подумаем о ближайшем — надо бежать.

— Бежать! Каким образом? Ведь вы не можете следовать за мною в таком положении.

— Не заботьтесь обо мне, язвы мои, хоть и мучительные, не так опасны, как кажутся, времени не хватило у моих палачей. Я готов следовать за вами всюду, куда вы пойдете, только поторопитесь, с минуты на минуту сюда могут войти.

— Это правда, но я жду особу, которой уже следовало быть здесь; не хочется мне уйти, не выдав ее.

— Я здесь, — ответил нежный голос с удивительным выражением твердости.

Незнакомец и трактирщик мгновенно оглянулись. Графиня де Вальреаль в мужском костюме стояла на пороге внутренней двери, возле нее был старый анабаптист, а за ними виднелись любопытные головы Карла Брюнера и Отто.

— А, это вы...

Молодая женщина приложила палец к губам.

— Я ждал вас, — продолжал незнакомец.

— Я давно здесь, все видел и все слышал, но отчего вы тут, а не то лицо, к кому я писал.

— По очень простой причине; когда пришло ваше письмо, тот, к кому оно было адресовано, находился в отсутствии, письмо подали мне. Уполномоченный отсутствующим приятелем распечатывать его письма, я прочел и ваше, увидел, что времени терять нельзя, и прибыл вместо него.

— Один?

— Нет, у меня скрыто сто человек в сосновом лесу в двух ружейных выстрелах отсюда.

— Благодарю, — сказала она, протягивая ему руку, — а все же я негодую на вас за то, что вы не исполнили моих инструкций, я хотел захватить его живого.

— Вы правы, я виноват в этом, но уверяю вас, при одном виде этого человека я потерял всякое самообладание, увлекся отвращением и ненавистью к нему и забыл про все. Когда видишь ехидну у своих ног, надоразмозжить ей голову каблуком, иначе она может взвиться и ужалить, а ведь яд смертелен.

Графиня грустно покачала головой, устремив взор выражения неуловимого на безжизненное тело человека, которого она любила и который оскорбил ее так глубоко.

— Да простит ему Господь, как я прощаю! — прошептала она, отирая невольно навернувшуюся слезу.

— Тише, — вдруг сказал трактирщик, — я слышу лошадиный топот, надо скорее бежать.

— Так уйдемте, но уверены ли вы, что этот несчастный мертв? — возразила графиня.

— Полагаю, сердце его перестало биться, и он окончел, как труп.

— Идемте же, если так надо.

— Я останусь, — сказал анабаптист, — вам я более не нужен, когда вы встретили ваших друзей. Я не оставлю этих несчастных, кто знает, не угодно ли будет Богу, чтобы мои попечения о них принесли пользу.

— С ума вы сошли, что хотите оставаться здесь? — вскричал трактирщик. — Разве вы не знаете немцев?

— Я бедный человек и старик, что же они могут сделать со мною?

— Ваше присутствие здесь может быть гибельным не только для вас, но и для близких ваших, — заметил незнакомец.

— Пойдемте, старик, ваши попечения не возвратят к жизни двух мертвых тел, а между тем вы подвергаетесь ужасной опасности, — настойчиво сказала графиня.

Старик покачал головой и сел на полу возле тела барона фон Штанбоу.

— Да будет воля Божия! — кротко сказал старец. — Я останусь.

— Уйдемте, уйдемте! — вскричал трактирщик. — Я знаю этого человека с давних пор, все будет напрасно, принятого решения он не изменит ни за что.

— Идите, и да хранит вас Господь! — прибавил старик.

— Хорошо же! — вскричал незнакомец. — Но клянусь всем святым, если эти мерзавцы посмеют нанести нам вред, если падет один волос с вашей головы, я страшно отплачу этим палачам, которые не щадят ни детей, ни женщин, ни старцев!

Конский топот приближался быстро, минуты нельзя было терять.

— А бумаги? — вскричал незнакомец. — Мы не забрали бумаг этих шпионов.

— Я взял, — ответил трактирщик, подавая их, — пойдемте, пойдемте.

Они вышли, и за ними дверь накрепко была заперта на запор.

Старик подошел к Бидерману и осмотрел его внимательно.

Шпион был мертв, тело его уже почти совсем окоченело.

Анабаптист отошел, махнув рукой с унынием, он приблизился тогда к барону.

Расстегнув казакин, он положил руку на сердце несчастного и минуты две-три оставался неподвижен, между тем как на лице его отражалось тоскливое волнение.

Наконец он поднял голову, и невыразимая радость, подобно солнечному лучу, озарила спокойное и прекрасное его лицо.

— Я слышу, что бьется сердце, — прошептал он, — это не обман чувств, он жив еще... Господи, да будет благословенно твое имя! Может быть, мне удастся спасти одно из твоих творений.

Он принялся оказывать раненому пособие, которого требовало его положение, и это с искусством и познаниями поистине удивительными. Надо заметить, что анабаптисты никогда не обращаются к врачам, они лечат друг друга средствами, известными им одним.

Достойный анабаптист, весь поглощенный благотельным уходом за раненым, не видел и не слышал, что происходило вокруг него.

Однако внезапный удар эфесом сабли в наружную дверь заставил его вздрогнуть, он встал и пошел отпереть, так как незнакомец из предосторожности запер за собою дверь, когда вошел. Тотчас в зале трактира появилось несколько немецких офицеров и в их числе полковник и капитан Шимельман.

Отперев дверь, старик спокойно вернулся к раненому и продолжал оказывать ему надлежащее пособие, по-видимому, не занимаясь нисколько приходом немецких офицеров.

ГЛАВА III

По горам и по долам

Успев благополучно выскользнуть из трактира и перебраться беспрепятственно через изгороди, беглецы собрали своих товарищей, расставленных часовыми вокруг, и с незнакомцем во главе, который отлично, казалось, знал местность, стали сходить по козьей тропе, едва обозначенной на крутом откосе пропасти. Тропа, с первого взгляда ненадежная и почти непроходимая, по мере того как они спускались между беспорядочно набросанных скал и иглистых кустов, становилась удобнее, и вскоре они могли, уже не хватаясь за ветви и за траву, продвигаться вперед довольно свободно.

В глубине на самом дне пропасти, за крутой откос которой они цеплялись, беглецы слышали рокот волн, готовых поглотить их, если они мало-мальски ступят не твердо.

Но когда они оставили за собою две трети спуска и незнакомец слегка повернул вправо, на дорожку не такую отвесную и, по-видимому, более широкую, последовав за ним, спутники его свободнее перевели дух; дорожка шла вдоль отвеса пропасти, едва заметно поднимаясь в гору, она настолько была широка, что двое могли идти по ней рядом, не подвергаясь опасности слететь в бездну.

Более часа длился этот тяжелый для изящной и нежной женщины путь, но ни одной жалобы не вырвалось ни у графини, ни у несчастного трактирщика, обожженные ноги которого причиняли ему жестокие страдания;

оба понимали, как важно для них скорее укрыться от мести неумолимых врагов, которых, вероятно, мнимая смерть Поблеско привела в ярость. Внезапно вспыхнувший на небосклоне яркий свет, от которого разлилось вокруг багровое зарево, дал знать беглецам, что Прейе предано огню и им вдвойне надо вооружиться твердостью и терпением, если хотят избежать страшной участи, которая грозила бы им, попадись они опять в руки врагов.

По выходе из дома трактирщика они не обменялись между собой ни одним словом, сознавая всю важность безмолвия в диких пустынях, где малейший звук, повторяемый эхом, несется на расстояние неизмеримое и может выдать. Там каждый звук имеет свое значение: сломается ли ветвь, сорвавшийся ли камень рикошетом запрыгает по склону горы, и этого достаточно, чтобы уничтожить самые тщательные предосторожности и открыть преследователям направление, избранное беглецами.

Наконец путники достигли довольно обширной прогалины, посреди которой виднелись остатки разрушенной хижины. В эту минуту на отдаленной колокольне било три часа.

— Здесь мы в безопасности, — сказал незнакомец, — отдохните немного.

Не говоря ни слова, каждый растянулся на траве со вздохом облегчения.

При всей своей усталости, физической и нравственной, графиня не села, а подошла к незнакомцу, который закурил сигару и в задумчивости расхаживал взад и вперед у двери развалившейся лачуги.

Заметив, что графиня направляется к нему, молодой человек вынул изо рта сигару и хотел бросить, но она остановила его движением руки.

— Я желала бы, — начала она, — говорить с вами о деле важном и получить некоторые объяснения.

— Спрашивайте, графиня, постараюсь удовлетворить вас, насколько это в моей власти.

— Я не сомневаюсь в вашей обязательности, милостивый государь, как видите, я вам и высказываю откровенно мои намерения.

— Прежде всего, графиня, — продолжал незнакомец, складывая свой плащ, который положил потом на землю, — я попросил бы вас покорно сесть, вы, должно быть, измучены.

— Правда, — согласилась она с улыбкой, — я не привыкла к такой продолжительной ходьбе по лесу, особенно в подобных условиях, я действительно очень утомлена, однако все же довольна этою странною прогулкой — она служит для меня мерилom того, на что бываешь способен и чего ожидать можно от своих сил при твердой воле.

— Ведь вы, графиня, из числа избранных и доказали это много раз; итак, не обманывайте себя, мало женщин из вашего круга, избалованных роскошью и благосостоянием, могли бы исполнить то, что сделали вы в эту ночь.

— Берегитесь, милостивый государь, это очень походит на любезность, я позволю себе заметить вам, что для комплиментов странно выбрано и время и место, тогда как нам надо заняться делом.

— Комплименты мне ненавистны, графиня, и выразил я вам только мою мысль. Извольте же говорить, я вас слушаю.

— Если позволите, я начну по порядку; с тех пор как мы таким странным образом сошлись в доме трактирщика, признаться ли вам, меня мучает желание узнать, кто вы.

— Увы, графиня, я в отчаянии.

— Отчего же?

— Потому что, по роковому определению судьбы, не могу ответить удовлетворительно на первый вопрос, которым вы достаиваете меня.

— Что вы хотите сказать?

— Да то, графиня, что я человек без имени, существо, быть может, погибшее, бессознательное орудие неумолимого рока.

Он провел рукой по лбу, покрытому холодным потом, но, поборов почти мгновенно усилием воли жгучее чувство, которое грызло его сердце, он пытался, однако, улыбнуться и тоном равнодушным, способным всякого ввести в обман, только не графиню, продолжал:

— Оставим это. Простите, я брежу, я подвержен нервным припадкам, во время которых говорю то, что не имеет смысла и чего сам не понимаю, по счастью, как видите, эти припадки проходят скоро.

— Я не только прощаю вам, — ответила графиня голосом нежным и сострадательным, — но и жалею вас от всей души; вы страдаете. Увы! Каждого гнетет свое горе.

Сколько людей, у которых всегда улыбка на губах, а сердце разбито. Простите меня, что по неведению растравила рану.

— Вы добры, графиня, — ответил незнакомец с глубоким чувством, — да благословит вас Бог за ваши сердечные и утешительные слова! Я известен под двумя именами между теми, кто знает меня или полагает, что знает; для немцев я граф Отто фон Валькфельд; относительно же имени, которое дают мне французы, я просил бы позволения не говорить вам его, графиня, по крайней мере теперь.

— Я не настаиваю, если вы не желаете этого. Не знаю, ошибаюсь я или нет, но мне все сдается со времени нашей встречи, по некоторым выражениям вашим, что вы знаете меня, и давно.

— Вы правы, графиня, я имею честь знать вас и очень давно, и очень коротко.

— Что вы этим хотите сказать?

— Только то, что говорю, графиня. Быть может, настанет день, когда я буду так счастлив, что представлю вам доказательство того, что утверждаю.

— Да я-то вас вовсе не знаю!

— То есть вы не узнаете меня, графиня, оттого ли, что воспоминание обо мне совершенно изгладилось из вашей памяти или такая большая перемена произошла в моей наружности.

— Последнее мне кажется естественнее первого, — возразила графиня с тонкою улыбкой. — К прискорбию моему, я вижу, что вы исполнены таинственности, настоящая живая загадка; итак, мне приходится склонить голову. Ожидали вы встретить меня в эту ночь в доме трактирщика? Словом, для меня ли вы туда пришли? Как видите, я говорю прямо и определенно.

— И я отвечу не менее откровенно, графиня, — сказал незнакомец, слегка отвернувшись и сбивая ногтем мизинца пепел с сигары, — хотя вы не чужды причин, побудивших меня искать свидания с Поблеско, или, вернее, с бароном фон Штанбоу, признаюсь вам со всем смирением, что не подозревал вашего присутствия в трактире и чрезвычайно был изумлен, когда вы внезапно появились предо мною.

— Позвольте заметить вам, — произнесла графиня с легким оттенком иронии, — что я не могу понять, когда вы не знали о моем присутствии в доме трактирщика,

допустив даже между вами и мною давнишнее знакомство, однако ничем не доказываемое, каким образом вы меня примешивали к более или менее важным причинам, побудившим вас искать объяснения с Поблеско; прибавлю мимоходом, что во время вашего разговора с этою мрачною личностью вы ни разу не упомянули о моей маленькой особе.

— Все это строго точно, графиня, но я в свою очередь позволю себе заметить вам, что вы совсем забыли наш разговор, когда вы вошли в залу трактира.

— Какое же значение мог иметь этот разговор? Видя, что вы угадали во мне переодетую женщину и не желая, чтоб эта тайна была открыта слушавшим нас посторонним лицам, я сделала вид, будто знаю вас, и говорила с вами как со старым другом; с полуслова вы поняли мое намерение и ловко отвечали мне в таком же духе; все поддались обману, даже я сама, признаться, готова была поверить вашим словам.

— Жалею, что вы не поверили на самом деле.

— А почему, позвольте знать?

— Потому что, отвечая вам, я и не думал играть роли; вы говорили вполне естественно, всякий на моем месте обманулся бы, как я. Вы спрашивали положительно, я отвечал так же.

— Но ведь это невозможно!

— Я не понимаю вас, графиня.

— Да, наконец, письмо, которое я написала...

— Распечатано было мною. Позвольте повторить вам, что все действительно произошло так, как я имел честь докладывать вам в доме бедняги Герцога. Если кто-либо был введен в обман во всем этом деле, то один я. Как видите, я вполне правдиво сказал вам, что явился туда отчасти из-за вас.

— Совсем теряюсь. Ничего не понимаю изо всего этого. Зачем вы назвались поляком?

— Увы, графиня, ведь я космополит, если хотите. Надо же было иметь предлог для ссоры. Этот по крайней мере никого не выдавал, — прибавил он значительно.

— Вы правы, и во всем; я признаю себя побежденной.

— Вы ничего более узнать от меня не желаете, графиня?

— Пару слов еще, если позволите.

— Приказывайте, я ваш преданнейший слуга.

— Не скрою от вас, что я сильно озабочена. Во-первых, я не знаю, где нахожусь, потом, измучена до крайности, а между тем мне необходимо вернуться в самом скором времени в деревню, где я оставила своих спутников. Что подумают они, если меня не будет с ними, когда настанет час отправляться в дальнейший путь?

— Об этом тревожиться нечего, графиня, мы не более как в полумиле от деревни, где остались ваши друзья. На этом месте мы вполне ограждены от всякой опасности. Побудьте здесь час-другой, вы нуждаетесь в отдыхе после такой утомительной ночи, а я, с вашего позволения, пошлю двух слуг ваших в деревню, предупредить о том, что произошло, ваших спутников и привести их сюда как можно скорее.

— Не проще ли было бы мне самой отправиться в деревню? Я теперь немного отдохнула и чувствую себя в силах пройти полмили.

— Не сомневаюсь, графиня, но такая неосторожность может повлечь за собой непоправимое несчастье.

— Опять не понимаю вас.

— Я объясню свою мысль: как вы ни бодры духом, силы ваши истощены и вы поневоле пойдете тихо.

— Что ж за беда, лишь бы мне на рассвете быть на месте!

— Нет, графиня, это еще не все. Старик анабаптист, служивший вам проводником до дома трактирщика, остался в руках пруссаков; разумеется, они предположат, что он с вами заодно, и станут допрашивать его; это честный человек, но они употребят средство, которое до сих пор, надо сознаться, удавалось им всегда, — они вынудят его вести их в свою деревню; он должен будет повиноваться, и вы поймете, графиня, без всяких объяснений с моей стороны последствия подобной меры и страшную опасность, которой подвергнутся ваши друзья.

— О, это ужасно! Разве вы можете предположить, чтобы пруссаки способны были поступить таким образом?

— Будьте уверены, что не преминут, графиня. Вспомните, что они взбешены неудачей, которую потерпели, и мечтают только о мести. Смерть Поблеско, должно быть, окончательно свела их с ума, они примут все меры, чтобы разыскать виновников убийства, и не колеблясь, за отсутствием настоящих виновных, выместят злость на невинных.

— Что делать, Боже мой? — шепотом произнесла она, в отчаянии всплеснув руками.

— Положиться на меня, графиня, и принять то средство, которое я имею честь предлагать вам, другого нет, чтобы выйти из затруднения и оградить вас от опасности, которая грозит и вашим друзьям. Принимаете вы мое предложение, графиня?

— Приходится принять, но уверены ли вы...

— Если не случится чего-нибудь совершенно непредвиденного, я ручаюсь за спасение всех вас.

— Так поступайте по вашему усмотрению, и да награждает вас Бог за громадную услугу, которую вы нам окажете!

— Счастье быть вам полезным, графиня, с избытком вознаградит меня. Усните часок, необходимо восстановить ваши силы.

— Хорошо, попробую, я просто измучена.

— Пожалуйте, графиня, в эту лачугу, вы ляжете на сухие листья и, завернувшись в мой плащ, вполне будете ограждены от холода.

— Да, — сказала она, сиюсь улыбнуться, — надо уметь применяться к обстоятельствам, впрочем, у меня глаза смыкаются против воли.

Незнакомец помог графине подняться на ноги, взял ее под руку и повел внутрь хижины.

— Отдыхайте без опасения, графиня, вы находитесь под охраною моей чести, я сам буду караулить ваш сон.

— Благодарю, — сказала она, дружелюбно протянув ему руку.

Незнакомец с почтительным поклоном пожал ей руку и удалился.

Едва графиня осталась одна, как закуталась в оставленный ей неизвестным плащ, легла на ворох сухих листьев в углу и, сломленная усталостью, впала почти мгновенно в глубокий сон.

Граф Отто фон Валькфельд, когда вышел из хижины, пытливо взглянул в ту сторону, где беглецы растянулись как попало на траве, и медленно приблизился к ним.

И этих бедных людей также сломила усталость, они спали, как говорится, мертвым сном.

Граф пристально всмотрелся в каждого из них поочередно, когда же удостоверился, что все они крепко спят, не колеблясь углубился в лес.

Однако он не сделал более десяти шагов в глубь лесной чащи. Достигнув места, которое, по-видимому, узнал, он остановился, приложил руки к углам рта, так что образовалось нечто вроде трубы, и дважды ухнул по-свиному необычайно искусно.

Почти немедленно вслед за тем ему так же отозвались невдалеке. Граф торопливо взял сигару в рот, несколько раз сильно затянулся и бросил ее кверху; сигара описала во мраке огненную дугу и упала на землю.

Через минуту ветви кустов раздвинулись и появился человек.

Он был молод, в полувоенном костюме и вооружен с ног до головы; мелкие и благородные черты, темные усики и светлый, живой взор, блестящий проницательностью и умом вызывали симпатию. Он, казалось, излучал прямоту и добродушие, роста был высокого, сложения красивого и сильного, словом, он казался на вид одним из тех могучих горцев, которые нравятся потому, что честны и располагают к себе с первого взгляда.

Человек этот смело подошел к графу и остановился в двух шагах от него, поклонился со смесью уважения и добродушия и ждал, не говоря ни слова, когда графу угодно будет заговорить.

— Ого, — дружески сказал ему вполголоса последний, — вы не замедлили ответить на мой призыв, любезный Конрад, поторопились же вы, ей-Богу!

— Вы приказали мне торопиться, и я, по обыкновению, повиновался вам, любезный Отто, — просто сказал тот, кого граф назвал Конрадом.

— И я благодарю вас, Конрад, — ласково продолжал граф, — впрочем, я давно знаю, что вы верный друг.

Конрад ответил поклоном и весело улыбнулся.

Граф продолжал:

— А что пруссаки?

— Не знаю, право, что вы им сделали во время сумасбродной выходки вашей в эту ночь, — ответил молодой человек со смехом, — но верно то, что они взбеленились, просто неистовствуют, честное слово!

— В самом деле? — вскричал граф с довольным видом.

— Должно быть, вы сыграли с ними штуку прескверную.

— Я? Ничуть! Втерся я к ним просто для того, чтобы сделать одно честное дело. Мне нужно было отомстить

одному из бесчисленных их шпионов, который при этом был и личный мой враг. Я имел удовольствие проколоть его шпагой насквозь и уложить на месте.

— А, так вот это что! Я объясняю себе теперь их ярость. Черт возьми! Убить их шпиона, да еще какого!

— Так вы знаете, о ком речь?

— Еще бы! Достаточно прокричали они имя его на все лады, только и говору было что о Поблеско!

— Тем лучше, если они оплакивают его так горько, это доказывает, как хорошо я сделал, что убил.

— Гм! — возразил Конрад, покачав головой. — Я разделял бы ваше мнение, если б вы действительно убили его.

— Как! Если б действительно убил? — вскричал граф. — Что вы хотите сказать, любезный Конрад?

— Только то, что вы поторопились; не довольствоваться одним ударом следовало вам, но раздавить каблуконком вонючую гадину, а то...

— А то?

— Хотя он и ранен, но жив и, вероятно, скоро опять будет на ногах.

— Ей-Богу! Если так...

— Это верно, ручаюсь вам.

— То мы начнем снова, вот и все, в первый же раз, когда мы очутимся лицом к лицу, я убью его, клянусь Богом!

— Желаю от всего сердца.

— А пруссаки что?

— Не имея возможности мстить людям, так как жители дома спаслись бегством и оказался там один старик, которого вы, должно быть, нечаянно оставили за собой, и он этим воспользовался, чтоб подать раненому пособие и возвратить его к жизни...

— Так это старик анабаптист такой осел? — перебил граф.

— Не знаю, анабаптист ли этот старик, но вы ему обязаны, что враг ваш еще находится в живых.

— Я не могу на него сердиться за это, он повиновался весьма похвальному чувству сострадания.

— Так вот вы как принимаете это? Значит, и говорить больше нечего. Пруссаки, которые жаждали излить ярость свою на чем-нибудь, начали с грабежа дома и, когда все было вынесено, подожгли его, по свойственной им привычке.

— Бедный трактирщик! Но этому бедствию я помогу, насколько в моей будет власти. Продолжайте, любезный друг.

— О! Я кончил. После этих двух подвигов скорее разбойников, чем солдат, пруссаки ушли, взяв с собою и раненого, и старика, который по странной случайности попал к нему в сиделки.

— Очень хорошо! А по какому направлению удалились они?

— Этого я не знаю, по крайней мере в настоящую минуту, не менее чем в два часа мы уже будем извещены: я послал им вслед двух из самых лучших разведчиков.

— Очень хорошо. Выслушайте меня теперь с величайшим вниманием, любезный Конрад, мне надо поговорить с вами о деле чрезвычайно важном.

— Я знаю, о каком деле вы хотите говорить, — со смехом возразил тот, — напрасно вам и трудиться излагать его, любезный Отто, оно уже исполнено.

— Как исполнено? — вскричал граф в изумлении. — Вы ошибаетесь, друг мой, знать вам невозможно...

— Извините, любезный Отто, повторю снова, что знаю все, и не хуже вашего; не приходите в такое сильное изумление, дело просто. Пока вы беседовали с графиней де Вальреаль, я без всякого намерения стоял притаившись за лачугой, перед дверью которой вы находились. Я подкрался так близко на случай, что вы захотите дать мне приказание, вот мне и пришлось волей-неволей выслушать всю последнюю часть разговора. Я понял, что речь идет о неотлагательном деле и времени терять нельзя; простите, если я поступил нехорошо, но я взял на себя распорядиться надлежащим образом: уже минут двадцать назад десять человек из моих отправились беглым шагом и, по всему вероятно, теперь уже в деревне. Если я был не прав, любезный Отто, я приму ваш разговор с покорностью, но повторяю, я имел в виду поступить к лучшему.

— Упрекать вас в том, что вы предупредили мои приказания в таком важном случае! — с живостью вскричал граф. — Возможно ли, любезный Конрад? Напротив, вы заслуживаете похвалы. Благодаря вам выиграно столь необходимое нам время.

— Это и есть мое единственное оправдание, итак, все к лучшему.

— Бесспорно, нельзя было поступить умнее.

— Тем лучше, — ответил он, весело потирая руки, — перейдем теперь к другому. Какие вы мне дадите инструкции?

— Все наши люди налицо?

— До последнего человека, кроме разведчиков, конечно, которым поручено наблюдать за этими разбойниками в остроконечных касках.

— Никому не позволяйте удаляться ни под каким предлогом, мы должны быть вдвое осторожнее и ожидать всего.

— Будьте покойны. А инструкции какие же будут?

— Все одни и те же — если я позову вас, помните, что никто не должен быть узран. Наша задача — полное самоотвержение, нам надо сохранять совершенную свободу действий, а для того не быть узранными никем из наших друзей.

— Ваша воля будет исполнена. А если вы не позовете нас?

— Оставайтесь невидимыми, что бы ни случилось, и следуйте за нами на расстоянии пистолетного выстрела.

— Решено, других приказаний не будет?

— Только одно: как скоро вернутся ваши разведчики, немедленно дать мне знать о направлении, принятом пруссаками.

— Положитесь на меня, любезный Отто, это будет сделано.

Они крепко пожали руку друг другу; Конрад юркнул в кусты, где и скрылся из виду, а граф фон Валькфельд, закулив вновь свою сигару, лениво вышел на прогалину, как будто гулял.

Там все казалось в прежнем положении, то есть спутники его бегства продолжали спать сном мертвым.

Граф в задумчивости подошел к лачуге и прислонился к стене плечом; он скрестил руки, опустил голову на грудь и углубился в свои мысли, по-видимому невеселые, однако не упускал между тем из виду заботы о безопасности своих спутников и бдительно следил за малейшим шумом, от времени до времени без видимой причины поднимавшимся в лесу.

Прошло около двух часов; граф не шевельнулся, он до того был неподвижен, что его приняли бы за статую при постепенно бледнеющим свете луны; звезды стали

уже меркнуть одна за другою в глубокой дали небесного свода; на горизонте широкие радужные полосы, которые становились все ярче, возвещали восход солнца; вдруг рука тихо опустилась на плечо графа, он вздрогнул и быстро поднял голову, как легко ни было прикосновение, оно вывело его из задумчивости, он оглянулся.

За ним стоял Конрад. Граф посмотрел на него вопросительно.

— Мои разведчики только что вернулись, — сказал Конрад, — пруссаки, не принимая во внимание услугу, которую оказал им старик, возвратив к жизни их шпиона, прикинулись, будто видят в нем сообщника покушения на жизнь Поблеско, вследствие чего они и принудили его служить им проводником и вести их в свою деревню, которой грозят военной экзекуцией.

— Подлецы! — с гневом вскричал граф. — Я предвидел, что они поступят таким образом; по счастью, жертвы, которых они надеются захватить, ускользнут у них из рук, но этим еще не все кончено. Конрад, люди наши должны быть готовы выступить при первом сигнале; минут через десять я вернусь к вам. Ступайте, нельзя терять ни минуты.

Молодой человек тихо прокрался за хижину и исчез из виду.

В то же мгновение граф разбудил Карла Брюнера и Отто, двух преданнейших слуг графини, и шепнул им несколько слов; те почтительно поклонились графу, немедленно взяли свое оружие и ушли с прогалины.

Солнце всходило; остальные беглецы также стали просыпаться одни за другими, хотя и разбитые еще усталостью, они были в состоянии снова отправиться в путь. Граф подошел к Герцogu.

— Любезный друг, — сказал он ему, — ваш дом был ограблен и сожжен пруссаками в эту ночь, я считаю себя отчасти виновником бедствия, которого вы сделали жертвою, позвольте же мне поправить его, насколько в моей власти: я не хочу, чтоб ваше семейство или вы страдали от незаслуженной нищеты. Примите эти пять тысяч франков, — прибавил он, вынимая из бумажника несколько банковых билетов и подавая их трактирщику, — это сумма ничтожная, я знаю, но она даст вам возможность перебиваться кой-как в ожидании лучшего времени; особенно

не расставайтесь с вашими настоящими спутниками, пока не достигнете места вполне безопасного.

Честный трактирщик сперва было отказался от денег, но граф так упорно стоял на своем, так ясно доказал ему, что речь идет не о благосостоянии, но о насущном хлебе его несчастной семьи, что он наконец был побежден и, со слезами на глазах, принял помощь, которая спасала от нищеты близких ему и самого его.

Граф не без труда успел уклониться от изъявлений благодарности и благословений бедного семейства и направился к хижине.

Графиня де Вальреаль ожидала его на пороге. Обменявшись с ним приветствиями, она спросила:

— Ну что, сдержали вы свое слово?

— Сдержал, графиня, — ответил он вежливо, — минут через десять друзья ваши будут здесь, я послал к ним навстречу ваших слуг.

— Да благословит вас Бог за такую добрую весть! Буду ли я когда-нибудь в состоянии доказать вам на деле мою благодарность?

— Это очень легко, если вы желаете, графиня.

— Говорите, что надо делать? — вскричала она с живостью.

— Очень простую вещь, графиня, без расспросов идти три дня, в сопровождении ваших слуг, Карла Брюнера и Отто, в то место, куда я прикажу им свести вас.

Графиня устремила на собеседника взор выражения странного, тот выдержал его, не смущаясь и с улыбкой на губах.

— Почему такая тайна? — спросила она спустя минуту.

— Быть может, графиня, — возразил он, все улыбаясь, — чтоб доставить вам большое удовольствие и приятную неожиданность. Даете вы мне слово, о котором я вас прошу?

— Даю, хотя знаю вас только с этой ночи. Ваши поступки исполнены рыцарства и благородства, я питаю к вам полнейшее доверие. Я исполню ваше желание, каким бы странным оно мне ни казалось. Ведь вы будете с нами?

— К искреннему моему сожалению, графиня, нет.

— Вы оставляете меня?.. Так внезапно?.. — прибавила она с изумлением, которого не могла скрыть.

— Это необходимо, графиня, — ответил он с низким поклоном.

— Не смею настаивать. Мы живем в злополучное время, когда никто с уверенностью не может располагать даже следующей минутой, но, по крайней мере, я надеюсь, что мы расстанемся не надолго. Ведь я скоро увижусь с вами опять. Я у вас в долгу, услуга обязывает одинаково и того, кому она оказана, и того, кем оказана, — прибавила она с пленительной улыбкой, — я хочу сквиттаться с вами.

— Я с избытком вознагражден за небольшое, что мог сделать, графиня, выражением признательности, которым вы удостоили меня.

— Вы не ускользнете от меня комплиментом, — вскричала она с оттенком раздражения, — прошу покорно отвечать на мой вопрос!

— Если вы непременно требуете этого, графиня, то...

Вдруг он остановился на полуслове и, указывая графине на кучку людей верхом и пешком, которые выходили на прогалину, провожаемые Карлом Брюнером и Отто, вскричал:

— Что я вам говорил, графиня? Вот и друзья ваши тут!

— О, действительно, это они и есть, слава Богу! — воскликнула графиня с живейшей радостью и, забыв все, бросилась навстречу путникам.

Но едва она сделала несколько шагов, как память вернулась к ней, и она оглянулась на графа.

Напрасно искала она его глазами.

Он исчез.

Она остановилась и постояла с минуту в задумчивости.

— Странно, — прошептала она вполголоса, — ушел, он ушел! Кто бы это был?.. Что он скрывает?.. Порой мне казалось, как будто звук его голоса напоминал мне... О, я отыщу его! Это необходимо, — заключила она с движением головы, которое придавало ей такую пленительность.

Анабаптисты

Пруссаки ворвались в залу трактира как дикари, они ринулись толпой, толкаясь, горланя и ревя.

Сделалась страшная суматоха, но вскоре человеческий поток, переполнив залу, распространился по другим комнатам, вторгся повсюду в доме и даже в сад, и тогда начался грабеж, начались опустошения: мебель вся была разломана и обшарена, имущество бедного трактирщика похищено без зазрения совести или затоптано в грязь и разорвано в клочки, за отсутствием врагов, на которых можно было бы выместить свою неудачу, они изливали свою бессильную ярость на все, что попало им под руку, нанося вред из одного удовольствия наносить его, даже бедный садик при доме трактирщика не спасся от свирепого опустошения: находившиеся в нем немногие тощие и хилые фруктовые деревья были вырваны с корнями или сломаны.

Однако, когда большая часть из этих воинов-грабителей распространилась по дому и вторглась во все комнаты, даже до погребов и чердаков, некоторый порядок восстановился в большой зале, где оставалось несколько солдат, шнырявших по углам, очищавших шкафы и полки и простукивавших стены, чтобы удостовериться, нет ли где тайника, да с десятков офицеров, которые не приняли участие в грабеже, угадав, надо полагать, с первого взгляда, что все, заключавшееся в бедном домике, не стоило брать.

И то сказать, у офицеров было на руках дело поважнее, а именно, отыскать и узнать, кто был дерзкий

смельчак, отважившийся пробраться сквозь их ряды, чтоб у них на глазах, словно в насмешку, убить наповал одного их шпиона, а другого — тяжело ранить.

Подобная дерзость не могла остаться безнаказанною, кто бы ни был виновник, пруссаки намеревались жестоко отомстить ему, как только он попадет им в руки — а благодаря средствам, которыми располагали, они рассчитывали, что это случится вскоре, — показать, как они выражались, на этом негодяе пример, от которого содрогнулся бы весь Эльзас, эта провинция, в их глазах, по прирожденной им самоуверенности, уже принадлежавшая им.

С их немецкою гордостью они не могли допустить, чтоб эльзасцы смотрели на прусских шпионов как на изменников и расправлялись с ними по заслугам. До чего бы ни могли дойти при подобной системе возмездия? Обаяние и могущество немецкого войска исчезли бы в глазах света, изумленного теперь их невероятными успехами.

Наклонность наказывать изменников — жителей края, который они держали под таким тяжелым гнетом, в высшей степени вредила германской политике. Надо было пресечь в корне подобные поползновения к независимости народа, который не покорялся, и сопротивление которого усиливалось изо дня в день.

Лишь французские армии, одна разбитая при Рейсгофене, другая плененная под Седаном, по мнению пруссаков, имели право сражаться для защиты несчастного отечества, но войск этих не существовало более, истощенная Франция была доведена до отчаяния; итак, война, особенно в Эльзасе, была просто бунт, по их рассуждению, и, с кровавою логикою живодеров четырнадцатого века, они не признавали за вольными стрелками, которые одни еще оказывали им сопротивление и оставались непобедимы, никакого права защищаться, прикидываясь, будто не знают, что эти вольные стрелки — те же крестьяне, земли и селения которых они опустошают и жгут, они решились пресечь зло в корне и страхом взять население, которое оставалось глухо к их унижительным предложениям и предпочитало скорее умереть с оружием в руках, чем подчиниться варварскому игу, хотя бы Эльзасу суждено было превратиться в громадное кладбище.

И до последней минуты боролся Эльзас, чтобы остаться французским. Брошенный всеми, он без хвастовства и без уныния защищался собственными средствами.

Эльзас не был завоеван пруссаками, но украден. Время прочных завоеваний миновало навсегда; несмотря на уверения мелких Ришелье нашего времени, варварские вторжения не могут основать чего-либо прочного.

Англичане овладели Кале после одиннадцатимесячной осады; они переменили все его население, окружили его грозными укреплениями и держали его в своей власти два века. Мы взяли его назад в неделю, потому что Кале — французская земля. Пусть вспомнят про это немецкие завоеватели. Несмотря на все их меры осторожности, на все усилия оставить за собой несчастные провинции, онемечив их, в назначенный Провидением час Эльзас и Лотарингия вернутся к Франции, и это без всякого переворота, без усилий, совершенно естественно. Это настолько справедливо, что известно самим пруссакам; нельзя им не понимать, что эти две прекрасные провинции неминуемо вернутся к нам, не во гнев будь сказано господину Бисмарку, потратившему, таким образом, столько коварства и низости; он уже ощущает, не говоря о будущем, глухие внутренние толчки, грозящие разрушить здание, которое он мнил воздвигнуть и которое вскоре будет возбуждать одно презрение даже в тех, кто питал к нему самое искреннее, самое глубокое благоговение.

Мы сказали, что в зале трактира находилось известное число прусских офицеров. Они стали в кучку в одном из дальних углов залы, довольно горячо пошептались между собой, потом взяли стулья, сели полукругом у стола, и капитан Шимельман, старший из всех чином, сделал знак рукою сержанту, который ждал его приказаний.

Старый анабаптист заканчивал, как умел, перевязку раненого, который два-три раза открывал глаза и снова опускал веки, погруженный в оцепенение, похожее на летаргию. Вдруг кто-то грубо ударил старика по плечу.

Он оглянулся и спросил у сержанта, который таким образом обратил на себя его внимание:

— Что вам надо?

— Мне ничего, — ответил солдат, — вот благородные господа, которых вы там видите, желают задать вам несколько вопросов. Встаньте и следуйте за мною.

Старик бросил последний взгляд на раненого, встал не возражая и направился к тому месту, где сидели офицеры. Подойдя к ним, он поклонился и ждал, когда им угодно будет обратиться к нему речь.

Пруссаки, рассмотрев старика, тотчас же узнали в нем анабаптиста по темному цвету и устаревшему покрою его грубой одежды, застегивавшейся крючками вместо пуговиц.

После минуты безмолвия капитан Шимельман спросил:

— Кто вы? Как вас зовут? Что вы тут делаете?

Старик будто не замечал повелительного и грозного тона, которым произнесены были эти слова.

— Я готов, сударь, — сказал он кротким голосом, — отвечать, насколько сумею, на все вопросы, какие вам угодно будет сделать мне, но я просил бы вас обращаться ко мне только с одним заразом, дабы я мог отвечать ясно.

— Пожалуй, — согласился капитан тоном уже не таким грозным, — как вас зовут?

— Меня зовут Иоганом Шипером.

— Сколько вам лет?

— Восемьдесят два года и семь месяцев.

— Вероятно, вы здесь живете?

— Нет, сударь, мой дом на площадке Конопляник, в деревне того же имени.

— Ремесло ваше?

— Я земледелец, как до меня были отец и дед и, если угодно Богу, сыновья мои будут после моей смерти.

— Хорошо, клянитесь отвечать правду на вопросы, которые вам сделают.

— «Не призывай Имени Моего всуе», — сказал Господь. Клясться я не стану, это запрещается Священным Писанием, я просто скажу «да» или «нет», более этого я сделать не могу.

— Берегись, старый негодяй! — гневно крикнул капитан. — Твое лицемерие может стоить тебе дорого.

— Я в руках Божиих; что бы вы ни сделали со мною, с головы моей не падет волоса без Его воли. Никогда я не лгал, не в восемьдесят два года же мне начинать. Расспрашивайте меня, и я отвечу, как обязался, но не требуйте от меня безбожной клятвы, которой не допускает моя совесть и вера моя запрещает давать; ни угро-

зы, ни насилия, ни истязания не вынудят меня произнести ее.

Слова эти были сказаны голосом спокойным, но с твердостью и с таким достоинством, что капитан невольно был тронут и задумался. Он знал анабаптистов с давних пор и понял, что угрозами не добьется ничего. Итак, он овладел собою и продолжал хладнокровнее:

— Вы знаете человека, который живет в этом доме? Вероятно, это ваш приятель?

— Я знаю его, как все мы знаем друг друга в горах, но он мне не приятель.

— Как же вы очутились здесь?

— Разве необходимо быть приятелем того, в чьем доме находишься?

— Почему же вы здесь? Что привело вас в этот дом?

— Желание оказать услугу другому лицу.

— Говорите яснее.

— Путешественник желал идти сюда, дороги он не знал, попросил меня служить ему проводником, и я согласился.

— Кто был этот путешественник?

— Дама, которая вчера вечером просила у меня гостеприимства и нашла приют в моем доме.

— Ага! Очень хорошо, — сказал капитан с нехорошей улыбкой, — а какое же дело имела она до хозяина дома, где мы находимся?

— Не знаю, дама эта мне совсем неизвестна, дела ее меня не касаются, к чему мне было расспрашивать ее?

— Куда же девалась эта дама?

— Она ушла отсюда.

— Когда?

— С полчаса самое большее.

— Знаете вы, куда она отправилась и какое приняла направление?

— Не знаю.

— Как вы могли пробраться сюда незамеченные нами?

— Мы прибыли в этот дом за три четверти часа до вас; трактирщик, по просьбе дамы, скрыл нас в погребе, где мы и оставались долго.

— Стало быть, вы слышали все, что происходило в этой зале?

— Не только слышал все, но и видел.

Офицеры переглянулись значительно.

— Отчего же вы не ушли с этою дамой? — продолжал капитан.

— Из человеколюбия я не мог оставить несчастного раненого без помощи.

— Вы знаете его?

— Нет.

— Имя его вам неизвестно?

— Я вам сказал уже, что не знаю его.

— Каким образом были умерщвлены эти два человека?

— Они умерщвлены не были.

— Как! Вы осмеливаетесь это утверждать пред этим трупом и в присутствии умирающего? Вы лжете!

— Я вам сказал, что в жизнь свою не говорил лжи, эти два человека умерщвлены не были.

— Как же все произошло, если вы знаете?

— Знаю, я был при этом.

— Говорите.

— Тот, что ранен, поссорился с другим неизвестным мне человеком, пришедшим немного после него, оба обнажили шпаги и стали драться, да простит им Бог такое большое преступление. Пока они бились, тот, что лежит там мертвый, подкрался сзади к одному из противников и хотел убить его; тогда трактирщик, который скрывался под столом, вскочил на ноги, бросился на того человека и убил его, вот как все произошло.

— Кто ранил человека, который лежит там?

— Тот, с кем он бился.

— Куда девался этот человек?

— Он ушел.

— Один?

— Нет, с дамой, трактирщиком и его семейством.

— Когда вы в первый раз упомянули о даме, которой служили проводником, вы назвали ее путешественником.

— Действительно, назвал.

— С какой стати вы употребили это выражение по поводу женщины?

— Потому что дама перед выходом из моего дома, чтоб идти сюда, сочла нужным из предосторожности надеть мужское платье.

— Ага! В каком же она платье?

- В здешней крестьянской одежде.
- Дама эта молода и прекрасна, не правда ли?
- Она молода, но прекрасна ли, не знаю, я не посмотрел на нее.
- Когда она просила у вас приюта вчера вечером, она была одна?
- Нет, кажется, я уже говорил, что ее сопровождало несколько человек.
- Что это за люди?
- Дамы и прислуга.
- Мужская?
- Да, слуги.
- А ночью, когда шла сюда, она была одна с вами?
- Нет, двое вооруженных слуг шли впереди.
- Офицеры опять переглянулись.
- Итак, — продолжал капитан, — друзья этой дамы остались в вашем доме?
- Остались.
- И теперь должны быть там?
- Я знать не могу, что у меня в доме делается в мое отсутствие.
- Правда, мы удостоверимся в этом. Вы подтверждаете, что все, сказанное вами, в точности справедливо?
- Вполне.
- Хорошо, мы скоро увидим это; горе вам, если вы солгали!
- Старик улыбнулся презрительно, но не ответил.
- Довольно долго офицеры совещались между собою вполголоса, потом капитан обратился снова к анабаптисту, который оставался холоден, невозмутим и неподвижен.
- Вы говорите, что ваша деревня на площадке Конопляник? — сказал он. — Далеко ли она отсюда?
- В трех милях лесными тропинками.
- Что вы называете лесными тропинками?
- Дорожки, проложенные горцами.
- Удобны они?
- Едва проходимы.
- Гм! Есть же, вероятно, дороги и поудобнее?
- Есть, но надо делать бесчисленные обходы, и расстояние таким образом становится вдвое больше.
- Все равно, дороги эти вам известны?
- Известны.

— Они безопасны, широки, хорошо устроены?
— Превосходны.
— Хорошо, вы поведете нас этим путем к Коноплянику, куда мы намерены отправиться.

Старик покачал своею белою головой.

— Нет, — сказал он решительно, — проводником я вам служить не буду.

— Почему, негодяй?

— Потому что это было бы изменою и я навлек бы смерть, грабеж и пожар на родные пепелища и соседей по деревне.

— Дер тейфель! — вскричал капитан, с гневом ударив по столу кулаком. — Я сумею принудить вас!

— Попробуйте, — спокойно ответил анабаптист.

— Как смеете вы, презренная тварь, не подчиниться мне?

— Я человек мирный и никогда не боролся с кем бы то ни было, но я француз и скорее умру, чем изменю моей родине.

— А вот увидим, вы скоро запоете на другой лад.

— Не думаю, я слишком стар, чтобы из страха смерти пытаться купить предательством немногие дни, которые мне суждено еще прожить; ни ваши угрозы, ни пытки не заставят меня пособничать вам. Я в ваших руках, сопротивление бесполезно, вы можете убить меня, если дозволит Господь, но изменника из меня вы не сделаете.

— Доннерветтер!* — вскричал яростно капитан Шимельман.

В эту минуту полковник, который обходил посты и разослал во все стороны людей, чтоб напасть, если возможно, на след беглецов, вернулся в залу с спесивым видом, отличающим прусских офицеров и мелких дворян.

Увидав его, капитан замолчал, все офицеры встали и стояли неподвижно, держа руку под козырек.

— Что тут происходит? — спросил он. — *Ihr verfluchte Hunde!*** На поле вокруг слышно, как вы ругаетесь, точно язычники. Отвечайте вы, капитан Шимельман, и коротко, время не терпит.

* Черт возьми (нем.).

** Проклятые собаки (нем.).

Капитан Шимельман объяснил в немногих словах, в чем дело.

Полковник пожал плечами.

— Так он отказывается? — сказал он.

— Положительно, господин полковник.

— И хорошо знает эту дорогу?

— Он сам утверждает это, господин полковник.

— Вы не сумели взяться за это, как надо.

— Но, господин полковник, могу вас уверить...

— Молчите, — грубо перебил полковник, — молчите, капитан Шимельман, вас верно прозвали Schaafskopf*. Вы, милостивый государь, дурак.

Офицеры засмеялись при этом резком выговоре, и капитан попятился, смиренно опустив голову.

Польщенный одобрительным смехом офицеров, полковник немного повеселел и занял место капитана Шимельмана, которое тот поспешил уступить ему.

— Ну, негодяй, поди-ка сюда! — сказал он старику.

Анабаптист сделал два-три шага.

— Ближе! — приказал полковник.

Он подвинулся еще вперед.

Водворилось непродолжительное молчание. Полковник довольно долго собирался с мыслями и наконец заговорил:

— Отчего же, баранья голова, ответив хорошо на все вопросы, ты отказываешься исполнить то, что для тебя ровно ничего не значит? Отвечай!

— Очень просто, сударь.

— Говори без опасения.

— О, благодарение Богу, я ничего не боюсь.

— Что ж останавливает тебя? Зачем ты упорно отказываешься сделать то, чего от тебя требуют?

— При допросе я не мог говорить неправды, сударь, чтобы не поступить гнусно, не опозорить себя в собственных глазах. Никогда ложь не оскверняла моих губ, не в мои же преклонные лета мне лгать. Итак, я ответил по совести, хотя и против воли, но теперь дело другое: вы приказываете мне служить вам проводником и вести вас в горы, где живут мои родные, друзья и единоверцы, это уже значит изменять не только моим землякам, но и родине; никто не имеет права располагать мною против

* Баранья голова (нем.).

моей воли, я отказываюсь. Ищите другого провожатого, если вы найдете во всем Эльзасе такого подлеца, но меня хоть на куски разрубите, я шага не сделаю, чтоб указать вам дорогу к нашим жилищам.

Рокот неудовольствия поднялся между офицерами; полковник заставил его стихнуть одним движением руки и откинулся на спинку кресла.

— Хорошо, любезный друг, — сказал он старику тихим и равнодушным голосом, — мне приятно слышать от тебя подобные речи, я с удовольствием вижу, что ты любишь свое отечество и не способен изменить ему. Что бы ни говорили французы о нас, будто мы варвары, мы не хуже их умеем ценить благородство и чувство чести. Я не буду настаивать долее, не желая вынуждать тебя изменить тому, что ты считаешь своим долгом против отечества. Решив это, поговорим о другом, вероятно, ты не откажешься отвечать на некоторые мои вопросы.

— Разумеется, нет, сударь, если в них не будет чего-либо оскорбительного для моей чести, — ответил старик с твердостью.

— Эти французские крестьяне презабавны, ей-Богу! — засмеялся полковник. — Они толкуют о своей чести, словно дворяне!

— Мы не дворяне в таком смысле, какой вы, надо полагать, придаете этому слову в вашем краю, сударь, но мы дети земли свободной, и все, богатые и бедные, равны пред Богом, создавшим нас, и пред законами, установленными в 1793-м нашими отцами.

— Ты прекрасно проповедуешь, любезный друг, и кажешься мне проникнут чистейшим духом революционера и якобинца; но в сторону эти рассуждения, вернемся к делу. Скажи мне, старик, как называется место, где мы находимся?

— Вы знаете не хуже меня, сударь.

— Все равно скажи.

— Прейе.

— Очень хорошо! Что это за широкая, камнем или, вернее, плитами вымощенная дорога, которая идет мимо этого дома?

— Это древняя римская дорога, говорят, проложенная Цезарем в ту эпоху, когда римляне владели Галлией или, по крайней мере, пытались поработить ее.

— Далеко идет эта дорога?

— Не знаю, сударь, мне известно только, что она проходит через весь этот край, хотя во многих местах она сильно попорчена, следы ее простираются очень далеко.

— Где начинается она?

— Не знаю, ни где она начинается, ни где кончается, мне не случалось проходить ее во всю длину, даром что я здешний родом и никуда не отлучался во всю мою жизнь.

— Следовательно, это обыкновенный путь жителей этого края?

— Я вижу, сударь, вы хотите, что называется, окольным путем добраться до своей цели, — сказал старик с тонкой улыбкой, которая словно внезапным светом озарила его лицо, — долг велит мне предупредить вас, что этот способ удастся вам не лучше первого. Вы рассчитываете, что я попадусь в расставленную мне западню, но не преуспее в этом, дороги в нашу деревню вы не узнаете и таким приемом — лгать мне воспрещено, молчать я вправе. Итак, если вы будете настаивать по этому поводу, вы вольны, сударь, говорить что угодно, но предупреждаю вас, что я не отвечу ни на один из подобных вопросов, я останусь нем.

Сказав это, старик анабаптист скрестил руки на груди, гордо поднял голову и хладнокровно ожидал, что решат пруссаки, которые в кровавом своем опьянении не щадили ни возраста, ни пола.

— Проклятый мужик! — вскричал полковник, взбешенный новой неудачей. — Все эти негодяи эльзасцы одинаковы: из них ничего не вытянешь ни угрозами, ни обещаниями. Доннерветтер! — прибавил он, в порыве ярости плюнув в лицо старика, который на гнусное оскорбление ответил одною презрительною улыбкой. — Собака анабаптист, ты заплатишься за всех. Схватить его и связать! Посмотрим, устоит ли против нас его ослиное упрямство.

— Попробуйте, — ответил старик, оставаясь невозмутим, — я уповаю на Бога, Он не покинет меня.

— Да, да, уповай на Бога, — с злою усмешкой возразил полковник, — станет он заниматься тобою! Эй, вы! — крикнул он солдатам. — Свяжите этого негодяя.

Приказание немедленно было исполнено с надлежащим варварством.

Старик не сопротивлялся палачам; к чему бы привело это, когда он находился в их власти? Все время он оставался спокоен, с улыбкой на губах и восторженностью в блестящем зоре.

Вдруг дверь отворилась и вошел человек.

Он был высок, худощав, в черном с ног до головы, лицо имел бледное, изможденное, черты жесткие, выражение мрачное и лукавое; его глубоко сидящие, бегающие серые глазки, наполовину скрытые густыми щетинистыми бровями, сверкали как карбункулы.

— Э! — весело вскричал полковник при его появлении. — Это вы, господин Штаадт? Милости просим! Какими судьбами?

Говоря таким образом, он встал и с живостью пошел навстречу к Варнаве Штаадту, которого, вероятно, не забыли читатели.

Полковник в душе был в восторге от его неожиданного появления; несмотря на врожденную жестокость, ему тяжело было подвергнуть истязаниям бедного старика, и он обрадовался несказанно приходу почтенного пиэтиста, который давал ему неожиданную отсрочку.

Пиэтист отвесил полковнику церемонный поклон, пожал его протянутую к нему руку и сказал с холодной сдержанностью, которую ставил себе в обязанность:

— Меня привел сюда не случай, высокородный полковник; именно это место и было целью моего пути, когда три часа назад я выезжал из дома на превосходной лошади и в сопровождении одного только слуги.

— Вот оно что, — заметил полковник, который вдруг задумался, — значит, ваш дом недалеко отсюда, любезный господин Штаадт?

— Не очень, высокородный полковник, милях в двенадцати, не более.

— И вы расстояние это проехали в три часа? Дертейфель! Это скоро, любезный господин Штаадт, позвольте выразить вам мое удивление.

— О! Я не торопился, — возразил Варнава Штаадт с оттенком хвастовства, — мой рысак легко пробежит пять с половиною миль в час, когда нужно.

— Так это настоящий Буцефал, Баярд, Золотая Уздечка, словом — восьмое чудо, — воскликнул полковник смеясь. — А что же привело вас сюда среди ночи?

— Не одна, но несколько причин очень важных, высокородный полковник; я был уверен, что встречу здесь господина Поблеско, или, вернее, барона фон Штанбоу, и потому, не колеблясь, взял моего Жозюэ...

— Кто такой этот Жозюэ?

— Лошадь моя так называется.

— А, очень хорошо, продолжайте.

— И я приехал, имея крайнюю надобность видеть барона.

— Садитесь же, любезный господин Штаадт.

— С удовольствием, полковник, продолжительный переезд верхом меня утомил.

— Это понятно, с непривычки. Кстати, вы знаете, что случилось с бароном?

— Да, мне сейчас сообщили кой-какие сведения об этом, по-видимому, его убили.

— Почти — он лежит там в углу полумертвый.

— Позвольте мне осмотреть его, господин полковник. Я отчасти доктор, как вам известно; может быть, он не так опасно ранен, как кажется.

— Сколько угодно, любезный господин Штаадт, что меня касается, то я буду в восторге, если он останется жив, только я сильно в этом сомневаюсь, рана, говорят, страшная, но я не видал ее.

— Сейчас я вам дам в ней отчет.

Варнава Штаадт направился к раненому; солдат нес за ним фонарь и светил. Став на колени возле Поблеско, пизтист расстегнул его одежду, осмотрел рану, ослушал грудь и наконец исполнил то, что принято делать в подобном случае; осмотр длился долго и произведен был добросовестно; потом Варнава сделал снова перевязку, встал и вернулся к полковнику, возле которого сел.

— Ну что, — спросил его тот, — кончили осмотр? К какому заключению вы пришли?

— К удовлетворительному, высокородный полковник, к очень удовлетворительному.

— В самом деле, любезный господин Штаадт?

— Могу вас уверить, что друг наш не только поправится, но еще будет на ногах недели через две.

— Вот чудо-то!

— Напротив, это совершенно естественно, господин полковник; во-первых, барон вовсе не был умерщвлен.

— Вы думаете?

— Уверен, он проколот насквозь ударом шпаги, это означает борьбу, бой, поединок, что бы ни было, но уж никак не убийство, направление раны доказывает это, и она широка, чего не может быть при ударе кинжалом.

— Пожалуй, вы и правы, — ответил полковник и задумался.

— Я определенно прав, удар нанесли с такою силою, что эфес шпаги уткнулся в грудь и оставил синяки, от удара этого раненый упал навзничь как громом пораженный.

— Так он действительно проколот насквозь?

— Конечно, но складки плаща барона, вероятно, ввели противника в заблуждение, рана нанесена сбоку и не коснулась ни одной жизненной части тела, страшная потеря крови и удар эфеса в грудь одни причинили оцепенение, в котором он находится, но оно не возбуждает ни малейшего опасения.

— Я искренне этому рад, барон фон Штанбоу человек ума недюжинного.

— Прибавьте, полковник, что он вполне предан своему отечеству, которому оказал в это время неоценимые услуги.

— Кому это знать лучше меня! Он открыл нам путь в Эльзас и выдал все его средства обороны, словом, потеря его в настоящую минуту была бы невозполнима.

— Все, что вы изволите говорить, строжайшей точности, полковник, потому и надо торопиться подать ему помощь, которой он здесь лишен.

— Располагайте мною, если я могу сделать что-нибудь.

— Многого я не потребую, только попрошу у вас фургон и несколько человек конвоя, чтобы отвезти его ко мне, где за ним будет надлежащий уход, братья мои и я, мы достаточно знаем медицину, чтобы вылечить его. Разумнее будет не разглашать этого события, по возможности скрыть его, полагаю лишним объяснять, как эльзасцы нас ненавидят.

— К несчастью, это факт неопровержимый, эти черти французы околдовали их, не хотят с ними расставаться, да и баста!

— Терпение, — сказал пиэтист со странным выражением, — положение вещей скоро изменится, ручаюсь вам.

— Да услышит вас небо, любезный господин Шта-адт, жизнь наша здесь теперь просто каторга.

— Положитесь на мое слово, я имею верные сведения, высокородный полковник, но прошу подумать о фургоне, нашему раненому нужна помощь.

— Это правда, я и забыл, простите, я сам пойду распорядиться, прошу у вас пять минут всего.

Полковник вышел из трактира, и за ним затворилась дверь.

Площадка Конопляник

Большая зала в доме трактирщика представляла зрелище самое живописное и странное.

Смоляные факелы, воткнутые в стены, освещали комнату белесоватым светом, придавая какой-то особенный отпечаток лицам солдат и офицеров; клубы рыжеватого дыма поднимались к потолку; несколько солдат спали, растянувшись на соломе, другие бодрствовали, ожидая приказаний.

Старик, связанный по рукам и ногам, лежал на скамье, Поблеско, прислоненный верхней частью тела к стене, почти не был виден в полумраке, тело Бидермана, шпиона, убитого трактирщиком, лежало на полу в луже крови, а Варнава Штаадт сидел на стуле, погруженный в размышления.

Из внутренних комнат и даже с чердаков доносился постоянный шум; это солдаты грабили и немилосердно опустошали бедное жилище несчастного трактирщика.

Полковник оставался в отсутствии гораздо дольше, чем предполагал; прошло добрых полчаса, когда он вернулся с озабоченным видом, сердито осмотрелся вокруг и сел, не говоря ни слова, возле Варнавы Штаадта.

Тот с минуту наблюдал за ним, потом, видя, что полковник молчит, он решил заговорить сам.

— Ну что, полковник, — спросил он, — были вы так добры и велели приготовить мне фургон, о котором я вас просил?

— Все готово, вы можете уехать когда вам угодно, — ответил полковник чрезвычайно сердито.

— Как странно вы это сказали, будто рассержены, уж не я ли причинил вам неприятность?

— О, нет, любезный господин Штаадт, вы ни при чем, — ответил полковник, все такой же нахмуренный.

— Так я немедленно воспользуюсь позволением вашим, только, признаться, мне не хотелось бы оставлять вас таким образом.

— Почему же?

— Потому что хотел бы знать, полковник, прежде чем уеду, что вас так расстроило.

— Да вам-то какое дело?

— И все же скажите мне, что случилось, и я, быть может, в состоянии буду дать вам хороший совет.

— Вот вся история в двух словах. Судя по всему, я подозреваю, что человек, смело пробравшийся к нам и ранивший так опасно Поблеско, скрывается со своими сообщниками в деревне недалеко отсюда.

— И что ж, господин полковник?

— Да то, что один старый анабаптист, упрямый как мул, ни за что на свете не соглашается вести меня в эту деревню.

— Анабаптисты коварное племя, преданное французам, которые покровительствуют их языческой вере; от этого человека вы не добьетесь ничего.

— Я убедился в этом на деле, таким образом, презренный виновник преступления и его сообщники, не менее виновные, ускользнут от меня из-за вздора, из-за ничтожного указания, которое дать мог бы ребенок, из-за того, словом, что я не знаю дороги в эту проклятую деревню.

Воцарилось молчание.

— А деревня эта далеко отсюда, полковник? — спросил Варнава Штаадт свойственным ему наставительным тоном.

— В трех милях, не более.

— Знаете вы название деревни?

— Конопляник.

— Конопляник? Да я очень хорошо знаю эту деревню; вам сказали совершенно справедливо, господин полковник, она действительно в трех милях, напрямик

разумеется, если же избрать дорогу, по которой можно беспрепятственно проехать с вашими лошадьми и обозом, надо, по крайней мере, увеличить это расстояние вдвое.

— То-то и бесит меня, — вскричал полковник, — что я не знаю дорог, которые ведут к этой негодной деревушке!

— Не заботьтесь об этом, полковник, забудьте вашу досаду, проводник, в котором вы нуждаетесь...

— Что же дальше?

— То, что я доставлю его, и, ручаюсь вам, он доведет вас прямо, не сделав лишнего шага в сторону.

— Вы сделаете это, любезный господин Штаадт?

— Разумеется, когда обещаю.

— Но это займет много времени, а вам известно, что каждая минута дорога.

— Успокойтесь, полковник, вы не потеряете ни одной, потому что проводник этот я.

— Вы?

— Я сам.

— Искренно благодарю за предложение, которое, поверьте, ценить умею, хотя, к несчастью, не могу им воспользоваться.

— Отчего же, полковник?

— Вы забыли про раненого.

— Ничуть не бывало! Мой слуга отвезет его, и я дам записку к моим братьям. Они умеют лечить не хуже меня, под их наблюдением господин Поблеско не подвергнется ни малейшей опасности, да, наконец, и отсутствие мое продлится не долго.

— Если так, то я не отказываюсь и благодарю вас от всей души.

— Не благодарите меня, высокородный полковник, я жажду не менее вашего отправиться в Конопляник; там гнездо язычников анабаптистов, преданных Франции; в интересах дела, которого мы оба поборники, уничтожить это гнездо весьма важно. Подобная акция наделает много шума в Вогезских горах и послужит примером тем, которые не хотят мыслить трезво и понять, что Эльзас немецкая область и должна, следовательно, вернуться к Германии.

— Вы совершенно правы, и все будет сделано по вашему желанию. Итак, мы отправляемся вместе?

— Это решено, я попрошу у вас все, что нужно для письма, впрочем, это лишнее, при мне записная книжка, двух слов карандашом будет достаточно.

Действительно, Варнава Штаадт достал записную книжку из кармана, набросал карандашом пару слов на чистом листке, который потом вырвал и подал полковнику, сложенный вдвое.

Полковник взял его и вышел с сияющим видом.

Минут через пять или шесть на дворе раздался стук колес.

Это подъехал фургон, в котором должны были везти Поблеско.

Вошли несколько солдат, осторожно взяли раненого на руки и перенесли в фургон, где положили на постель, приготовленную для него из нескольких связок соломы и одеял, в которые его и закутали, чтоб оградить от пронзительного ночного холода.

Молодой человек не выходил из своего оцепенения и, по-видимому, не сознавал, что вокруг него происходит.

Господин Штаадт отдал своему слуге последние инструкции, тот выслушал их, держа шляпу в руках, с глубочайшей почтительностью, потом вскочил в седло и дал знак отправляться в путь. Фургон, окруженный конвоем, вскоре исчез во мраке.

— Теперь наша очередь, — сказал полковник, возвращаясь в залу в сопровождении Варнавы Штаадта, — на место, господа! — обратился он к офицерам.

Те немедленно встали и окружили начальника.

— Пора отправляться, — сказал полковник, — мы оставались здесь слишком долго. Велите снять часовых, соберите солдат, и чтоб натаскали сюда горючих веществ, надо поджечь лачугу, когда мы уйдем. Ночь темная, — прибавил он посмеиваясь, — пожар осветит нам путь и не даст сбиться с дороги. Ступайте, господа, чтоб все было готово в пятнадцать минут.

Офицеры почтительно посмеялись милой шуточке и ушли исполнять приказания начальника.

Спустя десять минут дом буквально был переполнен горючими веществами; солдат в нем уже не было, они оставили его, унося добычу, награбленную у несчастного трактирщика.

Унтер-офицер, несколько минут стоявший у двери с пятью-шестью солдатами, подошел тогда к полковнику,

который расхаживал по зале взад и вперед, разговаривая вполголоса с Варнавой Штаадтом.

— Господин полковник, — вытянувшись, сказал унтер-офицер.

— Что тебе? — спросил полковник, останавливаясь и глядя на него с неудовольствием.

— Я получил приказание поджечь эту лачугу.

— Так что ж, объясняйся скорее, скот, некогда мне тут валандаться с тобою.

— Что прикажете делать с этим человеком? Оставить его, где он теперь?

И он указал движением руки на связанного старика, который лежал на скамье.

Полковник бросил на беднягу холодный и равнодушный взгляд.

— Я забыл про этого негодяя, — сказал он, — признаться, он заслужил, чтобы я оставил его изжариться, словно загнанный кабан. Однако нет, — прибавил полковник немного погодя, — он мне еще нужен. Развяжите его, он последует за нами, вы ответите мне за него головой.

— Зачем брать на себя заботу об этом старом мужике? — заметил Варнава Штаадт с самым святым видом. — Не лучше ли предоставить его своей судьбе?

— Нет, я предпочитаю взять его с собою.

— Вы жалеете его, но напрасно, старые волки самые опасные.

— Жалею, я-то? — возразил полковник насмешливо. — Или вы вовсе меня не знаете, или шутите. Какое мне дело до этого старого негодяя? Нет, причина поважнее побуждает меня дать ему прожить еще час-другой. Он принял в свой дом шайку изменников, которую я хочу захватить врасплох, и для того-то он мне и нужен. Понимаете вы меня теперь, господин Штаадт?

— Вполне, высокородный полковник, я даже нахожу теперь, что вы были бы не правы, поступив иначе.

— Очень рад, что вы разделяете мое мнение, пойдемте, пора садиться на лошадей.

Они вышли из залы, где остались один унтер-офицер, старый анабаптист и несколько солдат.

Старик, после того как его развязали, не мог держаться на отекавших, дрожащих ногах; оборот крови медленно восстанавливался в его перетянутых жилах, он

выносил жгучую боль, но лицо его было холодно как мрамор, и ни одной жалобы не вырвалось у него.

Развязав старика анабаптиста по приказанию полковника, унтер-офицер послал двух солдат с зажженными факелами на чердак, двух других в подвалы, на свою же долю оставил большую залу и комнаты в нижнем жилье.

Впрочем, меры так хорошо были приняты и приказания исполнены с такой точностью, что менее чем в пять минут весь дом бедного трактирщика объят был пламенем, как исполинский факел.

При свете этого зловещего факела, пруссаки ушли из Прейе, оставив за собою, как всегда и везде, где бы они ни проходили, обугленные и почерневшие развалины.

Полковник и Варнава Штаадт ехали в голове колонны, которая тянулась за ними по извилистой дороге словно чудовищная змея.

Всадники пустили коней умеренною рысью и разговаривали между собою вполголоса.

После нескольких слов о безопасности дороги и времени, которое, по всему вероятно, потребуется на переезд, разговор принял оборот самый серьезный.

Полковник узнал от Штаадта, что некоторые пиэтистские пасторы в самом Страсбурге громко проповедовали в храмах присоединение к Германии, что партия пиэтистов везде подняла голову в Эльзасе и ведет ревностную пропаганду в пользу пруссаков. Партия эта силилась представить их эльзасцам как избавителей, а французов как безбожников и сынов Содомы и Гоморры.

Впрочем, поступая таким образом, пиэтистская партия только возвращалась к прежнему. Эти люди, недостойные названия французов, поступили точно так же в эпоху первого вторжения. В 1814-м и 1815-м они приложили все старания, чтоб отделить от Франции Эльзас и Лотарингию, и не успели в то время единственно потому, что сами другие державы, особенно Россия, не согласились на раздробление нашего злополучного отечества.

Теперь же Пруссия могла поступать по своему произволу, обе провинции кишели ее агентами, которые везде расточали обещания и расхваливали бесчисленные выгоды для эльзасцев и лотарингцев по возвращении в лоно немецкого отечества.

Хотя эльзасцы с презрением отказывались, пиэтисты не унывали и, напротив, прилагали еще более усилий и

пытались всеми мерами распространить свои интриги. Два негодяя, обязанных Франции всем, стали во главе этого заговора и тайно направляли все козни. Спешим заметить, что эти два изменника были родом немцы, другие пиэтистские пасторы, более осторожные, действовали исподтишка, чтоб не выдавать себя, насколько это было возможно. Вот какого рода важные известия Варнава Штаадт приехал сообщить Поблеско, а теперь, за его отсутствием, передавал полковнику.

Тот оценил все их значение и очень уговаривал Штаадта отправиться в главную квартиру и просить аудиенции у Бисмарка или у Мольтке.

По своему складу, и физическому и нравственному, Варнава Штаадт скорее походил на лисицу, чем на льва; он боялся опасности, как кошка воды, всего более опасался он выдать себя какою-либо неосторожностью. Сплетник, завистливый и скрытный, охотник совать нос не в свое дело, враг всего выходящего из ряда вон, как свойственно посредственным умам, это был один из тех коварных заговорщиков, которые постоянно выставляют вперед товарищей, а сами упорно скрываются позади, не решаются рискнуть для дела кончиком пальца, не колеблясь бросают неловких или несчастливых сообщников и принимают на себя только ответственность за успех.

Имя этим заговорщикам — легион, это подлецы, которые губят своею трусостью предприятия, в которые замешаны, и тем достойнее презрения, что всегда они же выдают наивных товарищей, обманутых ими, и без зазрения совести предоставляют их преследованиям правосудия.

Разумеется, подобному человеку совет полковника по вкусу быть не мог. Так и случилось. Достойный пиэтист выставил на вид свою скромность, робость, страх явиться таким высоким лицам. И по какому праву представится он им? Ведь он ничем не проявил себя, он лишь безгранично предан Германии. Этого недостаточно, чтоб решиться на такой важный шаг. Словом, он отказался наотрез.

Полковник холодно выслушал все эти бредни, внушенные трусостью, презрительно пожал плечами и только ответил с насмешливою улыбкой:

— Вы правы, любезный господин Штаадт, вам в совершенстве знакомо евангельское учение, и вы удачно

прилагаете его к правилам, которые обеспечат вам долгую жизнь, окруженную почетом.

Он круто переменял разговор.

Барнава Штаадт скорчил недовольную гримасу, его разгадали верно.

Между тем ехали не останавливаясь.

Занималась заря; скоро должно было взойти солнце.

— Далеко мы еще от площадки Конопляник? — вдруг спросил полковник безмолвного и нахмурившегося проводника.

— В полутора милях, — ответил пиэтист, — круг, который мы вынуждены были сделать, очень замедлил наш путь; в три четверти часа, самое большее, мы достигнем площадки, впрочем, дорога теперь уже не представит трудностей, она, как видите, извивается по склону горы до площадки, которая возвышается вот там, впереди нас.

— Ага! Это площадка Конопляник?

— Так точно, высокородный полковник; чтобы достигнуть до нее, вам проводника более не нужно.

— Действительно, теперь дорога обозначается ясно, уж не хотите ли вы оставить нас, любезный господин Штаадт?

— Какое предположение, высокородный полковник! Мне оставить вас! С какой стати, позвольте спросить? — вскричал пиэтист с притворным негодованием.

— Простите, любезный господин Штаадт, я вывел это заключение из ваших слов, впрочем, не стесняйтесь, я знаю, сколько важных дел требуют личного вашего наблюдения, хотя бы один уход за Поблеско. Теперь я не боюсь сбиться с пути; если б вы желали ехать домой, признаться, я не вижу к этому препятствия.

— Вы говорите не шутя? — с живостью спросил пиэтист.

— Любезный господин Штаадт, — ответил тот отчасти надменно, — я не шучу никогда с теми, с кем не имею чести быть на короткой ноге, только с друзьями я позволяю себе шутить. Итак, повторяю вам, я не удерживаю вас несколько, вы вольны уехать, если желаете.

— Так я воспользуюсь вашим разрешением, у меня действительно много важных дел, которые настоятельно требуют моего присутствия дома.

— Не сомневаюсь, прощайте, любезный господин Штаадт.

— Позвольте на минуту, высокородный полковник. Могу я надеяться, что вы удостоите передать его сиятельству графу Бисмарку сведения, которые я имел честь сообщить вам?

— Разумеется, с величайшим удовольствием, — насмешливо возразил полковник, — только с одним условием.

— А каким именно, полковник?

— О! Чрезвычайно простым: чтоб вы присутствовали при аудиенции, которую я испрошу у графа.

— Я! Мне представляться графу Бисмарку при настоящих обстоятельствах! Как это возможно, высокородный полковник?

— Напротив, любезный господин Штаадт, я нахожу весьма возможным и потому желаю, чтоб вы присутствовали при этой аудиенции; я сам представлю вас, это для меня будет и честь и удовольствие.

— Сохрани меня Бог! — вскричал пиэтист. — Мне рисковать таким образом, погубить себя? Никогда! Я предан Германии, это правда, но я француз, и подобный поступок был бы равносильен измене.

— А позвольте спросить, что вы делаете, если не изменяете отечеству в последние пять лет?

— Позвольте, высокородный полковник, не надо смешивать одного с другим, я участвую в заговоре, не отпираюсь от этого.

— Слава Богу!

— Но я не изменяю.

Пораженный выводом, которого никак не ожидал, полковник не нашелся ответить.

— Это вовсе не одно и то же, — с торжеством продолжал пиэтист. — Участвовать в заговорах можно сколько угодно и все-таки не быть изменником; мне нет ни малейшей охоты в случае неудачи подвергнуться суду за измену.

— Поздравляю, милостивый государь, вы превосходный казуист! — вскричал полковник смеясь. — Особенно я удивляюсь вашему способу разрешать вопросы совести.

— Итак, вы отказываете мне, полковник?

— Принимаете вы мое условие?

- К сожалению, я вынужден отказаться.
- И я ни дать ни взять в таком же положении.
- Однако речь идет о выгодах Германии.

— Я допускаю это до известной степени, но ограничусь замечанием, что я военный, а не дипломат, прибавлю даже, если вы желаете, для вящего вашего назидания, что не имею обыкновения давать другим загребать жар моими руками. Дела ваши делайте сами, любезный господин Штаадт, а теперь позвольте раскланяться.

Варнава Штаадт склонил голову при этом насмешливом объяснении, прикусил губу от досады, поклонился не говоря ни слова, повернул лошадь и ускакал.

— Уф! Как он удирает, — сказал про себя полковник со вздохом облегчения, глядя пиэтисту вслед. — Какой подлец! Он заражает воздух вокруг себя запахом измены. Наконец я от него избавился. Дер тейфель! Будем ворами, убийцами, грабителями в случае нужды, это по крайней мере война, немного жестокая, пожалуй, но лучше это, чем ремесло этого лицемерного злодея.

Только в половине восьмого утра авангард прусской колонны вышел на площадку Конопляник.

Немедленно расставили часовых на всех тропинках, которые шли от площадки, и отряд обступил деревню со всех сторон. Мирные жители деревеньки, затерявшейся в глуши, выказывали величайшее изумление при виде прусского мундира.

Очевидно, они ничего подобного не ожидали.

Однако они оставались спокойны, кротки и не выказывали ни малейшего испуга.

Немедленно приступили к строжайшему обыску домов, но это ни к чему не привело.

Не нашлось ни в одной из хижин ни ружья, ни сабли, ни даже пистолета.

Впрочем, это можно было предвидеть: анабаптисты люди мирные и войны гнушаются, на что им оружие?

Полковник, озабоченный, подергивал ус; не оружие он искал, зная очень хорошо, что не найдет, обыски имели для него иную цель — захватить мнимых убийц Поблеско, в особенности женщину, которая в предыдущую ночь явилась переодетая мужчиной. Однако напрасно обыскали дома сверху донизу, даже хлевы и конюшни: неизвестные путешественники исчезли, не оставив и следа.

Полковник приказал прочесать ближайшие окрестности, и эта мера оказалась безрезультатной.

Тогда он приказал собрать на площадь всех жителей, мужчин, женщин и детей.

Приказание это исполнили немедленно, и все население Конопляника в сто восемьдесят человек, включая детей, собралось в указанном месте.

Полковник ничего не мог понять; видно было, что все эти люди действительно крестьяне и что нет ни одного, который старался бы обмануть его; только он заметил, что все мужчины были стары. Между тем полковник нашел повод для притеснений, которые замышлял, и жадно за него ухватился.

— Где пленник? — спросил он.

— Тут, господин полковник, — ответил капитан Шимельман, движением руки приказывая старику выйти вперед.

Тот подошел к полковнику на расстояние двух шагов.

— Где мэр этой деревни? — грубо спросил полковник.

— Перед вами, — тихо ответил старик.

— Так ты мэр?

— Я, сударь.

— А! Прекрасно, — сказал он с нехорошей улыбкой. — Поручик Штейнберг!

— Что прикажете, господин полковник? — спросил молодой человек, подходя.

— Книгу.

— Вот она, господин полковник.

— Раскройте на слове «Конопляник» и читайте, а вы, — обратился он к старику, — слушайте, это касается вас.

Старик молча наклонил голову.

Молодой офицер стал читать:

— «Конопляник, округ Нижнего Рейна, деревня в тридцать пять семейств на площадке Конопляник, число жителей сто восемьдесят семь, молодых людей, способных идти на службу, семнадцать, исповедуют учение перекрещенцев».

— Пойдите, — остановил полковник и обратился к старику, — почему нет налицо молодых людей?

— Они в отсутствии.

— Где же?

— На службе, они должны были явиться в армию, когда объявили войну.

— Это неправда, ваша вера запрещает вам сражаться.

— Не все, входящие в состав армии, воины, я могу доказать вам это, — прибавил он, принимая из рук стоявшего возле него старика книгу, которую тот подавал ему.

— Любопытно бы узнать, что это за доказательство, французы так нуждаются в солдатах, что едва ли станут делать исключения в вашу пользу, особенно теперь.

— Когда исключение это было сделано, Франция боролась против всей Европы, в солдатах она нуждалась еще более, чем ныне.

— Подавай доказательство.

— Вот оно.

Открыв большую книгу, старик громким и твердым голосом прочел следующее:

— «Выписка из протокола постановлений комитета Общественного Спасения 18 августа 1793-го, II год Французской Республики.

Комитет Общественного Спасения постановляет разослать всем управлениям Республики следующий циркуляр:

Граждане! Французские анабаптисты прислали к нам депутатов от своих общин, представить, что вероисповедание их и правила воспрещают им братья за оружие, и потому они просят, чтоб в армии им давали другого рода обязанности.

Мы усмотрели в них сердца простые и думаем, что хорошее правительство должно пользоваться всеми добродетелями для общего блага. Потому мы и приглашаем вас обращаться с анабаптистами с кротостью, которая составляет их отличительную черту, не давать их в обиду и назначать им при армии такие обязанности, какие они пожелают, как-то: пионеров, или при обозе, или даже допускать, чтоб они отбывали военную повинность деньгами.

Подписали:

Кутон, Барер, Геро, Сен-Жюст, Тюрियो, Робеспьер.

С подлинным верно:

Г. Кутон, Л. Карно, Геро, Барер, Сен-Жюст».

Старик закрыл книгу и молчал.

Чтение было выслушано в глубоком безмолвии.

— Я не полагал этих террористов такими филантропами, — сказал полковник посмеиваясь.

— Это были люди с душой, преданные благу человечества, — твердо ответил старик.

— Положим, но декрет их недолго оставался в силе, он, вероятно, уже уничтожен.

— Нисколько, сударь, все правления соблюдали его до теперешнего времени, даже Наполеон I пощадил нас в дни страшных бедствий.

— Очень хорошо, мы сентиментальностью не занимаемся, гуманность не по нашей части, эти глупые теории мы предоставляем французам; когда вы будете пруссаками, то покоритесь общему закону.

— Наша судьба в руках Божьих, но мы и теперь еще французы.

Полковник закусил губу и обратился к поручику.

— Продолжайте, — приказал он грубо.

Молодой человек поклонился и продолжал читать:

— «Скот: быков 22, коров 35, баранов 227, лошадей, ослов и мулов 18, телег 12, кур, уток, гусей около 200. Фураж: соломы ржаной и овсяной около 3000 вязанок, хлеба 285 сетье, овса 431. Деньги жителям почти неизвестны; они редко имеют сношения с соседями; население тихое, честное, мирное, безвредное, мэра зовут Иоганом Шипером».

— Довольно, довольно! — с живостью перебил полковник. — Не к чему читать дальше.

Молодой офицер опять кивнул и закрыл книгу.

— Как видите, — продолжал полковник, — я имею верные сведения о вашем имуществе.

— Если бы вы потребовали от меня отчета о небольшом достоянии нашем, — возразил старик с достоинством, — я исполнил бы это со строгой точностью, мы не лжем.

— Дело возможное, теперь же вы мне выдадите половину всего, что упомянуто в списке. Даю вам полчаса, чтоб исполнить мое приказание, в случае неповиновения деревня будет сожжена.

— Позвольте почтительно заметить вам, что требование ваше заставит нас умирать с голоду, эти съестные припасы нам необходимы. Во имя человеколюбия умоляю вас довольствоваться третьей или четвертью. Мы ведь беззащитные христиане. В чем можете вы упрекнуть жите-

лей этой бедной деревни? Они не сделали никакого зла ни вам, ни кому-либо из ваших; во имя Бога, которому молитесь и вы, отмените ваше варварское приказание.

— Вы с ума сошли, честное слово! — посмеиваясь, возразил полковник. — Я могу отнять все у вас, а довольствуюсь половиною, и вы еще недовольны! Полноте! Я никогда не отменяю данного приказания; повинуйтесь, если не хотите видеть свои лачуги объатыми пламенем. Впрочем, мне еще надо свести счет лично с вами, батюшка мой, вместо того, чтобы заступаться за других, вы хорошо сделаете, если позаботитесь о себе, понимаете? Теперь ни слова.

Не слушая ничего больше, полковник дал шпоры лошади и ускакал в сопровождении офицеров, которым отдавал приказания относительно перевоза контрибуции, которою обложил несчастную деревню.

Убитые горем, но покоряясь своей участи, жители тотчас принялись приводить в исполнение варварское приказание, которое дано им было так жестоко.

ГЛАВА VI

Розги

Пруссаки везли с собою фургонов пятнадцать для склада добычи, безжалостно захватываемой во всех несчастных селениях, которых *удостаивали* своего посещения.

Фуруны эти тянулись за колонною, составляя, так сказать, мрачный арьергард. Их продвинули вперед и поставили в самой деревне. Так как на этот раз добычи было чрезвычайно много, к фургонам присоединили все телеги, какие оказались у крестьян. Тут-то немцы приступили к грабежу с систематичностью и порядком, которые они вносят во все.

Не могло быть зрелища более прискорбного и раздражающего, как эти несчастные крестьяне, принужденные притеснителями приводить им свой скот, перетаскивать свой хлеб, сено и солому и помогать складывать в исполинские фуруны все эти припасы, стоившие им столько тяжелого труда, а теперь безжалостно у них отнятые при пошлых островах, оскорбительном хохоте и наглых шутках.

Все эти несчастные анабаптисты, *эти беззащитные христиане*, как они сами называли себя, вполне характеризуют этим названием кротость их нравов, их наивное и доверчивое добродушие, не говорили ни слова, не производили ни одной жалобы, ни одной мольбы не обращали к врагам, которые обирали их так безжалостно.

— Господь дал, Господь и взял, — шептали они порою про себя, — да будет благословенно Его святое имя!

Это евангельское изречение, которое вполне передает дух смиренной и кроткой секты анабаптистов, было единственным протестом, который позволяли себе эти несчастные. Бледные, грустные, но спокойные на вид, скрывая свою скорбь в глубине души, они исполняли с обычной кротостью грубые и своевольные приказания врагов, распоряжавшихся ими, как невольниками.

Столько твердости и смирения тронуло бы диких зверей, краснокожих индейцев, на пруссаков, однако, произвело действие совершенно противное.

Они встревожились и заподозрили западню. Им казалось, что эта покорность должна скрывать измену. А между тем чего же было опасаться от сотни женщин, детей и старцев без оружия, пятистам человекам регулярного войска, вооруженного с ног до головы, знакомого с военным делом и командуемого избранными офицерами?

Полковник был зол, как с цепи сорвавшаяся собака, он то и дело кусал усы, нетерпеливо стучал кулаком по луке седла и порой устремлял на Иогана Шипера мрачный и грозный взор, от которого сильно задумался бы всякий, кто менее был бы тверд, чем мэр Конопляника.

Так же под стражею двух солдат, почтенный старик, держа прямо свою белую голову, стоял неподвижно возле лошади полковника; его бледное лицо выражало глубокую скорбь, сдерживаемую силою воли и смирением, по-видимому, ничто не могло заставить его изменить спокойствию, которое он поставил себе в обязанность.

Между тем фургоны и телеги уже нагрузили, скот согнали, пробил час отъезда, солдаты стали в ряды и ожидали одной команды, чтобы двинуться в путь.

Вдруг полковник махнул рукою, и все остались неподвижны на своих местах.

Полковник обратился к мэру, все еще стоявшему возле него.

— Подойдите, — приказал он.

Старик повиновался.

— Готовы ли вы отвечать на мои вопросы?

— Спрашивайте, сударь, — кротко сказал старик, — если вопросы ваши будут такого свойства, что я отвечать могу, то постараюсь удовлетворить вас.

— Я требую одной истины.

— Я скажу правду, ложь, как вам известно, никогда не оскверняла моих уст.

— Вы утверждаете это, но ничто мне еще не доказывает этого; мы увидим, если вы обманете меня, берегитесь.

— Мне нечего беречься, я скажу одну правду.

— Который ваш дом?

— Тот, перед которым вы находитесь.

— Это большая белая хижина, крытая соломой?

— Именно.

— Где ваше семейство?

— Вот оно здесь, возле меня.

И рукою старик указал на немного согорбленную старуху лет около шестидесяти восьми, двух мужчин лет пятидесяти, но еще бодрых и здоровых, двух женщин от сорока до сорока пяти лет и трех молодых девушек от пятнадцати до семнадцати лет, белокурых, прелестных, но еще не вошедших в силы.

— Это вся ваша семья? — спросил полковник.

— Вся, сударь.

— Внуков у вас нет?

— Три внука, они ушли два месяца назад присоединиться к своему корпусу.

— Хорошо, окружить этих людей, чтобы ни один не мог бежать.

— Зачем им бежать? — возразил старик. — Ведь они не совершили никакого преступления.

Солдаты немедленно исполнили приказание полковника.

Остальные крестьяне дрожали от ужаса и озирались растерянно, большая часть усердно молилась.

— Ваше семейство ответит мне за вас и послужит залогом, — с злою усмешкой сказал полковник.

— Я не понимаю вас, сударь, — возразил старик со скорбным изумлением.

— Будьте покойны, скоро поймете, — сказал полковник прежним тоном холодной иронии.

— Тем лучше, сударь, это необходимо, чтобы я мог отвечать вам удовлетворительно.

Полковник покосился на старика, вообразив, что тот смеется над ним, однако ничего подобного не было и анабаптист ответил в душевной простоте со всею искренностью.

Вынужденный сознаться в этом самому себе, полковник прикусил губу.

— В эту ночь убийство или покушение на убийство совершено было в вашем присутствии в Прейе?

— К несчастью, это справедливо.

— Знаете вы убийцу?

— Нет, я увидел его тогда в первый раз.

— Этого быть не может.

— Однако это так.

— Вы лжете. Среди ночи вы вышли из вашего дома с женщиною, переодетою мужчиной, этой женщине вы служили проводником и провели ее в Прейе, вместо того, чтобы расстаться с нею и вернуться домой, что было бы естественно, вы оставались при ней там и не отходили ни на минуту, она разделила с вами убежище, где скрывалась от нас. Все это буквально точно. Что вы скажете на это?

— Правду, как всегда, сударь, ту правду, которую знаете и вы не хуже меня, хотя напрасно стараетесь исказить.

— Негодяй! — вскричал полковник.

— Брань ничего не доказывает, сударь, особенно когда обращена к человеку беззащитному. Дама, о которой вы говорите, вероятно, переделалась мужчиной, потому что ей так было угодно, я взялся отвести ее в Прейе и привести обратно, одна она не нашла бы дороги ни под каким видом. Я скрывался, говорите вы. Кто же не прячется, когда вы появляетесь где-нибудь? Все бегут! Знала ли эта дама мужчин, из которых один был ранен, а другой убит, этого я сказать не могу. Что меня касается, то я их в глаза не видывал; вера моя не только воспрещает мне проливать кровь, но еще предписывает выносить все оскорбления, не пытаюсь мстить, я всегда повиновался этому божественному учению; итак, нельзя обвинять меня в содействии печальным событиям, происшедшим в Прейе; я мог бы бежать, как меня уговаривали, но раненому необходима была помощь, я остался, несмотря на опасность, которой мог подвергнуться, и, перевязав раненого, не дал ему изойти кровью, как вы сами могли удостовериться.

— Положим, — грубо сказал полковник, нахмурив брови, — а даму, которой служили проводником, вы знаете? Вероятно, ее в вашем присутствии называли. Имя ее?

— Я не знаю, она просила у меня приюта, и я открыл ей дверь моего дома; не расспрашивают гостей, посланных Богом.

— Не одна же она явилась к вам?

— Нет, ее сопровождало несколько дам и четверо или пятеро вооруженных слуг. Я уже имел честь говорить вам все это, сударь, к чему повторять одно и то же?

— К тому, чтобы вы сказали, что случилось со всеми этими людьми, понимаете теперь?

— Как мне это знать, сударь? Ведь я был в отсуствии, когда они оставили мой дом.

— Я не к вам теперь обращаюсь, а к вашему семейству.

— Мы готовы отвечать, сударь, — ответил один из мужчин, сделав несколько шагов по направлению к полковнику.

— Говорите, что знаете.

— Это легко, сударь. Сегодня утром, около четверти пятого, я только вставал, когда услышал сильный и то-ропливый стук в дверь, и поспешил отворить. Очутился я перед кучкой неизвестных мне людей. Удивленный, я спросил, что им надо, и один из них ответил, что они спешат и времени не имеют для разговоров, что сейчас надо будить путешественников и все готовить к отъезду. Не слушая меня более, они вошли в дом, хотя я пытался удержать их. Дамы оделись менее чем в пять минут, и не прошло четверти часа, как неизвестные и путешественники с их слугами уже были далеко. Вот все, что я могу сказать вам, более того не знаю.

— Быть может, — заметил полковник с видом озабоченным. — Какою дорогою поехали они?

— Тою, что называется тропинкою Шенере; она идет к Саверну.

— Вы знаете Саверн?

— Нет, но здесь говорят, что тропинка эта выходит на дорогу из Саверна к нижним площадкам в двух-трех милях отсюда. Более вы ничего знать не желаете?

— Напротив, постойте еще.

— К вашим услугам, сударь.

— Вы не подозреваете, кто были неизвестные люди, которые пришли за путешественниками?

— Очень трудно составить себе какое-либо мнение на этот счет, сударь; с начала войны у нас в горах

столько перебивало людей, которых мы прежде не видавали.

— Как были они одеты?

— На них были широкие черные бархатные штаны, засунутые в высокие сапоги, черный шерстяной пояс и кожаная португеза, к которой прицеплялись патронташ и сабля-штык, не говоря о большом многоствольном пистолете, нового изобретения, если не ошибаюсь. Они имели казакины из толстого сукна, мягкие поярковые шляпы с широкими полями и что-то вроде охотничьей сумки из холста, перекинутой через плечо, у каждого было ружье в руках, какие дали войску, кажется, года два-три назад.

— Да, шаспо.

— Действительно, мне помнится, что так их и называли. Вот все, что я могу сказать вам об этих людях.

— Это вольные стрелки, я не имею и тени сомнения на этот счет.

— Быть может, сударь, я не знаю этого.

— А я знаю, как и то, что мнимая ваша откровенность — одна ложь, чтобы обмануть меня; вам отлично известны те, кому, вы говорите, будто оказали только гостеприимство; сношение этих лиц с вольными стрелками, присутствие одной из путешественниц в Прейе в эту ночь положительно доказывают их соучастничество в преступлении, там совершенном. Теперь вслушайтесь-ка повнимательнее в то, что я скажу: я вполне убежден, что вы знаете многое, что упорно от меня скрываете; я даю вам пять минут на размышление, если спустя этот срок вы не решитесь сознаться мне с полной откровенностью — доннерветтер! — я накажу вас так, что через сто лет еще будут говорить об этом с ужасом.

— Мы не можем сказать ничего более, потому что не знаем.

— Молчать! Одумайтесь, вы имеете еще пять минут срока.

Бедные люди смиренно опустили головы, они признавали себя в когтях тигра.

Полковник отъехал, разговаривая с офицерами.

Он бесился в душе, что не мог захватить ни единого из тех, кого думал застать врасплох, все его враги насмеялись над ним и ускользнули у него меж пальцев с ловкостью, которая окончательно приводила его в ярость; если он не изловит виновных, то все равно по-

платятся за всех невинные; он хотел страшным примером нагнать страх на этих дерзких горцев, которые несмотря ни на что осмеливались противиться немецкому войнству.

Однако все члены семьи мэра оставались спокойны, смиренны и невозмутимы среди цепи солдат, которые окружали их и бдительно караулили, за ними стояли остальные жители деревни, объятые невыразимым ужасом.

Полковник вернулся к этой группе вскачь, сопровождаемый всем своим штабом, и остановил лошадь перед стариком.

— Ну что, — грубо и грозно спросил он, — обдумали ли вы и приняли наконец решение мне повиноваться?

— Я не понимаю вас, — с твердостью возразил старый анабаптист, — я исполнил все ваши требования, ответил на все ваши вопросы, чего же вы хотите еще?

— Без уловок, негодяй! — крикнул полковник с гневом. — В последний раз спрашиваю, хотите или нет открыть имена презренных, кому вы изменнически дали приют и в чьем преступлении в эту ночь вы соучаствовали, и сознаться мне, какими средствами им удалось уйти от справедливого возмездия?

— Я повторял вам уже неоднократно, сударь, что не имею понятия о том, что вы спрашиваете, особ этих я не знаю, имена их мне неизвестны, я не имею понятия, как они уехали и куда скрылись, в ваших руках сила, вы можете убить, но вам не удастся заставить меня произвести ложь или сделать низость, чтоб сохранить несколько минут жизни, которые мне еще суждено прожить на земле.

— А! Так-то! — вскричал полковник в ярости. — Вот мы увидим!

— Я готов на пытку и на смерть, поступайте же как угодно, — возразил старик с редким величием.

Полковник бросил на него взгляд гиены и обратился к своим офицерам.

— Вы все свидетели, господа, — сказал он прерывающимся голосом, — какое упорство оказывает этот подлец?

Офицеры почтительно склонили головы.

— Когда меня вынуждают к этому, правосудие должно быть совершено, и правосудие страшное, — прибавил он со свирепую усмешкой, — мы увидим, увидим!

И он сказал капитану Шимельману:

— Велите взять этих трех женщин, обнажить их до пояса и крепко привязать к деревьям.

— Которых женщин, господин полковник? — почтительно спросил капитан.

— Вот этих, — указал полковник на трех молодых девушек.

Несчастные помертвели; они едва вышли из детства, старшей только что минул восемнадцатый год, младшей было пятнадцать. От первого озноба они задрожали всем телом, лица их исказились от ужаса и выразили безумный страх, они дико озирались вокруг и с посиневших губ их только срывались слова, последний протест попанной стыдливости:

— О, мама, мама!

И они по безотчетному побуждению искали защиты в объятиях матерей.

Выражение голоса их раздирало душу, в этих нежных голосах звучало такое отчаяние, что даже солдаты почувствовали невольную жалость, эти грубые натуры, равнодушные рабы кровавого деспота, имели матерей и сестер в своем краю, нежных существ, любимых, быть может, оплакиваемых ими, природа все-таки берет свое: как велико ни было их бесстрастное повиновение, глубокая жалость овладела их сердцами пред этою молодостью, красотой и невинностью, они остановились.

Один полковник держался прямо и гордо на лошади и, с сигарою во рту, смотрел на эту сцену с видом насмешки. Содрогание ужаса, подобно электрическому току, пробежало по рядам толпы, повергнутой в оцепенение от такого цинического варварства.

Продолжительный стон поднялся к небу, единственный и трогательный протест несчастных против такого чудовищного злоупотребления власти.

— О! — вскричал полковник с грозною усмешкой. — Эти негодяи, кажется, смеют бунтовать? Эй, вы! Прицелиться в них и стрелять, если пикнет хоть один.

Старик сделал шаг вперед и воздел руки к небу.

— Молчите, — сказал он голосом, полным страдания, — молчите, беззащитные христиане, час великих испытаний пробил для вас, вспомните ваших отцов, подобно им смиренно склоните головы и покоритесь без малодушия и без страха жестокой каре, по всемогущей

воле Господа нашего возлагаемой на вас для искупления грехов.

Полковник презрительно пожал плечами.

— Хорошо проповедует, — сказал он посмеиваясь, — к несчастью, это проповедь в пустыне.

При первых словах старика все головы склонились, всякое волнение затихло, толпа, уже безмолвная, покорилась.

Полковник с досады прикусил губу и накинудся на солдат.

— Доннерветтер! — вскричал он грозно. — Разве мне повторять приказание? Схватить этих девчонок и привязать!

— Погодите, ради Бога! — воскликнул старик, и по лицу его заструились слезы.

В душевной тоске он почти бессознательно ухватился за повод лошади полковника.

— Не трогай, негодяй! — крикнул полковник и ручкой пистолета ударил старца по голове.

Тот грохнулся оземь с раскрытым лбом, но тотчас опять встал на ноги, отирая кровь, которая ручьем лилась из его раны.

— Я совершил вину, — сказал он с раздирающею улыбкой, — вы и наказали меня, это справедливо, но я умоляю вас именем всего, что есть наиболее святого в мире, именем того же Бога, которому поклоняетесь и вы, пусть одна моя кровь прольется сегодня! Разве мы виновны, разве мы должны отвечать за эту страшную войну? Мы, население безобидное и ничего не знающее о делах света? У вас есть же сестры, матери, жены, которые любят вас и на родине вашей оплакивают ваше отсутствие; во имя этих дорогих существ, будьте милосердны, будьте людьми. Самые свирепые дикие звери и те любят своих детенышей, защищают их, дают убить себя за них, не будьте же безжалостнее диких зверей, вспомните ваших матерей, ваших сестер и пощадите стыдливость и невинность бедных детей, которые не сделали вам ничего, не тираньте женщин, будьте милосердны к слабым, дабы Господь, когда станет судить вас, также оказал вам милосердие...

— Кончил ты свою проповедь? — перебил полковник со злою усмешкой. — Предупреждаю, терпение мое истощается.

— Еще слово, одно слово, умоляю вас!

— Говори, но смотри, коротко.

— Если ничем удовлетворить вас нельзя, если вы жалости не знаете, если сердце у вас каменное, — продолжал старик еще с большею убедительностью, — если вам непременно нужна кровь, чтоб насытить вашу ярость против всех, кто носит название французов, здесь есть мужчины, и немало их; возьмите нас всех, велите сечь, расстрелять даже, если так угодно, мы умрем с радостью, чтоб спасти тех, кого любим; но ради самого неба, сжальтесь над женщинами, над нашими детьми, не выставляйте обнаженных дочерей наших насмешкам ваших солдат, оскорблениям и поруганию; мы готовы на казнь, берите нас!

— Да, берите нас! — вскричали мужчины в один голос. — Мы готовы!

Полковник засмеялся.

— Скоты эти воображают о себе Бог весть что, — вскричал он, — не понимая того, что жизнь их в моих руках, что вздумается мне, и они все будут расстреляны по одному моему знаку. Ну, молчать, — крикнул он, — а вы — слушать команды!

У крестьян вырвался крик ужаса.

Старик с мольбою сложил руки, и они замолкли; не слышно было другого звука, кроме подавленных вздохов и рыданий женщин.

Три молодые девушки грубо были вырваны из объятий убитых горем матерей.

Несмотря на их слабое сопротивление — увы! скорее безотчетное, чем сознательное, последний протест стыдливости, низко поруганной, — с них сорвали одежду и, обнажив до пояса, привязали к деревьям.

Зрелище было ужасное. Три бедные девочки, бледные, с чертами, искаженными от стыда и горя, почти в обмороке, обезумев от ужаса и оскорбленной стыдливости, заливались слезами, а возле них стояли, холодные, бесстрастные и суровые, три унтер-офицера, вооруженные каждый длинным, гибким прутом, ожидая, со зором, устремленным на начальника, команды приступить к казни, а пред ними все население деревни, старики, женщины и дети, в безграничном отчаянии ломали руки, возводили очи к небу и плакали навзрыд почти под дулом направленных на них ружей.

Над всею этою картиной, которая казалась тяжелым сновидением и едва ли когда-нибудь могла быть создана

фантазией Кало или Брейгеля, господствовала группа офицеров.

Цивилизация как будто ушла на три века назад, и вернулась эпоха полного варварства.

— Однако пора покончить с этим, — продолжал полковник, — время уходит, нам следовало бы уже быть далеко: мы поступили очень неосторожно, углубившись в горы на такое расстояние без подкрепления.

— Разве вы действительно станете сечь их, господин полковник? — робко спросил поручик.

— Фердамт! Не воображаете ли вы, что я для одного удовольствия вашего выставил их вам напоказ? — возразил полковник, нахмутив брови.

— Жаль будет исполосовать кровавыми чертами это упругое и красивое тело такого дивного розового цвета, — заметил капитан Шимельман со вздохом сожаления.

— Вы глупец, капитан, — грубо остановил его полковник, — бросьте чувствительность, мы здесь на войне, эти люди наши враги, они не хотели нам покориться и подняли нас на смех, нужен страшный пример, от которого ужасом объяло бы этих мятежных горцев.

— Справедливо, господин полковник, простите, я говорил необдуманно, — смиренно ответил капитан.

Полковник презрительно пожал плечами и обратился к старику, который не думал отирать кровь, струившуюся из его раны.

— Подойдите, — приказал полковник.

Анабаптист тихо подошел.

— Я согласен, — грубо сказал полковник, — отсрочить казнь этих девушек, даже готов помиловать их, но предупреждаю, помилование зависит от одного вас, вы держите в своих руках жизнь их и смерть, вы можете спасти их, если хотите.

— Что мне сделать для этого? — с живостью вскричал старик.

— Точно вы не знаете! Откажитесь от мнимого своего неведения, не настаивайте на том, чтоб обманывать меня, — словом, сообщите мне те сведения, которые я неоднократно от вас требовал, говорите, я слушаю вас.

— Увы, — ответил старик, в отчаянии ломая руки, — вы требуете от меня того, чего я исполнить не могу, я ничего не знаю, могу вас уверить. Неужели вы

думаете, что я давно бы не ответил вам, если б мне что-нибудь было известно? Беру Бога в свидетели, что удовлетворить вас мое искреннейшее желание.

— Все то же упорство во лжи! — вскричал с раздражением полковник. — Хорошо же, пусть вся гнусность этой казни падет на вас одних, вы хотите ее, вы меня вынуждаете оставаться неумолимым.

Он взмахнул саблей и крикнул палачам:

— Делайте свое дело!

Прутья свистнули и как ножом резнули девушек по обнаженной груди.

Страшный крик исторгла у них боль. Вопли ужаса и отчаяния поднялись в толпе. Мужчины, женщины и дети бросились не противиться этому возмутительному истязанию, беднякам этого не пришло бы в голову, но собою заслонить несчастных.

Пруссак не понял, или, вернее, прикинувшись, будто не понимает этого невольного изъяснения всеобщего негодования.

— Пли! — скомандовал полковник.

Дула ружей опустились вновь, и раздался страшный залп.

Вместо того чтоб бежать, крестьяне теснее прижались один к другому и, взмахнув шляпами в воздухе, вскричали в один голос:

— Да здравствует Франция!

— Пли! — опять скомандовал полковник.

Вторично грянул залп.

— Да здравствует Франция! — снова воскликнули крестьяне в порыве восторженной преданности, призывающей смерть.

Так продолжалось залп за залпом, вслед за каждым крики «Да здравствует Франция!» постепенно становились слабее.

После пятого залпа настала мертвая тишина.

Все население деревни было истреблено*.

— Ага! — вскричал полковник, поднося к губам сигару, которую не переставал курить во все время этого жестокого побоища. — Гнездо ехидн, кажется, раздавлено, в живых не осталось ни единой.

* Это ужасное событие — исторический факт; доказательства в наших руках. (Примеч. автора.)

Вдруг человек, или, вернее, кровавый призрак без человеческого образа, поднялся из груды тел, стал перед полковником и, брызнув ему в лицо несколькими каплями крови, струившейся из его ран, произнес могильным голосом:

— Каин! Будь заклеямен как первый убийца! Каин, проклинаю тебя! Проклинаю... убийцу женщин, детей и старцев!

Полковник протянул руку к седельным чушкам, но не успел взять пистолета, как раненый уже упал навзничь; он был мертв прежде, чем коснулся земли.

— Господа, — холодно сказал полковник офицерам, отирая забрызганный кровью лоб, — нам здесь нечего делать более, надо поджечь эти хижины и двинуться в путь.

Приказание было исполнено тотчас, и вскоре несчастная деревня изображала собою один громадный костер; после населения истреблялись жилища, пруссаки действовали сообразно своей неумолимой системе.

Спустя двадцать минут колонна, впереди которой ехали фургоны и телеги с добычею, выходила из деревни по дороге, лежавшей к прусскому лагерю.

Позади себя неприятель оставил смерть и развалины как несомненные признаки своего прохода.

Одиннадцать часов пробило на отдаленной колокольне в ту минуту, когда последний прусский солдат скрылся из виду за склоном горы.

Здесь Мишель делается партизаном

Когда карета, в которой уехала баронесса фон Штейнфельд, наконец скрылась вдали за изгибами дороги, Мишель Гартман, глубоко потрясенный последними словами молодой женщины, вернулся в трактир и опустился, скорее, чем сел, на стул возле стола.

Если б Мишель менее был озабочен собственными делами, он заметил бы, идя в залу трактира, хотя это составляло всего несколько шагов, странную сцену на площади, героем которой, совсем против его воли, оказался толстяк трактирщик.

В первые минуты временного занятия деревни вольные стрелки поглощены были необходимыми мерами осторожности; покончив со всеми распоряжениями, они стали бродить без цели, разинув рот и зевая по сторонам.

Разумеется, первое, что привлекло их внимание, это была вывеска, так странно измененная, которая скрипела на железном пруте над дверью трактира.

При виде ее между вольными стрелками поднялся большой шум.

Одни хохотали до упаду, другие, напротив, негодовали на то, что им казалось вопиюще изменою отечеству.

Крики, хохот, ругательства и угрозы сливались в одно и, становясь все громче, грозили вскоре привести к неприятному осложнению, особенно для трактирщика.

Тот сначала только смеялся над этой суматохой и даже пытался остановить бурю, но вскоре страх овладел им уже не на шутку, так как самые восторженные хотели просто-напросто повесить его вместо вывески, и это эксцентричное предложение, по-видимому, принималось большинством чрезвычайно благосклонно.

Решительно, дело принимало опасный для трактирщика оборот; те из вольных стрелков, которые сперва только смеялись, пришли также в негодование, разделив взгляд товарищей.

Бедного трактирщика, бледнее его передника, с диким взором, коснеющим языком и чертами, искаженными ужасом, рассвирепевшие волонтеры толкали и дергали во все стороны; двое-трое из них сняли несчастную вывеску, на ее место продели веревку с петлей и, несмотря на оказываемое трактирщиком упорное сопротивление, со зловещей настойчивостью толкали все ближе к роковой веревке; уже она качалась почти над его головой, уже несколько вольных стрелков, приверженцев быстрой расправы, готовились накинуть ему на шею петлю, когда кто-то стал раздвигать сильною рукою направо и налево толпу, заграждавшую ему проход, пробрался сквозь ее тесно сплоченные ряды до несчастного пленника и вырвал, ни живого ни мертвого, отчаянным усилием из державших его рук.

Этот человек был Петрус Вебер.

Вольные стрелки боготворили храброго сержанта более всего за его отвагу, но и за доброту при неизменной веселости, которая лежала в основе его характера и проявлялась в нем так комично при его длинном, сухощавом теле, бледном лице, могильном голосе и призраку подобной фигуре; каждый из волонтеров дал бы убить себя за этого веселого малого, такого преданного и исполненного души.

— Что у вас тут делается, товарищи? — спросил он у вольных стрелков с самым удивленным видом, глядя через очки.

— Ничего, сержант, ровно ничего, мы забавляемся, — ответили те в один голос.

— Прекрасно, ничего не может быть проще, но если положиться на мои очки, то ваша игра очень походит на ту, которую в Америке называют *судом Линча*.

Стрелки засмеялись.

— Это игра превосходная и чрезвычайно быстрая; словом, вы хотели линчевать малую толику этого почтенного трактирщика и заменить его вывеску им самим. Мысль превосходная, я не вижу ни малейшего неудобства к ее исполнению, будет только изменником и шпионом меньше, и то их довольно останется.

— Bravo! — вскричали вольные стрелки. — Да здравствует сержант Петрус!

Петрус раскланялся; трактирщик не знал, что с ним будет, тем более что выпустившие было его руки опять протягивались к нему.

— Позвольте минуту, — сказал Петрус самым мрачным голосом, — этот негодяй будет повешен, это решено и подписано, но прежде всего надо же объявить ему, за что он подвергается суду Линча; это поможет ему перейти в иной мир с большею твердостью. В каком преступлении виновен он?

— Вот его преступление, сержант, взгляните на эту вывеску, — сказал один из вольных стрелков, указывая на железный лист, брошенный на землю.

— Гм! — сказал сержант и тщательно протер стекла своих очков. — Дело нешуточное; исполнено-то оно, впрочем, самым жалким манером.

— Веревку! Накинуть веревку! — крикнули вольные стрелки.

— Погодите же, как вы торопитесь!

— Да ведь не я это сделал, мои добрые господа! — жалобным тоном взмолился трактирщик.

— Не хнычьте, любезнейший, вы просто безобразны! — торжественно объявил Петрус. — Молчите, ваше преступление чудовишно.

— Пощадите меня, я бедный отец семейства!

— Нечего сказать, хорошо гнездо скорпионов! Так умирать-то не хочется?

— О, пощадите, умоляю вас!

Петрус с минуту как будто собирался с мыслями и вдруг заговорил с обычной мрачностью:

— Товарищи, мне пришла идея.

— Нет, нет! Веревку скорее!

— Тише, пожалуйста, если не понравится вам моя идея, еще времени будет довольно прибегнуть к веревке. Хотите выслушать меня?

— Да, да, говорите!

— Повесить трактирщика очень забавно, в особенности когда субъект так безобразен, как тот, что у вас теперь в руках; но удовольствие-то это продолжается не долго, а хуже всего, что оно ничего не приносит; итак, мне пришла на ум другая мысль.

— Которая принесет что-нибудь? — насмешливо спросил один стрелок.

— Мысли всегда приносят что-нибудь, олух, хотя бы палочные удары. Боже! Как этот малый туп!

— Благодарю, сержант.

Все остальные засмеялись.

— Не за что, — ответил Петрус, подмигнув из-за очков, — итак, вот моя идея; вслушайтесь хорошенько, я нахожу ее превосходною. Все мы сделали большой и утомительный переход по отвратительнейшим дорогам, разумеется, мы против воли наглопались пыли и потому чувствуем голод и жажду...

— Страшную жажду особенно! — вскричали вольные стрелки смеясь.

— Это мнение разделяю и я; вопрос теперь состоит в том, чтоб отыскать обед, а едва ли будет легко добыть его в этой жалкой деревушке; на ваше счастье, я нашел средство получить все, в чем мы нуждаемся.

Трактирщик, который во время этих прений несколько приободрился, опять задрожал всем телом; он угадал, что ему надо будет раскошелиться на всех.

Сержант продолжал:

— Если б мы были пруссаки, то заставили бы этого негодяя вытереть своим подлым языком гнусный рисунок, которым он запятнал свою вывеску, но мы французы, мы убиваем врагов в бою, но пленников не терзаем. Вывеска немедленно будет разбита молотком на куски, а трактирщик должен содержать нас на свой счет во все время, пока мы останемся здесь, то есть он приготовит нам хороший обед и позаботится о напитках.

— Браво, браво! Да здравствует сержант! — весело закричали вольные стрелки так усердно, что гул пошел по воздуху.

— Стало быть, вы принимаете мое предложение?

— Да, да! Принимаем, принимаем!

— Понятно, — продолжал Петрус самым наставительным тоном, — что в случае какого-либо недостатка в обеде относительно количества или качества или если

вина окажутся подмешанными, мы всегда еще можем повесить пленника за десертом; для большей верности оставим веревку висеть наготове, нельзя знать, что случится. А вам, — обратился он к трактирщику, — я даю четверть часа, чтоб приготовить вышеназванную трапезу; итак, почтеннейший, не теряйте ни минуты.

Трактирщик было запротестовал, кажется, он жалел денег больше жизни.

Петрус захохотал ему под нос.

— Не забывайте, — сказал он, — что командиры наши обедают с нами. — И, наклонившись к его уху, прибавил шепотом: — Повинуйтесь, верьте мне, это единственное средство спасти вашу презренную жизнь, мне известна некоторая история о фургонах.

— О! Сударь, — с живостью перебил трактирщик, сложив руки с мольбою, — сущая клевета, клянусь вам, не упоминайте об этом ради самого неба, или я погиб!..

— Ага, — посмеиваясь, возразил бывший студент, — какое у вас быстрое соображение, черт возьми! Вы угадываете то, чего я не успел еще выговорить. Это настоящее чудо! Но пусть так, я буду молчать, на первый случай по крайней мере, с условием, вам известным.

— Обещаю, сударь, исполнить все, что вы приказываете.

— Более того не требую, — величественно ответил Петрус, — ступайте-ка на кухню, приятель, и держите ухо востро.

Окончательно побежденный, трактирщик молча склонил голову и пошел большими шагами к своей кухне.

Чтоб убить время до обеда, волонтеры стали ломать вывеску.

Вынужденный покориться необходимости, трактирщик усердно принялся за дело при помощи своих слуг. Последние слова, которые сержант шепнул ему на ухо, встревожили его не на шутку, он даже помирился с контрибуцией, к которой приговорил его Петрус, только имея в виду усердием восстановить себя в добром мнении вольных стрелков. Совесть его не совсем была чиста насчет кой-каких щекотливых вопросов, почему оказывалось весьма важно избежать опасных столкновений; относительно некоторых вещей вольные стрелки шутить не любили.

Спустя полчаса обильный обед, настоящая эльзасская трапеза, подан был на два стола; один с четырьмя приборами, для Мишеля, брата его Люсьена, Петруса и Паризьена, другой же для двенадцати вольных стрелков, которые сопровождали их.

По знаку Петруса все весело сели за стол.

Только тогда заметили отсутствие Паризьена; напрасно искали его по всему дому и деревне: его не оказалось нигде, к тому же никто не видел его с самого выхода из лагеря.

— Нужды нет, — сказал Мишель, к которому, по виду судя, вернулась обычная его беспечность, — нечего о нем заботиться, он не замедлит явиться. Я с давних пор знаю этого молодца, пожалуй, он не так далеко, как мы думаем. Он наверно покажется в ту минуту, когда мы наименее будем ожидать этого. Где бы ни был он теперь, нет сомнения, что он работает для нас; итак, не стоит о нем беспокоиться.

После этого уверения сели за стол, и так как очень проголодались, завтрак подвергся сильному нападению.

Трактирщик исполнил свое дело хорошо, кушанья и напитки — все было превосходно и подано в изобилии; особенно напитки подливали так усердно, что Петрус, который всегда держал ухо востро и по причинам, ему одному известным, сильно не доверял трактирщику, счел благоразумным положить предел щедрости, ничем в глазах его не оправдываемой, и, к великому сожалению волонтеров, велел унести пиво и водку, которых излишнее употребление могло повлечь за собою самые неприятные последствия не только для соблюдения порядка в небольшом отряде, но и для его безопасности.

После обеда Петрус шепнул двум вольным стрелкам, которым наиболее доверял, чтоб они глаз не спускали с трактирщика и следили за всеми его передвижениями, а потом опять вернулся к столу, где Мишель разговаривал со своим братом, Люсьеном, куря громадную фаянсовую трубку, с которою, как известно, никогда не расставался.

— Что предпримем, капитан? — спросил он между двух клубов дыма у Мишеля. — Остаться нам или уходить?

— Вам незачем спрашивать это у меня, любезный Петрус, — дружески возразил тот, — вы сами знаете не хуже кого-либо, что надо делать.

— Конечно, капитан, в известной степени это справедливо; я получил инструкции, но они чрезвычайно растяжимы и дают мне широкий простор для действий, потому-то я и обращаюсь к вам с вопросом: оставаться нам или уходить?

— Что до меня, то, откровенно говоря, я не намерен возвращаться в лагерь; как явится Паризьен, я отправлюсь в путь.

— Очень хорошо, капитан, это называется говорить ясно; я вполне одобряю вас. Вы, конечно, торопитесь увидеть скорее добрую госпожу Гартман и вашу прелестную сестру.

— О, если б и я мог идти с тобою, — вскричал с живостью Люсьен, пожимая Мишелью руку, — как был бы я счастлив!

— Что делать, брат, когда это невозможно, — грустно возразил Мишель, — на тебе лежит священная обязанность.

— И ты знаешь, что я не изменю ей, но так как тебе предстоит счастье увидеться с матушкою и сестрою, передай им, как прискорбна мне разлука с ними и как велика будет радость моя, когда и мне наконец выпадет на долю видеть их и заключить в объятия.

— Добрый, милый Люсьен, — ответил растроганный Мишель, — поверь, я тщательно сохраняю в моем сердце твои слова и не забуду ни одного.

— Итак, капитан, — снова вмешался в разговор Петрус, — вы ожидаете только Паризьена, чтоб отправиться в путь?

— Только, но отчего вы настаиваете на этом, любезный Петрус?

— Простите, капитан, мне показалось... видно, я ошибся и потому не скажу ничего более.

— Полноте, любезный Петрус, не уклоняйтесь, скажите вашу мысль, скрывать нечего, черт возьми, ведь вы меня знаете.

— Разумеется знаю, капитан, и этим горжусь. Я начинаю замечать, что я осел; итак, будем считать, что я не говорил ни слова.

— Напротив, извольте объясниться, я очень этого желаю, вы не из тех людей, которые болтают, сами не зная что, вы тщательно взвешиваете каждое ваше слово, прежде чем раскроете рот.

Петрус засмеялся.

— Вы чересчур проникательны для меня, капитан, — продолжал он, — лучше повиноваться немедленно. Вот дело в двух словах: так как я постоянно везде шныряю и разнюхиваю, и мой приятель Оборотень не имеет от меня тайн, он сознался мне в вашем намерении, в силу отпуска и совершенной невозможности примкнуть к французской армии, стать во главе нескольких смельчаков, настоящих головорезов.

— Это совершенно справедливо, любезный Петрус.

— Итак, почему вы отказались принять командование альтенгеймскими вольными стрелками? Простите, что говорю так откровенно, но вы сами вынудили меня.

— Вам нечего извиняться, мой друг, я отказался от этого командования, которое иначе принял бы с гордостью, по двум важным причинам: первая, что ваш командир человек очень способный, честный и храбрый солдат, которого я люблю и никогда не соглашусь сместить; вторая, что для той цели, которую я имею в виду, мне нужно не много людей, но таких, чтобы они готовы были на все и, по вашему же выражению, были сущими головорезами; наконец, если хотите знать мою мысль до конца, мне хочется быть свободным вести войну так, как считаю нужным, не спрашивая ничьих приказаний или советов.

— Вот это я называю говорить толком. Ведь Оборотень должен привести сюда людей, которых обещал доставить вам.

— Да, именно сюда, любезный Петрус. Оборотень и Паризьен теперь заняты набором моих новых солдат, я ожидаю их с минуты на минуту.

— Они не замедлят явиться, — ответил Петрус, потирая руки, — пусть их прежде придут, а тогда я готовлю вам маленький сюрприз.

— Приятный? — спросил с улыбкой Мишель.

— Друзьям я других не делаю, сами увидите. Пойдите, — прибавил он, прислушиваясь, — Оборотень должен находиться поблизости, Том лает. Вы знаете, что собака и хозяин неразлучны.

Действительно, слышен был отдаленный лай, который быстро приближался.

Через несколько минут собака примчалась в залу, лаем и прыжками выражая свою радость, и бросилась вон так же стремительно, как прибежала.

— Что вы об этом думаете, капитан? — спросил Петрус у Мишеля своим насмешливым тоном.

— Так ты составляешь партизанский отряд, Мишель? — спросил Люсьен.

— Я вынужден в этом сознаться, когда наш приятель заявил вслух.

— Вы недовольны мной, капитан?

— Ничуть, разве не все равно немного ранее или позднее сообщить вам это, когда кончить тем все-таки надо?

— Правда, и будьте уверены, каяться не станете.

— Любезный друг, — сказал со смехом Люсьен, — ты настоящая живая загадка.

— Загадка из плоти и крови, — объяснил бывший студент тем же тоном, — но успокойся, это не надолго. Каждый из нас имеет свой долг и, с Божиею помощью, исполнит его.

— Аминь! — заключил Паризьен, входя. — Что это, всенощная здесь разве идет?

— Ага! Вот и ты, бегун! — сказал Мишель, подавая ему руку.

— Поистине бегун, командир, должно быть, я легок на ногу, честное слово, если выдержал то, что пришлось сделать сегодня.

— А что, много рысил, видно?

— Как заяц летал; и пересохло же у меня в горле, доложу вам, — заключил он, наливая себе пива в огромную кружку.

— Куда же ты девал Оборотня?

— Он сейчас будет, я оставил его в двух ружейных выстрелах отсюда.

— Нашел он людей?

— Нашел, и на подбор. Это все прежние африканцы, командир, волосатые, великолепные. Ах, и что за народ! Вот увидите, черти сущие, к тому же все контрабандисты, словом, как вы и желали, молодец к молодцу.

— Сколько их?

— Пятнадцать, но стоят тридцати.

— Довольно и того, с пятнадцатью храбрецами многое сделать можно.

— Везде пройдешь, командир, будьте покойны, мы повеселимся, славная мысль пришла вам в голову.

После этого размышления бывший зуав взял в руки кружку с пивом и осушил ее почти до дна не переводя духа.

Напившись, Паризьен, всегда вежливый и с притязаниями на изящность в обращении, поставил кружку на стол, вытянулся по-военному, отдал честь Петрусу и Люсьену и сказал:

— Господа и честная компания, имею честь кланяться.

Выходка Паризьена тем более насмешила молодых людей, что они с Мишелем остались в большой зале одни. Вольные стрелки скромно вышли вон, как только кончили обедать.

Вдруг послышался опять веселый лай Тома, и вскоре эта славная собака вбежала в залу, за нею шел и хозяин, а следом за ним, колонною в два ряда и с ружьями на плече, человек пятнадцать, которых выразительные лица, длинные и всклокоченные бороды, сверкающий взор и бронзовый цвет кожи, выдубленной дождями, ветром и солнцем, изобличали с первого взгляда ремесло, которое им приписывали.

Это были контрабандисты, о которых говорил Паризьен.

Действительно, их можно было назвать, как выразился бывший зуав, молодцами на подбор, сущими чертями. Сложения сильного и коренастого, так сказать топорного, подобные люди, проникнутые военным духом, словно рождены для борьбы и сражений, дышат вольнее среди грома битвы и волнуются, только сидя в засаде; когда же им недостает этих кровавых забав и развлечений, отчаянные смельчаки умирают от скуки и, чтоб стряхнуть с себя уныние, как сознаются наивно, ищут себе новый образ жизни, более или менее честной, но исполненной опасности.

Все вошли в залу трактира, ружья опустили на пол перед собой, отставили немного вперед левую ногу, скрестили руки и ждали.

Большая часть из них была в крестьянской одежде; шляпы с широкими полями придавали лицам их выражение еще более суровое, с отпечатком отчаянной отваги.

В поясе они были стянуты широким черным кожаным кушаком, к которому прицеплены были револьверы, длинные ножи с широким и отточенным лезвием, очень

похожие на грозные в руках северных американцев так называемые *бычачьи языки*, и, наконец, патронташ из мягкой кожи, набитый патронами; их съестные припасы заключались в больших сумках из сурового полотна, надетых через плечо.

Мишель буквально пришел в восторг при виде этих великолепных воинов. Оборотень не обманул его и на самом деле доставил молодцов, которые не должны были бояться ни Бога, ни черта и каждый мог стоять двух.

К удовольствию своему, Мишель увидал в числе их Шакала и трех солдат еще, которые бежали с ним из Седана; в них он мог быть уверен, он знал, на что они способны, и сверх того, вероятно, говорили о нем товарищам, так что и те уже знали его, по крайней мере понаслышке.

— Командир, — начал Оборотень, по-приятельски пожав Мишель руку, — вот я и вернулся. Времени, извольте видеть, я не терял с тех пор, как ушел, и поручение ваше, полагаю, выполнил на славу. Привожу вам не много людей, их пятнадцать всего, но за каждого я ручаюсь головою. Большую часть из них я знаю много уже лет, и мы вместе подвергались опасностям, пред которыми то, что впереди нас, просто детская забава. Это все люди трезвые, преданные, честные, как контрабандисты, то есть немного размашистые по природе, но неспособные на дурное дело, к дисциплине они приучены с давних пор, знают досконально все уловки и хитрости партизанской войны в горах, времена года для них не существуют, приученные к лишениям, закаленные нищетой, они не отступают ни перед чем, не унывают никогда, едят они и пьют, когда имеют время и когда оказывается что поесть и выпить, а нет, так крепче только стянут пояс, и дело с концом. Они за честь себе ставят служить под вашим начальством. Некоторые из них знают вас лично, другие понаслышке, по одному слову вашему, по знаку они не колеблясь пойдут на смерть, когда будет нужно, и опасаются только одного, недостаточно часто иметь случай мериться с неотесанными башками, которые вторглись в наш несчастный край.

Кончив свою несколько изысканную речь, Оборотень поклонился и отступил шага на два.

Мишель встал и подошел к контрабандистам, сверкающие глаза которых были устремлены на него с выражением живейшего любопытства.

— Братцы, — сказал он им, — я просил Оборотня отыскать мне несколько смельчаков, с которыми я мог бы исполнить подвиги, казалось бы, невозможные. К удовольствию моему, вижу, что он не ошибся в выборе и вы действительно соответствуете моему желанию, некоторые из вас мои старые знакомые, рад их видеть, мы уже проделывали кое-что вместе, и почище еще дела устроим теперь. Положитесь на меня, как я с этой минуты полагаюсь на вас, и все пойдет отлично.

Трепет воинственного нетерпения пробежал по рядам контрабандистов.

— Командир, — ответил Шакал, — с нынешнего дня мы принадлежим вам всецело.

— Нас восемнадцать, — продолжал Мишель, — выберите себе трех капралов, через час мы выступаем.

— Капралов нечего долго выбирать, командир, — сказал один контрабандист, — мы уже выбрали их, с вашего одобрения, разумеется.

— Кто же это?

— Оборотень, Паризьен и Шакал.

— Превосходный выбор, одобряю его. А тебя как зовут, малый?

— Мое прозвище, командир, Влюбчивый, к вашим услугам, — ответил он смеясь.

— Ловкое прозвище, — улыбнулся Мишель, — теперь можете отдыхать, есть и пить, припасов вдоволь, но отнюдь не напиваться, пьяниц в моем отряде я не потерплю.

— Не беспокойтесь, командир, — ответил Влюбчивый, — мы очень хорошо знаем, что пьяный может погубить не только себя, но и товарищей, мы старые горные волки, увидите на деле.

— Хорошо, я так и думаю; при первом свистке в путь.

— Слушаем, командир.

— Жаль, что у вас ружья пистонные, но скоро, надеюсь, мы добудем другие.

— Не заботьтесь об этом, командир, мерзавцы прусаки снабдят нас. Не так ли, товарищи?

— Известно, черт побери! — откликнулись те со смехом.

Когда вольные стрелки увидели, что контрабандистов отпустил их новый командир, они вошли, окружили их и увлекли из залы под навес, где все было готово для их приема.

Сержант Петрус вышел из трактира минутой раньше.

— Ну что, командир, — спросил Оборотень, потирая руки, — как вы находите моих новобранцев?

— Я в восторге от них, любезный. Где вы открыли такое редкое собрание головорезов?

— Это моя тайна. Я мог бы представить вам вдвое, втрое больше, но эти, что называется, на подбор, за каждого я ручаюсь головой: да вы их увидите на деле, как удачно выразился Влюбчивый. Кстати, он смельчак, каких мало, я поручаю его вашему особенному вниманию в случаях трудных.

— Да, с этими молодцами, я думаю, сделать кое-что можно.

— Вы сделаете все, что захотите, они никогда не отступят.

— Какое горе, что ружей у нас нет хороших.

— Правда, но ничего тут не поделаешь, по крайней мере на первый случай.

— Почему так? — спросил Петрус, садясь возле Мишеля.

За сержантом вошли два вольных стрелка, которые вели трактирщика. Достопочтенный этот муж казался сильно встревоженным: с самого утра жизнь его висела на волоске.

— Что это вы говорите, друг мой? — спросил Мишель.

— Говорю, любезный капитан, что обещал вам приятную неожиданность, не правда ли?

— Правда, так что ж?

— Я исполню свое обещание немедленно, вот и все, полагаю, что доставлю вам удовольствие.

— Посмотрим, что это.

— Потерпите минутку, наш хозяин исполнит мое обязательство.

— Ровно ничего не понимаю.

— Какое же было бы удовольствие, если б вы понимали? Подойдите, любезнейший.

Вольные стрелки подтолкнули трактирщика ближе к столу.

— Любезный хозяин, — продолжал Петрус самым тихим и ласковым тоном, — вы самый сговорчивый и наиболее снабженный запасами трактирщик во всей провинции, это несомненно. Потрудитесь же немедленно

снабдить нас известным количеством шаспо и патронов, поторопитесь, пожалуйста, нам некогда ждать.

— Вы шутите, сержант Петрус! — вскричал Мишель.

— Ни крошечки не шучу! Я говорю серьезно. Знайте одно, капитан, что в торговых оборотах никто не смыслит более трактирщиков, в военное время они продают все и торгуют всем, только за них надо уметь взяться.

Трактирщик позеленел, он дрожал всем телом.

— Слышали вы меня? — обратился к нему Петрус.

Бедняк пытался было отвечать, но не мог; язык словно прилип у него к гортани.

— Помните одно, приятель, — продолжал сержант, — если я не дал повесить вас два часа назад, то вовсе не из жалости: вы негодяй, недостойный помилования. Моя цель была узнать, где вы спрятали три фургона с оружием, боевыми припасами и амундией, которые третий корпус вынужден был оставить во время своего прохода через эту деревню. Если в пять минут эти три фургона не очутятся запряженные у двери, вас вздернут, клянусь вам.

— Ради самого Бога, сударь, не погубите меня, пощадите! — вскричал трактирщик, бросаясь на колени.

— Уведите этого человека, — приказал Петрус сурово, — если в пять минут он не укажет вам тайника, где скрыл фургоны, вы повесите его вместо вывески, а тогда уж я сам пойду на поиски.

Вольные стрелки принудили трактирщика встать на ноги и увели его из залы.

Мишель и товарищи его не могли опомниться от изумления.

— Неужели это правда? — вскричал Мишель.

— Уверяю вас, что да.

— Но вы-то как успели открыть эту тайну?

— Самым простым образом: вчера я перехватил письмо этого почтенного трактирщика к прусскому командиру, который так зорко наблюдает за нашим лагерьем.

— Мерзавец! — воскликнул Паризьен, стукнув по столу кулаком.

— Совершенно так. Я прикинулся, будто не знаю, что он сделал подобное предложение неприятелю, но письмо у меня тут, в случае надобности я пущу его в

ход. Не сознается он добровольно, мы ничего не потеряем, в письме объяснено все и доставляются подробнейшие сведения.

— Этого негодяя надо повесить сейчас же, измена его очевидна; оставить ему жизнь было бы ошибкой.

— Это мнение Людвига, которому, разумеется, все это дело сообщено мною. Признаюсь вам, однако, что если он добровольно исполнит наше требование, я склонюсь к помилованию: не хочется марать рук этой гнусной кровью. Впрочем, вы можете быть спокойны, этот конец от него не уйдет, подлецу суждено быть вздернутым. Эхе! — вдруг вскричал он. — Лошадиный топот! Что я вам говорил? Ошибся я?

— Действительно, это настоящее чудо, вот и три фургона, — сказал Мишель, вставая.

— Ну, я прощаю молодцу, он не долго кобенился. Пойдемте поглядеть, что в них, полагаю, это любопытно.

— Ей-Богу, прелюбопытно! Один вы, друг Петрус, способны доставлять такие приятные неожиданности.

— Очень рад, что пришлось по вкусу, — скромно ответил сержант.

Вслед за тем все встали и вышли.

Красивый тип трактирщика в горах

Петрус не ошибся: действительно, это и были три фургона, они подъезжали, окруженные вольными стрелками, радостные крики которых оглашали воздух. Контрабандисты, новобранцы капитана Мишеля, изъявляли свой восторг особенно живо; только трактирщик был бледен и дрожал как осиновый лист.

Этот презренный человек, кажется, начинал понимать значение преступного действия, им совершенного.

Петрус приказал четверем стрелкам тщательно осмотреть фургоны и дать подробный отчет, что в них, потом, предписав часовым величайшую бдительность, сержант вернулся в залу с командиром Мишелем, Люсьеном Гартманом, Паризьеном и Оборотнем, по пятам которого, как всегда, шел Том.

Бывший студент казался озабоченным: он хмурил брови и, в доказательство сильной душевной тревоги, дал погаснуть своей трубке. Тяжело опустившись на стул, он ударил по столу кулаком.

— Сакраблѐ! — вскричал он. — С ума сойти можно!

— Что вас донимает, дружище? — спросил Мишель. — Кто возбуждает в вас такой сильный гнев?

— То, что делается, черт возьми! — ответил Петрус с отвращением. — Есть от чего сойти с ума, измена окружает нас повсюду, нельзя, прости Господи, шагу ступить, чтобы не уткнуться носом в шпиона.

— Объяснитесь, я вас не понимаю.

— Немногих слов будет достаточно, чтоб вы поняли. Пруссия наводнила Францию своими шпионами, более десяти лет они, как кроты, роют под нашими ногами мину, чтобы взорвать нас; и в этой жалкой деревушке, так же точно, как в самых больших селениях, они имели агентов, что доказывается кражей трех фургонов. Меня и приводит в отчаяние, что тут француз, эльзасец, не побоялся служить оружием нашим ожесточенным врагам и изменять отечеству.

— Человек этот презренная тварь, изменник, для преступления его нет оправдания, он заслужил примерную казнь, которая, вероятно, и постигнет его.

— Разумеется, простить ему было бы то же, что признать себя его сообщником. Пусть пруссаки узнают, что мы безжалостны к изменникам. Но француз у изменять таким образом своей родине — о! это для меня нож в сердце.

— Успокойтесь, друг Петрус, если есть во Франции изменники, то, поверьте, не в народе, а в высших сферах, между сановниками императорского правления, это доказано Вертом и Седаном. Вспомните, как император Наполеон из подлой трусости под Седаном поднял белый флаг, несмотря на сопротивление генералов и офицеров, и выдал неприятелю восьмидесятитысячную армию, которая требовала с криками ярости, чтоб ей дали умереть с оружием в руках скорее, чем вынести подобный позор. К этому-то подлецу надо обращать взор, а не искать изменника в рядах народа, который без оружия, почти без предводителей, а в особенности без военной подготовки восстал в порыве героизма защищать родные пепелища и без страха бросается, как жертва, обреченная смерти, навстречу вторгающимся полчищам неприятеля, чтоб телом своим доставить последний оплот умирающему отечеству, а в особенности, любезный Петрус, не вините никогда ваших братьев эльзасцев — они падут все, если понадобится, но с лицом, гордо обращенным к неприятелю, и с оружием в руках; в Эльзасе никогда не было и не будет изменников.

— А этот презренный трактирщик?

Мишель пожал плечами, между тем как странная улыбка мелькнула на его губах.

— Слава Богу, человек этот не эльзасец, — ответил он.

— Не эльзасец?

— Нет.

— Но француз?

— Ничуть не бывало, повторяю вам. Как это вы, любезный Петрус, ученый еще, и во все тонкости науки проникли, и немецким языком владеете, точно родом из Германии, а не заметили, как дурно этот человек говорит на наречии нашей милой провинции? Поговорите-ка с ним по-немецки.

— Что ж из этого?

— Да то, любезный друг, что подобное испытание с первого слова укажет вам, что делать надо.

— И в самом деле, — вскричал Люсьен смеясь, — брат прав: у пруссаков произношение отвратительное, везде они суют *i* вместо *g*, что совершенно коверкает слова, к тому же *нет* они произносят *neh*, а не *nein*, как того требует чистое немецкое произношение.

— Вы уверены в этом, капитан?

— Как нельзя более, впрочем, попытка вещь не трудная.

— Ей-Богу, попытаюсь удостовериться немедленно! — вскричал с повеселевшим лицом бывший студент.

— Заставь его сказать знаменитую фразу, посредством которой мы в университете определяли национальность студентов, когда не были в ней уверены.

— Да, да. Eine gute gebratene Gans ist eine gute Gabe Gottes, что значит по-нашему: хороший жареный гусь хороший дар Божий.

— Именно, и если он будет произносить вместо *g* букву *i*, дело в шляпе, можешь быть спокоен, тогда он эльзасец контрабандный, — засмеялся Люсьен и хлопнул в ладоши.

— То есть тевтонец с ног до головы и в придачу чистокровный пруссак, — прибавил Мишель, расхохотавшись. — Что до меня, то я несколько в этом не сомневаюсь.

— Это мы увидим, — заметил Петрус.

Он встал и направился к двери.

— Приведите арестанта, — приказал он двум вольным стрелкам, которым и поручал караулить трактирщика, и затем вернулся на свое место.

Стрелки повиновались немедленно, и трактирщик был приведен и поставлен против стола, за которым сидели пять человек.

С появления в деревне альтенгеймских вольных стрелков, то есть с самого утра, несчастный трактирщик, совесть которого была далеко не чиста, был жертвой разного рода треволнений, страшных испугов и ужасов, которые сказывались на нем нервною дрожью: его било как в лихорадке и он шатался словно пьяный. Когда вольные стрелки чуть было не повесили его, так сказать, из забавы, вмешательство сержанта Петруса, который освободил его, вернуло ему почти полную уверенность, он вообразил, что на самом деле спасен, и посмеивался исподтишка над простодушием помиловавших его врагов. Сообразив, как для него важно склонить на свою сторону тех, которые чуть не повесили его над его собственною дверью вместо вывески, он великодушно пожертвовал своим запасом провизии. Все шло прекрасно, когда речь о фугонах, доверенных ему французами, возобновила его опасения и усилила их в значительной степени: теперь уже это была не шутка, дело заключалось не более не менее как в измене; если человек, который обвинял его, знал все, исходом неминуемо был бы расстрел или петля на шею. Настолько ли был сержант уведомлен, как он говорил? Удостовериться в этом было главной задачей. Итак, он вооружился мужеством и хладнокровием, чтоб отвечать на вопросы, с которыми обратятся к нему, не только удачно, дабы не выдать себя, но еще и так, чтобы по возможности выйти белее снега.

Приняв в уме подобное решение, он предстал с твердостью и наружным спокойствием пред своими судьями, питая, хотя и без особенного основания, надежду провести их.

На его несчастье, придуманный им план далеко не был безупречен, он имел дело не с дураками или людьми легковыми.

Однако он не смущался и, поклонившись слегка всем вокруг, первый заговорил, не ожидая, чтоб к нему обратились с речью, — смелая тактика, которая чуть было ему не удалась, как это бывает нередко.

— Господа, — твердо сказал он тоном оскорбленного достоинства, — я рад, что вы наконец вспомнили про меня и позвали к себе. Решительно не могу понять, чему

я обязан притеснениями и оскорблениями, которым подвергаюсь со времени вашего прибытия в эту деревню. Я имею право жаловаться на то, что со мною поступают таким образом без всякого повода.

— Как без всякого повода? — возразил бывший студент, изумленный таким сильным нападением и в особенности обвинением, которое вынуждало его оправдываться, тогда как, напротив, он имел намерение допрашивать. — Что вы хотите сказать? Что за смешные укоры, когда на вас падают такие важные обвинения?

— Тут речь не об укорах, сударь, но о дурном обращении со мною без видимой причины, кроме варварской прихоти ваших солдат. Что же касается важных обвинений, которые, по вашим словам, падают на меня, то я не имею понятия, о чем вы говорите; я отвечу, когда вы объяснитесь на этот счет.

— Извините, любезный Петрус, — вмешался Мишель Гартман, — позвольте мне иметь дело с этим человеком. Это дока и хитрая бестия, по моему мнению, с ним надо поступать по-военному.

— Пожалуйста, капитан, я очень рад! — вскричал молодой человек. — Действительно, я думаю, вы справитесь с ним лучше меня.

Мишель Гартман рассматривал две-три минуты стоявшего перед ним трактирщика, улыбнулся и спросил у вольных стрелков, которые приставлены были караулить его:

— Заряжены ваши револьверы?

— Заряжены, командир, — отвечали они.

— Хорошо, вы отведете этого субъекта во двор трактира и прострелите ему голову; двух выстрелов из револьвера будет достаточно, надо беречь боевые припасы. Ступайте.

Вольные стрелки повиновались немедленно.

— Да ведь это убийство! — вскричал трактирщик, отчаянно вырываясь из их рук. — Вы хотите убить меня как собаку, даже не выслушав!

— Допрос — лишняя трата времени, а нам оно дорого. Ваше преступление, впрочем, доказано: вы прусский шпион.

— Прусский шпион — я? — вскричал трактирщик, вдруг помертвев.

— Да, вы. — И он прибавил, обращаясь к двум вольным стрелкам: — Уведите его.

Вольные стрелки схватили трактирщика за ворот и поволокли, несмотря на его сопротивление.

— Это ужасное убийство, — вскричал несчастный, который боролся с отчаянием, — нельзя же меня убить таким образом, дайте мне по крайней мере возможность защищаться, дайте мне сказать слово, одно слово, для моего спасения!

— Хорошо, согласен, — сказал Мишель, пожав плечами, — но говорите коротко.

Трактирщика опять подвели к столу. Он дышал тяжело, как человек, который чуть было не пошел ко дну, но успел-таки всплыть на поверхность воды.

— Видно, вы очень дорожите жизнью! — презрительно пожав плечами, заметил Мишель.

— Конечно дорожу, — наивно ответил трактирщик.

— Как вас зовут? Берегитесь, если солжете.

— Юлиус Шварц, — ответил допрашиваемый откровенно.

Он понял, что говорит с человеком, которого не проведешь уловками, и что единственное для него средство спастись, это не пытаться вступать с ним в борьбу хитростей, но, напротив, выказать полную откровенность.

— Я должен предупредить вас, — продолжал Мишель, — что если соглашаюсь выслушать вас, то просто по чувству справедливости и беспристрастия, которое, несмотря на уверенность в вашей виновности, побуждает меня не застрелить вас как собаку, по вашему же выражению, но от смерти, к которой я вас приговорил, вы не спасетесь, я никогда не отменяю своих решений.

— А может быть, и спасусь; пока сердце бьется в груди, я имею право надеяться.

— Воля ваша, но это будет надежда тщетная.

— Не тщетная, и вот почему.

— Браво, — сказал Петрус, который невольно засмеялся смелости и развязности трактирщика, — вот изворотливый молодец! С веревкой на шее, я думаю, он еще силился бы распустить петлю.

— Конечно, впрочем, мое положение точно такое же, разве не все равно — быть повешенным или расстрелянным?

— Без болтовни и уловок! — сердито крикнул на него Мишель. — Говорите, что хотели сказать, да скорее только.

— Я хотел сказать вещь самую простую: вы по преимуществу люди разумные, вы не убиваете из удовольствия проливать кровь, ни даже из мести, так как я лично, в сущности, не сделал вам никакого вреда, скорее, напротив, вы меня не убьете, потому что смерть моя не принесет вам никакой пользы, тогда как...

— Разве жизнь ваша, если б мы даровали ее вам, доставила бы нам какую-либо выгоду? — насмешливо перебил Мишель.

— Громадную, несомненно.

— Это уверение мне кажется немного смелым.

— Позвольте вы мне объясниться?

— Да, если вы обязуетесь говорить правду и не пытаться нас обманывать.

— Клянусь честью...

— Трактирщика? — договорил Мишель со смехом и украдкой переглянулся с приятелями.

— Нет, честью дворянина, я трактирщик только случайно.

— Я уже подозревал это, как и то, что вы не француз.

— Видите, господа, вы уже и теперь лучше расположены ко мне, вскоре вы убедитесь, что лучше даровать мне жизнь.

— Вы решительно боитесь смерти, — заметил Мишель презрительно.

— Не скрою от вас, господа, чрезвычайно; вы сейчас узнаете почему и наверно будете моего мнения.

— К делу!

— Дело вот в чем. Я пруссак, не знаю, как вы открыли это, но факта этого я отрицать не стану. Живу я во Франции восемь лет, у меня жена, которую я люблю, дети, которые мне дороги. Разорившись несчастными спекуляциями в Пруссии, я последовал примеру множества моих соотечественников, обогатившихся во Франции, и прибыл сюда с целью поправить обстоятельства. В Нанси я устроил пивоварню; но хотя мое пиво было превосходно и все припасы первого достоинства, не прошло года, как я был вынужден закрыть свою фирму. Затем не лучше удались мне два-три предприятия еще: решительно, меня гнала судьба, ничто мне не удавалось. К довершению несчастья, я имел безумство жениться и жена моя, как добрая немка, подарила мне за два года

двух детей. Всех надо было кормить, а я разорился, в кармане у меня не оставалось ни гроша, о кредите и говорить нечего — было от чего сойти с ума.

— Послушайте-ка, однако, почтеннейший, — вдруг перебил Мишель, — мы здесь не для того, чтобы слушать ваши рассказы. Смеетесь вы над нами, что ли?

— Ничуть, позвольте мне договорить, вы не будете каяться. Ах, Господи, — прибавил он, пожав плечами, — вы всегда успеете еще застрелить меня или повесить, если вам так хочется этого.

— Справедливо, продолжайте, но ведите скорее к концу.

— Итак, мое положение было скверно, когда однажды, в тот день, когда хлеба совсем в доме не оказалось, явился ко мне неизвестный человек часов в восемь вечера, он был молод, хорошо одет, вида изящного и, судя по наружности, человек богатый. Расспросив подробно, в каком положении я нахожусь, хотя знал это, кажется, не хуже меня, он предложил мне свои услуги и вызвался сейчас снабдить суммой в сорок тысяч, чтоб помочь мне стать опять на ноги и приняться за новое дело. В том положении, в каком я находился, предложи мне черт свои услуги, я принял бы не колеблясь. Сорок тысяч с бухты-барахты не найдешь, это целый капитал для человека, у которого гроша нет за душою и который буквально умирает с голоду. Итак, я принял с изъявлениями живейшей радости дар, словно с неба свалившийся — виноват, прямо из ада. Тогда человек этот мне сказал, что он барон фон Штанбоу и на службе короля прусского.

— Барон фон Штанбоу! — вскричал Мишель, вздрогнув.

— Да, разве вы знаете его?

— Быть может. Продолжайте.

— Итак, он назвался мне и сказал, что ему прусским правительством поручено собирать о Франции самые подробные сведения, так как знать настоящее положение ее для короля очень важно, и наконец...

— Он сделал из вас шпиона! — перебил Мишель.

— Именно так, вы употребили верное слово. Тогда решено было, что кроме сорока тысяч наличными, которые он сейчас мне вручит, я буду ежегодно получать по пяти тысяч франков за доставляемые мною сведения.

— И вы исполняли это поручение?

— Добросовестно, могу похвастать. Ведь вы понимаете, мне платили деньгами, что может быть выше?

— О, как гнусно! Этот человек презренное существо! — вскричал Петрус.

— Помилуйте, отчего же? — возразил трактирщик чистосердечно. — Я немец, люблю деньги, как и естественно, их мало у нас, и все монеты медные, только либо посеребренные, либо позолоченные, а тут еще жить надо и растить семейство, да, наконец, я же пруссак, я служил своему отечеству.

— Изменяя Франции, которая дала вам приют, — строго заметил Мишель.

— Об этом я, правда, не подумал, — сказал трактирщик и склонил голову. — Я слушал барона фон Штанбоу и поверил всему, что он мне наговорил, в этом мое оправдание.

— Продолжайте, хотя оправдание это в наших глазах веса не имеет.

— Что же делать? Я говорю правду. Так продолжалось до той минуты, когда прошли слухи о войне. Лучше кого-либо я знал, что происходит, и вполне имел возможность предвидеть вероятные последствия войны, к которой Франция вовсе подготовлена не была, тогда как Пруссия, напротив, располагала силами поистине огромными. Несмотря, однако, на все, что барон фон Штанбоу, делал для меня, я не доверял ему. Он приказал мне оставаться на моем месте, что не трудно было, так как я слыл за француза, а все спокоен не был. Я поспешно отослал жену и детей, не в Германию, как советовал мне мой покровитель, или, вернее, мнимый благодетель, но в Голландию, где я мог быть уверен, что эти единственные существа, которые мне дороги, ограждены будут от всякой опасности...

— Мимо подробности, — перебил Мишель, — скорее к делу, вы точно будто нарочно длите рассказ и расплываетесь в мелких подробностях, чтоб выиграть время для цели, которой я не угадываю еще, но которая очень может быть новою изменой. Берегитесь, почтеннейший, это может сыграть с вами плохую шутку, нас провести нелегко.

Он пристально посмотрел на трактирщика, тот вспыхнул и опустил глаза.

— Хорошо же, — продолжал он, вынимая часы и поглядев на них, — теперь без десяти минут двенадцать,

если ваш рассказ не будет кончен в десять минут, вы умрете и вольны кончать его на небе или в аду, поняли меня?

— О! Конечно, сударь, и докажу вам это менее чем в пять минут, я хочу предложить вам сделку.

— Сделку? Вы смеетесь, что ли, или с ума сходите?

— Ни то, ни другое, напротив, я никогда не говорил серьезнее.

— Говорите, но помните, что время уходит.

— Отнюдь не забываю; я требую сохранения жизни и свободы уехать, куда хочу, и права увезти, что имею.

— Этих условий принять нельзя.

— Но вы не знаете еще, что я намерен предложить.

— Все равно, вы прусский шпион и были захвачены на месте преступления, ничто не может спасти вас от заслуженной казни.

— Это ваше последнее слово? — спросил трактирщик твердым голосом, который привел слушателей в изумление. — Берегитесь, господа, вы пожалеете, быть может, что убили меня, когда этого нельзя будет вернуть.

— Все, что нам возможно, это пощадить вашу жизнь и держать вас наравне с другими военнопленными, но для этого нужны явные доказательства услуги, которую, вы утверждаете, будто окажете нам.

Настала минута молчания; трактирщик колебался.

Мишель переглянулся с друзьями и продолжал, поглядывая на часы:

— Вам остается три минуты всего.

— Хорошо же, я согласен, тем хуже для них — зачем бросили они меня таким образом? Всяк для себя...

— А черт для всех, — закончил Петрус смеясь.

— Кажется, я угадываю смысл ваших слов, — прибавил Мишель, — объяснитесь теперь.

— Вы не подвергнете меня истязаниям?

— Мы не имеем привычки пытаться пленных, — надменно возразил Мишель, — эти подлые жестокости мы предоставляем вашим достойным соотечественникам, с вами будут обходиться, повторяю, как с остальными пленниками, то есть хорошо.

— Благодарю, я полагаюсь на ваше слово; вы французский офицер, этого для меня достаточно. Вот что я хотел вам предложить. Я написал в главную квартиру,

что французский корпус оставил у меня, при своем проходе, не три фургона с оружием и боевыми припасами, но целых тринадцать, что большая разница. Письмо это, написанное в трех экземплярах, дошло по назначению. Ответ ко мне пришел в нынешнюю ночь: сегодня большой транспорт с боевыми и всякого рода припасами пройдет на расстоянии ружейного выстрела от деревни в пятом часу и захватит с собою те тринадцать фургонов, о которых я писал.

— Правда ли это?

— К чему мне утверждать это клятвенно? Разве я не остаюсь у вас заложником? Какое лучшее доказательство моей правдивости могу я представить?

— Положим, но как же в перехваченном нами письме стоит три фургона, а не тринадцать? — спросил Петрус с недоверием.

— Я играл в двойную игру, разве вы не понимаете? — возразил трактирщик смеясь.

— Черт возьми! — вскричал бывший студент. — Честь имею поздравить, это очень искусно. Вы еще более мошенник, чем я полагал.

— Ба! Я принимал только меры осторожности, — возразил тот, пожав плечами, — как видите, я был прав, да, наконец, это мое ремесло.

— Совершенно логично.

— Продолжайте, — сказал Мишель, — не известно ли вам, каково прикрытие транспорта?

— В тысячу пятьсот человек, из которых треть улань; немцы думают, что им опасаться нечего.

— Очень хорошо. Для кого назначается этот транспорт?

— Для войск, которые окружили Мец.

— Вы уверены, что транспорт будет здесь не ранее четырех часов?

— Уверен, ему невозможно быть ранее.

— И конвой в тысячу пятьсот человек?

— Самое большее. Пруссаки считают себя в безопасности, говорю вам, к тому же к ним должны присоединиться мелкие отряды, разбросанные повсюду, которые примкнут к ним мало-помалу.

— Есть ли орудия у конвоя?

— Не знаю; дороги в горах плохи.

— Хорошо, вам нечего более сообщить?

— Надо же объяснить вам, где спрятаны фургоны.

— Вас сведут туда. Ребята, свяжите-ка крепко этого человека и не теряйте его из виду, вы мне ответите за него голову. Ступайте!

— Я полагаюсь на ваше слово, командир.

— А я на ваше. Как вы поступите, так и я, горе вам, если вы вздумали выставить нам западню!

— На этот счет я спокоен, скоро вы убедитесь на деле, что я не солгал.

— Тем лучше для вас, потому что я был бы неумолим.

По знаку Мишеля вольные стрелки увели пленника.

По выходе трактирщика водворилось глубокое молчание; каждый из пяти присутствующих размышлял. Важное значение имело сведение, доставленное шпионом, если оно было справедливо, а все говорило в пользу того, что он не солгал.

— Ну что? — спросил наконец Петрус. — Вы, как военный, что думаете об этом, капитан?

— Думаю то же, что, вероятно, и все вы.

— Надо напасть на транспорт врасплох, — решительно объявил Оборотень.

— Именно так, — заключил Мишель.

— Bravo! — воскликнули все остальные в один голос.

— Мало времени остается, — робко заметил Люсьен.

— Ба! У нас целых четыре часа впереди, этого с избытком достаточно для надлежащих мер.

— Не четыре, а пять, — возразил Мишель. — Еще только одиннадцать; я настолько не доверял нашему хозяину, что остерегся сказать ему, который час на самом деле. Так как мы все одного мнения, то ступай ты, Люсьен, с запиской от меня к Людвигу, торопись как только можешь, через два часа ты должен быть в лагере.

— Буду раньше, брат, даю тебе слово.

— Хорошо. Подожди минуту.

Мишель вырвал из записной книжки листок, быстро написал на нем несколько строк и подал его брату.

— Ты сообщишь Людвигу на словах все сведения, какие он потребует. А главное, скажи ему, чтоб он, не теряя ни минуты, в точности исполнил распоряжения, на которые я ему указываю. Прощай, братец, иди сейчас, желаю тебе успеха.

Братья обнялись, и Люсьен вышел.

Спустя пять минут молодой человек, ноги которого снабжены были стальными мускулами, мчался по горной тропинке с быстротою испуганного оленя.

Мишель опять принялся писать, когда он кончил, то встал и обратился к Оборотню.

— Позовите Влюбчивого, — сказал он.

Влюбчивый вошел почти немедленно, он заменил свое старое ружье новым шаспо, и на поясе у него висели два туго набитых патронташа.

— Ступай-ка сюда за приказом, — обратился к нему Мишель.

— Слушаю, командир, — ответил тот, сделал шаг вперед и вытянулся в струнку.

— Я с удовольствием вижу, что ты хорошо вооружен.

— Да, теперь позабавиться можно, — сказал контрабандист.

— Возьми это письмо, — продолжал Мишель, подавая ему записку, — менее чем в час времени оно должно быть доставлено в руки...

Имя он сказал шепотом.

Контрабандист наклонил голову.

— Будет исполнено, — сказал он.

— Если б тебя захватили врасплох, ты в плен не отдашься.

— Не заботьтесь, командир, не так хитры остроко-
нечные каски, чтоб словить меня.

— Хорошо, полагаюсь на тебя.

— Будьте покойны, командир, письмо все равно как будто уже доставлено по назначению.

— Ты скажешь, кому знаешь, что я рассчитываю на него.

— Слушаю, командир. Остаться мне там с остальными?

— Нет, вернись как можно скорее, ты мне нужен здесь.

— Благодарю, командир, так вы скоро опять увидите меня. Больше ничего?

— Ничего, можешь идти.

— До свидания, командир.

И, повернувшись на каблуках, он прибавил:

— Марш, кавалерия! Навострим лыжи и не ударим в грязь лицом!

Он удалился беглым шагом.

— Друг Петрус, — продолжал Мишель, — пожалуйста, отправьтесь к шпиону, чтоб он указал вам, где спрятаны фургоны, удостоверьтесь, что в них заключаются, и дайте мне отчет. Ты, Паризьен, займись экипировкой и вооружением людей. Особенно, господа, прошу вас наблюдать за волонтерами, чтобы они не напивались.

— Решено, командир, я отвечаю за своих, — ответил Петрус, — это все люди трезвые и порядочные.

— Наши ведь старые солдаты. Когда я шепну им на ухо, что, вероятно, сегодня же мы зададим пруссакам трепку, они будут скромны, как девушки.

— Значит, все в наилучшем виде, идите, господа.

Петрус и Паризьен вышли.

Мишель остался с глазу на глаз с Оборотнем.

— Знаете вы этот край? — спросил Мишель.

— Вдоль и поперек, нет дерева, нет куста, которого бы точное положение мне не было известно.

— По какой дороге поедут пруссаки, по вашему мнению?

— Для транспорта только одна доступна, и та очень дурна.

— Тем лучше, — с улыбкой сказал Мишель.

— Для нас в особенности, командир.

— А где дорога?

— Трактирщик сказал верно: на ружейный выстрел отсюда; она взвивается по склону горы, идет довольно отлогой покатостью в долину, называемую Адский Дол, пролегает через нее во всю длину: то по берегу довольно широкой реки, то через нее, посредством мостов из срубленных деревьев, так как речка делает бесчисленные повороты; но чтобы вполне понять, как важна эта позиция, надо видеть ее собственными глазами и тщательно изучить местность.

— Мы это немедленно и сделаем, но еще одно слово, приятель: широка ли дорога в горах?

— Совершенно одинаковой ширины с дорогою в долине; если немного сжаться, так пяти всадникам легко ехать рядом.

— Стало быть, фургон...

— Проедет без затруднений, если хорошо править, но два ни под каким видом.

— Спасибо, любезный друг, эти сведения драгоценны. Теперь, если хотите, мы пойдем взглянуть на это поближе и сориентироваться.

— К вашим услугам, командир.

— В путь, дружище, нельзя терять времени.

Они встали, вышли из залы и вскоре были вне деревни, где вольные стрелки усердно составляли список того, что заключалось в фургонах, и, к большой своей радости, меняли свои ружья с пистонами на превосходные шаспо.

Нападение на транспорт

Солнце, подобно громадной металлической бляхе, раскаленной докрасна, готово было закатиться за небосклон и бросало только слабые и холодные лучи, бледный свет которых угасал более и более и исчезал наконец в волнах тумана, оттенявшего отвесные склоны гор и застилавшего долины, хотя верхушки гор еще озярялись светом.

Быстро смеркалось; ночь пала на землю почти мгновенно, как это бывает в горах.

Четыре часа медленно пробило на отдаленной колокольне, и волнообразное гудение колокола, передаваемое эхом, замирало с таинственной звучностью золотой арфы невдалеке от довольно большой деревни, дома которой, подобно разбежавшемуся стаду, вытянулись сперва по обоим берегам узенького ручейка, протекавшего по тесной долине среди высоких гор, а потом расплзались веером, в виде амфитеатра, до пятисот метров высоты.

Все было мертво и безмолвно в деревне: двери и окна заперты, в пустых улицах не слышалось ни лая собак, ни блеяния овец, ни мычания быков — словом, ни одного из тех звуков, которые в горных местностях изобличают жизнь и движение при первом наступлении сумерек, когда стада возвращаются в хлева и дневные труды приходят к концу.

Селение это походило как две капли воды на один из тех фантастических городов в «Тысяче и одной ночи»,

которых волшебник коснулся своим грозным жезлом и жителей превратил в камни. Все население как будто бросило эту деревню.

Один только дом на площади был отворен и, по-видимому, населен, по крайней мере отчасти; это была гостиница.

Тележка, покрытая смоленным холстом и запряженная тощей лошаденкою, долго стояла у двери трактира. Около половины пятого два человека в крестьянской одежде, из которых один держал в руке длинный кнут, показались в дверях дома и, обменявшись с третьим лицом, по всей вероятности трактирщиком, несколькими словами на прощанье, при крепком пожатии руки, стали по обе стороны лошади, крикнули «ну!», и, несмотря на свой тщедушный вид, кляча пошла довольно бойким шагом.

Тележка, проехав деревню во всю длину, очутилась в долине, где почти все поля стояли несжатые, несмотря на позднее время года, обильная и роскошная жатва, надежда трудолюбивого земледельца, была еще на корню, но в плачевном виде: примятая, затоптанная, местами вырванная и уничтоженная; война оставила тут свои следы, лошади все помяли, попортили, истребили.

Двое вожатых скромного экипажа курили с наружной беспечностью огромные глиняные трубки, не обмениваясь ни единым словом, и по временам украдкой озирались вокруг, как будто силясь просмотреть насквозь кусты и группы высоких деревьев, все более и более сгущавшихся вокруг них.

Уже через несколько минут они свернули вправо на довольно широкую дорогу, которая выходила на долину в нескольких стах шагах от деревни, потом слегка поднималась в гору, постепенно становилась круче и пролагала по откосу горного кряжа бесчисленные изгибы среди высокого соснового и лиственного леса.

Когда пробило пять часов, тележка достигла довольно крутого поворота и только что начинала огигать его, когда путешественники увидели в двухстах метрах впереди себя с десятков всадников, приближавшихся крупной рысью.

По их четырехугольным шапкам и длинным пикам в этих всадниках с первого взгляда можно было узнать улан.

Два путешественника значительно переглянулись, губы их дрогнули от насмешливой улыбки, но они продолжали идти совершенно спокойно.

Менее чем в пять минут уланы доскакали до них и окружили тележку.

— Стойте, добрые люди, — сказал на превосходном французском языке офицер, командовавший отрядом.

Крестьяне повиновались, взявшись за шапки.

— Вы здешние? — продолжал расспрашивать офицер.

— Не совсем, — ответил крестьянин, который на вид был старший, — я нормандец, а мой приятель пикардиец.

— Но край этот вам знаком?

— О, конечно, сударь, давно уже мы колесим его. Впрочем, я-то почти здешний, — продолжал, по-видимому словоохотливый, мужик, — я женат на здешней, понимаете? Баба злющая, но работать молодец, надо говорить правду. И то взять, ведь я в кои веки дома-то бываю, не все ли равно, добрая у меня жена или злая, тем более...

— Я не спрашиваю у вас всего этого, — с живостью перебил офицер, — отвечайте только на мои вопросы.

— Простите, не знал, как говорят здешние незнакомки, — возразил мужик с насмешливым смирением, — я думал, не во гнев вам будь сказано, что вы хотите все знать, но когда я ошибся, то прошу прощения.

— Черт возьми! Замолчишь ли ты, болтун? — нетерпеливо крикнул офицер.

— Я нем, ваша милость, не извольте гневаться, я ни в чем не повинен, я бедный человек, и родители мои были такие же бедняки, не на что им было учить меня, иначе... ну, да я ничего не знаю, ровно ничего не знаю, вот вам и весь сказ!

— Черт возьми олуха! Неужели я не вытяну из него толкового слова? — вскричал офицер, готовый уже вспылить. — Молчи, старый дурак, дай говорить товарищу.

— Как угодно. Жером очень охотно ответит вам. Не так ли, старина?

— На всякий вопрос требуется ответ, — наставительно произнес другой крестьянин, которого товарищ назвал Жеромом.

— Вы знаете эту местность? — обратился к нему офицер.

— Пожалуй, что и знаю, сударь, — ответил Жером.

— Я уже говорил вам, — вставил в виде объяснения первый крестьянин.

— Молчи или!.. — вскричал офицер, протянув руку к чушкам.

— Ай, ай, не замайте! — закричал крестьянин в испуге. — Я бедный отец семейства, у меня пять человек детей, младший сосет еще!

— Да замолчишь ли ты, скот?

Офицер замахнулся на него и ударил бы саблею плашмя, но мужик ловко увернулся, хотя не преминул взреветь благим матом и самым жалостным голосом умолять:

— Не убивайте меня, ваша милость, не убивайте!

Он отступил на несколько шагов со всеми признаками страха и без всякой натяжки очутился у деревьев, окаймлявших дорогу, где окончательно остался нем и недвижим.

Офицер с самодовольною улыбкой покрутил длинный бесцветный ус и обратился к другому крестьянину.

— Далеко мы еще от ближайшей деревни? — спросил он.

Мужик засмеялся и ничего не отвечал.

— Вы слышите, что я спрашиваю? — сказал офицер.

— Как не слышать, ваша милость, очень слышу, я не глух, благодарение Богу, — возразил он с видом себе на уме.

— Что ж вы мне не отвечаете, если слышите?

— Как бы не так! — мужик расхохотался еще пуще. — Вы ведь смеетесь надо мною!

— Как смеюсь? Что вы хотите сказать?

— То, что вы на смех поднимаете меня, мужлана; я, кажется, говорю по-французски.

— И не думаю смеяться над вами, я еду в деревню, которая не должна быть далеко отсюда, мне хотелось бы знать, где именно она находится и далеко ли еще до нее.

— Как бы не так, поверю я, чтоб важный барин, который учен, не знал, куда он идет!

— Однако это правда; итак, отвечайте скорее, я тороплюсь.

— Ну да, вы любите смеяться, годы ваши такие, в этом нет ничего дурного. Хотя я нормандец, а все же не

дурак и понимаю, в чем штука, — продолжал он, все смеясь. — Ведь, с вашего позволения, надо быть глупее нашей собаки, скотины значит, чтоб не знать, куда идешь. Полноте, ваша милость, точно я не понимаю! Нет, нет, Жерома Гепена так не проведешь!

— Чтоб черт побрал дурака! — крикнул с гневом офицер. — Эти французские мужики сущие идиоты, ничего от них не узнаешь. Ответите вы мне или нет?

— Зачем? Будто вы не знаете дороги лучше меня?

— А если я вам на водку дам, поверите вы мне, что я говорю не шутя, и дадите ответ?

— Что ж! Деньги — это деньги, известно, времена плохие, — заключил он, подходя к офицеру, — надо посмотреть.

— Вот, — сказал офицер, достав из кармана пятифранковую монету и показывая ее крестьянину, — я дам вам это.

— В самом деле? — вскричал крестьянин с радостью. — Вы не в шутку говорите?

— Нисколько, но вы должны ответить на все мои вопросы.

— Еще бы! С большим моим удовольствием отвечу вашей милости.

— Итак, это дело решено.

— А деньги-то вы опускаете в свой карман?

— Нет же! Берите, я лучше отдам их сейчас.

Во время этого разговора совсем стемнело.

Уланы в числе десяти человек, имея пред собою всего двух крестьян, подъехали, несмотря на обычную осторожность, без всякого подозрения и стали кучкой вокруг тележки. Как и все пруссаки, они худо ли, хорошо ли, но понимали по-французски и хохотали от души над выходками крестьянина.

Тот подошел почти к самой лошади офицера, который нагнулся к нему, чтобы отдать пятифранковую монету, когда внезапно раздался пронзительный свист.

Вмиг крестьянин схватил офицера за левую ногу и, сильно дернув, заставил покатиться наземь, между тем как пятнадцать человек, выбежав из кустарника, ринулись на улана и во мгновение ока очутились каждый на лошади за спиною всадника, которого, обхватив сильными руками, как в железные тиски, вынуждали к совершенной неподвижности.

Нападение было так внезапно и так верно рассчитано, что уланам не оставалось возможности защищаться, и они почувствовали себя пленниками прежде, чем успели постичь, что с ними творится, они даже не имели возможности обратиться в бегство, другие люди схватили их лошадей под уздцы и держали крепко.

— Можете подняться, ваша милость, — насмешливо сказал крестьянин офицеру, у которого проворно отобрал оружие.

Офицер встал на ноги, оторопелый и с намятыми боками.

— Негодяй, — пробормотал он, — и еще смеется надо мною!

— Не гневайтесь на меня, — возразил тот, посмеиваясь, — ведь мы французские крестьяне, идиоты, от нас не добьешься толкового слова.

— Смейтесь, теперь сила на вашей стороне, но мы не одни, за нами идет сильный отряд, посмотрим, кто посмеется последний.

— Мы, разумеется.

— Вас всех расстреляют за *сношения с неприятелем*. Война между цивилизованными нациями имеет свои законы, которых нельзя нарушать безнаказанно, мужики должны оставаться безучастными, одни солдаты имеют право защищать отечество. Каждый крестьянин, взявшийся за оружие, совершил преступление и заслуживает смерти.

— Что же делали вы, господа пруссаки, после Йены, когда призывали к оружию весь народ поголовно, мужчин и женщин, стариков и детей? Вы защищали отечество и были правы, мы сражались с вами, не называя негодьями, преступниками или злодеями, так как в защиту родного края дозволено все, теперь вы вторгаетесь к нам, мужиков наших честите разбойниками, вините их в *сношениях с неприятелем*, потому что, разоренные вами, они пытаются отомстить за бедствия, которые вы навлекли на них, и расстреливаете без суда вольных стрелков под предлогом, что они не входят в состав регулярного войска и не имеют права сражаться в защиту отечества; это мне нравится!

— Но кто же вы? — вскричал офицер с изумлением. — Одежда на вас крестьянская, а говорите вы, как военный и человек хорошего общества.

— Кто я? — переспросил с иронией мнимый крестьянин. — Я офицер, спасшийся от катастрофы в Седане, предводитель вольных стрелков.

— Вольных стрелков! — вскричал офицер в ужасе. — О, тогда я погиб!

— Быть может, — насмешливо ответил Мишель, — я не знаю еще; но бросим это, и ступайте за мною.

— Во имя человеколюбия!

— Человеколюбия? А вам оно разве известно, когда вы расстреливаете стариков и женщин наказываете публично? Идите.

Во время этого разговора уланы были обезоружены и отведены в лес, так точно, как и лошади их; дорога осталась свободна, и на ней никакого следа происшедшей борьбы.

Офицер последовал за Мишелем, который сдал его на руки своим волонтерам с предписанием караулить во все глаза, потом прибавил еще несколько слов шепотом и вернулся на дорогу, где Оборотень, другой крестьянин, ожидал его, стоя возле тележки и куря трубку.

— Что нового? — спросил он.

— Немного, командир, однако мне слышалось что-то странное и я послал Тома разведчиком; мы скоро узнаем, в чем дело.

— Очень хорошо. Что нам теперь-то, оставаться здесь или продолжать идти вперед?

— Я думаю, мы хорошо сделаем, если выждем, пока вернется Том, да и то надо принять в соображение, что трудно бы найти место благоприятнее этого поворота для нашего замысла.

— Справедливо, подождем; кстати, Тому незачем лезть опять в тележку, уже стемнело.

— Тем более что он не боится напасть на человека и в случае нужды может быть очень полезен.

Становилось все темнее.

В ста или ста пятидесяти шагах позади смутно виднелись во мраке темные силуэты трех-четырех вольных стрелков, которые время от времени перебегали дорогу и, казалось, спешили кончить какую-то работу; но на таком расстоянии нельзя было рассмотреть, около чего они суетятся.

Прошло минут двадцать, и ничего не появлялось. Мишель не тревожился нисколько; один из его вольных

стрелков, посланный на рекогносцировку, доложил ему часа в три, что транспорт не выйдет из города, где его собирали, прежде пяти часов вечера.

Это замедление происходило от неожиданного прибытия нескольких французских пленных, которых немедленно хотели отправить в Германию, следовательно, и примкнуть к транспорту. Впрочем, пруссаки не тревожились нисколько, отсутствие регулярного войска в Эльзасе было несомненно, что же касается вольных стрелков, то пруссаки не могли предположить, чтобы при таком ограниченном числе — они не подозревали, насколько число это возросло в последние недели, — они дерзнули, несмотря на отчаянную смелость, напасть на транспорт, которого прикрытие состояло из тысячи шестисот человек пехоты и кавалерии с двумя полевыми орудиями — для большей верности нашли нужным усилить прикрытие транспорта двумя пушками. Последнее, чрезвычайно важное сведение сообщено было Мишелю также разведчиком его, человеком надежным, который утверждал, что видел пушки собственными глазами, следовательно, не оставалось никакого сомнения.

В силу этого Мишель отменил свои первые распоряжения и составил новый план атаки.

Было семь часов вечера, месяц выплывал из-за небосклона и рассеял немного мглу, когда Оборотень почувствовал, что подкравшийся к нему Том трется об его ноги, тихо и отрывисто подавая голос. Хозяин, по-видимому, отлично понял, что хочет выразить собака.

— Транспорт приближается, — сказал контрабандист, — подвигайтесь понемногу вперед, пока я в свою очередь сделаю разведку.

— Идите, — ответил Мишель и, ударив лошадь кнутом, крикнул: — Ну, Кокот!

Тележка медленно покатила по дороге.

Оборотень уже исчез.

Отсутствие его длилось недолго, не более четверти часа.

Мишель вздрогнул, когда контрабандист вдруг точно из земли вырос возле него: такими неслышными шагами он вернулся.

— Ну что? — спросил Мишель.

— Все идет хорошо, — ответил Оборотень, весело потирая руки, — транспорт в двух километрах по меньшей мере. У нас довольно времени потолковать.

— Как они идут?

— В наилучшем порядке. Отряд из пятидесяти улан идет в ста шагах впереди, потом следует одна рота пехоты, а за нею два орудия и длинная вереница фургонов, окруженных солдатами, направо и налево тянутся по две цепи фланкеров для разведки дороги и осмотра кустов, первая цепь состоит из пеших солдат и поддерживается второю цепью, состоящею из конных. Поняли, командир? Просто весело познакомиться с такими осторожными молодцами и доказать им, что они олухи.

— Не отвергаю этого, — с усмешкой возразил Мишель, — и радуюсь, что настоял на ста шагах в глубь чащи.

— Правда, ближе было бы ошибкой; но и то сказать, они вовсе не опасаются.

— Вы совершенно уверены, что они не открыли ничего?

— Ничего ровно, иначе уже запели бы пули; ничего они не открыли ни направо, ни налево, ни впереди в особенности. Они полагаются на десять человек разведчиков, обезвреженных нами.

— Что до них, то нам беспокоиться нечего более.

— Вы не отменили решение, чтоб дело было сделано на повороте дороги?

— Нет, только надо изловчиться попасть туда всего за минуту до артиллерии.

— Хорошо, командир, предоставьте мне править тележкой, я вам ручаюсь за успех.

Мишель передал ему кнут, потом приподнял смоленый холст и тихо шепнул одно слово:

— Внимание!

Вскоре раздался громкий лошадиный топот о крепкую замерзшую землю. Холод был резкий, морозило. Эскадрон улан появился на повороте дороги, он ехал в отличном порядке.

Мишель и Оборотень шли рядом не торопясь и куря усиленно. Том следовал за ними по пятам.

— Эй вы, добрые люди! — окликнул их начальник отряда. — Куда вы идете так поздно?

— Домой, сударь, — ответил Мишель с поклоном.

— Далеко вам до дома?

— Мили с две, сударь, мы с фермы Лоуендаль.

— Знаю, знаю я ее, но как вы так поздно в дороге не боитесь недобрых встреч?

— Мы немного замешкались, калякая с кумом, трактирщиком в деревне там, внизу. Впрочем, чего и бояться-то? Здесь все тихо в краю, как будто войны не бывало.

— Вы не слыхали разве о вольных стрелках?

— Слава Богу, нет, сударь. Что им тут делать, когда солдат не имеется и биться не с кем?

— Напротив, они сражаются и горы кишат, как говорят, шайками этих разбойников.

— Не мне, маленькому человеку, опровергать слова вашей милости, но смею уверить вас, что с этой стороны гор не видали ни одного вольного стрелка с самого начала войны.

— Действительно, это говорят. Что вы везете в тележке?

— Съестные припасы и овощи, сударь, — ответил Мишель, с движением, как будто хочет снять холст.

— Оставьте, оставьте, не стоит труда, — остановил его офицер смеясь. — Итак, дорога свободна?

— Мы не встретили кошки, и в деревне нет ни души, кроме трактирщика, все ушли. Я не понимаю, что он-то делает там один-одинешенек.

— Вероятно, философствует.

— Вы очень милостивы, сударь, — ответил Мишель с глупым видом, — покорнейше благодарю.

— Ну, прощайте, добрые люди, — сказал офицер, расхохотавшись странному ответу крестьянина.

— Просим прощения, сударь, — ответили оба с поклоном.

Уланы проехали, тележка тронулась в дальнейший путь.

Вскоре она встретила роту пехоты, которая расступилась по команде офицера и открыла ей проезд.

Никто не заговаривал с мнимыми крестьянами, знали, что их уже подвергли допросу, и если пропустили, то, вероятно, не нашли опасными.

Мишель и Оборотень не преминули боязливо и неуклюже раскланиваться направо и налево, что вызывало дружный смех солдат; крестьяне до того даже довели учтивость, что забыли о телеге, и, когда подъехали орудия, Оборотню пришлось своротить лошадь в сторону. Это он

исполнил так неловко, что одно из колес тележки задело за колесо передка. Артиллерист, торопясь расцепиться, хлестнул невпопад по лошадям, и те рванулись с такою силой, что бедная кляча, впряженная в телегу, пошатнулась, потеряла равновесие и грохнулась со всех ног, увлекая тележку, которая заняла собою большую часть дороги.

К довершению несчастья, это неприятное событие произошло именно на крутом повороте дороги, где она была всего уже.

Поднялась страшная суматоха, кричали и ругались наперерыв, не слушая друг друга, темнота еще более способствовала неурядице. Крестьяне ревели, плакались и рвали на себе волосы в отчаянии. Прежде всего они выпрягли лошадь; но, странное дело, животное, в котором, кажется, еле дух держался, едва очутилось опять на ногах, как бросилось в самую толпу и, лягая задними ногами вправо и влево, понеслось к лесу, между тем как крестьяне гнались за ним с криком: «Остановите, остановите!» — и не в состоянии были догнать его. Вмиг в глубине леса скрылись из виду и лошадь и люди, и никому в ум не пришло даже пытаться их останавливать, так все застигнуты были врасплох и поражены тем, что произошло.

Прибавим, что третий крестьянин выскочил из телеги никем не замеченный и в два прыжка догнал товарищей.

— Живее, поворачивайтесь! — крикнул полковник, командовавший отрядом. — Вернутся ли наконец эти скоты убрать телегу?

Те и не думали: притаившись в лесу, они хохотали изо всей мочи над изумлением пруссаков.

Но это было только начало.

— Сомкнуть ряды, — раздался громовой голос полковника, — и смотреть в оба! Этот случай должен скрывать измену. Отцепите скорее дрянную тележку, которая преграждает нам путь, и сбросьте ее в ров. Живей, живей!

Восстановилась тишина, офицеры распоряжались, строго наблюдая за исполнением своих приказаний, и, пока поднимали тележку, которую очень трудно было отцепить от передка, человек пятьдесят солдат бросились обыскивать лес.

Но раздался свист, и во всю длину транспорта, по обе стороны его, и сзади, и спереди, по нему открыли смертоносный огонь.

Пруссаки очутились точно в горниле.

Вдруг грянул оглушительный удар.

Это взорвалась тележка. От нее огонь перешел к пороховому ящику на передке, взорвался и тот с страшным треском, и во все стороны полетели осколки дерева и железа, которые искалечили и убили множество солдат.

Хаос достиг своего апогея, всеми овладел панический страх, в виду ужас наводящей опасности они забыли всякую дисциплину и очертя голову ударились бежать врассыпную, имея одно на уме — спастись от смерти. Они ежеминутно ожидали нового взрыва.

Но порядочное число старых солдат, стыдясь такого унижительного бегства и позорной паники, оставались на своих местах и, не расстраивая рядов, окружили начальников с твердым решением исполнить свой долг.

Благодаря этим храбрым воинам вокруг транспорта восстановился некоторый порядок, команда была слышна и сейчас исполняема, завязалась неумолкаемая перестрелка между пруссаками, или, вернее, баварцами — весь отряд состоял из баварцев, — и их невидимыми противниками.

На несчастье немецкого войска, все невыгоды были на его стороне. Неприятель за отличным прикрытием стрелял в него, не подвергаясь опасности. Подобное положение не могло длиться долго, следовало прекратить его во что бы ни стало, уланам приказали атаковать лес и выгнать оттуда вольных стрелков.

Они помчались, оглашая воздух иступленными «ура». Французы дали им въехать в лес, продолжая стрелять, как в мишени, — в солдат, оставшихся на дороге.

Вдруг слышались ужасные крики ярости, боли, отчаяния и, примешиваясь к ним, крики «Да здравствует республика!» при неумолкаемом беглом ружейном огне.

Что же происходило в лесу?

Уланы мчались очертя голову, с пистолетами в руках и пиками наперевес, атака производилась с поражающей стремительностью. Надо сказать, что этому способствовала местность: лес был очищен от порослей и довольно редкие высокие деревья позволяли всадникам скакать по прямой линии. На расстоянии пистолетного выстрела они увидели вольных стрелков. Только что они думали достигнуть до неуловимых противников и выгнать их из засады, как лошади под всадниками, скакавшими во гла-

ве атаки, запнулись о протянутые в двух футах от земли веревки, которые вдруг натянули; лошади упали, всадники грохнулись оземь, следующие ряды подверглись той же участи, и вскоре выросла страшная груда людей и лошадей, разбитых, искалеченных, раздавленных одни другими без всякой возможности выпутаться и застреливаемых в упор неумолимыми противниками, которые мстили за много позорных и низких жестокостей; всех улан положили на месте, несмотря ни на какие мольбы о пощаде.

Это была варварская война, око за око, зуб за зуб. Вольные стрелки, с которыми пруссаки обращались как с разбойниками, расстреливая их без суда, под предлогом, будто они изменники, теперь мстили каждый за близкого ему человека, брата или друга, которого пруссаки умертвили и жестокая смерть которого громко вопияла о страшной мести палачам.

Полковник, командир отряда, был отличный, опытный в военном деле, старый офицер, ему одного взгляда было достаточно, чтоб сообразить, в какое положение он попал и каким образом из него выйти.

Вольные стрелки, вероятно, предупрежденные своими шпионами, что большой транспорт с боевыми и разного рода припасами отправляется к немецкому войску, осаждавшему Мец, собрали все свои рассеянные отряды и довели наличные силы до двух тысяч человек храбрости испытанной. Они устроили свою засаду и выбрали пункт, где транспорт, стесненный в узком проходе, с обрывом по одну сторону и густым лесом по другую, будет, так сказать, парализован, а прикрывающий его отряд поставлен в невозможность сопротивляться при искусно рассчитанном нападении вольных стрелков.

Полковник отлично понял этот план, он только ошибся в численности вольных стрелков, которых в данную минуту далеко не было столько, как думал он, их не оказывалась более шестисот, что составляло несравненно меньшую цифру, чем личный состав защитников транспорта. Полковник не подозревал этого и, вероятно, не поверил бы даже, если б ему сказали.

Атакованные врасплох с страшной стремительностью со всех сторон в одно и то же время, пруссаки не могли действовать и смешались, вынужденные сражаться на открытом месте с неприятелем, которого видеть не могли.

Более трети пехоты и вся кавалерия погибли в западне, так искусно расставленной, кто бежал, кто был убит, кто попал в плен, солдат оставалось всего около восьмисот человек, и то начальники могли полагаться на них только относительно, так они были поражены и упали духом. Конечно, положение казалось очень опасным, но все же не отчаянным. Выйти из западни следовало энергичным усилием. Об отступлении не могло быть речи, в арьергарде продолжался ожесточенный бой, так точно, как и вдоль флангов транспорта, беглецы уже возвращались искать убежище среди войска, которое еще держалось, да, наконец, и фургоны занимали собою почти всю дорогу, слишком узкую, чтобы можно было повернуть их. Итак, оставалось только одно средство — пробиться вперед и во что бы то ни стало проложить себе дорогу, бросив фургоны, в которых лошади по большей части были перебиты и никакой не представлялось возможности увести их с собою.

Приняв такое решение, полковник исполнил его немедленно, по его команде два орудия, направленные на лес, осыпали его картечью, потом ими же очистили дорогу, чтоб легче было прорваться, и войско бросилось беглым шагом, не замедляя его ни на минуту под убийственным градом пуль, вслед за орудиями, из которых стреляли на ходу — солдаты поняли не хуже офицеров, что спасение их зависело от энергии, с которой они исполняют это движение.

Сражение было ужасно, бились с ожесточением, не раз схватывались грудь с грудью врукопашную, пользуясь каждым удобным случаем, стрелки стремительно нападали на своих противников. Пруссак, вынужденные обернуться к ним, отбивались отчаянно, и вскоре битва превратилась в страшную резню, где выразилась вся обоюдная ненависть двух народов.

Попытка пруссаков была исполнена с неоспоримой отвагой и выдержкой, огонь вольных стрелков стал мало-помалу перемежаться. По всему вероятно, французы отказывались от дальнейшего боя, бесполезного уже, когда цель засады была достигнута. Солдаты ободрились, хотя, измученные усталостью и по большей части раненные, пятьсот человек, оставшиеся в живых, испытывали живейшую радость — честь была спасена, и если транспорт достался неприятелю, зато орудия уцелели.

Ночь была ясная и холодная; месяц заливал своими бледными и грустными лучами обширное поле битвы. Окинув взором окрестность, полковник дал людям перевести дух, но сейчас скомандовал идти дальше, он боялся дать им время почувствовать свои раны, некоторые падали от времени до времени. Следовало перебраться через довольно узкий ручей по деревянному мосту, сперва орудиям надо было проехать на ту сторону и оттуда прикрывать отступление.

Двинулись в путь. Орудия въехали на мост вскачь. Вдруг раздался ужасный треск и мост обрушился, увлекая в своем падении обе пушки. Идти далее было невозможно, для пруссаков настала минута невыразимой тоски. Теперь они увидели, что гибель их неминуема.

В то же мгновение засверкали кусты, огненный круг охватил пруссаков, крик «Да здравствует республика!» огласил воздух и ружейная пальба возобновилась с ожесточением.

Пруссаки составили каре и готовились с мрачной решимостью умереть, сделав последнее усилие.

Вдруг опять раздался свист и вслед за ним крик:

— Да здравствует республика! В штыки! Вспомните жен своих и детей!.. Бейте, бейте!

И стая вольных стрелков, точно легион демонов, вынырнула отовсюду одновременно и ринулась на последних защитников транспорта с неудержимым порывом.

Борьба завязалась страшная, отчаянная, уж это был не бой людей цивилизованных, но оргия дикарей, растерзывающих один другого с неистовыми криками и ревом хищных животных, упоенных кровью. Рубили, рубили бесконечно; раненые поднимались на колени, ползли на руках, чтоб нанести последний удар, и падали с радостным чувством, что положили еще одного врага.

Подобно роковым кругам Данте в аду, поле сражения суживалось все более и более, штыки, красные до трубки, были искривлены и с зазубринами, так они работали, вонзаясь в человеческую грудь. Баварцы, надо отдать им эту справедливость, падали один за другим безмолвно, хладнокровно, твердо, как люди, пожертвовавшие жизнью, которые умирать умеют.

Вдруг сражение прекратилось, настала мрачная тишина значения грозного.

Весь отряд, прикрывавший транспорт, был уничтожен.

Последний защитник его пал с раскроенным черепом.

Командир партизанского отряда, Мишель Гартман, снял шляпу и, взмахнув над головой длинной шпагой в крови до эфеса, вскричал зычным голосом:

— Да здравствует республика!

— Да здравствует республика! — подхватили вольные стрелки в безумной радости*.

Горное эхо повторило этот великодушный крик и далеко разнесло его по Эльзасу, где скоро, быть может, опять им будет оглашаться воздух с таким же энтузиазмом.

Месяц заливал своими бледными и кроткими лучами прекрасную долину, теперь такую тихую и безмолвную, но минуту назад волнующуюся и потрясенную пронесшимся над нею ураганом смерти, который в безжалостном своем равнодушии наделал столько несчастных жертв, убивавших друг друга ради прихоти и чудовищного честолюбия двух злодеев.

Увы! Так все идет на свете.

* Все эпизоды этого кровавого боя переданы со строжайшей точностью. (Примеч. автора.)

После битвы

Мишель Гартман посмотрел на часы: было восемь часов без четверти.

Сражение длилось не более трех четвертей часа.

Менее шестисот французов овладели в этот короткий срок значительным транспортом и частью убили, частью захватили в плен весь отряд, служивший ему прикрытием.

Это был геройский подвиг и великолепный успех: менее шестисот крестьян, работников, студентов и контрабандистов убили и отняли у неприятеля более тысячи шестисот лучшего и самого храброго войска.

А волонтеры, эти воины из преданности родине, едва были сформированы, у них не оказывалось еще ни экипировки, ни навыка в военном деле, инстинкт заменял им тактику, и, воодушевленные полною верою в святое право, за которое стояли, они бросались очертя голову на неприятеля и были героями.

Уделив несколько минут радости, естественной после такого блистательного торжества, начальники вольных стрелков деятельно занялись необходимыми при настоящих обстоятельствах распоряжениями.

Этих начальников было трое: Людвиг, командир альтенгеймских вольных стрелков, Мишель Гартман и таинственное лицо, которое в некоторых из предыдущих глав уже являлось нам, по собственному признанию, под чужим именем Отто фон Валькфельда.

Потери вольных стрелков были значительны: у них выбыло из строя сто семьдесят два человека, около трети

наличного их состава. Мы, кажется, уже говорили, что число их не превышало шестисот, из ста семидесяти двух человек, выбывших из строя, шестьдесят пять было убито, сорок ранено тяжело и шестьдесят семь слегка, в числе последних находились Люсьен Гартман и Петрус Вебер, оба получившие царапины в правую руку.

Попечениями Мишеля убитые французы были схоронены в лесу, что же касается пруссаков, так как важно было изгладить по мере возможности всякий след борьбы, дабы немцы дольше оставались в совершенной неизвестности о судьбе транспорта и где именно произошло нападение, в долине вырыли громадный ров, сложили туда трупы, не забыв благоразумно вывернуть их карманы, вовсе не пустые при постоянных грабежах, — предосторожность, оправдываемая в этом случае способом вести войну честных германцев, — потом ров засыпали, тщательно утоптали, и все было кончено для несчастных.

Исполнив этот долг, поместили раненых по возможности удобно на соломе в телегах, отнятых у пруссаков, и отправили их после первой перевязки к тайному убежищу в горах, где скрывались семейства альтенгеймских вольных стрелков. Петрус и Люсьен вызвались распоряжаться этим печальным поездом, которому служили конвоем человек десять, также получивших одни легкие раны.

Оставалось решить еще два вопроса: во-первых, что делать с транспортом; во-вторых, найти средства для перевозки его. Кочевая жизнь, исполненная лишений, на которую они были осуждены, вынуждала немцев прозябать день за днем, добывая провиант в деревнях и местечках, попадавших им на пути, когда крестьяне, что, впрочем, редко случалось в Эльзасе и Лотарингии, отказывались по какой-либо причине снабжать их необходимым.

При транспорте, по счастливой случайности, оказалось полтораста вьючных мулов, отчасти они предназначались для войска, стоявшего под Мецом, чтоб перевозить раненых, но преимущественно для подмоги при переправе транспорта на трудных горных дорогах, эти полтораста мулов очень замедлили ход транспорта, причиняли значительные задержки и дали, таким образом, вольным стрелкам время устроить свою грозную засаду.

На мулов навьючили боеприпасов, сколько оказалось возможно, вольные стрелки набили ими свои мешки, сумки и патронницы, и упряжные лошади также были навьючены, потом разделили между собою золото и ценные вещи, остальное же все безжалостно уничтожили, заклепанные орудия с разбитыми цапфами сброшены были в пропасть, порох и патроны потоплены, лафеты, телеги и фургоны разбиты и сожжены, и, исполнив все это, привели пленных.

Их было двести двадцать семь, и в этом числе много улан, которых крестьяне страшно ненавидели за их зверскую жестокость и беспримерное хищничество. Начальникам вольных стрелков пришлось прибегнуть ко всей строгости, и только благодаря влиянию, которое они имели на своих подчиненных, им удалось спасти несчастных пленных улан от немедленной расправы — волонтеры хотели расстрелять их на месте по праву возмездия за низкие убийства вольных стрелков, совершенные пруссаками.

Просьбами, угрозами и убеждениями наконец успокоили вольных стрелков, и пленники были спасены. Отто фон Валькфельд взялся отвести их в безопасное место, то есть сдать на руки французским властям.

Однако оставалось еще человек двенадцать презренных бродяг, не имеющих родины, преимущественно происхождения еврейского, которые в большом количестве следовали за немецкой армией, как вороны летят вслед за волками, чтоб поживиться мясом и кровью их жертв, эти хищники обирали безжалостно самые бедные хижины, подстрекали солдат к грабежу, скупали у них награбленное и обладали удивительным искусством отправлять все эти ворованные богатства в Германию.

Пожалеть подобных злодеев было бы не ошибкой только, но настоящим преступлением. Несмотря на их мольбы и униженные жалобы с потоками крокодиловых слез, их без дальних околичностей не расстреляли — они оказали себя недостойными этой благородной смерти солдата, — но повесили гроздями к толстым сукам высоких сосен и трупы их бросили на съедение хищным птицам.

Занимался день, когда все было кончено, вольные стрелки торопились уйти с поля сражения, куда с минуты на минуту, по свойственной им замашке, пруссаки, предупрежденные или одним из многочисленных своих

шпионов, или беглецом, спасшимся чудесным образом от побоища, могли явиться с большими силами, мстить за захват транспорта и смерть своих. Итак, поблагодарив за помощь своих союзников, альтенгеймские вольные стрелки простились с ними, уверяя их, что когда бы ни представился случай нанести урон неприятелю, они, в свою очередь, могут рассчитывать на их содействие.

Потом, гоня перед собою навьюченных мулов, выпавших им на долю, альтенгеймцы прошли деревню и по извилистой горной тропинке ускоренным шагом вернулись к стану, где оставили главные свои силы.

Мишель, как только удостоверился, что они окончательно двинулись в путь, подошел к Отто фон Валькфельду, который также занят был последними приготовлениями к выступлению.

— Любезный капитан, — сказал Мишель, подавая ему руку, — я бы желал переговорить с вами. Можете вы уделить мне минуту?

— К вашим услугам, — ответил Отто, пожав протянутую ему руку, — но, если позволите, я сперва отправлю свой отряд; здесь, как вам известно, каждую минуту ему грозит опасность. Отпустив моих людей, я буду в вашем полном распоряжении, согласны?

— Разумеется, и я стану в лесу с моею командой. Когда вы освободитесь, дайте себе труд прийти ко мне, вот туда, в ближайшую часть леса.

— В десять минут я буду там.

Они разошлись на время.

Мишель Гартман собрал свистом свою команду и направился с нею к лесу, где они вскоре и скрылись.

Чтоб сохранить свободу действий и движения, необходимую для партизанской войны, которую он собирался вести, Мишель не взял ни одного из мулов, отбитых у неприятеля, он ограничился тем, что велел своим людям наполнить сумки и патронташи, в уверенности, что всегда достанет, когда понадобится, необходимые съестные и боевые припасы.

Когда углубились в лес метров на сто, Мишель командовал «Стой!», поставил двух часовых, чтоб не быть застигнутым врасплох, остальным волонтерам посоветовал воспользоваться этими несколькими минутами для отдыха, так как они тотчас опять должны отправляться далее.

Сказав это, он сел немного в стороне, закурил сигару и стал ждать прибытия Отто фон Валькфельда.

Тот же немедленно по уходе Мишеля отдал приказания другу своему и *alter ego* Конраду, которому сдал на время командование и назначил место, где остановиться ждать его, соблюдая все меры осторожности, чтобы не допустить ни одного пленного бежать дорогой, а тем не менее обходиться с ними человеколюбиво и в особенности не позволять солдатам расправиться с ними по-своему.

Пожав руку Отто, Конрад уверил его, что все будет соблюдено буквально, потом стал во главе отряда и дал сигнал двинуться в путь.

Минут через пять партизанский отряд скрылся за бесконечными изгибами дороги.

Тогда Отто фон Валькфельд пошел в лес отыскивать Мишеля.

Поле битвы осталось мертво и пусто в занимавшемся над ним мрачном и пасмурном свете, только стаи воронов с карканьем слетались со всех краев небосклона, чтобы насытиться трупами.

Когда Мишель увидел Отто, он встал и подошел к нему с улыбкой.

— Милости просим, — сказал он, — я не думал увидеть вас так скоро.

— Я знал, что вы с нетерпением ожидаете разговора со мною, и потому поторопился.

— Благодарю.

— Не могу ли я быть вам полезен? Я счел бы это за счастье.

— Пожалуй, и можете.

— Располагайте мною.

— Вы не шутите?

— Честью клянусь.

— Ну так я скажу вам с полной откровенностью, что хочу просить вас о большой услуге. Как видите, я приступаю к делу прямо, без всяких окольных путей.

— Этот образ действия мне по душе, повторяю, располагайте мною.

— Сядем у подножия этого дерева, там можно будет потолковать о делах, никто нам не помешает, никто и подслушать не может; большая часть моих товарищей спит.

— Как угодно, — ответил Отто и, сев на землю возле него, прибавил: — О чем идет речь?

— Сейчас скажу, сперва позвольте предложить вам сигару.

— Приму с удовольствием.

— Вы знаете меня?

— Понаслышке очень даже, я имею честь знать довольно коротко ваших родных, которые все были ко мне чрезвычайно благосклонны. Я находился в отсутствии в то время, как вы приезжали в отпуск, и вернулся в Страсбург, где поселился около двух лет назад, спустя два дня после вашего отъезда в Африку. Объявление войны вынудило меня удалиться из города, где я не хотел быть заперт, и с той поры вот брожу по горам. Таким-то образом, при всем желании сойтись с вами, я, по странному совпадению, этого сделать не мог, хотя с почтенными вашими родными даже на короткой ноге.

— Случай свел нас сегодня, знакомство сделано, и, с моей стороны по крайней мере, дружба уже есть, — сказал Мишель, протягивая руку.

— И я могу сказать то же, — добродушно ответил Отто, — мы давно уже друзья заочно.

— Именно, я рад этому, могу вас уверить.

— Теперь, когда первый шаг к сближению сделан — мы объяснились относительно наших взаимных чувств, сообщите мне, о чем речь, любезный капитан, мне очень любопытно узнать это.

— Сейчас я удовлетворю вас. Вы, вероятно, не знаете, что о вас рассказывают в горах самые необычайные вещи, в молве о вас правда смешивается с выдумкой в размерах почти равных, и наши добрые мужички составили себе легенду, которую на посиделках рассказывают друг другу с содроганием. Что во всем этом справедливого?

— Как всегда бывает, ничего или почти ничего, любезный друг, если позволите называть вас таким образом. Все сводится к следующему: я происхожу от дворянского рода в Лангедоке, который исповедовал протестантскую веру и, нантским эдиктом изгнанный из Франции, вынужден был искать убежища в Баварии. Когда вспыхнула революция 1793-го, мой дед поспешил заявить свои права на звание француза; он поступил волонтером в Рейнскую армию и с честью участвовал во

всех славных кампаниях республики. Под Гогенлинде-ном он командовал 17-й полубригадою, дрался как лев и получил такие тяжкие раны, что был вынужден отказаться от военной службы — он удалился в свои поместья, где и прожил все время империи. Отец мой и дядя воспитывались в Политехнической школе, первый был капитаном, а второй полковником при Ватерлоо. Как видите, возвратившись по прошествии целого века к французской национальности, мой род мог похвастать своим формулярным списком; но так как все имущество его находилось в Баварии, то наше семейство и не выезжало из этого края, где пользовалось и поныне пользуется большим почетом. По выходе моем из Сен-Сира в 1864-м я поступил прапорщиком во 2-й полк зуавов и отправился в Африку. В конце 1868-го я ожидал производства в капитаны. Как видите, я точно передаю факты.

— Еще бы! Вы говорите, словно памятная книжка, — со смехом возразил Мишель.

— Передо мною открывалась блестящая военная карьера, когда однажды я был приглашен к генерал-губернатору в Константине, где в то время стоял с 23-м легким кавалерийским полком, в котором служил около года. После обеда стали играть. Карт я не люблю, но не мог отказаться от партии, предложенной мне полковником. Итак, я присел к столу. Играли в ландскнехт. Сам не знаю почему, я как-то безотчетно следил взором за движениями банкмета — это был полковник генерального штаба, носивший одно из самых громких имен во Франции, и флигель-адъютант императора. После второй и третьей партии я оставил игру и как бы случайно стал за стулом флигель-адъютанта, с которого уже не спускал глаз. Через пять минут я буквально поймал его с поличным, этот полковник в золотом шитом мундире и весь в орденах играл краплеными картами, он был шулер и обирал воровски.

— Пойдите! — вскричал Мишель. — Я помню эту историю, она страшного наделала шума в колонии. О! Если вы ее герой, то я знаю вас, я сам находился на этом вечере, тогда я был поручиком 3-го полка зуавов.

— Стало быть, вы знаете, как все произошло?

— Еще бы не знать! Изобличив мошенника на месте преступления, так как он, защищаясь, осмелился нанести вам жестокое оскорбление, вы на другое утро подали

в отставку и через четыре дня послали ему вызов. Несмотря на все усилия генерал-губернатора замаять эту постыдную историю и отклонить дуэль между вами и подлецом, который нанес вам обиду, поединок состоялся, и вы положили противника на месте, проткнув его шпагою насквозь.

— Совершенно верно, друг мой.

— Но что же потом было, любезный граф? Кажется, я припоминаю вашу фамилию и титул, которые вы носили тогда.

— Не стану далее сохранять инкогнито с вами, я действительно граф Танкред де Панкалѐ, — с достоинством сказал он.

— Мне незачем уверять вас, что это останется между нами; для всех вы будете по-прежнему капитан Отто фон Валькфельд.

— Я просил бы вас об этом. По важным причинам, которые вы скоро узнаете, мне на первый случай необходимо оставаться неизвестным. Убив противника, я поспешно оставил Алжир, не останавливаясь проехал Францию и вернулся в Баварию, с твердым решением ноги не ставить на родную почву, пока наше несчастное отечество не избавится от рокового человека, который не только угнетал его, но еще унижал в глазах чужестранцев, всегда готовых радоваться и способствовать нашему позору и нашим бедствиям. Я очень богат. Сирота с раннего детства, я поступил в военную службу по наклонности и для того, чтобы с пользою служить отечеству; но у меня сто тысяч годового дохода, что во всех странах составляет очень значительную сумму, в Баварии же считается богатством княжеским. Итак, я удалился в принадлежащий мне великолепный замок в нескольких милях от Мюнхена и вел там жизнь самую приятную, самую счастливую, о какой можно мечтать в этом подлунном мире. Однажды, во время прогулки, я встретил молодую девушку, которая также гуляла об руку с отцом. Девушка была прекрасна, чиста, невинна, я полюбил ее. Вы с трудом поверите, друг мой, но девушка эта никогда не знала о моей любви к ней, никогда я не старался найти доступ в дом отца ее, что, однако, было мне очень легко, никогда я не хотел видеть ее иначе, как издали, молча любить ее, поклоняться ей, скрываясь в толпе, и охранять ее с братской заботливостью — словом, это чувство, чис-

то платоническое, было для меня очаровательною мечтою, которую я опасался рассеять, узнав ближе предмет ее. Молодой баварский офицер был менее деликатен и смелее меня. Он задумал поступок гнусный и коварный свой план привел в исполнение с возмутительным цинизмом. Словом, — прибавил капитан мрачным тоном, — он внес горе в почтенное семейство, до тех пор такое счастливое, соблазнил невинное дитя, увез ее и, когда она сделалась матерью, бросил самым бездушным образом. Это вечная история девушек, обманутых низким соблазнителем, повторять ее ни к чему. Мое горе было страшно; я чуть не умер и дал себе клятву отомстить подлецу, погубившему ту, которую я любил такую святою любовью. Не теряя ни минуты, я принялся за дело. Но молодая девушка не впала в уныние, когда была брошена, не поддавалась разного рода советам, которыми со всех сторон старались увлечь ее, она словно росла нравственно по мере того, как подавляло ее несчастье, и душа ее, очищенная страданиями, стала сильна и тверда; она также приняла решение мстить. Она не изменила своей задаче. Оставаясь безукоризненна, она употребила все средства для достижения своей цели без малодушия, без колебаний и с ловкостью, умением и постоянством, которых я никогда не подозревал бы в этом кротком, молодом и нежном создании, и я, с своей стороны, стал следить за презренным соблазнителем. Вот уже четыре года, как продолжается эта борьба, а между тем ни я, ни молодая женщина, мы не достигли желаемой цели. Теперь, благодаря несчастным событиям, которые вдруг возникли и все потрясли во Франции, успех для меня просто вопрос времени и вскоре, надеюсь, увенчает наши старания; я говорю «наши», хотя молодая женщина даже теперь не подозревает моего существования и мы действуем порознь, без всякого соглашения между собою.

— А достигнув мести, что вы сделаете, друг мой?

— Не знаю, ничего, быть может; я только то могу сказать, что люблю ее более, чем когда-либо, она не пала в несчастье, но возвысилась, страдание придало ей ореол, я люблю ее всеми силами души и готов бы, кажется, умереть за нее, — заключил он, печально опустив голову на грудь.

— Друг мой, — сказал Мишель с грустью, — я также люблю, я также страдаю, я в разлуке со своею неве-

стою и, быть может, увы, никогда не увижу ее более. Все наше семейство в разброде и без пристанища. Человек, которого мы приняли в наш дом нищим и голодным, которому уделили у нашего очага место друга, брата, гнусно изменил нам, он служит врагам нашим против нас, это прусский шпион — вот как он заплатил свой долг признательности семейству, куда даже пытался внести позор и бесчестие. Этот демон мой непримиримый враг, я дал себе клятву отомстить ему примерно и клятву эту сдержу. Меня несчастье не сломит, мужественно буду я бороться, страдания любви, горе родных, грозящее разорение, все я забуду, чтоб думать об одной мести. Итак, станьте самим собой, друг Отто, ободритесь и вступим в союз, помогайте моей мести, как я буду помогать вашей, что бы ни случилось, я питаю убеждение, что мы восторжествуем. Вот услуга, о которой я хотел просить вас.

Молодой человек поднял голову, всякий след волнения исчез с его лица, которое опять приняло неподвижность мрамора.

— Любезный Мишель, — возразил он с горькою усмешкой, — не обманывайтесь насчет минутной слабости, которая овладела мною в вашем присутствии и как будто поборола меня. Есть такого рода тяжелое бремя, которое самый сильный и твердый человек не может нести постоянно, не останавливаясь порою, чтоб перевести дух, но после немногих минут отдыха, которые позволит себе, он поднимает голову бодрее и смелее прежнего. Не сомневайтесь же во мне. Если иногда я изнемогаю под тяжестью, которая гнетет меня, эта мнимая слабость не длится более нескольких мгновений. Вы предлагаете мне ваше содействие, вы вызываетесь вступить в союз со мною, прося меня содействовать вашей мести, как вы обязываетесь помочь мне в моей. Предложения этого, признаюсь откровенно, я ожидал и принимаю его с радостью, потому что помощь ваша не только мне нужна, но в данную минуту может быть необходима, и, наконец, потому, друг мой, что мы гонимся за одним и тем же зверем. Мой враг, буди вам известно, вместе с тем и ваш.

— Как! Поблеско? — вскричал Мишель в крайнем изумлении.

— Да, Поблеско, которого настоящее имя барон Фридрих фон Штанбоу. Он и есть мой враг, так же как

и ваш. Этому презренному человеку, повторяю, я поклялся отомстить.

— Как вы узнали?

— Разве это неправда?

— Не отвергаю этого, но все же...

— Вам хотелось бы узнать, как до меня дошло это сведение?

— Признаться, мне любопытно бы услышать, как вы были посвящены в то дело, о котором я намеревался говорить с вами.

— Все подробности мне известны так же хорошо, как и вам, а дошли до меня самым естественным образом. Чтобы не мучить вас более, любезный Мишель, скажу тотчас, что все мне было передано одним из ваших коротких друзей.

— А зовут его как?

— Это поручик Ивон Кердрель.

— Вы знаете Ивона Кердреля?

— Еще бы не знать, мы очень дружны; благодаря мне ему удалось бежать из Страсбурга, не попав в плен.

— Вот странно-то!

— Напротив, друг, вполне естественно.

— Не для меня, — возразил Мишель с улыбкой, — я смиренно признаю, что не понимаю ровно ничего и начинаю верить в баснословную легенду.

— Именно теперь, — возразил Отто тем же тоном, — и начинается элемент легендарный. Оба мы питаем одинаковую ненависть к германской породе грабителей без чести, сердца и совести, которые во второй части XIX века ведут войну варварскими способами. Мы оба также, в силу войны народа с народом, которая опустошает, покрывает развалинами и обагрят кровью наше несчастное отечество, открыли по собственной инициативе партизанскую войну засад и неожиданных нападений против этих тигров в человеческом образе, не так ли?

— Совершенно справедливо, мой друг, продолжайте.

— Только войну эту мы с вами ведем совсем по-разному: забывая личные обиды, вы имеете в виду одно отечество, вы сражаетесь с завоевателями как храбрый и благородный военный, по правилам войны между цивилизованными нациями, уважая международное право и не допуская права возмездия, что бы против вас ни позволял себе неприятель.

— Честь офицера не позволяет мне поступать иначе. Разве вы находите, что я не прав?

— Я не высказываю мнения, только излагаю факты. Каждый смотрит на вещи с своей точки зрения и чувствует их по-своему. Вы понимаете и чувствуете так, прекрасно, я ничего не имею против этого, но только скажу, что понимаю и чувствую иначе.

— К чему вы ведете речь, друг мой?

— Сейчас поймете. С своей стороны, прав я или нет, решит история, этот верховный судья, я нахожу, что народ, который целых пятьдесят лет, в мирное время, под личиною искренней дружбы и величайшего добродушия и самого неограниченного доброжелательства, исподтишка готовится к убийственной войне с другим народом, и готовится самыми гнусными средствами, наводняя край, под разными лживыми предложениями, стаю шпионов, которые втираются повсюду, делаются домохозяевами, ловят семейные тайны, находят точку опоры на всех ступенях общественного строя, вносят повсюду за собою нравственное распадение, бесчестие и готовят гибель тех, кто принял их, посредством самых постыдных способов развращения — я нахожу, что подобный народ подл, гнусен, что он должен быть исключен из человеческой семьи и предан проклятию и всеобщему презрению. Я говорю, что ввиду таких омерзительных действий, когда народ этот пользуется, наконец, пустым предложением, который он же с циничным искусством сумел заставить возникнуть, и, сбросив маску, накидывается на тех, с кем поступал подло, изменнически более полувек, как на добычу, которую решил истерзать, я скажу, что все честные сердца должны преисполниться чувства отвращения к такому страшному преступлению, к такому гнусному коварству, что все человеческие чувства должны быть преданы забвению и что народ, который подвергся подобному возмутительному нападению, должен и даже обязан защищаться теми же средствами, оплачивать неумолимым законом возмездия: око за око, зуб за зуб. Общечеловеческого права не существует более, надо отстоять общественную безопасность и во что бы ни стало спасти отечество от вторжения грабителей, живодеров и дикарей.

— Правда, — ответил Мишель, грустно покачав головой, — но как исполнить это? Как противопоставить

плотину этому потоку, который вышел из берегов, истребляя и опустошая все на своем пути?

— Что делать, говорите вы, друг мой? Хладнокровно взглянуть на положение и дать себе в нем ясный отчет, потом вступить с ним в упорную борьбу и, отбросив всякую слабость, всякое ложное понятие о человеколюбии, в больших размерах исполнять то, что в малом делаю я, простое частное лицо.

— Что вы разумеете под этим?

— Вещь очень простую. Я богат и свое состояние посвятил великому делу правосудия, которое намерен совершить; я сыплю деньгами, у меня рой своих шпионов, которые пробираются всюду, даже в самые тайные советы короля и его министра. Я знаю все, что говорится и что делается. Я сам примешиваюсь к немецким войскам то в одной роли, то в другой, а это гораздо легче, чем предполагают, вследствие большого числа национальностей, которые встречаются в прусской армии и никогда не были бы соединены под прусскими знаменами, если б вместо подлого идиота и разбойника во главе Франции стоял политик, искренно приверженный своему народу и готовый для спасения его чести на все величайшие жертвы. Мое знание немецкого языка и обширные сношения во всем Германском Союзе позволяют мне играть все роли, которые я нахожу нужными для успеха предпринятого мною дела, а потом, когда собраны все необходимые сведения, я надену маску на лицо, притаюсь в засаде на пути транспорта или отряда, как лев нагряну на него, и он истреблен. Вот из чего, благодаря народному легковерию, сложилась легенда обо мне, украшенная всем, что может создать возбужденное воображение, и легенда эта мне очень полезна: она представляет меня существом фантастическим, сверхъестественным и в глазах малоразвитых и глупо-наивных немецких солдат придает исполинские размеры ужасу, который внушают им *черные маски*, как они прозвали меня и моих волонтеров. Одно имя это нагоняет такой страх, что, когда мы только появляемся из кустов, подобно легиону демонов, солдаты уже сознают себя побежденными, бросают оружие и бегут, не пытаясь даже сопротивляться. Вот каким образом, располагая громадными средствами, веду я войну, любезный Мишель, и не требую, чтоб одобряли мой образ действия: каждый должен поступать согласно собственному

чувству и совести. Но теперь, когда мы союзники, а ведь мы союзники, не правда ли?..

— Разумеется, друг, впредь рассчитывайте на меня, как я буду рассчитывать на вас, вот моя рука, это между нами союз навек!

— Да, навек! — ответил Отто, пожимая протянутую ему честную руку. — Наши войска, разбитые и уничтоженные, были вынуждены бросить Эльзас и Лотарингию гнусным победителям на хищнические опустошения, но мы все будем бороться, то и дело тревожить и преследовать неприятеля и, служа таким образом отечеству, докажем, что может сделать патриотизм двух людей, которые не побоялись продолжать до последней возможности безнадежное сопротивление.

— Нам надо так согласовать наши действия, чтобы никогда не быть далеко один от другого и в случае нужды иметь возможность подать друг другу руку помощи.

— Положитесь в этом на меня. Вот, Мишель, возьмите эту памятную книжку, — прибавил он, подавая ему дорогой бумажник, — тут отмечены все мои пароли и лозунги, мои особенные знаки, имена и приметы людей, которым будет поручено сообщаться с вами, когда представится надобность, и еще много других указаний, которых важное значение вы скоро усмотрите, так как они будут вам чрезвычайно полезны.

Оба встали.

— Вы уходите? — спросил Мишель.

— Надо, мой друг, но мы увидимся скорее, чем вы полагаете. А! Еще одно слово: станьте вечером с вашим отрядом у *Дуба Высокого Барона*. Оборотень знает это место и приведет вас.

— Зачем вы мне советуете это? Я имел намерение подойти ближе к Страсбургу.

— Этот привал не заставит вас дать большого крюка, сделайте, что я вам говорю, спасибо мне скажете. Вы встретите, — прибавил он с тонкою улыбкой, — несколько лиц, которых видеть там не ожидаете.

— О ком же вы говорите?

— Ни слова более, друг мой, я хочу доставить вам все удовольствие неожиданности! — вскричал он с веселым смехом.

— Вы человек ужасный с вашими недомолвками, любезный Отто, — отвечал Мишель не менее весело.

— То же утверждают и пруссаки, с тою разницей, однако, что они считают меня демоном, — насмешливо возразил он. — Ну, до свидания, любезный Мишель; смотрите, не забудьте *Дуба Высокого Барона*.

— До свидания же, когда вы так упорно остаетесь таинственным, друг мой. До скорого свидания, не так ли?

— Конечно, до скорого свидания, Мишель, теперь мы союзники, у нас интересы общие.

Поглощенные разговором, молодые люди безотчетно шли по направлению к дороге и достигли крайнего рубежа леса.

В ту минуту, когда они обменивались последним пожатием рук и готовы были разойтись, до них донесся довольно громкий гул, который усиливался с необычайной быстротой.

— Что это? — вскричали оба в один голос.

Они взглянули на долину. Дорожная карета, запряженная парюю сильных лошадей, мчалась во весь опор по извилистой дороге вдоль берега речки, где произошла главная схватка.

— Что бы это означало? — пробормотал Отто.

— Подождем, — сказал Мишель, — вероятно, скоро узнаем.

— Пожалуй, — согласился Отто, осматривая свои револьверы.

Время от времени белокурая женская головка показывалась в окне кареты.

Молодые люди, любопытство которых сильно было возбуждено, ожидали с нетерпением, когда карета поравняется с ними, чтоб попытаться разглядеть черты странной путешественницы.

Между тем карета все катилась с одинаковой стремительностью, когда вдруг ямщик натянул вожжи и лошади остановились на дрожащих ногах именно против того места, где вольные стрелки притаились за кустами, дверца кареты распахнулась с шумом, и прекрасная молодая женщина проворно выпрыгнула на дорогу, словно испуганная косуля.

При виде женщины, которую узнал тотчас, Мишель вскрикнул от изумления и бросился к ней навстречу.

Отто пошел за ним, не зная, что и думать.

— Графиня! Вы здесь, — вскричал молодой офицер, — когда я расстался с вами вчера утром?!

— И вероятно, полагали, что я уже далеко, — возразила она с пленительной улыбкой. — Так нет же, я не далеко, как вообразили вы, и вернулась единственно для вас.

— Для меня, графиня? Простите, я совсем не понимаю...

Не ответив, графиня повернулась к Отто, лицо которого закрывала черная бархатная маска.

— Ого, — засмеялась она, — маска! Вот странно-то! Можете снять ее. Я была вашей противницей, но признательность, — прибавила она, бросив на Мишеля нежный взгляд, — заставила меня перейти на вашу сторону, доказательством тому служит мое присутствие здесь в настоящую минуту.

— Простите мне маскарадный костюм, — возразил молодой человек, снимая маску, — теперь я понимаю, как он неуместен относительно вас и что на доверие ваше я обязан ответить таким же доверием.

— Отто фон Валькфельд, начальник партизанского отряда, — представил Мишель своего приятеля и прибавил: — Графиня фон Штейнфельд.

— Я много слышал похвал вашему уму и красоте, графиня, — в свою очередь сказал Отто, кланяясь, — но вижу теперь, что действительность выше всего, что передает молва.

— Ради Бога, пощадите, — возразила графиня, все улыбающаяся, — мы здесь в странной гостинице для комплиментов, впрочем, — прибавила она серьезнее, — и мне и вам время дорого, а я вернулась нарочно для того, чтобы сообщить весьма важные вести, которые вам необходимо знать как можно скорее.

— Говорите, говорите, графиня! — вскричали молодые люди в один голос. — Мы слушаем во все уши.

— Сядемте в мою карету, господа, нам удобнее будет говорить, чем на большой дороге, где легко привлечь к себе внимание.

— Пусть лучше карета въедет в лес, — с живостью сказал Отто, — ее никто не увидит, и нам нечего будет опасаться ни шпионов, ни любопытных.

Предложение было принято, почтарь соскочил на землю, взял лошадей под уздцы, ввел их в лес и скрыл экипаж в густом кустарнике, где его не было видно. Тогда графиня повторила свое приглашение молодым

людям, которые приняли его, и они втроем расположились в карете, тщательно затворив за собою дверцы, для большей предосторожности, чтобы почтарь не мог подслушать их, графиня спросила у партизан, не говорят ли они по-испански или, по крайней мере, не понимают ли этого языка.

Оба ответили утвердительно чистым кастильским наречием, на котором и завязался разговор.

Однако не тотчас.

Казалось, грустная озабоченность тяготила графиню, она смотрела с невыразимой печалью на своих собеседников, которые с своей стороны ждали с стесненным сердцем, когда ей будет угодно заговорить.

Наконец она, очевидно, переломила себя, глубоко вздохнула и сказала голосом, дрожавшим от волнения:

— Господа, простите мне, что я невольно должна быть дурною вестницей. Увы! Роковою судьбою мне суждено повергнуть вас в отчаяние. Долго я не решалась приехать сюда, но поддалась влечению сердца, внушению моей благодарности, и вот я здесь, полагая, что печальные вести, которые вы должны узнать, переданные мною, покажутся вам все-таки менее горьки, а мне вы простите горе, причиненное вам невольно, во внимание к тому, что заставило меня приехать.

— Ради Бога, говорите, графиня! — вскричал Мишель в волнении.

— Мы мужчины, — прибавил Отто мрачно, — каковы бы ни были бедствия, которые вы нам сообщите, графиня, мы сумеем вынести их.

— Соберите же все ваше мужество, господа, я скажу вам только три слова, но слова страшные: *пруссаки в Меце!*

— Мец взят! — вскричали молодые люди, остолбенев.

— Нет! — с живостью воскликнула графиня, — Мец не взят, но отдан.

— Мец отдан немцам, это невозможно! — вскричал Мишель горячо.

Отто положил руку ему на плечо.

— Ошибаетесь, друг, — сказал он грустным голосом, исполненным невыразимой горечи и презрения, — это должно было случиться, напротив, это логично.

— Я не понимаю вас.

— Как! Вы не понимаете, что после Седана, где герой 2 декабря поднял парламентарский флаг и сдался, несмотря на энергичный протест генералов и всего войска, герой мексиканской экспедиции должен был выдать Мец, чтобы достойно следовать примеру своего господина? Какое дело этим людям до Франции! Базен командовал вспомогательным войском в Меце; разумеется, Мец был заранее осужден на гибель, недоступный Мец, патриотический Мец, самый могущественный оплот Франции, его надо было выдать, дабы уничтожить нашу последнюю армию, и опозоренная Франция, без оружия, без солдат, отданная во власть варварского победителя, обезумев от бессилия, с отчаяния бросилась в объятия того, кто губит ее уже двадцать лет!

— О, все это гнусно! — воскликнул Мишель, отирая дрожащею рукою две слезы, навернувшиеся у него на глазах и медленно катившиеся по его загорелым щекам. — Такое прекрасное, такое храброе войско, лучшее во всей Франции, последняя надежда ее — и сдаться! Сто восемьдесят тысяч человек складывают оружие на открытом поле, маршал Франции выдает неприятелю в одно и то же время свое оружие, артиллерию, боевые припасы, знамена и город, который ему поручено было защищать! Это верх низости и позора, подобного бедствия не встречалось в самые печальные эпохи нашей истории!

— С Бонапартами всего можно ожидать, пусть завтра заключат мир, и эта же партия нагло поднимет опять голову, надругается над нашими несчастьями, которые она же и причинила, станет обвинять всех преданных отечеству людей, поднявшихся, чтобы спасти его, и заявит свое право на трон как дарованное ему свыше!

— Боже мой! Франция, униженная, побежденная изменою, Седан, Мец, Эльзас и Лотарингия, занятые неприятелем и под игом прусской сабли, наши города и провинции, отнятые и разоренные, — столько позора и жестоких бедствий из-за гнусности и низости одного человека! Пусть же будет так! — воскликнул Мишель в порыве великодушного самоотвержения. — Если надо испытать до дна чашу страданий, мы головы не склоним под их гнетом, напротив, восстанем гордые, решительные, непобедимые! Будем сильны, как отцы наши в

1792-м, не сложим оружия и будем бороться до последнего издыхания, до последнего патрона! Да пробудится вновь на нашей старой галльской земле дух великого и самоотверженного патриотизма! И если мы падем в этой борьбе разгромленных титанов, по крайней мере, мы падем истинными патриотами, с криком «Да здравствует республика!», и наша пролитая кровь вызовет мстителей, честь Франции будет спасена и мы вынудим свет не жалеть нас, но удивляться нам.

— Вы правы, друг, одна республика может спасти Францию, заставить ее возродиться вновь, опять стать великою и славною, мы должны лечь костями при тысяче раз повторяемых криках «Да здравствует республика!».

Побежденные глубокою скорбью, молодые люди с рыданием упали друг другу в объятия.

Но слабости они поддались на один лишь миг и тотчас опять овладели собою и отерли слезы.

Мишель наклонился к графине и дрожащим еще голосом сказал:

— Вы причинили нам жестокое страдание, но да вознаградит вас Бог за твердость, с которою вы взяли на себя страшный долг поистине свыше сил ваших. Вы действительно нам друг, вы свято держите слово, которое мне дали, мы благодарим вас от души за ваше честное предупреждение. Мы опять бросимся в огонь, предстоящая борьба будет решительная, без пощады, но что бы ни случилось со мною и с товарищем моим, знайте, графиня, что, пока живы, мы не забудем вашего участия и, вблизи ли, вдали ли, всегда будем готовы защищать вас и отстаивать.

— Я только исполнила своей долг, господа, ваши великодушные слова вознаградили меня с избытком.

— Нам пора разойтись, — заметил Отто, — оставаться здесь более большая неосторожность.

Мишель и друг его вышли из экипажа.

— В какую сторону направляетесь вы теперь, графиня? — спросил Мишель.

— Я еду в Мец, хочу видеть все своими глазами и опять вернуться в эти места. Мы еще увидимся, помните, что с своей стороны также можете рассчитывать на меня. Надеюсь вскоре доказать вам это, — прибавила она значительно.

— Мы знаем, графиня, что вы верный друг и честная союзница.

— Итак, до свидания, господа, не унывайте!

Графиня сделала почтарю знак, и тот вскочил на лошадь.

Через пять минут карета мчалась по дороге как ураган и скрылась за поворотом.

Оставшись одни, молодые люди простояли две-три минуты неподвижно друг возле друга.

— Смотрите, не забудьте прийти к *Дубу Высокого Барона*; я настаиваю на этом более прежнего, — сказал наконец Отто. — И я не замедлю явиться или по крайней мере дать о себе весть.

— До скорого свидания, — сказал Мишель, протягивая ему руку.

— До свидания, любезный друг, отныне интересы наши общие.

Они расстались.

Мишель медленно вернулся к своим волонтерам, которые спали, растянувшись на голой и замерзшей земле. Он разбудил их, и спустя немного минут небольшой отряд так далеко ушел в глубь леса, что всякая попытка погнаться за ним осталась бы без успеха.

Тут читатель встречает два лица, которые давно потеряны им из виду, и узнает новости о многих других

Императорское правительство так основательно готовилось к войне с Пруссией, меры его были так хорошо приняты, чтобы охранять наши границы и сделать крепости недоступными, что во всем оказался недостаток и все мгновенно рухнуло, когда по объявлении войны пришлось бороться с неприятелем, так глупо накликаемым, который с своей стороны целых шестьдесят лет готовился к случаю, вызванному им теперь.

С самого начала войны Эльзас и Лотарингия, брошенные без защиты, почти сплошь были заняты вторгнувшимся врагом и отрезаны от французского войска, слишком слабого, чтобы напасть на неприятеля, и вскоре уничтоженного под Седаном.

Немцы твердо укрепились в этом несчастном краю и завладели без единого выстрела самыми сильными нашими позициями, которых беспечность императорского правительства сохранить не сумела. С этой минуты пруссаки могли противостоять всем усилиям, которыми пытались бы вернуть эти две великолепные наши провинции.

Когда позднее, после всех наших бедствий, правительство Народной Обороны поспешно сформировало новые войска, те пытались вновь занять Эльзас, но напрасны

были все геройские усилия Западной армии ворваться и войти в сношения с засевшими в Вогезских горах вольными стрелками, которые продолжали ожесточенную борьбу с неприятелем, то и дело тревожили его и били, между тем как пруссаки никак истребить их не могли. Все старания протянуть руку помощи этим упорным защитникам отечества остались бесплодны, и вещественная невозможность продолжать борьбу сказалась при сдаче Меца.

Вогезские вольные стрелки не унывали духом. Зная, что брошены, что безвозвратно принесены в жертву, они тем не менее продолжали бороться, и, поспешим заявить, на их долю выпала честь дать последние выстрелы в эту несчастную войну.

Едва вступив в Эльзас, пруссаки организовали грабеж в самых широких размерах, города, местечки до мельчайших деревушек — все подвергалось реквизиции, и жители обобранные были методически, как свойственно немцам во всем. Кража и вымогательства всякого рода цинично выставлялись на вид, немецкие жида, нахлынувшие толпами, подобно чудовищным вранам, слетевшимися на поживу, скупали всякую добычу у солдат и офицеров, особенные поезда устроены были на железных дорогах, чтобы перевозить в Германию мебель, шелковые материи, шали, золотые украшения, сукно, белье, кружева, столовые часы, словом — все, что попадалось под руку этих выродившихся потомков древних бургграфов рейнских, они захватывали себе, ни дать ни взять как это делалось их благородными предками в средние века.

Все им годилось, все имело для них ценность, они не выходили из дома, пока не произведут досконального обыска, не испробуют стен и полов, не вломятся в погреба. Это была всеобщая перевозка вещей, с криками, хохотом, ругательствами и насмешками, сыпавшимися на гнусно обираемых, которым не позволялась, не говоря о протесте, даже самая робкая жалоба под опасением безжалостного наказания розгами или смерти под гибельными ударами.

Так-то пруссаки вступали во владение Эльзасом, этим краем, который надеются вскоре онемечить.

Страх господствовал повсюду, один горец был независим, и то на расстоянии, куда могла долететь его пуля. Низкий образ действия завоевателей имел следствием опустение городов и деревень — жители бежали к воль-

ным стрелкам. Все мужчины, которым удалось скрыться и найти убежище в горах, присоединились к партизанским отрядам, которые таким образом значительно усилились.

Итак, горы стали особенною территорией, так сказать привилегированною, где изгнанники и беглецы принимались с распростертыми объятиями и могли с уверенностью рассчитывать на помощь, покровительство и безопасное убежище. Во все время войны французское знамя победоносно развевалось над горами и они оставались независимы, к великому неудовольствию пруссаков, все усилия которых разбивались об отчаянную решимость последних защитников эльзасской независимости.

С той поры над Эльзасом и Лотарингией распространилось мрачное траурное покрывало, которое исчезнет, только когда эти две патриотические провинции, взоры которых постоянно обращены к Франции, вернутся на лоно матери-родной земли. Непрочно бывает основанное мечом и угнетением, рано или поздно пробьет час божественного суда, и правда одержит верх над силою.

Страсбург, город трудолюбивый, промышленный, торговый и военный, веселый, оживленный, беспечный, французский до мозга костей и умом и душой, выносил страшную ежеминутную пытку с тех пор, как вошли пруссаки и нагло расположились в его стенах.

Более четверти населения обратилось в бегство, бросив все, только бы не подвергнуться ненавистному игу, город превратился в груды развалин, которых никто не думал восстанавливать, мастерские были пусты, магазины заперты, и гульбища, оскверненные тевтонскими плоскими и широкими ногами, предоставлены обезумевшим от своего торжества победителям. Страсбургцы провели между ними и собою такую непроходимую черту разъединения, что завоевателям никак не удавалось прорваться через нее. В восемь часов вечера все двери запирались на запор, огни были погашены и жители забивались в самую глубь своих домов, только некоторые портерные, исключительно посещаемые пруссаками, оставались отворены, да по улицам ходили одни патрули, дозоры или какие-нибудь немцы пьяницы, замешкавшиеся в низшего разряда питейных.

Словом, Страсбург был тогда, и теперь еще, благодаря героическому патриотизму жителей, остается мертвым

городом, который временные завоеватели были и всегда будут, что бы ни делали, бессильны не только воскресить, но даже гальваническим током заставить содрогнуться в могиле, куда он добровольно лег в ожидании воскресения, то есть скорого освобождения.

В одну пятницу, в первой половине декабря 1870-го, часу в десятом, холодный и частый дождь покрывал улицы слоем жидкой грязи, в которой редкие прохожие вязли по щиколотку, мертвое безмолвие царствовало в городе и все дома погружены были в глубокий мрак, слышались одни порывы ветра, да журчание воды, струившейся из сточных труб, отрывистый лай бродячей собаки и «*Weg das?*»^{*} немецких часовых или тяжелые и мерные шаги патруля. В доме на площади Брогли, куда мы уже не раз имели случай водить читателя, три человека сидели в богато меблированном кабинете около камина, где горел яркий огонь.

Эти три человека курили превосходные сигары, беседуя вполголоса, скорее, по привычке, чем из опасения, чтоб их подслушали.

— Какая противная погода! — сказал один.

— Действительно, страшная, — подтвердил другой, покачивая головою.

— Дождь не перестает целых четверо суток, — прибавил третий, бросив окурки сигары и собираясь закурить другую.

— Вы удивительный человек, барон фон Штанбоу, — продолжал первый.

— Это почему, любезный Жейер? — возразил барон, на лице которого виднелись следы недавней болезни.

— Ничто не останавливает вас, самые большие расстройства вам нипочем, вы смеетесь над препятствиями и, подвергаясь величайшей опасности, остаетесь целы и невредимы.

— Цел и невредим! Немного сильно сказано, — возразил барон, улыбаясь насмешливо. — Между прочим, некоторый удар шпагою чуть было не уложил меня на месте.

— Действительно, я смутно слышал о каком-то случае.

— Вы называете это каким-то случаем? Ну, признаться, любезны же вы, покорно благодарю, — с горечью и вместе насмешливо возразил барон.

^{*} Кто идет? (нем.)

— Разве дело было так важно, как вы утверждаете?

— Спросите-ка у господина Варнавы Штаадта, он прибыл на место, где произошло событие, спустя десять минут после того, как оно совершилось.

— Да, рана была страшная, — подтвердил третий собеседник.

— Так поздравляю с выздоровлением; но почему, скажите, я так долго не слышал о вас?

— По разным причинам, излагать которые будет долго. Во-первых, моя болезнь, нельзя же было такому яростному удару шпаги не сказаться сколько-нибудь на том, кому он был нанесен, а наконец, и поручения, на меня возложенные, вот сегодня, например, я приехал из Парижа.

— Из Парижа! — вскричал в изумлении банкир.

— Прямым путем.

— Но вы не были в самом городе?

— Напротив, любезный Жейер, не только был, но и прожил там двенадцать дней.

— Вы меня поражаете!

— И вы уехали...

— Улетел.

— Как улетели?

— Да в настоящее время другого способа сообщения, кроме воздушных шаров, парижане не имеют.

— Странно. Но как же вы проскользнули через французские линии?

— И проскальзывать не понадобилось, я явился, меня приняли с распростертыми объятиями, и все время моего пребывания в Париже я был окружен самым лестным вниманием, меня на руках носили наперерыв один перед другим.

— Вы шутите, любезный барон.

— В жизни не говаривал серьезнее.

— Ничего не понимаю, я был бы чрезвычайно рад, если б вы соблаговолили объяснить.

— Очень охотно. Меня послали с важным поручением в Париж. Получив в Версале тайные инструкции от самого графа Бисмарка, я вышел из города и, сделав крюк, отправился в Корбель, а оттуда в Шуази-ле-Руа: я знаю окрестности Парижа, где бывал несколько раз. Миновав линии немецкого осаждающего войска, я часов в пять утра приблизился к французским аванпостам, на-

ткнулся прямо на патруль из матросов под командою боцмана и сдался ему, объявив, что я француз, имею особенное поручение к правлению Народной Обороны и желаю, чтоб меня свели к командующему постом. Честные матросы порядком косились на меня, по-видимому, они мало доверяли моим словам, но так как требование мое в сущности было справедливо, его исполнили. Меня привели к морскому офицеру, человеку с строгим лицом, от пронизательного взгляда которого я в душе затрепетал, хотя не показал виду. С мнимой откровенностью я ответил не колеблясь на его вопросы и показал ему некоторые бумаги, находившиеся при мне: они ясно доказывали, что я компаньон фирмы «Филипп Гартман» в Страсбурге, и был директором альтенгеймской фабрики, работники которой, по моему внушению, составили с самого начала войны отряд вольных стрелков и не переставали сражаться с неприятелем. Сверх того, я сослался на поручительства нескольких известных в Париже негоциантов, с которыми в течение последних лет имел постоянные сношения по делам. Отчасти я говорил правду, что и придавало отпечаток прямоты и добродушие моим ответам, которых точность не подлежала сомнению, к тому же бумаги, которыми я запасся из предосторожности, в таком были порядке, что, несмотря на всю свою пронизательность, моряк дался в обман и признал во мне настоящего патриота. Итак, по моей просьбе немедленно быть отведенным к губернатору Парижа, к которому я будто бы имел важное поручение, командир поста дал мне двух унтер-офицеров, предписав им охранять меня и служить мне проводниками по лабиринту городских улиц, и я благополучно вошел в столицу, где мои вожатые довели меня до Лувра, настоящего местопребывания парижского губернатора.

— Вот-то, я думаю, вы нашли Париж изменившимся, любезный барон? — с усмешкой сказал банкир, весело потирая руки.

— Действительно, его узнать нельзя.

— Верно, от страха помешались щеголи нового Вавилона, в озноб, должно быть, кинуло этих тощих и смешных щелкоперов, когда они увидали, с какими храбрыми солдатами им надо сразиться. И поделом завитым и напымаженным шавкам, когда они так глупо вздумали раздражить дога, который ими пренебрегал!

— Настало время, — произнес Варнава Штаадт с видом вдохновенным, — еще сорок дней, и Гоморра будет истреблена огненным дождем из серы и смолы, жители ее перебиты и горделивые памятники ее повергнуты в прах. Господь осудил ее на казнь, и народ, избранный Божий, сделается орудием Его правосудия.

Штанбоу пожал плечами.

— Вы оба дураки! — сказал он.

— Что? Что такое, барон? — вскричал банкир, пораженный эпитетом вовсе не дипломатическим.

— Я говорю, что вы оба дураки, — повторил барон хладнокровно, — и французов не знаете, — прибавил он с усмешкой.

— Как! Мне не знать французов?

— Да так, — бесцеремонно перебил Штанбоу, — я докажу это сейчас.

— Сделайте одолжение.

— Итак, выслушайте меня, любезнейший Жейер, клянусь вам, вы почерпнете из моих слов много поучительного и полезного. И вы также, господин Варнава Штаадт, должны быть снабжены надлежащими сведениями.

— Я слушаю, — ответил пиэтист надменно.

— Вы составили себе, господа, очень странное и ошибочное мнение о французах, так же точно, как они о нас. Вы воображаете, что они упали духом и подавлены нашими победами, что они готовы открыть нам ворота столицы и молить нас о пощаде. Вы ошибаетесь от начала до конца.

— Однако Мец и столько других городов...

— Положим, но исключение — не правило. Упадок нравственности — факт, но существует он только, если можно так выразиться, в некоторых слоях общества: императорское правительство сильно пошатнуло общественную совесть и понизило нравственный уровень в известных классах французского общества, от того и произошли позорные поражения и страшная неурядица во всем составе правления, это и повело к бедствиям Франции и к нашему торжеству. Но зло поверхностнее, чем вообще полагают. Пусть явится правительство сильное и честное, которое выбросило бы нечистоты, накопившиеся, как в конюшнях царя Авгия, и вы все будете изумлены, как Франция оправится в два-три года, снова

поднимет голову и станет могущественнее, чем когда-либо. Причина простая: империя не имела времени довершить свое мрачное дело систематического развращения нравственности, зло почти не коснулось корня, средние классы, лучше сказать народ, этот мир работников, художников, тружеников всякого рода, вращавшихся вне растлевающего действия заразы, остался чудным образом неприкосновенным. Не революция совершилась 4 сентября 1870-го, но обвал, общественная совесть пробудилась вдруг и учинила суд и расправу. Париж, эта душа Франции и центр общественного мнения, всегда противился императорскому правлению. Республика пустила там глубокие корни, общественное переустройство всегда составляло насущный вопрос. Мы, чужестранцы, видели Париж только с одной стороны, с точки зрения удовольствий, развлечений и легких наслаждений, сладострастных увлечений и ослепительной роскоши. Я прямо теперь из Парижа, как говорил вам, знаете ли вы, что такое этот новый Вавилон, эта Гоморра, как вы называете его? Нет, разумеется, так я скажу вам, чтоб вы знали, сколько гражданской доблести в населении, которое вы считаете пустым, изнеженным, выродившимся и подлым, чтоб вы поняли, если возможно, сколько Париж еще теперь, после стольких бедствий, имеет жизненных сил, непоколебимой энергии и патриотизма для спасения чести Франции. И то надо заметить, что упомянутые вами щеголи и доступные женщины, толпившиеся в театрах, казино, на бульварах и на улицах, были по большей части и те и другие народ иноземный — многие даже немцы. Рассеянные первым порывом бури, как стая испуганных запахом пороха куропаток, они разлетелись на воды, на купанья, в Италию и так далее. В Париже теперь остаются одни настоящие люди, и какие! Все сословия слились, нет более различия классов, все сплотились дружно, без всяких отличий, в одном-единственном стремлении, в одном желании, в одной мысли — спасти Францию. Париж — это громадный укрепленный лагерь, населенный львами. С утра до вечера на улицах, на площадях, везде учатся ружейным приемам, маршировке и всему такому. Солдат не оказывалось более, мгновенно образовалась армия в шестьсот человек, обмундированная, вооруженная и обученная. Не было пороха, патронов, пушек, ружей, все изготовили. Женщины еще само-

отверженнее мужчин, они рвутся на части, чтобы их мужья, братья или отцы, возвращаясь с городских валов, находили дома обычное довольство. Женщины эти, по большей части привыкшие ко всем удобствам благосостояния, к роскоши, ждут часа по четыре, по пяти, на ветру, на холоде и дожде, у дверей булочных и мясных лавок, кусок конины, собачьего мяса, или крысу, или черный хлебец, дряблый, плоский, почти несъедобный, а рядом с этим смеются, поют, танцуют, посещают театры, концерты, кареты снуют по улицам, как в мирное время, обмениваются шутками, карикатуры на немцев выставлены на всех окнах книжных магазинов, пушки гудят, стреляют из ружей, митральезы грозно выкатывают бомбы, и гранаты сыплются на город, пробуравливают памятники, обрушивают дома, взрывают землю, тысячи жертв падают и не поднимаются уже более, роковой огненный круг охватывает город, преданный разрушению, и отделяет его от остального мира. Однако мужество Парижа растет с опасностью, он защищается собственными силами; сосредоточивает в своих стенах энергию всей Франции, из бомб и гранат делает себе чернильницы, из прусских касок трофеи, требует неотступно вылазок, не сомневается в будущем, отбивается, словно демон, или, вернее, саламандра, так как огонь, по-видимому, стал его стихией, смеется всему, подтрунивает над всем и доволен всем, особенно же готов все выносить, все терпеть, лишь бы неприятель не ворвался в священный город. Вот каков тот Вавилон, та Гоморра, которую вы воображаете. Я видел это геройское население вблизи, видел его на деле и был приведен в ужас решимостью, патриотизмом и самоотвержением его мгновенно сформированных солдат, вчера богатых и счастливых банкиров, промышленников, адвокатов, художников, ремесленников, служащих, сегодня холодно, твердо, непоколебимо идущих при барабанном бое и звуке рожков, чтобы с криками «Да здравствует республика!» ринуться на наши старые войска и заставить их отступить.

— Но если все это справедливо, — вскричал Жейер, — люди эти непобедимы!

— Это справедливо, — холодно сказал Штанбоу.

— Так мы никогда не возьмем Парижа! — вскричал в унынии пиэтист.

— Я не говорил этого.

— Но картина, которую вы описали...

— Вполне верна. Я хотел, чтоб вы хорошенько поняли, что и французы не такой выродившийся народ, как настойчиво уверяют нас, и доказать, насколько в будущем наши настоящие победы могут обойтись нам дорого, но я не говорил вам, что Париж взят не будет. Париж падет, он осужден теми же людьми, которым поручена его защита, которые, несмотря на все доказательства, не верят или прикидываются, будто не верят в успех его обороны, и противятся всем энергическим мерам для общественного спасения.

— Вы говорите совершенно непонятно, барон, — возразил банкир.

— А понять можно бы, — насмешливо улыбаясь, сказал Штанбоу. — По счастью для нас и на несчастье Франции, патриотизм сохранился в народе чувством сильным и неприкосновенным; но не бывало еще страны более несогласной, где встречалось бы более разных мнений. Предводители народа делят оборону, только чтобы стяжать себе популярность и пасть с честью, их цель заключить мир во что бы ни стало, дабы скорее избавиться от призрака, именуемого республикой, который спас их от ужасной катастрофы и тем самым еще более стесняет их. Каждый из народных предводителей, военный ли, другой какой, имеет наготове претендента, которого стремится провозгласить и посадить на трон вместо последнего Бонапарта, все партии заодно против республики, и монархия, даже по незаконной линии, принята была бы ими. Французская монархия разве не синоним званий, должностей, почестей, орденов и нашивок? Между тем одна республика могла бы спасти Францию, потому она и противна всем, кто личный интерес ставит выше общественного. По роковому определению судьбы, Париж падет, мир заключат постыдный, мертвящий, с грехом пополам, и поднимутся все партии, как стая чудовищных вранов налетят они на трепещущее тело Франции, станут терзать его, делить между собою кровавые клочки, и если не появится какого-либо великого гражданина, истинного патриота, который отважно взял бы на себя ответственность того дела, которое одно может спасти родину, мы исполним нашу задачу, Франция кончит свое существование, Германия одна будет преобладающею в Европе и остальные народы только будут прозябать в ее тени.

— О! Барон, этого предъизбранного человека нам опасаться нечего; если б суждено ему было появиться, он уже выдался бы из толпы.

— Быть может. Один уже выдвинулся и энергией своею и силою воли оказал Франции в несколько месяцев громадные услуги, сформировав ей новое войско; но человек этот был один, его не понимали, тормозили его деятельность, а все же он исполнил великие дела; пусть выдвинется другой человек, с большим весом по годам и опытности, и вы увидите, господа, на что способна нация, которую вы считаете выродившеюся, навсегда униженною, а по моему мнению, нравственно сильнее теперь, чем до войны, и это несмотря на неслыханные бедствия в истории народов. Повторяю, вы не знаете, сколько кроется сил и жизненности во Франции. Мы победили теперь, но как знать, что нам готовит будущее? Не худо остеречься!

— Все эти теории превосходны и могут иметь основание, барон, но факт неопровержимый, что Париж падет и мир будет заключен. Французы заплатят громадную контрибуцию, Эльзас и Лотарингию мы остреемся отдать обратно, и Франция не только будет разделена, но и разорена.

— Вдвойне заблуждаетесь, любезный Жейер. Как ни громаден будет выкуп, который мы наложим Франции, разорить мы ее не можем, в качестве банкира вы должны знать это лучше кого-либо, отрезав от нее Эльзас и Лотарингию, мы не разделим ее. Франции ни разделить, ни разорить нельзя, кому знать это, если не вам, банкиру? Франция одна богаче всех других европейских народов вместе, поземельная собственность достигает ценности в триста миллиардов, кредит ее даже не пошатнется. Подумали ли вы об этом? Подумали ли вы о ее промышленности, торговле и богатстве почвы? Нет, разумеется.

— В ваших словах есть доля правды, но все же мы отберем Эльзас и Лотарингию.

— И сделаем ошибку. Я знаю, что ее не миновать ради удовлетворения вековой ненависти Германии к Франции. Только что же выйдет? Эти две провинции останутся французскими, несмотря на все меры онемечить их, главные отрасли промышленности выселятся в другие места, жители бросятся толпами в добровольное изгнание, и край для нас будет разорен, сверх того, мы

сами вонзим себе в бок острие, от которого постоянно будет растравляться язва, и мы со временем будем жестоко страдать. Эти провинции проникнуты республиканским духом, мысли их распространятся по Германии, и Богу одному известно, что тогда выйдет. Владение Эльзасом и Лотарингией мы должны считать не иначе как мимолетной случайностью войны.

— Случайностью войны?

— Да, разумеется, любезный Жейер, из всех европейских стран Франция наименее способна распасться на части, потому что наделена в высшей степени *органическим единством**. Между всеми живыми тварями существует восходящая лестница, посредством которой они более или менее приближаются к единству неразрывному. Для Франции это единство уже образовалось много веков назад, менее содействием закона, чем незаметною, но всеильною работою *судопроизводства*. *Административная* машина есть главная гарантия национальной целостности. *Круговое* единство установилось во Франции не столько от больших дорог, как, например, у нас, сколько от бесконечно мелкой сети миллиона едва заметных дорожек и новых тропинок, которые Франция проложила без шума, по собственному побуждению. Сверх того, есть нечто весьма античное, свойственное этой стране, это совершенство, с которым там произошло *слияние рас*, то оно обозначалось *общим языком*, уменьшением местных наречий, то глубоким сочувствием, что еще важнее, и это до такой степени, что в некоторых отношениях, можно сказать, нет населения более французского, чем племена, не говорящие по-французски, как-то: баски, бретонцы и большая часть эльзасцев. Это не привычка, это притягательная сила Франции. Даже в племенах, присоединенных не более *двухсот лет* назад, это доведено до страсти. Мы с вами лучше кого-либо можем судить об этом. Эльзас, где возникла «Марсельеза», в некоторых отношениях более проникнут французским духом, чем сама Франция, и действительно может назваться Францией за тех великих людей, которыми подарила ее. Знайте, любезный Жейер, что в войну 1866-го,

* Весь этот параграф, проникнутый такой высокой философией и верными воззрениями, принадлежит великому нашему историку Мишле. (Примеч. автора.)

завоевав провинции, мы только разорвали связку, не расторгли на части целого, эти провинции не имели никакой естественной связи с странами, к которым были отнесены. Здесь вопрос совсем иной. Если мы упорно станем удерживать за собою Эльзас и Лотарингию, это завоевание, на которое здравая политика может смотреть не иначе, как в свете скоропреходящего явления, мы сделаем ошибку непоправимую, сдуру, из глупого чванства потрясем Европу до основания и подготовим опасные смуты и грозные события, в которых одни мы будем ответственны пред судом истории. Но к чему служат доводы, когда у вас пристрастие берет верх над логикою? Вы видите один факт, не думая о страшных последствиях в будущем. Бисмарк, тонкий политик, в них не ошибается, и если, подписывая условия мира, он и поддастся увлекающему его потоку и удержит эти провинции, где все против Германии, он знает отлично, что это завоевание или присоединение, называйте как угодно, не может быть иначе как временным, и что скоро он будет вынужден отказаться от него, если не хочет, чтоб оно отнято было у него, не войною, пожалуй, но силою событий, которые неминуемо возникнут, что бы ни предпринимал он, чтоб отворотить или уничтожить гибельные последствия.

— Гм! Знаете, барон, вы что-то уж очень видите все в черном, бррр! Прямо мороз по коже, — посмеиваясь, сказал Жейер.

— Я вижу в настоящем свете, и будущее, я уверен, оправдает мои слова; но довольно об этом, мы не согласимся на этот счет, стало быть, лучше перейти к другому.

— Как угодно, барон.

— Вы не уезжали из города во время осады?

— Не уезжал, но поистине против моей воли, эти разбойники-французы обобрали меня и засадили.

— И вы, вероятно, теперь наверстали потерянное?

— Гм! Не очень-то, я почти разорился, барон.

— Успокойтесь, любезный Жейер, я вовсе не мечу на ваш кошелек, я богат.

— Тем лучше, тем лучше, хотя вы, право, ошибаетесь на мой счет, и то малое, что я имею, вполне к вашим услугам.

— Благодарю, мне это не нужно. Желаю я от вас только сведений о некоторых лицах.

— Надеюсь, что буду в состоянии сообщить их.

— Вы, без сомнения, знаете семейство Гартман?

— Отлично знаю. Филипп Гартман много заставил говорить о себе во время осады; это упорный француз. Он особенно ненавидит пруссаков.

— Я понимаю это, — возразил Штанбоу смеясь, — недаром он и ненавидит их! Куда он девался?

— Все в Страсбурге. Во время осады он играл видную роль. Дом его был разрушен гранатами, старуха мать его убита. Когда же ему сообщили это страшное известие, он бровью не повел, не содрогнулся даже и остался тверд и непоколебим на опасном посту, который избрал.

— Да, — пробормотал Штанбоу задумчиво, — это человек души возвышенной и благородной.

— Его и еще двух-трех членов муниципального совета хотят засадить в крепость в Майнце.

— Это решено?

— Не совсем, но решение не замедлит.

Настало молчание.

— Вы ничего не говорите о его семействе, — продолжал барон, помолчав минуты две-три.

— И говорить нечего, все выехали из города незадолго перед осадой.

— Все до одного?

— Кроме раненного офицера, который лежал у них в доме; если не ошибаюсь, это был жених дочери Гартмана.

— Ага! Куда же офицер девался?

— Никто не знает этого. Во время осады он дрался как лев и оказал громадные услуги, дня же за два до входа прусских войск он вдруг исчез, вероятно был убит, пытаясь пробраться сквозь неприятельские линии.

— Мало вероятно, тело его нашли бы.

— Вы правы, так ему удалось бежать.

— Со времени занятия города не возвращалось никого из членов семейства Гартман?

— Им и отваживаться на это нельзя: все они отмечены красным карандашом. Мишель, старший сын, говорят, командует отрядом вольных стрелков в горах; Люсьен, младший брат, поступил в другой отряд. Ведь вы же знаете все это?

— Приблизительно. Нет ли каких вестей о госпоже Гартман и ее дочери? Им, разумеется, нет препятствия вернуться, если они пожелают.

— Вероятно, они не имеют такого намерения, потому что о них ничего не было слышно.

— Вы уверены в этом?

— Как нельзя более. Дом Гартмана под наблюдением, никто ни может ни войти, ни выйти оттуда незаметно.

— И неизвестно, где они находятся?

— Некоторое время их полагали в Меце, но, должно быть, они туда не ездили.

— А!

Барон задумался, но вскоре опять поднял голову и продолжал равнодушно:

— Благодарю вас, любезный Жейер; это все, что я желал знать о семействе, которым сильно интересуюсь вследствие продолжительных сношений моих с ним. Поговорим немного о наших друзьях. Что случилось с ними?

— С кем же, например, барон?

— Да вот хоть бы с веселым нашим барышником Ульрихом Мейером, или, если предпочитаете, с бароном Бризгау.

— Бедный барон! Печальный был его конец.

— Что вы!

— К сожалению, так. Эти воплощенные черты вольные стрелки схватили его и повесили без дальних okolичностей.

— Какая неприятность для него! Верно, он был неосторожен. Порой он, бывало, сболтнет лишнее. Упокой, Господи, его душу! Какой он был веселый собеседник. А что графиня фон Штейнфельд, имеете вы о ней сведения?

— Как же, она в большей милости, чем когда-либо, она оказывала и ежедневно еще оказывает нам громадные услуги, или, лучше сказать, старается оказывать, так как с некоторых пор часто ошибается, но вовсе не по своей вине — ее ненависть к французам сильнее прежнего.

— Почему же так?

— Кажется, вольные стрелки захватили и ее вместе с бедным бароном Бризгау. Эти мерзавцы, которые все, надеюсь, будут расстреляны, в один прекрасный день заставили ее присутствовать при казни барона, но так как им не удалось напасть ни на малейшее доказательство вины с ее стороны, то пришлось возвратить ей свободу. Она до того была перепугана, что почти слегла. Теперь она в Страсбурге.

— Где она живет?

— На улице Голубое Облако, в немногих шагах от Филиппа Гартмана.

— Я засвидетельствую ей мое почтение. А графиня де Вальреаль, в которую казались так влюблены, вы не видались с нею?

— Конечно, нет, и душевно этому рад. Вот дьявол-то женщина!

— Ну, уж не такой дьявол, — с улыбкой возразил барон, — да и вы, любезный Жейер, помнится мне, некоторое время...

— Ради Бога! Барон, пощадите, не напоминайте...

Штанбоу пожал плечами и встал.

— Вы уходите? — спросил банкир.

— Да, я получил от вас желаемые сведения, что же мне тут делать больше? Оставляю вас с господином Варнавою Штаадтом, ведь вы сказали, что вам нужно свести с ним кой-какие счета.

— Долго вы намерены пробыть в Страсбурге?

— Не более двух-трех дней.

— Увидимся мы еще до вашего отъезда, барон?

— Вероятно.

Он надел перчатки и взялся за шляпу.

— Чуть не забыл! — вскричал он, ударив себя по лбу. — Не известно ли вам, — прибавил он значительным тоном, — место, где альтенгеймские вольные стрелки выбрали безопасное убежище для своих семейств?

— Нет, барон.

— Недели две назад я случайно слышал, как оно называется, хотя не имею понятия, где это, — вмешался пизтист.

— А называется оно как?

— Дубом Высокого Барона.

— Благодарю, более вы ничего не знаете?

— Ничего. По-видимому, место это известно не многим и тайна хранится строго.

— Еще раз благодарю, господа, доброй ночи.

Барон вышел на улицу.

Не успел он ступить на площадь Брогли, как на него внезапно кинулось несколько человек и, не дав времени вскрикнуть или стать в оборонительное положение, завязали ему глаза, скрутили руки и ноги, завернули в плащ, один из них перекинул его себе через плечо и все

скрылись во мраке в ту минуту, когда тяжелые и мерные шаги прусского патруля раздались на углу площади.

Люди, напавшие на барона, были в черных масках, похищение совершилось с необычайной, изумительной быстротой и ловкостью, и ни одним словом не обменялись исполнители смелого подвига.

Одиннадцать часов било на башенных часах, дождь лил как из ведра.

ГЛАВА XII

Жейер попадает из огня да в полымя

Уже более двадцати минут Штанбоу был увлекаем своими похитителями с быстротою, которая не только не уменьшалась, но как будто усиливалась.

Барон, наделенный большою силою воли и неодолимой храбростью, после первой минуты изумления вполне овладел собою, ему вернулось все его присутствие духа, и он немедленно стал стараться всеми мерами узнать, какого рода были люди, во власть которых он попал.

Что он в плену, оказывалось фактом. Но у кого? Это он тщетно силился разъяснить.

Неизвестные люди, когда нападали на него, не произнесли ни слова, итак, он не слышал звука их голоса, сверх того, ему завязали глаза.

Все, что он мог вывести из их обращения, так это то, что жизни его не угрожали и, на первый случай по крайней мере, он в безопасности.

Но эта полубезопасность далеко не успокаивала барона. Он знал, что ненавидим множеством людей, и с содроганием думал, каким нравственным пыткам, часто хуже смерти, могут и, вероятно, намерены подвергнуть его неизвестные враги.

Он, который не отступал ни перед какими средствами удовлетворить свою месть, теперь боялся, чтобы к нему не применили право возмездия и относительно его не

поступили бы с такою же жестокостью, какую не раз он сам оказывал своим врагам.

Он думал также, что люди, захватившие его, должно быть, очень могущественны и вполне уверены в безнаказанности, если отважились на такую смелую засаду среди улицы, в городе, где было полно вражеских солдат. Это размышление было самое печальное из всех, промелькнувших в уме его, потому что он сознавал себя бессильным перед похитителями.

Вдруг несшие его люди остановились.

Барон воспользовался отдыхом, чтоб спросить, чего хотят от него и зачем захватили его таким образом.

В то же мгновение он почувствовал холод стального дула, и кто-то едва слышно шепнул ему на ухо тоном несомненной угрозы:

— Еще одно слово, и я всажу вам пулю в лоб!

Голос так был тих, что барон никак узнать его не мог, но он понял, что угроза будет исполнена немедленно. Приняв это к сведению, он молчал, но удвоил внимание. Вскоре он заметил, что похитители его довольно горячо разговаривают между собою шепотом на неизвестном ему языке, который он счел испанским.

Тяжелые и мерные шаги небольшого отряда послышались в некотором расстоянии; они быстро приближались. Это, верно, патруль обходил городские улицы, удостовериться, все ли спокойно. Барон почти безотчетно сделал движение, тотчас щелкнула пружина, и дуло пистолета опять коснулось его лба. Солдаты прошли, пистолет отняли, и Штанбоу все время оставался неподвижен. Он не хотел быть убит таким образом; в глубине души он уже мечтал о мести в будущем.

Разговор, который замолк во время прохода солдат, возобновился с оживлением, как только затих вдали шум шагов.

Потом барон вдруг почувствовал, что ему вставили кляп в рот, и он не успел сообразить, что с ним делается, хотя, конечно, сопротивление не привело бы ни к чему.

С этой минуты Штанбоу понял, что он действительно в полной власти своих врагов и одно чудо может спасти его.

Он почувствовал, что похитители его опять двинулись в путь.

На этот раз переход оказался продолжительным; похитители, как казалось барону, шли маленькими шажками, осторожно донельзя. После часа с четвертью они остановились опять.

Тут пленник почувствовал, что его приподняли, положили на какой-то предмет, одеяло или плащ, проворно завернули в него, потом накрепко перевязали и, внезапно схватив, приподняли. Холодный пот выступил у него на лбу, невыразимый ужас пробежал дрожью по всем членам. Не хотят ли неизвестные избавиться от него, бросив в Иль или в бездну, где он до смерти разобьется при падении? Подобная пытка была ужасна. Такая утонченная жестокость даже ему, доке по части варварства, не приходила никогда на ум. Но мало-помалу он успокоился, его спускали медленно, осторожно и потихоньку. Итак, убить его не хотели. Но зачем спускали? Куда? Все эти вопросы поневоле оставались без ответа...

Минуты через четыре движение книзу остановилось. Руки приняли его и несли минут десять до места, где опять произошла остановка, потом люди, которые несли, вдруг подняли его кверху. Барон почувствовал, что могучая рука ухватила за его одежду, если так можно выразиться, сильно потянула к себе, и он почти тотчас очутился перекинутым поперек седла, в чем легко удостоверился, так как мгновенно лошадь сделала скачок вперед и помчалась во весь опор.

Тогда с хладнокровием и ясностью мыслей, которых никак нельзя бы ожидать от человека, поставленного в такое критическое и в особенности опасное положение, барон стал припоминать и сопоставлять все случившееся.

Неизвестные, захватив его, думалось ему, прошли большую часть города, потревоженные приближением прусского патруля, они притаились в развалинах дома или какого-либо здания, пока снова не опустела улица и они могли пройти свободно. Тогда они двинулись в дальнейший путь, но уже медленно и с осторожностью, потому, вероятно, что идти приходилось мимо многочисленных военных постов, разбросанных немцами по всему городу. Так они достигли вала, спустили своего пленника в ров, где сообщники подхватили его, как тюк перекинули через лошадь и придерживали, чтоб предохранить от падения, которое могло быть не только опасно, но и смертельно при той быстроте, с какою мчались.

Эти предположения были логичны, барон считал их справедливыми, чем они действительно и оказывались, но далее этого проницательность его не довела.

С какой стороны он вышел из города? По какой дороге его везли? Почему неизвестные вышли из города? В этом состояла вся суть дела. Однако он никак не умудрился бы ответить ни на один из этих вопросов. Тайна становилась все более и более непроницаема, загадка была положительно неразрешима.

Приходилось ждать. В несколько часов непременно должно было разъясниться все.

Но вскоре к нравственной пытке, которую барон выносил так долго, присоединилась физическая.

Лежа поперек лошади, так что ноги болтались по одну сторону, а голова по другую, он почувствовал страшные судороги. По прошествии часа они стали невыносимы, при каждом скачке лошади ему казалось, что у него переламываются ребра, он задыхался, кровь прилиwała к мозгу, к горлу, к глазам и к ушам, в которых раздавался страшный шум, и в виски стучало до того, что голова как будто готова была треснуть, несчастный почувствовал наконец, что у него мешаются мысли, багровые блики мелькали в его закрытых глазах и жгли их, машинально он было попытался сделать движение, но железная рука, не выпуская его все время, тяжелее налегла ему на грудь и вынудила остаться недвижимым. Вскоре страдания пленника стали так невыносимы, что он бессильно опустился, теряя сознание, почти мертвый. По всему телу пробежал мороз, и подавленное хрипение вырвалось из его груди, которую словно жгли огнем.

С минуту он надеялся, что умрет. Им овладело общее оцепенение, мысли его помутились окончательно, и он лишился чувств. Теперь уже он повис как безжизненная масса и тело его раскачивалось равномерно при галопе лошади, которая неслась во весь дух, то и дело подстрекаемая шпорами всадника.

Когда он очнулся, то увидел себя на жалкой кровати.

Его развязали, он видел, слышал и мог бы говорить, если бы был кто-нибудь возле него, с кем перемолвить слово, слабость он чувствовал непомерную. Осмотрелся вокруг, силясь собрать мысли, которые сталкивались в страшном хаосе в его мозгу. Память изменила ему совсем. Он ничего не помнил, ровно ничего; понятно, с

каким любопытством он осматривался в комнате, служившей ему теперь местопребыванием.

В ней, однако, ничего не было замечательного — мебель плохая, топорной работы, грязная и червями источенная, красные коленкоровые занавески на окне, в котором не доставало стекол, на деревянном камельке, скорее, почерневшем от сажи, чем выкрашенном в черное, единственным украшением было изображение из воска младенца Иисуса под стеклянным колпаком. Несколько гравюр, варварски расцвеченных, которые изображали с грехом пополам легендарные злоключения Женевьевы Бабантской*, этой невинной жертвы клеветника Голо, висели на голых оштукатуренных стенах в крашенных черных деревянных рамах и под стеклом.

Хромой стол, на нем — надколотый кувшин для воды, чашки, склянки с лекарствами, стакан, столовые и чайные ложки, вокруг него — три-четыре самых простых соломенных стула, в углу — деревянные часы с кукушкой и плохая крашеная желтая кровать, на которой лежал барон.

Барон вздохнул и опустил голову с унынием: все это не говорило ему ничего.

Однако, по мере того как он приходил в чувство и стал сознавать, что вокруг него, в уме его происходила усиленная работа.

Из всех способностей, дарованных человеку Богом, память всего легче изменяет ему, но и всего быстрее возвращается, когда он лишился ее вследствие сильного потрясения, нравственного или физического.

Барон начинал припоминать. Мало-помалу мрак, затемнявший его мысли, стал рассеиваться и он вспомнил с мельчайшими подробностями все, что случилось с ним с той минуты, когда он ушел из дома Жейера, до той, когда страдания одолели его и он окончательно лишился сознания.

Тут им овладело жестокое беспокойство.

Сколько времени длился его обморок? Часы или дни? Куда его привезли? Что хотели сделать с ним? И в осо-

* Жена пфальцграфа Зигфрида (около 730 г.), ложно обвиненная слугой в неверности мужу во время его отсутствия, осуждена была на казнь, но палач отпустил ее из жалости, и она прожила 6 лет в Арденнах, в пещере. Убедившись в ее невинности, муж взял ее обратно к себе, когда случайно встретил на охоте. История ее — предмет народной легенды. (*Примеч. пер.*)

бенности, кто были его дерзкие похитители? Волнуемый страхом все более и более, барон напрасно ломал голову, придумывая если не план для бегства, то по крайней мере способ обороны. Но ум его, обыкновенно такой плодovitый, теперь не подсказывал ничего; впрочем, он не знал, откуда предстоит атака, которая ему грозит неминуемо, и на какой пункт она будет направлена.

Вооружаться можно только против опасности если не вполне известной, то по крайней мере предвиденной и силу которой приблизительно можно расчесть заранее. Между тем барон не знал ровно ничего, стало быть, ему невозможно было приготовиться к защите. Все зависело от событий, которые, по всей вероятности, не замедлят проявиться.

В первый раз этот человек, смелость которого не отступала ни перед чем, сознавал свое бессилие и трепетал от неизвестности, которая смотрела мрачною и грозною.

Все усиливало терзавшее его беспокойство, и мнимое его одиночество, в котором его оставляли, и мертвое безмолвие, которое царствовало вокруг него. Но как избавиться от неведения? Как узнать что-нибудь?

Блуждая вокруг, глаза его остановились случайно на стуле, где лежало его платье, или, вернее, часть его платья, так как с него не снимали жилета и панталон, галстук, обувь, сюртук и пальто одни были сняты, вероятно, чтоб ему было удобнее, его часы, портмоне, бумажник, сигарочница и шляпа лежали на камельке.

— Кабы попробовать встать! — пробормотал он и прибавил спустя минуту: — Да, лучше встать и встретить врагов на ногах.

Он сел на постель, сделал усилие и сошел с кровати; сапоги его стояли под рукою на полу, он надел их.

Силы возвращались к нему, с тайною радостью он удостоверился, что на самом деле бодрее, чем предполагал сначала, бледная улыбка показалась на его побелевших губах.

— Я не умер еще, — пробормотал он с очевидным удовольствием, — еще не все кончено со мною.

Он взял галстук и подошел к куску зеркала, прибитому к стене крючками.

Увидав себя в нем, он испугался: лицо его было мертвенно-бледно, черты вытянуты, веки покраснели, глаза

потеряли блеск и обрамлялись широкими черными кругами.

— Дело было нешуточное, — заметил он вслух, завязывая галстук, — но я на ногах еще, посмотрим.

Он надел сюртук и направился к окну. Первое, за что он взялся, были его часы: они остановились на тридцати восьми минутах десятого. Он припомнил, что незадолго до ухода от Жейера, то есть около половины одиннадцатого, он между разговором завел часы.

Барон нахмурил брови и взглянул на часы с кукушкой, оказалось, что они тоже стоят, их забыли завести, а может статься, сделали это с намерением. Он ни к какому заключению прийти не мог, пожалуй, часы его совсем разбились от вынесенных толчков. Он завел их и они пошли тотчас, это уже было указанием, хотя и весьма слабым. Итак, часы остановились по естественному порядку вещей после суток хода, стало быть, обморок барона продолжался по меньшей мере сутки, вероятно и больше. Если б лошадь, на которой его везли, замедлила бег или люди, так насильственно похитившие его, даже останавливались для отдыха в это время, все же он, по крайней мере, находился милях в пятидесяти от Страсбурга. Но в каком направлении ехал он? Был ли он еще во Франции, в Баварии или Бельгии?

Не логичнее ли было предположить, что в течение этих часов похитители, чтобы обмануть его, постоянно описывали на одном месте круги, более или менее обширные, следовательно, он вовсе не был очень далеко от Страсбурга, как заставляла предполагать продолжительность переезда, но милях в пяти или шести — самое большое пространство, которое легко пройти в два часа.

— Совсем теряюсь, ничего я не пойму, — с досадой пробормотал он, — но говорится же, терпение и труд все перетрут, будем ждать, это всего проще. Люди, во власть которых я попал, очень хитры, тем лучше, мы поспорим в хитрости и тонкости. К чему мне ломать голову над тем, чего я никогда не угадаю? Рано или поздно кто-нибудь должен войти сюда, тогда мы и увидим.

Он вдел крючок цепочки в петлицу жилета и часы сунул в карман. Потом он открыл портмоне — деньги и банковые билеты лежали в нем точь-в-точь как он положил их сам.

— Я с ума сошел! — пробормотал он, пожав плечами, закрыл портмоне и опустил его в карман. — Как мне знать, что я имею дело не с ворами и что хотят от меня не денег...

Он протянул руку к двум единственным предметам, которые оставались еще на камине, именно бумажник из русской кожи, довольно большого объема, и сигарочница, также из русской кожи, но с украшениями из черепахи. Бумажник казался набит бумагами, а сигарочница, по-видимому, полна была сигар. Прежде чем взяться за тот или другой из этих предметов, барон остановился и бросил вокруг себя подозрительный взгляд.

Он был один, насколько мог судить, для большей предосторожности, однако, он взял свою трость, которую увидел в углу у камелька, ее отняли у него во время минутной борьбы, которую он пытался было завязать с напавшими на него людьми, и немало изумился, увидав ее тут, когда считал потерянною.

Итак, он взял трость и ею попробовал все стены. При легком стуке они везде издавали звук короткий и резкий. Почти успокоенный, барон поставил назад трость, откуда взял ее, и приподнял одну из оконных занавесок. Окно ограждалось снаружи решеткою, в него барон увидел только, живописную правда, картину горной местности, покрытой лесами, но она вовсе не была ему знакома.

Машинально он взялся за ручку одной двери, потом другой: обе были заперты снаружи, внутри запоров не имелось.

— Ну, сыграно ловко! — сказал он с бледною улыбкой. — Решительно, я имею дело с доками, ни одной ошибки не сделано, надо сознаться, что я не более продвинулся вперед теперь, чем с час назад.

Он вернулся тогда к камину, взял бумажник, развернул его и тщательно осмотрел все, что в нем находилось. Осмотр длился долго, барон не пропустил ни одного отделения и в каждом перебрал все бумаги по одной, даже самые пустые по-видимому.

— Почему они не взяли этого бумажника? — пробормотал барон, нахмутив брови. — В нем же заключаются бумаги для них интересные, завладеть которыми им могло прийти искушение. Какая западня кроется под этим мнимым упущением? Гм! Что-то не чисто; более прежнего надо быть настороже.

Он закрыл бумажник и тщательно спрятал его в боковой карман сюртука.

— Гм! Здесь не жарко, — продолжал он спустя немного, — не позаботились затопить камелек и мерзнут тут. Не закурить ли мне сигару, чтоб согреться? В этом беды не будет, полагаю, когда мои враги, кто бы ни были они, имели любезность не только не отнять у меня сигарочницы, но и коробку со спичками поставить возле.

Он взял с камелька сигарочницу, осмотрел ее с очевидным удовольствием, потом, вместо того чтобы открыть, прижал тайную пружину, вовсе незаметную для постороннего глаза, и мгновенно одна из черепаховых пластинок сдвинулась в сторону и открыла тайник, с величайшим искусством скрытый в толщине футляра. Из тайника этого барон достал две четырехугольных бумажки, развернул их и внимательно прочел несколько раз, между тем как улыбка выражения странного озарила лицо его и полузакрытые глаза сверкнули мрачным огнем, как у дикого зверя, который подстерегает добычу.

— Это все, и так мало! — произнес он прерывающимся от волнения тихим шепотом. — Счастье, почести, удовольствия, все тут, а между тем одной искры достаточно, чтоб уничтожить эти крошечные бумажки.

Он сложил их опять, убрал в тайник и придавил пружину, черепаховая пластинка вернулась на свое место.

— Кто бы мог подозревать существование этого секрета? — продолжал барон с усмешкой. — Простые способы положительно самые надежные, никому в ум не придет, чтобы человек имел безумство хранить тут самое ценное из всего своего имущества. Именно это меня и спасает. Как тонки ни были бы враги мои, тайны этой они не откроют и не того добиваются. Однако чего же они хотят? Что им нужно от меня? — прибавил он, с беспокойством нахмутив брови. — Они пренебрегли моими бумагами, как ни ценны они для них. Чего же, наконец, ожидают от меня эти демоны? Я совсем теряюсь. Подождем, должно же все это объясниться рано или поздно.

Он открыл сигарочницу, вынул сигару, пригладил ее губами, взял спичку из коробки, чиркнул ею по стене и закурил сигару со всеми ухищрениями настоящего знатока.

Сделав это, он осмотрелся вокруг пытливым взором и не нашел, вероятно, чего искал, то есть кресла, которое

соответствовало бы желаемым удобствам. Итак, он подошел к кровати, растянулся на ней, левою рукой подпер голову и локтем уперся в подушку. Устроившись же, таким образом, по возможности удобно, он предался опьянению никотином, которое мало-помалу овладевает чувствами и повергает в тихую восторженность, не сон и не бдение, уничтожает волю и нечувствительным переходом действительность заменяет грезами.

Восточные потребители гашиша, китайские курильщики опиума и немцы от табачного дыма одни подвергаются этому сомнамбулизму, которое притупляет чувства, искажает и окончательно убивает разум, уничтожая всякое нравственное чувство.

Окруженный густым облаком дыма, в котором исчезал почти совсем, барон убаюкивал себя с полчаса соблазнительными и туманными видениями, мелькавшими в его мозгу. Вдруг легкий шум послышался у одной из дверей, она тихо отворилась, и в нее вошло несколько лиц. Тщательно заперев за собою дверь, они приблизились неслышными шагами к кровати и остановились перед нею, безмолвные и таинственные как привидения.

Этих людей было пятеро, одежда их изобличала *маркаров* высоких горных площадок. Роста высокого, сложения плотного и, очевидно, силы необычайной, они имели выразительные лица, не лишенные известной доли суровой красоты, странной смеси энергии, грубости и добродушия, что и составляет общий отличительный признак горцев. Лица этих людей скорее дышали доброжелательством, чем угрозой.

Они вошли так тихо и такими легкими шагами, что барон не заметил их присутствия и не выходил из блаженного состояния грез.

Горцы, или мнимые горцы, всматривались некоторое время с странным вниманием в своего пленника, переглянулись между собою, и наконец старший из них, или, вернее, тот, кто казался начальником, сильно стукнул об пол узловатою палкой, которую держал в руке.

При этом необычайном шуме барон мгновенно вышел из задумчивости, поднял полуопущенные веки, сел на постели и взглянул с изумлением на окружавших его людей.

— Ага! — сказал он с великолепным хладнокровием, вынув изо рта сигару. — Видно, я не один более. Мило-

сти просим, господа. Уединение мне становилось в тягость. Кто вы и чего от меня хотите?

— Мы горцы, как видите по нашей одежде, — ответил тот, который стучал палкой.

— Гм! — возразил барон, усмехнувшись. — Я вижу, что вы одеты горцами, но это не доказательство. Ведь вы знаете, вероятно, французскую поговорку: не ряса делает монахом.

Первые слова барон произнес по-французски. Ему ответили по-немецки, и на этом же языке он продолжал разговор.

— Мы не французы, — немного сухо возразил горец, — пословиц французских мы не знаем.

— По крайней мере, говорите на этом языке.

— Понимаем его, но не говорим.

— Положим, однако, пословица все же справедлива.

— То есть в каком смысле?

— В таком, что можно быть в одежде горца, вовсе не будучи горцем.

— Правда, только вопрос-то этот не важен, мы отвечать на него не будем, думайте что хотите.

— И сделаю это с вашего позволения, господа. Перейдем теперь ко второму моему вопросу. Чего вы хотите от меня?

— Многого.

— Очень хорошо. Я подозревал, что вы похитили меня не для одного удовольствия насладиться моею беседой.

— Не мы похищали вас.

— Вот тебе на. Кто же, если так?

— Другие из наших товарищей, мы взялись овладеть Жейером.

— А! И вы успели в этом?

— Он ваш сосед, — ответил горец, указав пальцем на вторую дверь.

— Очень хорошо! Это известие отчасти утешает, по крайней мере, теперь я знаю, что не один в плену. Можно мне видаться с ним?

— Нам поручено отвести вас к нему.

— Я готов хоть сейчас, господа.

— Можете вы идти?

— Думаю, что могу, если путь не очень длинен.

— Несколько шагов всего.

— О, это прогулка!

Он встал, положил сигарочницу в карман и, взявшись за трость, оперся на нее.

— К вашим услугам, господа, — сказал он почти весело.

— Пойдемте, — сказал горец, который один говорил все время.

— Простите, господа, если я иду тихо, — с горечью заметил барон, — но друзья ваши имеют странный способ перевозить пленников, я буквально измолот, и одним чудом кости у меня остались целы.

Ему не ответили.

Дверь отперли. Окруженный своими пятью стражами, барон прошел несколько довольно темных и длинных коридоров.

Это доказало ему, что дом, где он находился, гораздо обширнее, чем он предполагал сначала. После получаса ходьбы, вследствие невольной медленности, с которою подвигался барон, перед ним отворилась дверь и он очутился в довольно большой комнате, освещенной двумя окнами и меблированной с некоторой роскошью. В кресле у камина сидел человек, который обернулся на шум. Барон узнал его тотчас.

Это был банкир Жейер.

При его виде Штанбоу не мог удержаться от крика изумления и бросился к нему.

Приятели, или сообщники, как угодно будет читателю назвать их, очутились вдвоем.

Сторожа барона затворили дверь и остались снаружи.

— И вы в плену у филистимлян, любезный Жейер, — сказал барон, падая в кресло со вздохом облегчения.

— Дер тейфель! — возразил банкир сердито. — Я нахожу это прелестным, вы еще смеетесь надо мною, барон, когда вы же причиной всему, что случилось!

— Я? С ума вы сходите, любезный Жейер. Как же это возможно, когда я такой же пленник, как и вы?

Банкир покачал головою и продолжал, все насупившись:

— Да, барон, повторяю, вы один причиною всему.

— Полноте, вы решительно с ума сходите, или, вернее, уже спятили, — сказал Штанбоу, пожав плечами.

— А! Вы думаете, я сумасшедший? — вскричал банкир. — Я докажу вам, что благодаря Богу еще в полном разуме.

— Посмотрим-ка доказательство.
— Вы знаете, как мы расстались с вами?
— Еще бы не знать, когда именно при выходе от вас, у вашей же двери, на меня внезапно напали и буквально похитили, словно молодую девушку.

— Полноте, разве это возможно?
— Как «разве возможно»?
— Да невозможно, когда на другое утро, то есть тому два дня...

— Что вы говорите? — с живостью перебил барон. — Два дня миновало после этих событий?

— Точно вы не знаете так же хорошо, как и я.

— Говорят вам, не знаю, упорная голова, когда был привезен сюда разбитый, измолотый, в обмороке и в чувство пришел только часа два назад.

— Вы бредите, барон, — сказал банкир, отодвинув свое кресло и с испугом взглянув на собеседника.

— Час от часу не легче! Вы теперь боитесь меня как сумасшедшего!

— И не без причины, когда слышу от вас такие речи.

— Но что же, наконец, случилось и могу ли я к этому быть причастен, сам попав в плен накануне?

Банкир ударил себя по лбу, словно в уме его вдруг просиял свет.

— Это справедливо, — сказал он наконец после того, как с минуту напряженно вдумываясь, — вашим именем только воспользовались и написали под вашу руку, чтоб заманить меня в ловушку, куда я и попался как олух. Простите, барон, я сам не знал, что говорил, обвиняя вас, голова у меня не на месте...

Водворилось довольно продолжительное молчание.

— Да чего же, наконец, хотят от нас эти люди? — вдруг воскликнул банкир с невыразимым страхом.

— Да, чего они хотят? — пробормотал барон мрачно.

— Сейчас узнаете, господа, — сказал человек, неожиданно появившийся в одной из дверей гостиной.

Те вздрогнули и вскочили на ноги.

— Кто вы? — вскричали оба дрожащим от испуга голосом.

Незнакомец одним движением сбросил плащ, который закрывал его с головы до ног.

— Посмотрите, — сказал он, — узнаете вы меня, господа?

— Мишель Гартман! — пробормотали презренные и тяжело опустились опять на кресла.

Это действительно был Мишель Гартман в своем мундире батальонного командира, застегнутый и затянутый как на парад. В дверь, которая осталась отворенною, за ним вошли несколько человек, между прочими Ивон Кердрель, Паризьен и Оборотень, по знаку командира они остались стоять у двери, все были вооружены.

Мишель подошел к пленникам.

— Вы узнали меня, — сказал он, придвигая кресло, на которое сел, — хорошо, господа. Теперь, если вам угодно, мы поговорим.

Два его слушателя молча опустили головы, под приговорной вежливостью и почти дружелюбным тоном офицера они смутно сознавали с трудом сдерживаемый гнев и поняли, что им грозит опасность тем страшнее, что она неизвестна.

— Итак, если вы согласны, господа, — продолжал Мишель с легким оттенком иронии, — побеседуем. Сперва будет ваша очередь, господин Тимолеон Жейер, — и он прибавил, взглянув на барона через плечо: — Потерпите немного, любезный фон Штанбоу, ваша очередь впереди. Однако вот что: пока я с приятелем вашим приведу известные дела в ясность, ничто не мешает вам выкурить одну из превосходных сигар, которые в вашей сигарочнице.

Барону вернулись все обычное присутствие духа и хладнокровие.

— Почему же нет? — насмешливо согласился барон и, вынув из кармана сигарочницу, подал ее открытую офицеру, говоря: — Не угодно ли?

Мишель взглянул на него с странным выражением и слегка отстранил его руку.

— Благодарю, — сказал он с простодушным видом, — не теперь, потом я, с вашего позволения, воспользуюсь этим любезным предложением, мне давно не доводилось курить хорошей сигары.

— Мои все к вашим услугам, господин Гартман.

— Благодарю, благодарю, я этим воспользуюсь.

Барон ответил насмешливым поклоном, закурил сигару и удобно расположился в кресле.

Банкир далеко не владел собою с таким совершенством и невольно удивлялся ему в душе, он же сам не скрывал и откровенно выказывал страх.

— Любезный господин Жейер, — продолжал Мишель, по-видимому не замечая уныния или, вернее, огорчения, в котором находился банкир, — хотя мы жили в одном городе, но почти не знали друг друга и наши отношения не были никогда близки; вы очень редко имели дела с нашей фирмой.

— Милостивый государь... — начал было Жейер робко.

— Виноват! Позвольте мне договорить. Тем не менее, не знаю почему, но я всегда интересовался вами и всем, что вас касается. Это странное сочувствие к человеку, который мне почти чужой, я объяснить не берусь, но факт существует, и я заявляю его. Война, так не вовремя объявленная Пруссией, причинила неисчислимые бедствия нашему бедному краю и вызвала страшные катастрофы, особенно в нашем бедном городе, который превратился в груды развалин, и много семейств, недавно еще богатых, теперь повергнуты в глубокую нищету.

— Увы! — промямлил банкир.

— Понимаю, — продолжал Мишель самым добродушным тоном, — ваше сердце обливается кровью при описании жестоких страданий, облегчить которые вы не можете, а между тем, пока вокруг вас росли развалины, бедствия и смерть поражали безразлично всех, ваш великолепный отель, по странной случайности, точно чудом каким-то оставался невредим, его не коснулся ни один осколок бомбы, громаднейшие состояния поглощены были этим потрясающим переворотом, ваше, напротив, увеличивалось с каждым днем и вскоре достигло размеров неисчислимых. Как это могло случиться, пожалуй, я не сумею вам сказать, а сами-то вы, любезный Жейер, знаете?

Банкир помертвел, губы его дрожали, мигающие глаза смотрели мутно, судорожный трепет пробежал по всему телу.

— Вы не отвечаете мне, — продолжал Мишель все мягче и мягче, — вероятно, и вы не знаете, хотя то, что я имею честь докладывать вам, так справедливо, что вы пять дней назад окончательно удалились от дел, ваш дом на площади Брогли и другое недвижимое имущество в Страсбурге проданы, вы переселяетесь в Баварию и были бы уже на пути, не пожелай я во что бы ни стало побеседовать с вами.

— Но... я не понимаю, я не знаю, к чему вы все это ведете, — возразил банкир задыхающимся от ужаса голосом.

— Вот к чему, господин Жейер, вслушайтесь-ка в мои слова повнимательнее, я хочу предложить вам аферу.

— Вы? — вскричал банкир с изумлением и страхом.

— Почему же нет, любезный Жейер? Разве вы не допускаете, чтоб военный мог ведаться с делами? Полноте, военные-то теперь и делают самые выгодные обороты, кому это знать лучше вас, когда вы так славно устроили свои дела с вашими соотечественниками-пруссакими.

— Я не пруссак, — заметил робко Жейер.

— Вы правы, я ошибся, вы...

— Француз! — с живостью подхватил банкир, стараясь придать своему голосу твердость.

— К счастью для нас, французов, вы лжете, милостивый государь, вы не что иное, как баварский жид, шпион на жалованье Бисмарка, не пытайтесь утверждать противное, я знаю ваши дела не хуже вас самого. Во Францию вы пришли в деревянных башмаках и разбогатели от ремесла шпиона и ростовщика. С начала войны вы играли роль гнусную, все доказательства тому в наших руках.

— Клянусь... — начал было Жейер, сложив руки.

Мишель отступил с отвращением.

— Молчите, вы внушаете мне омерзение; разве станете вы отрицать, что, с тех пор как наша несчастная провинция в руках неприятеля, вы учредили правильный грабеж во всех городах, деревнях и даже беднейших селениях, что при помощи сообщников вы методически обирали всех несчастных, которые попадались вам во власть, пытая их и даже убивая, чтоб поживиться их достоянием? Подлецы! Разве вы думали, что такие возмутительные действия останутся скрыты, а вы спокойно будете пользоваться плодом гнусного хищничества?

— Ради самого неба, пощадите!.. — вскричал Жейер, опускаясь на колени и сложив руки.

— Встаньте, — сказал ему Мишель с убийственным презрением, — ваша низость и трусость делают вас еще гнуснее. — И подобные-то неприятели победили нас! — прибавил он с брезгливой горечью.

Банкир, казалось, не сознавал даже, что вокруг него делается, он механически повиновался приказанию офицера, встал на ноги и тяжело опустился опять в кресло.

— Ну же, кончим скорее! — нетерпеливо крикнул Мишель. — Час наказания для вас пробил. В какую цену ставите вы ваше презренное существование?

Банкир поднял голову, словно от электрического сотрясения, глаза его сверкнули молнией.

— Вы оставите мне жизнь? — пробормотал он задыхаясь.

— Быть может. Не всегда затаптывают под ногами пиявку, которая напьется крови до того, что разбухнет, порой довольствуются тем, что выдают ее.

Мишель наклонился к Жейеру и прибавил так тихо, что один он мог слышать его.

— Семь вагонов, нагруженных вашей хищнической добычей, ждут только вашего приказа, чтоб двинуться за границу, или, вернее, следовать за вами в предполагаемом постыдном бегстве вашем в Германию, эти вагоны одни могут спасти вашу жизнь и служить ей выкупом.

— Но я разорюсь, разорюсь вконец! — вскричал гаденький человек в отчаянии.

— Того-то я и хочу, — ответил Мишель, презрительно пожав плечами, — разорение или виселица, выбирайте, я даю вам четверть часа срока, чтобы принять решение.

Жейер откинулся на спинку кресла с жалобными стонами и ломая руки.

Гартман повернулся к нему спиной и подошел к барону фон Штанбоу.

— Теперь мы с вами потолкуем, господин Поблеско, или под каким бы именем вам не вздумалось выдавать себя, — прибавил он с усмешкой.

С этими словами он сел напротив барона, не обращая уже ровно никакого внимания на банкира, который не переставал стонать и ломать себе руки, воздевая очи горе.

Мишель Гартман имеет полное основание предполагать, что кончил с успехом два важных дела

Барон присутствовал с полным равнодушием при вышеописанной сцене, как настоящий любитель, наслаждался ароматом своей сигары и порой взглядывал насмешливо на товарищей Мишеля, которые стояли перед дверью мрачные, непроницаемые, неподвижные.

В душе он спокоен не был, но жизнь его так часто висела на волоске, что при неодолимой храбрости его он не трусил, мужественно примирился с шуткой, которую с ним сыграли и готовился храбро вынести грозу.

Итак, он с улыбкой на губах и самым грациозным движением ответил Мишелю:

— Я весь к услугам вашим, капитан.

И в то же время он с наслаждением следил глазами за клубом голубоватого и душистого дыма, который выпустил изо рта, вынув сигару.

— Что вы думаете, милостивый государь, о моем разговоре с вашим другом Жейером?

— Я, капитан? — вскричал барон с искусно разыгранным изумлением. — Ровно ничего не думаю, потому что, признаться, вовсе не слушал, ни единого словечка, что называется, не слышал. Однако позвольте, кстати, слегка поправить вас.

— Относительно чего?

— Говоря о господине Жейере, вы употребили выражение *ваш друг*, протестую против него изо всех сил. Мне быть другом этого плаксивого жида, труса, мошенника и скряги — никогда в жизни! Он мне только...

— Сообщник, не правда ли? — перебил Мишель улыбаясь.

— Ошибаетесь, капитан, — надменно возразил барон, — люди моего закала сообщников не имеют, они действуют одни, потому что одни знают цель, к которой стремятся.

— Положим, что я ошибся, в сторону этот вопрос, — тоном примирения сказал Мишель, покачав головой.

Он сунул руку в карман сюртука, достал сигару и собрался было закурить ее.

— Виноват, — любезно остановил его барон, — ведь вы обещали принять одну из моих?

Он подал ему свою сигарочницу.

— Забыл совсем, — улыбаясь, ответил молодой человек.

— Не прикажите ли мне выбрать для вас?

— Нет, с вашего позволения, я предпочитаю сам сделать выбор, это привычка любителя, понимаете?

— Вполне, капитан, вот моя сигарочница, прошу выбрать.

— Благодарю, — ответил Мишель, принимая сигарочницу, которую стал рассматривать с любопытством знатока.

— Прелестная вещичка! — сказал он.

— Недурная, — небрежно возразил барон, — я купил ее у Тагана за двадцать пять луидоров в последнюю мою поездку в Париж.

— Это действительно чудо что за работа.

И, полюбовавшись еще, молодой человек открыл сигарочницу, выбрал сигару, закрыл сигарочницу опять и вернул ее барону.

Тот положил на камин.

— Она может нам еще понадобиться, — сказал он улыбаясь.

Мишель закурил выбранную им сигару.

— Теперь вернемся к нашему разговору, — начал барон.

— Не решаюсь приступить.

— Ну вот! Разве не все можно говорить, я не скажу другу, но во всяком случае старому знакомому?

— Вы правы, в сущности. Итак, милостивый государь, когда вы сами убеждаете меня, я скажу прямо, что заклятый ваш враг.

— Отчего же такая ненависть?

Собеседники разговаривали с улыбкой на губах, дым их сигар сливался в одно, они с изысканной вежливостью обменивались самыми едкими словами. Кто видел бы их теперь, как они сидели у камина, а слышать не мог, принял бы, без сомнения, за двух друзей, разговаривающих об охоте, женщинах или игре. Нельзя было представить себе более разительной противоположности, как между веселыми их лицами и тем предметом, о котором шла речь.

— Происходит она, милостивый государь, — ответил офицер, ногтем мизинца сбивая с сигары пепел, — от способа, которым вы втерлись к моему отцу, от поведения вашего у нас в доме. Будь вы противник благородный, сражайтесь вы храбро на Божием свете во всеувидение за ваше отечество, я не имел бы права ненавидеть вас и не питал бы ненависти, вы исполняли бы ваш долг, служа родине как военный и патриот, и достойны были бы одного уважения. Теперь дело иное, вы явились к нам изгнанником, осужденным на смерть, и Бог весть что еще, у вас были подложные бумаги, подложная национальность, подложное имя, все подложное было в вас, даже до лица вашего, отец мой сжалился над вашим мнимым несчастьем, он принял вас в дом, уделил вам место у семейного очага и обходился с вами, как с сыном, он открыл вам двери всех домов в городе, дал вам должность не только почетную, но требующую доверия. А вы как отплатили за все эти благодеяния? Самой позорной, самой гнусной неблагодарностью, продавая нашим врагам все тайны, доверенные вашему благородству, вашей чести, холодно подготавливая годами гибель ваших благодетелей, и ни на один день, ни на один час не остановили вас угрызения совести, когда вы рыли под ногами этих доверчивых людей ту бездну, в которую с коварным поцелуем Иуды решились низвергнуть их в данную минуту. Лучше не говорить об этом, господин Поблеско, знаете ли, все это так гадко, что меня тошнит.

— Милостивый государь! — пробормотал барон в смущении от резкого упрека, несмотря на свою наглость и цинизм.

— Вы хотели, чтоб я говорил прямо, вот я и высказался. Тем хуже для вас, если это вам неприятно. Я просто удивляюсь вам, немцам, — прибавил он с горечью, — словно у вас вовсе нет понятия о благородстве. Как! Вы лицемерно втираетесь в наши семейства, поселяете там семена нравственного упадка, шпионство возводите на степень учреждения, все средства для вас хороши, чтоб обмануть и сгубить тех, которые приняли вас с распростертыми объятиями, а когда вас ловят с поличным среди этих постыдных низостей, вы отвечаете пренаивно и простодушно: «Мы служим отечеству!» Клянусь честью, это возмутительно! В моих глазах вы просто наглые скоты, способные в ваших предприятиях только на средства самые подлые.

— Видно, вы действительно питаете к моим соотечественникам слепую ненависть. Уязвленное самолюбие ваше не прощает нам наших побед.

— Вы с ума сошли, — презрительно пожал плечами молодой Гартман, — если б победы ваши были честны, если б одержали вы их храбростью, а не ценою измены и шпионства, мы перенесли бы наши поражения без жалоб. Благодаря Богу, Франция достаточно богата славными воспоминаниями, она так часто разбивала ваши войска, что завидовать вам не может. Мы побеждены, но честь наша неприкосновенна и блестит ярче, чем когда-либо, вы победители, правда, но обещены в глазах всего мира, которому теперь стало известно и вероломство ваше, и варварство. Вы погибнете самым торжеством вашим, тогда как мы, очищенные испытанием, восстанем сильнее, чем были до поражений наших. Поверьте, — заключил он с усмешкой, — это предсказание вернее пророчеств Кальхаса, вы скоро убедитесь в этом на деле.

— Быть может, но отчего не вызвали вы меня на дуэль, когда так ненавидите? Я не отказался бы скрестить с вами шпагу.

— Вы удостоили бы принять мой вызов? — возразил Мишель с злою насмешкой. — Вы, бесспорно, оказали бы мне величайшую честь, только, на мою беду, я не могу воспользоваться ею.

— Почему, милостивый государь? — спросил барон, гордо подняв голову.

— По причине очень простой, — ответил Мишель, глядя собеседнику прямо в глаза, — как ни велика моя ненависть к вам, презрение еще больше.

— Доннерветтер! Я дворянин, милостивый государь.

— Тем хуже для ваших собратьев-дворян.

— Разве вы завлекли меня в гнусную западню только для того, чтобы подвергать оскорблениям?

— Нет, у меня была иная цель. Что же оскорблений касается, то я не подумал бы нанести их пленнику, вы сами потребовали, чтобы я говорил прямо, и я исполнил это, не моя вина, если правда кажется вам оскорбительною.

— Для офицера у вас странный способ вести войну.

— Ведешь войну не так, как хочешь, а как можешь. Если б вы действовали честно, и мы, французы, не были бы вынуждены прибегать к таким средствам; вы против нашей воли вынудили нас к этой войне засад и ловушек. Со мною несколько товарищей, очень храбрых, правда, но нас слишком немного, чтобы я отважился выступить против ваших колоссальных полчищ, которым дунуть стоит, чтобы стереть их с лица земли. Нет, я задался целью скромнее, я ограничиваюсь тем, чтобы наносить вам как можно более вреда. Кажется, мне и удастся это, как вы полагаете?

— Полагаю, что вы с вашими вольными стрелками ведете с нами настоящую войну дикарей.

— О! Что до этого касается, — насмешливо возразил Мишель, — то вы забрали себе монополию по этой части и никому не удастся отнять ее у вас.

— Чего вы ждете от бесцельной борьбы? Рано ли, поздно ли, вы будете подавлены и поступят с вами по заслугам.

— Я в это не верю, да и вы также. А бесцельною борьбу нашу назвать нельзя. Со времени обрушившихся на нас бедствий вы расположились в Эльзасе и Лотарингии как у себя дома. Едва вступив в край, вы организовали в больших размерах, согласно похвальной привычке вашей, расхищение и грабеж, не пренебрегая ничем, захватывая от часов до ножниц и кисейных занавесок на окнах. Мне вдруг и пришла мысль — у меня бывают иногда счастливые мысли — учредить систему возврата.

— То есть как же это?

— Я просто стараюсь отнимать у вас по мелочам, что вы воруете оптом. Вы представить себе не можете, какое для меня удовольствие выдавливать — простите пошлость выражения — немецких пиявок, у нас надувшихся от ворованных богатств до того, что чуть не лопнут. Вот хоть бы вашего соотечественника, например, который тут корчит такие рожи, а все-таки поплатится, если не хочет попробовать виселицы.

— Ага! Понимаю, так вы завладели мною, чтоб взять с меня выкуп.

— Боже мой! Да! Вы мне позволите взять сигару? — прибавил он, бросив свою, которой дал погаснуть.

— Сделайте одолжение, для вас, собственно, я и положил их тут.

— Благодарю, — сказал Мишель, насмешливо улынувшись.

Он взял сигарочницу и открыл ее.

— Я опасаюсь, — продолжал барон, — что на этот раз ваши соображения не увенчаются успехом.

— Отчего же?

— Ведь я бедный дворянин, несколько сот франков, которые в моем бумажнике, все мое достояние, если достойный господин Жейер не возьмется внести за меня выкуп, я вовсе не понимаю, как мы покончим дело.

— Легче, чем вы думаете, господину Жейеру едва под силу справиться с собственным выкупом, где ж ему братья еще за ваш.

— Тогда, мне кажется...

— Вы ошибаетесь, говорю вам, вот сейчас увидите.

— Я очень буду рад.

— Сомневаюсь в этом, но подождите конца, чтоб высказывать мнение.

Штанбоу невольно стал озабочен, во взоре его выразилось беспокойство.

Мишель Гартман улыбался исподтишка, играя с сигарочницей, которую, быть может, машинально не выпускал из рук.

— Сколько, говорите вы, в вашем бумажнике денег? — спросил он немного погодя.

Барон вынул из кармана бумажник и подал ему.

— Посмотрите, — сказал он.

— Ни за что! — вскричал офицер, отодвигаясь. — Потрудитесь счесть сами.

Барон раскрыл бумажник, вынул находившиеся в нем банковые билеты и счел их.

— Тут на тринадцать тысяч семьсот франков, — сказал он.

— Я знал это, — ответил Мишель. — Гм! Хорошие деньги, а вы называете это несколькими сотнями франков! Поди сюда, Паризьен, — обратился он к зуаву.

Сержант подошел.

— Положи билеты назад в бумажник. Хорошо... возьми его и ступай на свое место.

— Как?

— Я передумал, эти бумаги мне пригодятся со временем. Там есть прелюбопытные письма, я без ума от автографов, — ответил молодой человек с самым спокойным видом.

— Теперь вы взяли с меня выкуп, надо полагать? — надменно сказал барон.

— Извините, не совсем, — перебил Мишель с изысканной учтивостью.

— Что вы хотите сказать?

— То, что мы далеко еще не сквитались, любезный господин Поблеско.

— Полноте, вам, вероятно, шутить угодно?

— Никогда не шучу с врагами, ваш выкуп назначен неизменно. Итак, советую вам повиноваться добровольно, если не предпочитаете удостовериться собственным опытом в действии прочной веревки, стянутой вокруг шеи прусского дворянина.

— У меня нет ничего более.

— Так вы будете повешены.

— Какую же сумму я должен внести, чтоб мне возвращена была свобода?

— Гм! Гм! Не скрою, довольно большую, вы удачно вели свои дела в последнее время.

— Но сколько же наконец?

Мишель принял вид, что считает в уме, и, словно не замечая, с каким вниманием смотрит на него барон, сказал самым тихим голосом:

— Вы должны мне, любезный господин Поблеско, кругленькую сумму в три миллиона семьсот пятьдесят три тысячи франков.

Громовой удар, разразившийся над головой барона, не мог бы сильнее потрясти его и нагнать на него более

ужаса, чем это полушутливое исчисление суммы почти баснословной.

Он знал хорошо молодого Гартмана и ни минуты не сомневался, что тот говорит как нельзя положительнее. Внезапное подозрение стиснуло ему сердце, он побледнел и был вынужден удержаться за ручки кресла, чтобы не упасть.

— Но я не буду торопить вас, — продолжал Мишель все более и более насмешливо, — и не стану приступать с ножом к горлу, успокойтесь.

— А! — машинально отозвался тот.

— Разумеется, я даю вам целых полчаса, бесспорно, это более, чем нужно, стоит только сговориться. Да что же с вами? — вскричал он с мнимым участием. — Вы точно будто чувствуете себя нехорошо. Выкурите сигару, это может принести вам пользу.

Он открыл сигарочницу, вынул сигару и подал ее барону.

Тот молча отстранил ее рукой.

— Вы отказываетесь? Как хотите, любезный господин Поблеско. — И, положив сигару назад, он закрыл сигарочницу. — Удивительно, как эта вещичка мне нравится. Знаете ли, я предложу вам сделку.

— Сделку?

— И очень для вас выгодную, кажется.

— Вероятно, что-нибудь невозможное.

— Напротив, проще быть ничего не может, и вам должно бы прийти на руку.

— Если это так просто, как вы говорите, — дрожащим голосом возразил Штанбоу, — то, верно, тут кроется новая западня.

— Полноте, за кого же вы принимаете меня, любезный господин Поблеско? — со смехом возразил Мишель. — Разве я умею выставлять ловушки? Это надо предоставить вам, вы на коварство мастера. Что ж, согласны на сделку?

— Как соглашаться на то, чего не знаешь?

— Справедливо, вы головы не теряете, черт возьми, и еще увертливее и хитрее, чем я полагал.

— Перестаньте играть со мною, как кошка с мышью, я изнемогаю и телесно и душевно, кончим так или иначе.

— Бедная мышка, — сказал Мишель жалобно, — вы хотите этого?

— Хоча, насколько это зависит от меня.

— Так будьте же довольны, я не требую с вас той суммы, которую назначил для вашего выкупа.

— Может ли быть? — вскричал Штанбоу, даже вздрогнув. — Вы не смеетесь надо мною?

— Никогда в жизни не говаривал положительнее. Итак, я избавляю вас от взноса, это решено, но с условием.

— А! Есть условие? — с легким дрожанием в голосе возразил барон.

— Условие ничтожное.

— Все же мне надо знать его.

— Разумеется, и убедитесь, как снисходительно я отношусь к вам...

— О, будьте уверены, что я никогда не забуду этого! — с живостью вскричал Штанбоу.

— Кой черт, дайте же мне договорить! — остановил его Мишель, махнув рукой.

— Простите, но я никак не ожидал...

— Да, да, понимаю, вы и теперь вовсе не ожидаете того, что будет.

— Как? — барон наострил уши.

— Повторяю, вы убедитесь, как снисходительно я поступаю с вами, когда взамен моей уступки только попрошу подарить мне эту сигарочницу, сам не знаю, отчего она мне нравится все более и более, я точно околдован ей, прости Господи!

Мишель Гартман мог бы говорить еще долго без опасения, чтоб его перебили. Если он имел в виду нанести удар, то мог остаться вполне доволен: действие, произведенное им на собеседника, превзошло всякое ожидание.

Услыхав предложение по-видимому такое простое и скромное, барон откинулся на спинку кресла как громом пораженный, его бледное лицо помертвело, мутные глаза дико блуждали, нервный трепет пробежал по всему телу, и судорожно сжатыми пальцами он отчаянно ухватился за ручки кресла.

Присутствующие ничего не понимали, однако, хотя настоящий смысл этой сцены от них ускользал, они подозревали нечто важное.

Между тем Мишель, скрестив руки на груди, откинувшись назад и высоко подняв голову, смотрел с горькою улыбкой на губах, блестящим взором, исполненным неумолимой насмешки, на врага, терзаемого страшным отчаянием.

Так прошло несколько минут.

Барон делал сверхъестественные усилия, чтобы сдерживать бушевавшую в нем злобу, привести в ясность путавшиеся мысли, вернуть хладнокровие, которое вдруг оставило его, но все напрасно, так жесток был нанесенный ему удар. Наконец его волнение стало стихать, легкая краска выступила на щеках, глаза его приняли обычное хитрое выражение, он с трудом привстал и произнес прерывающимся голосом:

— Я думал, что умру!

— О! От такой безделицы не умирают, — возразил насмешливо Мишель, — вы только подверглись легкому припадку нравственной пытки, теперь это прошло. Что же, принимаете вы мое предложение?

— Подлец! — вскричал барон. — И вы, вы осмеливаетесь называть нас ворами, грабителями!

— Без мелодрам, прошу покорно, а в особенности без громких, но пустых слов. Мы здесь не на театральных подмостках. Итак, бросьте выражения, пригодные только конюхам, и объяснимся с приличием и вежливостью людей хорошего общества, которые друг друга ненавидят, но не забывают должного уважения к самим себе. Посмотрим, изложите-ка ясно, в чем вы упрекаете меня.

— И вы еще осмеливаетесь спрашивать! — вскричал Штанбоу в неопisanном душевном смятении, взбешенный еще больше невозмутимым хладнокровием врага.

— Ваша наглость, милостивый государь, превышает все. И вы имеете бесстыдство упрекать, говорить о краже! Я знаю, что заключается в этой сигарочнице, я знаю не хуже вас, какая сумма спрятана в тайнике, так искусно вделанном в крышке. Вы ловки, господин Поблеско, но ваша ловкость и погубила вас. Вы приехали теперь из Парижа, где провели несколько дней, играя роль, для которой честный человек не находит названия. Когда за два дня до войны вы сдавали отцу моему счета по управлению фабрикою, то мошеннически похитили представленную вами квитанцию французского банка, в суммах, полученных вами и положенных вами же в банк на имя моего отца. Гнусная кража этой и многих других еще сумм, далеко не ничтожных, была замечена отцом слишком поздно: вы уже успели скрыться, а пруссаки осаждали город. Между тем вы пробрались в Париж под личиною представителя

фирмы Филиппа Гартмана. Наши прежние парижские корреспонденты, не зная, что произошло между вами и отцом моим, приняли вас так, как будто вы все еще имеете право на звание, дерзко вами присвоенное, и таким образом они сделалась невольно вашими сообщниками. Вы не затруднились сварганить подложное письмо, внизу которого подписались под руку моего отца. Этим письмом вы воспользовались, чтобы положенные вами суммы вынуть из банка и поместить у Ротшильда, где вам выдали один бон на лондонский дом Ротшильда, для уплаты по востребованию двух миллионов шестисот франков, и другой, в меньшую сумму, на дом Торлония в Риме, эти два бона составляют половину состояния моего отца, того человека, которому вы обязаны были всем и которого пытались обокрасть, как презренный мошенник, которым вы и являетесь. Однако, несмотря на войну и затруднения всякого рода, я успел-таки, благодарение Богу, разоблачить вас и отнять то, что вы украли так постыдно. Ни минуты я не терял вас из виду; меня постоянно извещали о ваших действиях, мне все было известно, что вы делали в Париже, одно оставалась тайной — место, куда вы спрятали приобретенное таким гнусным злоупотреблением доверия, такую неслыханную домашней кражей. Когда я решился заставить похитить вас в самом Страсбурге, посреди прусского войска, я имел целью каким бы ни было способом добиться от вас сознания. Вы избавили меня от неприятности прибегать к средствам, которых, признаться, я гнушался, вы сами выдали себя.

— Я? — вскричал Штанбоу, оторопев и не пытаясь более защищаться ввиду убийственных улик, перечисляемых Гартманом с хладнокровием и ясностью, которые не изменяли ему ни на минуту.

— Да, вы, милостивый государь, — подтвердил насмешливо молодой офицер, — часто губишь себя излишней ловкостью и осторожностью. Вы сами тому живое доказательство.

Мишель остановился, как бы ожидая протеста или отрицания, но Штанбоу, опустившись в кресло, возражать не думал: он был побежден и, точно жертва тяжелого сна, едва сознавал, что происходит вокруг него, рассудок его словно колебался. Он был сломлен.

Мишель бросил на него взгляд выражения странного, улыбнулся и продолжал:

— Скрыги, говорят, находят наслаждение в одном созерцании своих сокровищ. Сегодня утром вы, едва пришли в чувство после вашего продолжительного обморока, как, взяв все меры осторожности, какие считали необходимыми, чтоб вас не застigli врасплох, попробовав стены, осмотрев двери и тому подобное, пожелали взглянуть на ваше сокровище, купленное ценою чести, полюбоваться ворованным богатством, а главное, удостовериться, что оно у вас не похищено во время вашего долгого бесчувственного состояния.

— О! Теперь помню, — вскричал он в бешенстве, — я олух, дурак набитый! Однако нет, этого быть не может, видеть меня вы не могли!

Мишель пожал плечами.

— В комнате, где вы были, — сказал он с усмешкой, — одна из картин проколота множеством незаметных дырочек, и в них видно все, когда открыто окошко, пробитое в стене за картиной. Понимаете вы теперь? На мое счастье, я стоял там и смотрел, когда вы потрудились выдать себя. Признаться, я ввек не угадал бы сам, где вы спрятали бумаги, так искусно был придуман тайник. Вот каким образом мне удалось вернуть состояние моего отца, которого вы обообрали так бессовестно.

Настала минута молчания, которую прервал Штанбоу.

В нем уже произошла реакция. Как жесток ни был удар, он овладел собою благодаря громадной силе воли, и обычное присутствие духа вернулось ему точно по волшебству. Барон, как известно, был игрок, а игроки скоро утешаются в проигрыше: не всегда же несчастье на одной стороне. Теперь партия была иного рода, вот и все, неудачу всегда можно поправить.

— А теперь, когда вы вернули свое богатство, — спросил он с циничной насмешкой, — что вам угодно будет сделать со мною?

— Ровно ничего, что мне прикажете делать с вами? — холодно возразил Мишель. — Через час вы оставите этот дом и вас отвезут в Страсбург, где вам возвратят полную свободу, только по причинам, излагать которые бесполезно, потому что вы сами поймете их, будут приняты некоторые необходимые меры, дабы вы остались в полном неведении, где против воли провели несколько дней.

— Очень хорошо, милостивый государь, а если б я, до отправления моего, просил вас скрестить шпагу со мною, что вы на это скажете?

— Только то, — надменно ответил молодой офицер, — что честный человек всегда готов дать удовлетворение человеку благородному, мошенников же презирает и пренебрегает их оскорблениями, которые никого не порозят, кроме их самих.

— Берегитесь, милостивый государь, — вскричал барон, до крови прикусив губу, — я отмщу!

— Запомните одно, — возразил Мишель, презрительно пожав плечами, — если кто-нибудь из нас должен остерегаться, то вы, а не я. Не попадайтесь мне более на дороге, или, клянусь честью, вам несдобровать!

— Хорошо, увидим, я также клянусь вам, что отмщу.

— Попробуйте. Но довольно об этом. Оборотень, Паризьен, вы получили инструкции, — и, обратившись к барону Штанбоу, он прибавил: — Следуйте за ними.

— До свидания, милостивый государь, — сказал Штанбоу хриплым голосом.

— Не желайте этого, — ответил Мишель и повернулся к нему спиной.

Штанбоу бросил на него взгляд бессильной ярости и вышел из комнаты с своими провожатыми.

Мишель подошел тогда к Жейеру и сел в кресло против него.

Банкир не сделал ни одного движения во время продолжительной сцены, приведенной нами выше. Он оставался неподвижен, опустив голову на грудь и весь погруженный в печальные размышления. По-видимому, он относился совершенно безучастно к тому, что говорилось и делалось.

Жейер был жид-жидом, если можно употребить это выражение, так верно передающее нашу мысль. Это был тип жида, каких уже нигде почти не встречается, кроме Германии и Польши, жида, для которого золото единственный бог, который ненавидит и презирает христиан и в настоящее время точь-в-точь то же, что были его соотечичи в средние века.

От продолжительного пребывания во Франции он поддался влиянию среды, в которую был помещен: малопомалу его ум развивался, на грубую оболочку жида наведен был лоск хорошего общества, и по наружному

виду, по крайней мере, он казался не хуже других — то есть чванливым и самодовольным капиталистом, порядочно глупым, но способным как нельзя более сводить или, вернее, путать счеты. Когда же вспыхнула война, он снова завязал сношения с почти забытыми одноплеменниками и вступил с ними в тесный союз — в нем развилась жадность, пробудились врожденные жидовские свойства, лоск сошел, как тает снег на солнце, и поскоблить даже не пришлось, как жид появился в своем безобразии. Тогда им овладела безумная жажда денег, он опять сделался ростовщиком и старьевщиком, скупал у прусских солдат всякую захваченную ими добычу и учредил систему грабительства на широкую ногу — словом, он устроился так, что в несколько месяцев составил себе состояние громадное. Опасаясь, однако, беды, так как за будущее никто отвечать не может, он принял решение оградить свои сокровища от случайностей войны. С этой целью он все превратил в деньги, продал недвижимое свое имущество и собрался выехать из Страсбурга, чтоб оставить Францию в самый короткий срок. Уже уложены были часы, золотые вещи, шелковые материи, кружева, картины, мебель, тюфяки — словом, все, что от грабежей в наших несчастных городах попало в его цепкие руки, уже он назначил день своего отъезда, намереваясь путешествовать вместе с своим багажом, чтоб иметь возможность наблюдать за ним самому, когда накануне определенного дня попался в выставленную ему ловушку и приведен был к Мишелю.

Закурив сигару, которую выбрал тщательно в сигарочнице, нам уже известной, молодой человек нашел, что пора завязать разговор.

— Любезный господин Жейер, — сказал он, слегка наклонившись к банкиру, — кончили вы свои размышления?

— Увы! — пробормотал тот дрожащим голосом. — Я бедный человек, сжальтесь надо мною, неужели вы хотите довести меня до нищеты?

— Я только хочу подвергнуть вас наказанию, которое вы заслужили изменою Франции и гнусной жадностью.

— Ох! Ох! — заохал банкир пуще прежнего. — Я разорен, я убит!

— Довольно жалоб, почтеннейший, — резко перебил его Мишель, — к делу, у меня ни времени, ни терпения

не хватает выслушивать ваше разглагольствование. С давних пор знаю я вас и вашу братию: чем выпустить из рук одно экю, вы предпочтете тысячу мук. Но теперь вы в моей власти: или возвратите взятое, или готовьтесь умереть.

— Ох! Все кончено со мною, — плакался банкир, — бедняга я.

— Знайте, что все доказательства ваших сношений с неприятелем в моих руках. Вы целых десять лет были прусским шпионом: во Франции шпионов казнят. Кроме того, вы с самого начала войны занимались постыдным торгом, грабя и обирая без жалости наших несчастных соотечественников. Итак, вы вполне заслужили казнь, ничто не спасет вас, или вы вернете похищенное, или вас повесят.

Он встал, подошел к окну и открыл его.

— Поглядите, — сказал он.

Банкир машинально поднял глаза, но тотчас же откинулся назад и с криком ужаса закрыл руками лицо.

Прямо против окна стояла высокая виселица. Печального вида грозное орудие смерти нагнало невыразимый страх на гнусного негодяя. Несмотря на свою скарედность, или, вернее, из-за нее, Жейер очень дорожил жизнью. Несколько слов, которые прибавил Гартман, доказали ему несомненно, что он не комедию разыгрывает с целью напугать его.

Мишель холодно сказал:

— Граф фон Бризгау, ваш приятель и соучастник в шпионстве, был повешен альтенгеймскими вольными стрелками, хотя в некоторой степени был виновен менее вас; вам же остается пять минут или согласиться вернуть награбленное, или предать душу Богу, которому, полагаю, в ней мало надобности.

С этими словами молодой человек вынул из кармана часы, положил их на камин, потом без дальних околичностей повернулся к банкиру спиной и шепотом переговорил несколько слов с своими товарищами, которые все стояли неподвижно на своем посту.

Банкир опустил все тело, он понял, что погиб, что всякое сопротивление будет напрасно и что одно средство избежать грозившей ему страшной смерти, это исполнять требования безжалостных к нему людей, которые держали его в своей власти.

Само собою разумеется, что прискорбное решение это он принял не без потоков слез, неумолкаемых стонов и жалоб, но дело имел с самыми худшими из всех глухих, какие бывают на свете, с теми, которые слышать не хотят, ему и пришлось покориться тому, чему он противиться не мог.

— Ну что? — спросил Мишель, возвращаясь к нему по прошествии пяти минут. — На что вы решились? Согласны вы?

Банкир только утвердительно кивнул головой, никакая человеческая власть не вынудила бы его ответить вслух.

Тогда ему подали несколько бумаг для подписи. Он повиновался, не раскрывая рта.

Мишель отдал эти бумаги людям, которые ушли немедленно.

Спустя четыре часа вернулся один из них, все было исполнено, и фуры находились в безопасности.

— Готовьтесь уехать через час, — сказал банкиру Мишель.

— Так я свободен? — спросил тот с боязливой радостью. — Куда меня отвезут?

— В Голландию, и помните, что, появившись вы вновь на французской территории, вас повесят без дальнейших разбирательств.

Банкир вздохнул и не отвечал.

Не прошло двух часов, как он, согласно тому, что ему было объявлено, уже находился на пути в Голландию, конвоировали его Ивон Кердрель и два вольных стрелка, зорко наблюдая, чтоб он не ускользнул у них из рук.

Как Мишель Гартман достиг Дуба Высокого Барона

В нескольких милях от Страсбурга, на высокой площадке Вогезских гор, которую мы по известным причинам яснее определять не будем, находятся еще величественные развалины громадного замка, веками бывшего местопребыванием одного из древнейших и могущественнейших родов в Эльзасе. Ныне этот знатный род обеднел и почти вымер; некоторые существующие еще потомки имени, некогда славного и грозного, прозябают понемногу везде и живут как Бог послал, случайною поживою, не сохранив никакого воспоминания о прошлом блеске их рода и, вероятно, вполне к нему равнодушные.

После долгого и трудного пути по неровной тропинке, промытой во многих местах дождевою водой и потоками от таяния снега, достигают наконец вершины, на которой гордо высится замок, некогда грозным и бдительным стражем господствовавший над всею окрестностью на десять миль вокруг.

Там-то, на самой середине площадки, старый замок баронов окончательно распадается в прах от соединенных усилий времени, запущения и непогод.

Вид его печален. Хотя сооружения чисто циклопического, он ветх, разрушен и пострадал более, чем какой-либо из других замков в Вогезских горах, только одна башня устояла и возвышается еще посреди хаоса камней,

некогда образывавших твердыню, а теперь в небрежении рассеянных по площадке или кой-где торчащих щетинами в диком и живописном беспорядке.

Мох, лишай и бадан образуют в промежутках мягкие и глубокие ложа; вокруг шатких стен устоявшей башни вьется плющ, к нему прицепился белый ломонос, и дружными усилиями эти растения терпеливо взобрались на стену, охватили ее со всех сторон и драпировали мрачный скелет прошлых веков в зеленую развевающуюся мантию, которая словно молодит его.

Вот все, что остается теперь от феодального жилища знатного рода, который не более века тому назад считал себя настолько могущественным, чтобы стремиться к императорской короне, и чуть было не успел возложить ее на голову одного из своих членов.

Среди площадки, на ружейный выстрел от груды камней, некогда бывшей замком, прямо против развалин, стоит исполинский дуб, который один осеняет своею листвою все возвышение, где находится. Этот великан, царь леса, над которым точно будто парит, известен в крае под названием Дуба Высокого Барона; тут древние владельцы разрушенного замка чинили суд и расправу над своими вассалами.

Рассказывают любопытные и чудесные легенды о сохранении этого великолепного дуба и его глубокой древности.

В течение долгих лет друиды совершали свои грозные таинства под его сенью, товарищи Цезаря и сам Цезарь отдыхали в его тени, мимо него прошли дикие полчища тевтонов, бургундцев, франков и бесконечный поток варваров, которые действием тайной какой-то силы ринулись на Римскую империю, подавили ее своею массой и все признаки древней цивилизации затоптали ногами своих лошадей.

Не раз и римляне и варвары пытались свалить этого исполина вогезских лесов, но топор не брал ствол величественного дерева, которое словно пренебрегало всеми бессильными попытками.

Борусы, дикий и надменный народ, вековой враг древней Галлии, опустошив весь край вокруг, хотели было поселиться в Вогезских горах, когда до короля этих варваров случайно дошла молва о глубоко чтимом исполине лесов и победоносном его сопротивлении всем по-

пыткам срубить его. Высокомерный король объявил немедленно же, что несколько ударов его секиры свалят дерево наземь, и, не слушая убеждений вассалов, испуганных его смелостью, он бесстрашно вошел в лес.

Стоя на равнине толпой, под впечатлением тайного и безотчетного ужаса, варвары ждали, опираясь на оружие, что будет.

Ожидание их длилось недолго, не прошло часа, как они увидали, что король возвращается бледный, мрачный, с искаженными чертами, как пьяный, и секира в повисшей правой руке его была сломана.

Борусы остолбенели, но это было самое гордое племя на свете, живым доказательством тому служат их настоящие потомки. На мгновение сраженный сверхъестественною, надо полагать, силою, король, однако, не хотел мириться с своим поражением. Он пуще взбесился от своего бессилия и поклялся, что дуб будет уничтожен так или иначе, что он должен быть истреблен, что этого требует его честь. Итак, он приказал воинам натаскать к подножию горы громадную кучу хвороста и сухой травы и собственноручно зажег исполинский костер.

Пожар быстро распространялся от дерева к дереву, и вскоре весь лес охватило огненною завесой, над которой носились клубы черного дыма с миллионами искр.

Целых две недели широко раскинувшееся пламя пожирало лес и потухло наконец тогда только, когда нечему уже было гореть.

Борусы радовались и громкими кликами торжествовали победу, горделиво повторяя друг другу, что на земле, на которую ступили их лошади, должно пасть все.

Но торжество варваров длилось недолго, оно превратилось вскоре в невыразимое изумление и суеверный ужас, когда в одно утро, на рассвете, ветер, дувший с силою урагана, унес вдаль густые облака дыма, еще поднимавшиеся с пепелища, и глазам их, на вершине горы, предстал дуб, такой же зеленый и величественный, как будто страшный огненный вихрь, который в течение двух недель все сокрушал и пожирал, для него был благодетельною росой.

В виду такого чуда и варвары почувствовали себя побежденными, в смущении и ужасе они поспешно удалились, чтоб распространять в других странах опустошения и гибель, повсюду сопровождавшие их походы.

И вот почему, прибавляют горцы, когда рассказывают эту легенду, борусы не могли поселиться в Эльзасе, да и пруссаки, их потомки, что бы ни делали, не утвердятся там никогда. Слова эти произносятся с таким убеждением, что невольно при взгляде на великолепный и все еще полный жизни зеленый дуб разделяешь это верование, и наивное, и гордо-патриотическое.

Действительно, лес вырос опять, новые деревья других видов поднялись на его месте, а старый дуб, как и в былое время, возвышается, великолепный и покрытый листвою, над молодым лесом.

Что сказать на это? Чему верить? Вера все объясняет. Разве любовь к отечеству не совершеннейшее, следовательно, и самое рациональное выражение веры?

Немного позади дуба, легенду о котором мы передали так подробно, находился дом постройки легкой, так сказать, воздушной. Стоя на конце площадки в наклонном положении, он каким-то чудом равновесия ютился на самом краю пропасти, словно заглядывая в неизмеримую глубину, между тем как противоположным боком прижимал к стволу исполинского дуба и опирался на него. Плющ и колючий кустарник образовывали вокруг ствола непроницаемую чашу и совершенно скрывали дом от взоров. Чтобы приметить его, надо было не только знать, что он тут, но еще иметь подробные сведения, где именно он находится.

Со стороны пропасти, правда, виднелись у основания его первые ступени лестницы, высеченной в скале, на отвесном скате бездны, но ступени эти вскоре исчезали в неровностях откоса и кустах, и с этого бока домик был совершенно неприступен; на дне пропасти глухо гудел таинственный рокот невидимых волн.

Место, описанное нами так обстоятельно, имело вид вместе и живописный, и дикий, и величественный; оно известно было у горцев под названием Наклонной Башни и Дуба Высокого Барона, но редко посещалось ими из-за неодолимых почти трудностей доступа.

В холодное и мрачное утро второй половины ноября, часу в девятом, человек двадцать, хорошо вооруженных и в одежде туземных горцев, взбирались с трудом по неровной и скалистой тропинке, которая из долины шла бесчисленными изгибами до самой высокой площадки, где находился Дуб Высокого Барона.

Огромная черная собака, помесь ньюфаундленда и пиренейской, с глазами, налитыми кровью и страшными клыками, бодро бежала впереди путников, словно разведчик.

Мы уже сказали, что утро было пасмурное и мрачное; ветер глухо гудел в ущельях; с шероховатых отколов скал скользили громадные клубы густого тумана и падали в пропасти, разверзтые у подножия гор, словно потоки kloкочущей лавы из кратера вулкана. Зубчатые склоны, которые составляли бока глубоких обрывов, показывали свои острые и зазубренные верхушки над белым паром, точно будто разделяя потоки тумана, которые стремительно клубились вокруг них. В странной противоположности с этой грозною и мрачною картиной, дальние круглые вершины Вогезского хребта ярко сияли, залитые веселыми лучами утреннего солнца.

Путники, вероятно давно свыкшиеся с поражающим и величественным зрелищем, которое расстилалось перед ними словно громадный калейдоскоп, почти не обращали на него внимания и бодро продолжали взбираться наверх, хотя с каждым шагом путь становился затруднительнее и тяжелее.

Но путники были горцы с стальными мышцами. Преодолевать преграды, встречавшиеся на их пути, было для них игрою.

Они шли быстрым и мерным шагом, не переставая ни на минуту разговаривать между собой и смеяться.

Это был небольшой отряд волонтеров, набранных Мишелем Гартманом. Сам он шел впереди, а рядом неразлучные с ним Оборотень и Паризьен; они беседовали с оживлением.

— Тьфу, пропасть, тут черт ногу сломит! — вскричал Паризьен, споткнувшийся о камушек, который сорвался у него под ногой. — Кабилы не блистают заботливостью о своих дорогах, но такой гнусной даже у них нет.

— Ты жалуешься, что невеста чересчур хороша, мой возлюбленный Паризьен, — посмеиваясь, возразил Оборотень, — чем хуже дорога, тем она лучше для нашей цели.

— Не спорю, дружище, но все же дорожка эта не может сравниться с Сен-Мишельским бульваром в Париже, и макадам на ней чертовски неровен.

— Скоро мы дойдем? — спросил Мишель, стараясь всмотреться сквозь туман.

— Нет еще, — возразил Оборотень, — мы только на первых еще и самых доступных ступенях этой лестницы Иакова.

— Эхе! Видно, красиво будет впереди, слуга покорный! — засмеялся Паризьен.

— Увидишь, брат, больше не скажу ничего.

— Да мне плевать, у меня нога тверда и глаз верен. Горы мне знакомы, ведь я родом с Монмартрских высот. — И он захохотал.

— Наши люди, я думаю, устали. Целых четыре дня мы делали большие переходы, чтоб добраться сюда. И сегодня мы идем с трех часов.

— Полноте, командир, вы их, видно, не знаете: им-то устать? Да если б понадобилось, они пять часов шли бы еще точно таким же образом, не останавливаясь, а мы дойдем до цели в час времени самое большее.

— Вы полагаете?

— Уверен, командир.

— Вокруг нас такая мгла, что я не понимаю, как вы можете нас вести, не опасаясь сбиться среди этой сети как бы нарочно перепутанных дорожек и тропинок.

— Хотя я и знаю эти места как свои пять пальцев, никогда бы я не рискнул взять на себя такую ответственность в подобную погоду, командир.

— Нам надо остановиться, если так; кто знает, не сбились ли мы уже с пути, любезный друг?

— Не заботьтесь, командир, мы идем как следует, могу вас уверить.

— Однако ваши слова сейчас...

— Касаются одного меня. А сбиться мы не можем, потому что у нас такой проводник, каким не в состоянии быть никто из нас, проводник, который никогда не ошибается, руководимый верным инстинктом.

— О ком говорите вы?

— О Томе, командир, о моем бедном старом псе, который рысцой бежит впереди нас, держа хвост трубой и нюхая воздух.

Молодой человек задумался на минуту, потом вдруг поднял голову и с улыбкой обратился к Оборотню, который наблюдал за ним исподтишка.

— Тут что-то кроется, чего я понять не могу, — сказал он.

— То есть как же это, командир? Мне, напротив, все, что вокруг нас происходит, кажется очень естественным.

— Вы прикидываетесь, будто не понимаете меня, любезный друг, тогда как очень хорошо знаете, что я хочу сказать.

— Не отвергаю этого, командир, но, признаться, желал бы, чтоб вы объяснились точнее.

— Полно, так ли?

— Хоть меня и называют Оборотнем, командир, все же я не колдун, насколько мне известно.

— Ну, это еще вопрос! — шутливо возразил Мишель.

— Что меня касается, — вмешался Паризьен с видом полного убеждения, — то я не сомневаюсь, что ты, друг Оборотень, такого теста, из которого выходят колдуны, если не колдун на самом деле.

— Молчи, глупости говоришь, — пожав плечами, установил его контрабандист.

— Пожалуй, что и глупости, старина, а все-таки, может статься, есть в этом и доля правды.

— Меня, друг любезный, вы не проведете, — с хитрою улыбкой сказал Мишель, — вашею мнимой досадой на Паризьена вы только хотите залепить мне глаза, но это вам не удастся, предупреждаю вас. Итак, покоряйтесь добровольно, что бы вы ни делали, от объяснения, которого я требую, вы не отвертитесь.

— Да, да, покоряйся-ка, старина, — посмеиваясь, сказал Паризьен, — командир говорит правду, к чему ломаться так долго?

— Я жду, чтоб вы объяснились точнее, чего именно требуете от меня, командир. Вы знаете, как я вам предан; не приписывайте же моего молчания чему-либо, кроме неведения, что вам от меня угодно.

— Вот это я называю говорить толком. Что касается преданности вашей, то сохрани меня Боже, любезный друг, подвергать ее сомнению, дело вовсе и не относится к этому вопросу, я требую от вас только ответа на то, что спрошу.

— Я отвечу вам, командир, так же прямо, как вы меня будете спрашивать.

— И прекрасно. На первый случай, друг мой, скажите, зачем вы так торопили нас идти сюда?

— Да после всего, что происходило там, разве не важно было для нас уйти от пруссаков как можно далее?

— Положим, это еще в самом деле причина довольно уважительная; но, допустив ее, зачем же вместо того, чтобы идти прямо на ферму Высокого Солдата, куда меня влечет душой, как вам известно, вы заставляете нас проходить эту местность, об изменении же маршрута сообщили мне только сегодня утром?

Оборотень невыразимо тонко подмигнул правым глазом.

— Гм! — крикнул он. — Уж очень вы на меня наступаете, командир, совсем в тупик поставили.

— Только того и желаю, — улыбаясь, ответил Мишель.

— Ага! Попался, старый плут! — потирая руки, вскричал зуав.

— Ну, не совсем еще, — возразил Оборотень шутливо, — разве у вас не было назначено свидания с капитаном Отто фон Валькфельдом в этом месте, командир?

— Это правда, но так как в срок я быть не мог, то ничего меня не обязывало бежать сюда высунув язык именно теперь, вы очень хорошо знаете это.

— Конечно, а надо сказать, что капитан молодец военный. Не так ли, командир?

— Да, он отличный военный, друг мой.

— Какая жалость, что он из одного края с негодяями баварцами!

— Капитан не баварец, он такой же француз, как и мы с вами, и добрый патриот, что доказывает ежедневно.

— И хлещет же он пруссаков, что любо-дорого, надо отдать ему справедливость. Я рад услышать, что такой храбрый воин француз, он делает нам честь.

— Все прекрасно, но вернемся к делу, любезный друг. У вас должна быть важная причина действовать так, как вы действуете. Не угодно ли будет высказать ее без дальних околичностей? Я жду обещанного прямого ответа.

— Выпутывайся-ка теперь, старина, — сказал Паризьен посмеиваясь.

Мишель наблюдал за Оборотнем исподтишка, пока тот в смущении почесывал затылок, озираясь с комичной растерянностью. Внезапно лицо его повеселело, насмешливая улыбка показалась на губах, он обратился к моло-

дому офицеру с видом человека, который принял отчаянное решение.

— Вы отдадите мне справедливость, командир, что я упирался, пока мог, и что вы силою вытянули из меня тайну?

— О! Разумеется, друг мой, это истинная правда. Но, стало быть, я угадал, что тут кроется тайна?

— Конечно, командир, тайна есть всегда, когда не делают того, что обещали.

— Очень хорошо, а тайна-то в чем заключается?

— Ну, это сюрприз.

— Сюрприз? — вскричал молодой человек в изумлении.

— Как же, и сюрприз очень приятный в придачу.

— Клянусь честью, не понимаю ничего.

— Знаю, командир, черт возьми. Какой же бы сюрприз и был, если б вы понимали, позвольте спросить? Я не хотел, мне не нравилось, я опасался множества разных вещей... И то сказать, человек ничего не помышляет и вдруг... трах! неожиданно, негаданно... знаю я это. В иных случаях радость сразит не хуже горя. Потому-то мне и не хотелось, но ко мне пристали с ножом к горлу, пришлось согласиться участвовать в обмане и привести вас сюда, вместо того чтобы идти туда. Уф! Точно гора с плеч! — заключил он со вздохом облегчения. — Я рад-радехонек, что избавился, таким бременем все это лежало у меня на груди. Солдатам не след поступать друг с другом как с детьми. Не правда ли, командир.

— Сушая правда, дружище, — согласился Мишель, сильно заинтересованный и не понимая ни словечка из длинной речи честного контрабандиста, произнесенной не переводя духа, — но я замечу вам, что вы еще ровно ничего не сказали и что я знаю не более прежнего.

— Конечно, командир, — засмеялся контрабандист, — но вот посмотрите-ка на Тома, — указал он на собаку рукою, — видите, как он машет хвостом, а теперь пустился со всех ног и скрылся за поворотом тропинки? Я прошу у вас не более пяти минут терпения, в пять минут мы дойдем до кого следует.

— Кого же это?

— Того, кто вам все скажет, командир.

— Ну хорошо, согласен на пять минут, но отнюдь не больше, пойдемте скорее.

— Ладно, командир, у вас, ей-Богу, дело так и закипит, когда вы захотите чего; валандаться вам не по нутру, с вами любо с два и дорого.

Посветлело немного; туман поднялся, и его унес ветер; веселые солнечные лучи позлатили лесистые склоны гор и придали большую яркость темной зелени сосен и лиственниц.

Мишель был взволнован, мысли его кружились толпой в возбужденном мозгу. Что бы это была за неожиданность, которую готовили ему с такою таинственностью? В чем могла она состоять? Отчего Оборотень стал соучастником этой тайны? Какой важный интерес мог его побудить к тому? Он поворачивал эти вопросы на все лады и не находил логичного на них ответа.

Вдруг Паризьен остановился, вскрикнув от изумления.

— Что такое? — спросил Мишель.

— Поглядите-ка, командир, ведь мы, кажется, набрели на знакомых.

Он указал на человека шагах в пятидесяти, который бежал к ним навстречу с распростертыми объятиями.

Мишель поднял глаза.

— Ивон Кердрель! — вскричал он с живейшей радостью. — Ивон, мой друг, мой брат!

И он бегом бросился к нему. Друзья крепко обнялись и оставались таким образом несколько минут.

Когда первое волнение немного утихло, завязалась беседа, им было что сообщить друг другу, столько событий, и таких грустных, свершилось со времени их разлуки!

Однако они продолжали идти. Безотчетно, быть может, под влиянием тайного предчувствия, Мишеля так и влекло вперед, он горел нетерпением достигнуть цели своего продолжительного пути.

— Прости мне хитрость мою, голубчик Мишель, — говорил Ивон. — Это я потребовал, чтобы Оборотень привел тебя сюда, не говоря тебе ни слова.

— Прощаю вам обоим, — весело ответил Мишель, — но как же это ты имеешь обо мне такие подробные сведения, а я ровно никаких вестей о тебе не имел? Зачем ты тут?

— Это длинная история, и приниматься рассказывать ее теперь нельзя; довольствуйся тем, что соединением нашим мы обязаны одному Отто фон Валькфельду.

— Ах ты Господи! Что за странный человек этот Отто! Как снег на голову упал он в мою жизнь, и я не только ему обязан, но и полюбил его как друга, хотя едва знаю.

— Отто человек недюжинный и благородной души, он любит, он предан нам, и я, да некоторые лица еще, обязаны ему многим в эти последние дни.

— О каких это некоторых лицах еще говоришь ты, брат?

— Ага! Не пропустил мимо ушей? — заметил Кердрель улыбаясь. — Да и к чему бы мне оставлять тебя долее в неведении? Я немедленно сообщу тебе нечто радостное.

— Ведь ты меня держишь словно на горячих углях.

— Не надолго, будь покоен, ты ведь шел к ферме Высокого Солдата?

— Ну да, чтоб встретить там мать и сестру.

— Только напрасно прошелся бы: ни матери, ни сестры твоей на ферме более нет.

— Что ты хочешь сказать? — вскричал Мишель задышающим от волнения голосом. — Не случилось ли с ними несчастья? Говори, ради Бога!

— Успокойся, брат, ничего не случилось такого, чего ты мог бы опасаться для них, мать твоя и сестра целы и невредимы, они не подвергались никакой опасности, и здоровье их превосходно.

— Благодарение Богу! — воскликнул молодой человек. — Но зачем же они оставили ферму Высокого Солдата?

— Потому что их убежище сделалось известно пруссакам. Этой несчастной фермы уже не существует более: немцы овладели ею, перебили всех жителей и сожгли ее дотла.

— А матушка что же? Ты, кажется, ничего не говоришь о матушке, Ивон?

— За два дня до нападения на ферму госпожу Гартман предупредил Отто фон Валькфельд, который неизвестно каким способом знает все, что делается у неприятеля. Тотчас дамы простились с честною фермерскою семьей, которою приняты были так радушно. К великому своему огорчению, они не успели убедить этих добрых людей уйти с ними. Те одно твердили, что ни во что не вмешивались и никого не трогали, следовательно, им нечего опасаться насилия со стороны неприятеля. Уви-

дишь, как доверие их оправдалось. Целых четверо суток это мирное жилище было жертвой грабежа, насилия, огня и меча. Между тем путешественницы, под охраною Отто фон Валькфельда, достигли верного убежища.

— Все Отто фон Валькфельд!

— Все он же, когда надо оказать помощь.

— Чем я когда-либо в состоянии буду отплатить этому великодушному другу?

— Любя его так, как он любит нас, Мишель.

— Да говори же скорее, куда укрылись матушка и сестра? Ты ведь знаешь, Ивон?

— Еще бы нет, мы живем бок о бок; они и предупредили меня, что ты идешь, и послали к тебе навстречу.

— Как же это так? Вы живете бок о бок?

— Ну да, любезный друг.

— Где же, скажи ради самого Бога!

— И ты еще не угадал? Здесь, у Дуба Высокого Барона.

— Виноват, дружище, я совсем растерялся и закидываю тебя пустыми вопросами. От радости у меня помутилось в голове. Стало быть, тут есть где-нибудь жилье поблизости?

— Конечно, сейчас сам увидишь и немало будешь изумлен.

— Пойдем, пойдем скорее! — вскричал Мишель, глубоко взволнованный. — Спасибо вам, и тебе, и моему честному Жаку, вы действительно достигли своей цели и доставили мне приятнейшую неожиданность, не думал я, что сегодня мне предстоит такая радость!

— О! Радость гораздо больше, чем ты полагаешь, брат, это еще ничего.

— Как! Это не все?

— Впереди остается нечто весьма любопытное. Мы не одни здесь, понимаешь?

— Увы, нет. Но все равно, продолжай.

— Знаешь, кого я встретил в Базеле, когда мне удалось спастись бегством?

— К черту Базель! Что ты мне теперь запел про него? Лучше кончай, что говорил.

— Это я и делаю, брат.

— Ну, как хочешь, продолжай, — согласился молодой Гартман с видом человека, который покоряется неизбежному, но ровно ничего не понимает.

— Впрочем, — продолжал Ивон с своим бретонским хладнокровием, — я знал, что должен встретить их там, и, признаться, для них только туда и отправился.

— Это все в Базель-то?

— Да, в Базель, любезный друг.

— Но для кого же наконец?

— Для госпожи Вальтер с дочерью.

— Ах! — вскричал Мишель, остановился и прижал обе руки к груди, как будто почувствовал внезапную боль. — Шарлотта!

— Она здесь с матерью, любезный друг.

— Это правда, ты не обманываешь меня? — вскричал молодой человек, и мертвенная бледность разлилась по его лицу.

— Мишель! — тоном укора возразил Ивон.

— В самом деле, я с ума схожу и не знаю, что говорю, прости мне, брат. Итак, госпожа Вальтер и Шарлотта...

— Здесь, друг любезный, и ты увидишь их сейчас.

— О! — почти вскрикнул от радости молодой человек. — Шарлотта, моя возлюбленная Шарлотта!

Он становился все бледнее, хотя это казалось невозможным, нервная дрожь пробежала по всему его телу, он зашатался и грохнулся бы оземь, если б товарищи не бросились поддержать его; глаза его закрылись, и на миг он как будто лишился чувств.

— Что я вам говорил, капитан? — тихо сказал опечаленный Оборотень.

— Дурак я набитый, скотина, что причинил ему такое потрясение! Никогда в жизни не прощу себе это! — воскликнул Ивон в отчаянии. — Что делать, Боже мой?

— Ничего, — резко отвечал Паризьен, — только пусть это будет вам уроком, если б вы опять вздумали делать сюрпризы.

Он разжал молодому человеку зубы, просунул горлышко своей фляги в рот и влил в горло несколько капель водки.

Мишель мгновенно открыл глаза, два-три раза судорожно перевел дух и осмотрелся вокруг еще диким взором.

— Жив курилка, жив, не умер! — весело вскричал Паризьен. — Ведь прошло, не правда ли, командир? Да здравствует республика!

Молодой человек слегка улыбнулся и протянул обе руки друзьям.

— Простите эту минутную слабость, — сказал он дрожащим еще голосом, — я почувствовал мгновенную, жестокую боль, точно будто сердце остановилось в груди, но теперь я совсем оправился. Пойдемте дальше. Мои вольные стрелки подходят, не надо давать им повода, — прибавил он улыбаясь, — обвинять командира, которого называют железным человеком, в нервных припадках, словно он молоденькая барышня.

— Я решительно набитый дурак, — объявил Ивон с величайшим хладнокровием, — хоть сознаться стыдно, а утаить грешно. Предвидеть-то, казалось бы, мне и можно было это, ну да ладно! Пусть меня повесят, если когда-нибудь опять затею сюрпризы приятелю...

— Забудем это, братец, — смеясь, перебил его Мишель, — поговорим о другом. Что прикажешь, я силен против горя, но в радости слаб, как ребенок. Более тебе нечего сообщать мне?

— Почти нечего. Еще одна очаровательная дама живет с нами, не чуть ли ты даже знаешь ее, потому что видал в Страсбурге.

— Как ее зовут.

— Графинею де Вальреаль.

— Разумеется, я знаю ее и очень буду рад видеть.

— Итак, все отлично.

— Видно, вы тут колонию устроили в этой пустыне?

— Пожалуй, что колонию. В настоящее время, когда пруссаки рыскают везде, не худо принять некоторые меры осторожности.

— И вы считаете себя тут в безопасности?

— Скоро сам убедишься в этом, любезный друг. Никогда еще не бывало лучше выбранного тайного убежища. Надо особенное несчастье, чтобы пруссаки открыли его; и то еще мы приняли такие меры, что это не подвинуло бы их ни на волос, мы легко ускользнем у них из рук.

— Так все к лучшему.

Тут путники достигли верхней площадки, на которой стоял Дуб Высокого Барона.

Погода с утра как будто хотела разгуляться, вследствие обычных в горах внезапных перемен ветра, но уже с час назад она стала хмуриться. Площадка, окруженная

густым туманом, из которого едва выдавалась на несколько десятков метров, одна оставалась видна со всех окрестных вершин. Склоны гор и долины утонули в тумане и совсем скрылись из виду, придав площадке подобие пустынного острова посреди океана. Ветер яростно дул в ущельях, гнал перед собою тучи, словно войско, обратившееся в бегство, пригибал с грозным скрипом вершины высоких деревьев и, усиливаясь с каждой минутой, вскоре превратился в настоящую бурю.

На солнце то и дело надвигались белесоватые тучи; оно выглядывало только по временам, и то лучами тусклыми и бледными. Становилось все темнее, почти смеркалось. Тучи опускались ниже и ниже, давя атмосферу, пропитанную тем едким запахом, который схватывает за горло и служит предвестником больших переверотов в природе. Начинал накрапывать крупный дождь, словом, все предвещало одну из тех страшных гроз, которые свирепствуют на этих высотах и в несколько часов производят неисчислимые опустошения, совсем даже изменяя вид местности, над которой пронеслись.

— Ай-да погодка! — посмеиваясь, сказал Паризьен. — Пора нам добрести до приюта, если не хотим промокнуть до костей.

— А я так не вижу ничего похожего на жилье, — заметил Мишель, окинув площадку пытливым взглядом.

— Терпение! — сказал Оборотень, покачив головой. — Посмотрите-ка на Тома.

— Тому-то хорошо: он забьется в кусты и прав, — продолжал Паризьен, — а для нас плохая защита кустарник.

— Следуйте за собакой, она указывает нам дорогу, — сказал Ивон улыбаясь.

— Что меня касается, то очень охотно, капитан, — заявил Паризьен все шутливо, — только, с позволения вашего, долго нам еще киселя есть?

— А тебе что?

— В лесу-то, извольте видеть, дождь хлещет вдвойне, льется на тебя вода и с неба, и с деревьев. Ведь теперь нас поливает растаявший снег.

— Ну вот тебе на! Старый солдат и боится промокнуть!

— Не то, капитан, чтобы боялся, но, с позволения вашего, я предпочел бы не мокнуть. Хоть бы мне зонтик

посчастливилось раздобыть, как у папских солдат! А ну, была не была, куда ни шло!

Беседуя таким образом о том, о сем, путники вошли в лес вслед за собакой, которая все бежала впереди. Тропинка извивалась между деревьев бесчисленными изгибами и так была узка, что идти по ней не могли иначе как по одиночке. Вольные стрелки, точно краснокожие в Америке, пробирались в чаще гуськом.

Вдруг, после довольно крутого склона, по которому спускались минут с десять, собака остановилась и громко залаяла у густого кустарника, через который, по-видимому, иначе нельзя было пройти, как с помощью топора.

— Надо смотреть в оба, — сказал Оборотень. — Том почуял что-то.

— Успокойтесь, любезнейший, — ответил Ивон, — что почуяла собака, для нас не страшно; напротив того, мы пришли.

— Пришли куда? — осведомился Паризьен, который ничего не видел, кроме деревьев и кустарника.

— К приюту, который я вам обещал, черт возьми! Отступите немного назад, товарищи, чтоб дверь могла открыться.

Вольные стрелки переглянулись с изумлением и машинально отступили на шаг.

— Это мы, Карл, — громко сказал тогда капитан, — отворите дверь, друг мой!

В то же мгновение куст, перед которым стояли вольные стрелки, слегка заколебался и потом медленно повернулся вокруг, открыв вход в глубокую пещеру, освещенную факелами, которые держали два-три человека.

— Вот тебе на! — вскричал Паризьен. — Это что такое? Точно в театре, честное слово! Ну уж штука! Колдовство сущее, ей-Богу!

Все захохотали.

— Войдемте скорее, господа, — пригласил капитан Кердрель.

Вольные стрелки повиновались, и странный проход был закрыт опять.

Тогда путешественники прошли пещеру и углубились в подземный ход, довольно высокий, запиравшийся на известном расстоянии железными дверьми, теперь отворенными. Миновав ход, который шел слегка в гору, ка-

питан Кердрель и те, кому он служил проводником, очутились у подножия лестницы, в обширной пещере со сводом, некогда, вероятно, бывшей склепом, что можно было заключить из остатков надгробных памятников и некоторых еще совсем сохранившихся.

Вольные стрелки поднялись по винтовой лестнице, потом отворилась дверь, и, к великому своему изумлению, они очутились на дворе средней величины, окруженном высокими и толстыми стенами. Перед ними была дверь со стеклами, которая стояла настежь, а на пороге несколько дам ожидало их с нетерпением.

Мишель вскрикнул от радости и рванулся вперед.

В числе дам он узнал мать, сестру, а главное, невесту.

— Сапристи! — выразил Паризьен свое удовольствие и хлопнул Оборотня по плечу. — Вот-то славно, ей-Богу! Казарма, что твоя сова, и не отыщешь во веки веков!

Предчувствие

Мы не будем останавливаться на трогательных подробностях семейной сцены. Словами не передать чувства счастья при свидании после такой продолжительной и горестной разлуки. Есть впечатления, которых излагать нельзя.

Не расставались несколько часов.

Только теперь Мишель узнал от матери и сестры подробности их бегства во время нападения улан и каким образом, благодаря сыну Жака Остера, по соображению, словно добрая ищейка, чуявшему неприятеля и точно наделенному удивительной смысленостью Тома, при редкой честности и тонком уме отца, благодаря мальчугану, повторяем, они почти чудом спаслись от тысячи опасностей всякого рода и достигли, наконец, хотя и страшно утомленные, фермы Высокого Солдата, где добрые крестьяне встретили их с распростертыми объятиями, оказали им великодушное гостеприимство и окружили их самым внимательным уходом.

На ферме же они сошлись и с капитаном Кердрелем, который отыскал их, при великодушном и преданном содействии Отто фон Валькфельда, после того как догнал госпожу Вальтер с дочерью. Так они с тех пор все и не расставались более. Ивон всячески охранял дам, стараясь заменить госпоже Гартман ее отсутствующего сына.

Мишель услышал еще с величайшим интересом некоторые подробности о таинственном предводителе вольных стрелков и прелестной, но несчастной графине де

Вальреаль, которой поведение, в одно и то же время умное, скромное и энергичное, внушало им величайшее удивление, спутницы называли ее ангелом и привязались к ней от всей души, в силу присущей женскому сердцу потребности любить.

Вообще в этом неведомом убежище составила маленькая колония, которая жила счастливо, огражденная от неприятеля. Неожиданное прибытие Мишеля принесло новую радость, а главное, новое ручательство в безопасности.

Ураган, который, по странному совпадению, начался как раз вместе с прибытием вольных стрелков к Дубу Высокого Барона, свирепствовал несколько дней с неслыханной яростью и произвел на площадке страшные опустошения. Мишель воспользовался этим невольным отдыхом, на который был осужден, для осмотра развалин замка, дабы лично удостовериться, какие условия безопасности он представлял нашедшим в нем приют.

Вместе с другом своим Ивоном и Оборотнем, за которым как тень следовал Том, молодой Гартман немедленно приступил к исполнению задуманного. Подробный осмотр старого замка длился более полутора суток, столько было любопытных вещей, которые требовали тщательного изучения важного вопроса об охране маленькой колонии.

Средневековые феодальные жилища были двойные, по крайней мере те, которые строились с тщательным соблюдением необходимых в ту эпоху условий для защиты.

Та часть этих укрепленных замков, которой видно не было, обыкновенно оказывалась самою обширною и любопытною. Почти всегда она углублялась далеко в недра земли и состояла из нескольких этажей комнат, перепутанных в виде лабиринта, основанием которым служили громадные подземные своды, словно циклопами сооруженные и как лучи простиравшиеся по всем направлениям, иногда на расстояние четырех, пяти и даже шести миль. По большей части галереи эти выходили на берег потока или речки без имени или на дно обрыва, представляя таким образом владельцам крепости средство добывать съестные припасы во время осады, делать вылазки, а главное, скрыться, унося с собою все самое драгоценное, если дальнейшее сопротивление было невозможно.

Почти все укрепленные замки, следы которых встречаются в нашей старой Франции, в Пиренеях, Бретани, Оверни и Вогезах, представляют тот же характер и построены на тех же основаниях.

Феодалный замок, куда нас привели требования настоящего рассказа, не только был возведен по такому же величественному плану, но еще и в исполинских размерах, свидетельствовавших о могуществе, особенно же о богатстве древнего рода, который построил его чуть что не у городских ворот. Действительно, от Страсбурга он отстоял всего на несколько миль по прямой линии, хотя развалины его совсем неизвестны.

Над поверхностью земли замка не существует более, но под землею он сохранился отлично; почти все комнаты обитаемы, а подземные ходы не пострадали от времени нисколько.

Они простираются сквозь несколько вершин очень далеко и выходят на долины волнистыми изгибами, образующими первые уступы исполинских вогезских высот.

Лет за тридцать либо сорок до эпохи, к которой относится наш рассказ, полусумасшедший мизантроп, человек очень богатый, посетивший эти развалины, восхитился ими и вздумал построить над самым краем страшной пропасти, прислонив его к Дубу Высокого Барона, домик, о котором мы говорили выше. Приложено было все старание, чтоб скрыть его по мере возможности от любопытных глаз туристов, которые изредка забредут в эту местность, и единственная цель чудака заключалась в том, чтоб уклониться от докучливой пытливости человеческого рода. Это удалось ему свыше всякого ожидания. Он достиг такого полного успеха, что когда одряхлел, разбит был параличом и лишился сил исполнять необходимое для того, чтоб поддерживать существование, все запасы его истощились, присутствие же его в этом месте никому не было известно, а он не имел никаких средств дать знать о себе, и бедняга буквально умер с голоду в уединенном доме, который себе выстроил.

Много прошло времени, прежде чем открыли его труп, почти превратившийся в скелет, на площадке, куда он дотащился с невероятными усилиями. Эта загадочная катастрофа вновь пробудила в умах горцев предания древних времен и внушила им такой суеверный страх,

что все бежали с ужасом от этого места, считая его проклятым. Еще больший мрак облек развалины, и никто не решался более посещать их.

Только война 1870-го и все ужасы, которые она повлекла за собою, заставили снова открыть развалины, но уже людьми, которым не были известны относящиеся к ним легенды и фантастические рассказы. Да и в противном случае, надо полагать, мало обратили бы на них внимания, ввиду важных преимуществ, которые представляли развалины как убежище от притеснений нахальных победителей.

Первый осмотр подземелий уже дал Мишелю понятие о их обширности, следственно и пользе, какую он мог извлечь из них. Конечно, за первым последовали другие осмотры, продолжительнее и подробнее, при которых открыты были все их разветвления. С величайшим тщанием он составил точный план обширных подземных галерей и вместе с двумя товарищами своими изучил план этот так пристально, что дня в два все они знали громадный лабиринт как свои пять пальцев.

Это открытие было в высшей степени драгоценно для Мишеля ради цели его при составлении своего отряда вольных стрелков.

Молодой человек поклялся вести с пруссаками войну засад и ловушек, нападать на их транспорты, уничтожать их отдельные отряды, особенно же, ввиду их систематического грабежа и наглого расхищения, силою вынуждать тех из безбожных врагов, которых ему удастся захватить врасплох, возвращать по мере возможности отнятое неправдою. Для успеха этого смелого замысла ему нужен был поблизости от Страсбурга верный приют, откуда он мог бы смеяться над всеми усилиями неприятеля, которого преследовал и тормозил так бесстрашно. Лучшего убежища, доставленного ему случаем, он желать не мог.

Когда все меры были приняты им и план кампании составлен, молодой офицер мужественно приступил к делу.

Он действовал так энергично и все его действия увенчивались таким постоянным успехом, что вскоре глубокий ужас распространился в немецких войсках на пятнадцать миль в окрестности.

Как уже сказано в одной из предыдущих глав, все волонтеры небольшого отряда Мишеля Гартмана были

молодцы, сильные, ловкие и приученные с давних пор к тягостям и трудам военной жизни. То устройство, которое он придал своему отряду стрелков, заставило их слиться в одно целое, воодушевленное одним духом, движимое одной мыслью и действующее с удивительным единством. Они переносились с одного места на другое, часто крайне отдаленное, с быстротою чуть что не сверхъестественною и, благодаря такой необычайной подвижности, совсем расстраивали меры, принимаемые против них немцами, от природы тяжелыми на подъем и привыкшими двигаться плотными массами.

Все небольшие отряды, которые покушались выйти из города, исчезали бесследно. Напрасно уланы мчались производить разведывания, они не узнавали ровно ничего. Если же кому-либо из них посчастливится увидеть неприятеля, то за удачу они поплачивались дорого — о них также не было потом ни слуху, ни духу.

Для транспортов с провиантом, боевыми припасами и фуражом требовались громадные прикрития; однако, несмотря на эту усиленную бдительность и осторожность, из десяти раз девять транспорты если отбиты не были, то подвергались истреблению или сжигались. По мере того как железные пути восстанавливались пруссаками на занятых ими территориях, этот невидимый и ожесточенный неприятель мгновенно уничтожал их вслед за ними. Было от чего взбеситься, немецкие власти бесновались, сознавая свое полное бессилие положить этим дерзким вылазкам конец.

Более того, пруссаки опустошали замки и поместья, грабили фермы и деревни, ничего не оставляя за собой, захватывая даже железные прутья занавесок; когда же возы, тяжело груженные имуществом большого количества бедняков, направлялись к Страсбургу, где пруссаки сосредоточивали добычу от постыдного воровства, возы эти подвергались нападению и почти всегда отбирались. Жида, которые следовали за немецкими войсками — как хищные птицы, чтоб поживиться трупами, следят за караванами в пустыне, — особенно подвергались гонениям неумолимого врага, вынуждались им возвращать награбленное и были вздернуты на деревья по краям дороги, где служили добычею воронам.

Вольные стрелки не довольствовались тем, что рыскали в окрестностях по всем направлениям, чиня суровый

суд и грозную расправу. Нередко они входили переодетые в самый Страсбург и другие города, занятые немецкими войсками, и, не стесняясь нисколько, похищали или среди улицы, или в собственных домах тех людей, которые указаны были им как грабители или укрыватели добытого грабежом. Эти подлые люди, увлеченные в неизвестную им местность, вынуждены были там возвратить взятое.

Таким-то образом барон фон Штанбоу в один вечер, а банкир Жейер в другой схвачены были на площади Брогли, в десяти шагах от прусского патруля, и доставлены к Дубу Высокого Барона, где их принудили заплатить выкуп, чтобы спасти свою жизнь.

Когда барону по выходе из комнаты в сопровождении Паризьена и Оборотня снова скрутили руки и завязали глаза, его повели подземельями к одному из выходов на долину, заставили идти двое суток с половиною и наконец бросили на площади Брогли, возле дома банкира, где в одиннадцать часов вечера рунд поднял его полумертвого от голода и задыхающегося. Он не имел понятия, сколько прошел и где его водили.

Банкира же отправили в Голландию, так что он решительно не мог определить, куда его возили, и в одно утро контрабандисты бросили его, полунагого и без гроша, на одной из самых бойких дорог, милях в четырех от Антверпена.

Как командир волонтеров, Мишель Гартман устроил верные сообщения с альтенгеймскими вольными стрелками и партизанским отрядом Отто фон Валькфельда, он имел, таким образом, в своем распоряжении значительные силы, которыми мог действовать на большем пространстве и, следовательно, наносить неприятелю гораздо больше вреда.

Он сделал, однако, громадную ошибку, помиловав барона фон Штанбоу, а главное, отправив его обратно в Страсбург.

Когда станешь на страшную стезю, какую избрал молодой партизан, надо заглушить в себе все чувства человеколюбия и милосердия, идти вперед неумолимо, холодно и твердо и не глядеть на кровавый след, который пролагаешь за собой, на трупы, которыми усеиваешь свой путь.

Мишель был преданный своему отечеству и своему знамени, храбрый и благородный офицер, для которого

немыслимо то, что противно понятию чести. В минуту глубокой скорби, гнева и душевного возмущения он дал страшную клятву, когда же вернулось хладнокровие, он взглянул трезво на положение Франции от последовательных и постыдных измен и не сознавал в себе более печального мужества держать свою клятву с должною жестокой твердостью в отношении к врагам, словно хищные животные поступавшим с непоколебимым и холодным варварством живоделов средних веков.

Страшного реализма малайская пословица говорит:

«Оказать милосердие врагу, это добровольно делать из своего тела ножны для его кинжала».

Враги во всех случаях поступали так, как будто слышали эту ужасную пословицу.

Никогда они не щадили своих несчастных жертв, напротив, они еще усиливали зверский смысл пословицы пыткой, которой с презрительной и неумолимою иронией подвергали страдальцев, вынуждая их склонять голову под их железным, позорным и унижительным игом.

Несмотря на справедливое негодование, которое кипело в его сердце, на чувство возмущения от гнусностей, ежедневно происходивших перед его глазами, молодой офицер не имел духа подражать примеру низких своих противников.

Его благородство и врожденная доброта гнушались ужасного обязательства быть неумолимым, которое он взял на себя, вступая в союз с Отто фон Валькфельдом. Воля его слабела от слез и просьб, почти никогда угрозы его не превращались в дело.

В этот день Мишель был особенно грустен, уныние овладело им более обыкновенного. Он возвратил свободу двум самым ожесточенным врагам своим и сознавал, что это большая ошибка при их адской власти делать зло и при том, что они никогда не простят ему пощады, купленной ценой нахищенного ими достояния. К тому же молодой человек видел, что небосклон вокруг него помрачается все более, положение его становилось опаснее с каждым днем, каждым часом. Бедствия, которые следовали одно за другим с умопомрачительной быстротой, доказывали ему все яснее безумие великодушно затеянной им борьбы и невозможность продолжать ее с неприятелем, которого давно утратил надежду одолеть.

Вокруг него становилось все пустее. Разные отряды вольных стрелков, которые занимали горы, значительно уменьшились, пострадав в схватках с неприятелем. Некоторые даже совсем исчезли. Только немногие еще держались бодро, но отступали шаг за шагом перед громадными силами, которые грозили раздавить их, и не трудно было предвидеть время, когда во всем Эльзасе и во всей Лотарингии не нашлось бы ни одного вольного стрелка.

А что тогда будет с ним и преданными товарищами, которые доверились ему?

О себе он не думал; с того дня, когда начал борьбу, он в душе пожертвовал жизнью.

Но за ним, огражденные его покровительственной сенью, были невеста, родственники, друзья, семейства рабочих отца его, которые скрывались в глубине подземелий древнего замка, положившись на его слово. Неужели ему бросить тех, кого поклялся защищать? Разве выдаст он эти беззащитные существа, женщин, детей и старцев, возложивших все свое упование на него? Честь требовала, чтоб он спас их какою бы то ни было ценою...

Но как спасти?

Целый мир мыслей роился в его мозгу до того, что череп готов был лопнуть, и глубокое уныние овладело им, когда он вынужден был сознаться в своей бессилии исполнить задачу, за которую взялся.

Он уныло опустил голову на грудь и весь предался своим печальным размышлениям.

Прошло таким образом несколько часов. Он все оставался неподвижен, словно спал. Никогда, однако, сон не бывал дальше от его полузакрытых век. Все его способности до того поглощались внутренним миром, что наружный, так сказать, не существовал для него более, взволнованный ум не воспринимал никаких впечатлений от наружных звуков вокруг него, вся жизнь его сосредоточивалась в мозгу. Он не мог бы определить, сколько времени находился в этом онемении, похожем на летаргию, когда раздался легкий шум и тихо отворилась дверь.

День клонился к вечеру. Комната, где находился Мишель, уже погрузилась во мрак и становилась темнее с каждою минутой, все предметы в ней стали стушевываться и принимать фантастические очертания.

Прелестная головка молодой девушки, спокойная и улыбающаяся, показалась на мгновение в двери, окинула комнату пытливым взглядом и скрылась, оставив дверь за собою немного отворенною.

Вскоре дверь эту тихонько отворили совсем, и не одна уже, а две девушки появились на пороге.

Они вошли после некоторого колебания, осторожно притворили дверь за собою и прошли на середину комнаты на цыпочках, едва касаясь пола, с легкостью и грацией двух пери.

Очаровательные девушки подошли к офицеру, который присутствия их, по-видимому, не замечал, стали одна по правую руку его, другая по левую, и первая поцеловала его в лоб, тогда как другая взяла его повисшую, точно безжизненную руку.

Мишель поднял голову, как будто получил электрическое сотрясение, открыл глаза и, поглядев с нежною улыбкой на грациозные молодые создания, сказал с чувством:

— Лания! Шарлотта! Мои возлюбленные два ангела!

Девушки радостно улыбнулись словам, которых, вероятно, ожидали.

— Так вы спать изволили, милостивый государь? — заметила Лания, надув розовые губки.

— Как видишь, милушка, — ответил брат улыбаясь.

— А мы-то беспокоились! — заметила Шарлотта тоном нежного укора.

— Беспокоились насчет чего, моя дорогая Шарлотта? — спросил Мишель с изумлением.

— Насчет вас, сударь, — продолжала Лания. — С утра никто не видал ни тебя, ни Ивона, ни солдат ваших; мы не понимали, что это значит.

— Ни мама, ни ваша матушка, любезный Мишель, не могли уяснить себе причины вашего продолжительного отсутствия, о котором вы их не предупреждали, — вмешалась Шарлотта, — тогда мы с Ланией и отправились вас отыскивать. Разве нам не следовало делать это?

— Напротив, — с живостью возразил молодой человек, — я очень благодарен вам, так как иначе, по всему вероятно, долго оставался бы в положении, в каком вы застали меня.

— Вы изволили сладко спать? — пошутила Лания.

— Быть может, сестрица, но во всяком случае разбудить меня оказалось нетрудно; одного твоего поцелуя было достаточно.

— Ты не заслуживал такого пробуждения после беспокойства, которое нам наделал, злой!

— Ну вот, и за брата уже принялась! — с улыбкой возразил Мишель. — Не ворчи на меня, сестренка, ведь ты будешь же вынуждена помириться, так не лучше ли с того и начать?

— Он прав, Лания, — сказала Шарлотта, подставляя лоб молодому человеку, который прижал к нему губы, — зачем бранить его? Бедный Мишель, он и то довольно несчастлив!

— Вот тебе на! — засмеялась Лания. — И союзница мне изменяет? Что ж мне делать в таком случае, если не мириться? Ну, я согласна.

— Спасибо, крошка, я знал, что ты не так разгневана, как показываешь. Нет ли чего нового?

— Насколько мне известно, нет, мы с Шарлоттой хотели поговорить с тобою, вот и все.

— К вашим услугам, милостивые государыни, и могу вас уверить, что очень рад доброй мысли, которая пришла вам на ум. Не угодно ли садиться.

— Позвольте минуту, сударь, — перебила Лания, — здесь не только мерзнешь, но и темно.

Пока Лания мешала в камине, чтобы ярче разгорелся огонь, совсем было потухший от небрежения Мишеля, Шарлотта засветила лампу и поставила ее на стол.

Чтобы не оставаться в бездействии, Мишель придвинул кресла к камину.

Когда же девушки восстановили в комнате некоторый порядок, они сели по обе стороны камина, против которого в свою очередь поместился Мишель.

— Вот я готов выслушать вас и отвечать на вопросы, милостивые государыни, — сказал он с самым серьезным видом. — О чем идет речь?

— Ого! Какой странный способ начинать беседу, — возразила Лания с тонкой улыбкой. — Ни о чем особенном нет речи, любезный Мишель, мы просто желаем поговорить с тобой.

— Очень хорошо, — сказал он с величайшим хладнокровием, — слушайте же, я иначе приступлю к разговору. Это будет чрезвычайно занимательно — вот увидите.

Не кажется ли вам, милостивые государины, так же как и мне, что зима в нынешний год чрезвычайно сурова и холод чувствуется резкий, особенно горах и в этой развалине? Ведь нам в тысячу раз было бы лучше в Страсбурге в наших прочно построенных и натопленных домах.

— Час от часу не легче, теперь он на смех поднимет нас!

— Сохрани меня Боже! Я только пытаюсь завязать беседу. Видишь ли, сестрица, не так легко, как воображают вообще, в данную минуту начать разговор на занимательную тему. Я делаю, что могу, но если б вы помогли мне немного, пожалуй, я имел бы больше успеха.

— Сомневаюсь, ты как будто не расположен разговаривать, брат.

— Гм! Как тебе сказать? Предмета разговора не оказывается.

— Я попробую, — сказала Шарлотта. — Буде вам известно, любезный Мишель, что Лания очень тревожится о друге вашем, Ивоне Кердреле. Вы, конечно, легко поймете это.

— О! — воскликнула Лания, краснея. — Зачем же говорить ему это, Шарлотта?

— Она прекрасно сделала, милушка, а ты можешь успокоиться, твой жених не подвергается никакой опасности, по крайней мере, я так надеюсь. Сегодня вечером или завтра утром ты увидишься с ним опять, я дал ему вполне мирное поручение.

— В Страсбурге? — с любопытством спросила девушка.

— Нет, там много очень немцев в настоящее время, а он не знает ни слова по-немецки, его как раз схватили бы как шпиона. Этому я подвергать его не хотел.

— Спасибо, Мишель! — вскричала сестра, протянув ему свою крошечную ручку, которую тот любезно поцеловал. — Ты добрый, я люблю тебя. Кстати о Страсбурге, ты не имеешь никаких сведений оттуда?

— Еще никаких, милушка.

— И ты никого не посылал?

— Напротив, сегодня утром отправил туда одного из моих.

— Человек надежный?

— Все мои люди надежны, знай это раз навсегда, дружок.

— Прошу извинения, брат, я не так выразилась, я хотела сказать: смысленный.

— Можешь быть покойна, Лания, мой посланный не кто иной, как Оборотень.

— О! Если это он, то заботиться не о чем.

Водворилась минута молчания. Мишель ворошил золу в камине, насмешливо поглядывая на сестру, которая вдруг задумалась.

— Отчего же он вернется только завтра? — спросила она наконец.

— Кто? Оборотень? Я не говорил этого, напротив, я жду его с минуты на минуту.

— Кто тебе говорит про Оборотня? — вскричала девушка с нетерпением и покраснела до корней волос.

— Зачем вы дразните сестру, любезный Мишель, — вмешалась в прения Шарлотта, — ведь вы знаете, о ком она говорит.

— Конечно, знаю, но эта Лиса Патрикеевна старается выведать то, чего я сказать ей не могу. Ну, сестренка, не надуй губок, твой жених не подвергается никакой опасности, даю тебе честное слово; а не видишь ты его сегодня потому, что он послан мною очень далеко и вернуться не может ранее как завтра утром. Довольны вы теперь, сударыня?

— Не знаю, право.

— Но мне-то прощаешь?

— И то бабушка надвое сказала. Это зависит от твоего ответа на вопрос, который я сейчас тебе сделаю.

— Говори, милушка, если есть возможность удовлетворить тебя...

— Не обещай, прежде чем не узнаешь, о чем речь.

— Ты права, спрашивай же.

— Зачем Оборотень пошел в Страсбург?

— Ага! Вот оно что.

— Да, и я жду ответа.

— Не гневайся.

— Ты уже и на попятный?

— Ничуть, милушка.

— Прошу покорно без уверток, я требую полной откровенности.

— Но требуешь-то ты нешуточного, сестренка. Я дал Оборотню несколько поручений очень трудных и опасных, цель же их теперь никак объяснить тебе не могу.

Знай только, что я приписываю большое значение успеху этих поручений, из которых самое легкое — пробраться в наш дом и переговорить с отцом о деле важном. Тебе известно, что вокруг дома постоянный караул и с минуты на минуту отец может быть арестован; по одному этому поручению нашему приятелю, которое я считаю наименее опасным, суди сама, каковы остальные. Вот единственный ответ, какой я могу дать тебе, и не сердись на необходимые недомолвки, за которые ты скоро поблаговаришь меня сама.

— Мишель ответил очень хорошо, Лания, — вмешалась подруга, — ты должна быть признательна за его снисхождение. В наше несчастное время мужчины, к сожалению, часто должны иметь тайны, которые честь воспрещает им открывать.

— О! Что тебя касается, душечка, — с тонкою улыбкой возразила Лания, — то я вперед так и знала, что ты перейдешь на сторону своего жениха.

— Разве не естественно это? — возразила молодая девушка краснея. — И когда еще право на его стороне?

— Гм! В последнем я не совсем уверена, но потешу вас обоих и соглашусь.

— Спасибо, сестренка, — со смехом ответил Мишель, — я приму это к сведению, и теперь Ивон только держись.

— То есть как же?

— Да так, завяжется у вас спор в моем присутствии, я сейчас стану на твою сторону, если только он не будет прав кругом и около.

— Поплатишься ты у меня за это, Мишель, — погрозила она брату пальцем, улыбнувшись, и прибавила минуту погодя: — Угодно ли тебе наконец говорить серьезно?

— Помилуй, сестра, что ж я делаю все время!

— Прошу покорно, Мишель.

— Господи Творец! Опять гневаться. Ну что там еще?

— Ничего, когда это тебе неприятно.

— Как знаешь, только лучше бы тебе...

— Могу тебя уверить, Мишель, что речь идет о деле важном, — с живостью перебила девушка.

— Да, действительно важном, — подтвердила Шарлотта, кивнув головой.

Мишель бросил на девушек пыливый взгляд, нахмурил брови и продолжал голосом немного суровее:

— Умоляю вас, мои дорогие, не делайте мне задачи моей еще труднее придирками балованных детей; к несчастью, теперь не время шутить и смеяться.

— Ты к нам несправедлив, брат! — вскричала Лания. — Мы более всех удивляемся твоему самоотвержению и жалею тебя. Разве ты не знаешь, как мы тебя любим? Мы особенно опасаемся причинять тебе хлопоты и затруднения, зная очень хорошо, какое исполинское дело у тебя на руках. Ты нас видишь всегда смеющимися, никогда в слезах, однако... бросим это. Женщины птички беспечные и мечтательные, для которых жизнь должна быть продолжительной и веселой песнью: так решили вы, мужчины, в вашем надменном высокомерии. Вы не считаете нас достойными подавать свое мнение в страшной борьбе, называемой жизнью, где за собою только признаете право сражаться. А ведь вы не правы: женщина судит и видит сердцем и никогда не ошибается там, где вы, господа мужчины, порой не знаете, что думать. Верь мне, Мишель, женщина несколько не уступает мужчине в твердости и уме, напрасно вы отстраняете ее от интересов, которые настолько же ее, как и ваши.

— Гм! Быстро же ты решила дело, душа моя. У тебя острый язык, твоя филиппика язвительна.

— Я говорю правду, брат. В душе ты согласен со мной, я уверена, но речь теперь не о том, я не взялась защищать мой пол.

— И хорошо делаешь, сестра, он себя сам сумеет защитить, — заметил Мишель с легким оттенком иронии.

— Ты все шутишь, а напрасно, говорю тебе. Знаешь ли ты, что здесь делается?

— Что, что такое? Что тут происходит? Не понимаю, что ты этим хочешь сказать.

— Видишь, ты, стало быть, не знаешь, я так и думала, потому мы с Шарлоттой отыскиали тебя, необходимо, чтоб сейчас ты был уведомлен обо всем.

— Сердечно благодарю вас, — с чувством сказал молодой человек, — разве я не знаю с давних пор, что вы мои ангелы-хранители? Говорите же, теперь, даю вам слово, я буду слушать с напряженным вниманием.

Девушки как будто колебались и глядели друг на друга вопросительно.

— Продолжай, Лания, когда ты уже начала, — сказала Шарлотта улыбаясь, — впрочем, это скорее твое дело, чем мое, так как касается рабочих твоего отца.

— Как рабочих отца? — вскричал в изумлении Мишель.

— Или, вернее, их семейств, что по-настоящему одно и то же, брат.

— Говори скорее, милушка Лания, умоляю тебя!

— Так слушай, мы уже несколько дней назад решили все сказать тебе, но...

— Не смели, — перебила Шарлотта почти шепотом.

— Однако долее медлить нельзя, — продолжала Лания, — итак, я сейчас объясню тебе все. Ведь ты знаешь, Мишель, где укрываются семейства наших честных рабочих, ты сам ходил не раз удостовериться, не терпят ли они в чем нужды. Недавно Сесилия, старшая дочь Людвига, прелестная пятнадцатилетняя девочка, которую мы с Шарлоттой очень любим, пришла, как делает часто, провести с нами часа два, три. Бедное дитя страшно скучает в подземелье, где около трех месяцев прозябает без воздуха и без солнца; для нее настоящий праздник вырваться на часок подышать свежим воздухом. Но на этот раз Сесилия была бледна, печальна и на все наши вопросы отвечала односложно, она то и дело глубоко вздыхала и на глазах ее навертывались слезы. Нас это удивило в девочке, обыкновенно такой веселой и резвой, мы с Шарлоттой и стали ее расспрашивать. Долго все наши усилия оставались тщетны; девочка плакала, тосковала, но говорить ничего не хотела. Выведенная из терпения молчанием, которое не знала, чему приписать, и опасаясь не без основания, чтобы под ним не крылось чего-либо важного, я приступила к девочке еще настойчивее, даже погрозила ей сказать тебе и что ты уж сумеешь выпытать из нее правду. Наконец девочка поддалась на наши убеждения, а пожалуй, струсила моей угрозы и решила рассказать нам все. Сам увидишь, стоило ли труда настаивать и насколько это может быть вопросом важным.

— Заранее уверен, милушка, что дело нешуточное. Благодарю и тебя, и мою возлюбленную Шарлотту, что вы настояли на расспросах. Но продолжай, пожалуйста,

я с нетерпением жду конца рассказа и боюсь, не угадали я то, что ты так долго не решаешься мне доверить.

— Вот почти слово в слово, что рассказала нам Сесилия; я постараюсь говорить коротко, чтобы не томить тебя любопытством.

— Да, да, говори скорее, сестра, не будем терять дорогое время.

— В двух словах передам тебе, в чем дело, а ты сам выводи заключение, какое найдешь логичным. У Сесилии есть дядя, по имени Жан или Жозеф Фишер, не помню наверно.

— Постой, я знаю, — прервал ее Мишель, ударив себя по лбу, — это Жозеф Фишер, черт возьми, негодяй и пьяница. Батюшка никак не соглашался прогнать его с фабрики, когда в один прекрасный день он спьяну попал рукою в колесо машины — говорили, будто он сделал это нарочно, чтоб избавиться от работы, — и должны были отнять ее. С той поры отец давал ему небольшую пенсию и все-таки держал на фабрике, не работником, так как с одною левою рукой он работать не мог, но привратником и сторожем.

— Тот самый и есть.

— От него меня не удивит никакая низость. Этот человек презренный пьяница и жену свел в могилу безбожным обхождением; я считаю его способным на все. Продолжай рассказ.

— Сесилия любопытна, — продолжала Лания улыбаясь, — любопытство наш женский грешок. Девочка заметила, что дядя, который во все время затворничества в подземелье был страшно не в духе, почти не отвечал на вопросы и целые дни проводил скорчившись в углу, с трубкою в зубах, вдруг без видимой причины сделался весел, разговорчив и даже порой, после того как исчезнет на несколько часов, никто не знал, куда и зачем, возвратится по-видимому очень довольный и даже в возбужденном состоянии, крайне похожем на опьянение. Изумленная такою внезапною переменой, девочка не знала, чем объяснить ее, и, под влиянием безотчетного чувства, решила подстергать дядю. Неоднократно подсматривала она за ним, когда он уходил и приходил, но ничего не открывала, она только удостоверилась, что он всеми мерами старается выйти из подземелья незаметно. Дня три назад она крадучись следила за дядей, когда он

вышел, и ждала его возвращения, притаившись за скалой, когда незадолго до заката солнца увидала его, но в каком виде! Несчастный был так пьян, что на ногах не стоял. Однако он сумел отыскать вход в подземелье и пошел по галерее, тыркаясь о бока и подвигаясь вперед с неимоверными усилиями. Сделав таким образом шагов сто или полтора, он потерял равновесие, грохнулся о землю и остался неподвижен. Девочка, которая все шла за ним, при шуме падения подбежала в испуге, полагая, что дядя расшибся, однако имела осторожность не показываться ему. Пьяница остался цел и невредим и после тщетных усилий встать опять на ноги, сознавая всю невозможность подобной попытки, храбро помирился с этой неприятностью, закрыл глаза и мгновенно заснул. Тогда девочка подошла к нему, нагнулась и заметила при свете зажженной ею свечи, которую она держала в руке, что дядя при своем падении выронил из кармана золотые монеты. Это, по всей справедливости, могло ей показаться странным и вместе внушить невыразимый ужас. Она знала бедность дяди и заподозрила его в воровстве. Бедняжку так жестоко поразило это горестное открытие, что она и матери не посмела рассказать о нем, только все тайком плакала. Поведение дяди представлялось ей таким гнусным, что она почувствовала к нему непреодолимое отвращение. Вот, друг мой, что нам рассказала бедная девочка. Что ты думаешь об этом?

— Думаю, — возразил Мишель мрачно, — что человек этот подлец и хочет продать нас неприятелю, пожалуй уж продал.

— Может быть, время еще не ушло отвратить беду? — заметила Шарлотта.

Мишель покачал с унынием головою.

— Дай-то Бог! — сказал он. — Но я не смею надеяться. На чем же вы, моя дорогая Шарлотта, основываете вашу надежду?

— На том, что Фишер с того дня, как был так пьян, не выходил из подземелья.

— Как вы это знаете?

— Сесилия не приходила к нам, а мы условились, что она предупредит нас, как только дядя ее выйдет опять.

— Я прибавлю, брат, что это происходило несколько дней назад. Хотя измена для меня очевидна, я полагаю,

она еще не совершенна и презренный Фишер только ведет переговоры с неприятелем, чтобы ему дорожке заплатили за его гнусное коварство. Вы пруссаков знаете лучше нас и, конечно, убеждены, что, выведай они у несчастного пьяницы все сведения, какие им нужны, давно показалось бы здесь по меньшей мере несколько разведчиков.

— Ты права, сестра, это, должно быть, так, но и предаваться обманчивой уверенности не следует. Можно ли рассчитывать на Сесилию?

— Девочка нам предана всею душой.

— Тем лучше, быть может, все еще поправимо. Вот что надо сделать... Ах, зачем нет здесь товарищей!

В дверь слегка постучали два раза особенным образом.

Мишель вскочил, лицо его просияло.

— Что это? Это любопытно! — вскричали в один голос обе девушки.

— То, — ответил он, направляясь к двери и собираясь отпереть, так как она заперта была на ключ, — что мне не следовало унывать, Бог посылает нам помощь, на которую я не смел рассчитывать.

Как Оборотень сыграл с пруссаками шутку-другую

Часов в десять вечера Поблеско, накрепко связанного и с кляпом во рту, опустили на мостовую в том самом месте, где три дня назад на него напали и так проворно овладели им, то есть в двух шагах от подъезда дома, где жил банкир и шпион, жид Жейер.

Бушевал ветер, дождь лил, улицы были темны и пустыньны. Прошло минут двадцать. Не имея возможности оградить себя от дождя, Поблеско промок до костей и дрожал от холода, но тем не менее обдумывал уже способ мести с настойчивостью человека, который принял неизменное решение.

Он внезапно вздрогнул и стал прислушиваться; тяжелые и мерные шаги патруля раздались невдалеке, патруль направлялся в его сторону.

— Дер тейфель! Это что такое? — сказал с выражением крайнего изумления голос у самого его уха.

— Сапермент! — вскричал другой голос. — Эти разбойники страсбургцы не знают, что придумать нам в досаду; вероятно, еще кто-нибудь из наших бедных товарищей попался им в лапы и они бросили его тут, чтобы надругаться над нами.

— Надо удостовериться, — сказал третий голос тоном повелительным, — не жив ли еще этот человек. Нет повода думать, что это солдат. Ну, живее поворачивайтесь!

Поблеско почувствовал, что с него снимают веревки, дело подвигалось медленно, так как брались за него очень неловко.

— С вашего позволения, сержант, — заговорил опять первый голос, — этого человечка не распутаешь во веки веков, он скручен и перетянут, словно карота табаку.

— Не теряйте времени на то, чтобы развязывать узлы, — ответил сержант, — нам некогда, и дождь льет, разрежьте веревки.

Солдаты вполне разделяли мнение начальника, они промокли до нитки и коченели от холода, разумеется, они предпочли бы уютно сидеть в караульне вокруг печки. Итак, не теряя ни минуты, они перерезали все веревки. Поблеско, избавленный от кляпа и капюшона, накинутого ему на голову, мог вдохнуть полной грудью воздух, в котором так нуждался. Он попробовал встать на ноги, но в первую минуту никак не мог, отекавшие ноги не в силах были поддерживать его.

— А! — вскричал сержант, весело потирая руки. — Видно, вы, любезный мой, еще не умерли?

— Нет, благодарение Богу! Даже не ранен, — ответил Поблеско, — только я чуть было не замерз, и все тело у меня болит от веревок.

— Это вздор, в четверть часа и помину не будет, когда вы согреетесь и пропустите стакан-другой шнапса, — сказал сержант, которого постоянные лишения во время долгой службы сделали оптимистом.

— Пожалуй, что и так, но пора бы мне прибегнуть к этим двум средствам, по вашему мнению, таким действенным.

— Терпение, незнакомец, все в свое время. Начнем по порядку. Полагаю, вы не по собственному желанию очутились в том положении, в котором мы нашли вас.

— Ваше предположение справедливо, сержант, несколько человек внезапно напали на меня, скрутили и бросили после того, как все обобрали, что было на мне.

— Сапермент! Вот негодяи-то! Узнали вы их?

— Чтоб узнать, надо было знать прежде, а я даже и не видал, так мгновенно было нападение.

— Очень хорошо, однако дело что-то темно, — сообщил сержант. — Кто вы такой?

Поблеско, к которому теперь уже почти вернулись силы, никакой не имел охоты продолжать разговор в таком тоне, как начал его сержант.

— Вы забываетесь, — сказал он, гордо подняв голову, — вы говорите не с равным. Предупреждаю вас из снисхождения, чтобы вы переменили тон, не то я сумею заставить вас раскаяться.

— Однако, мейн герр неизвестный, — возразил сержант, опешив и смутно подозревая, что имеет дело с важным лицом, — я ведь спрашиваю для вашей же пользы и...

— Довольно, — грубо перебил Поблеско, — проводите меня до моего дома, мне необходимо переодеться. Напавшие на меня негодяи совсем растрепали на мне одежду. Потом вы оставите двух солдат служить мне конвоем на пути к главнокомандующему — улицы не безопасны в этом часу ночи, я испытал это на себе.

— Где изволите жить, ваше превосходительство? — осведомился сержант, внезапно ударившись в униженное раболепство после самоуверенного и грубого тона.

— На улице Голубое Облако, в двух шагах отсюда.

— Знаю, знаю, ваше превосходительство. Марш! — скомандовал сержант.

Патруль двинулся в путь, уводя Поблеско, шедшего посреди солдат.

Едва они отошли, как человек, который притаился в углублении двери, высунул голову, вероятно удостовериться, куда они направились. Неизвестный как-то особенно зафыркал от удовольствия, отделился от стены и пошел вслед за солдатами, принимая все меры осторожности, чтобы они не приметили его.

От площади Брогли к улице Голубое Облако расстояние не велико, переход занял не более нескольких минут. Поблеско приказал патрулю остановиться почти на половине улицы и вошел в прекрасный дом, находившийся в немногих шагах от дома Филиппа Гартмана, новый дом, где нанимал для тайной, надо полагать, цели весь первый этаж.

Сержант, разобиженный обращением с ним человека, которому он оказал помощь, сердито кусал длинные рыжие усы и хранил суровое молчание, глядя с любопытством на мгновенно осветившиеся окна в первом этаже дома, перед которым стоял. Полученный им выговор тре-

вожил его не на шутку, бедняга знал по опыту, как безжалостно поступают прусские дворяне с людьми его звания.

Когда барон вернулся минут через двадцать, это был уже другой человек, он точно переродился. Если в уме сержанта сохранялась еще тень сомнения, то с этой минуты он уже твердо был убежден, что имеет дело с лицом важным. Опасения его усилились, только не надолго. Вскоре большое лицо его просияло и выразило восторг под влиянием милостивых слов, которыми удостоил подарить его Поблеско.

— Сержант, — ласково сказал он, — вы оказали мне большую услугу, я не забуду этого. Имя ваше?

— Герман Шумахер, ваше превосходительство, сержант во втором гвардейском, — почтительно ответил тот.

— Итак, Герман Шумахер, вот вам десять флоринов, выпейте с товарищами за мое здоровье. А что касается вас лично, то я замолвлю о вас слово главнокомандующему. Где двое солдат, которые назначены мне в конвойные до главной квартиры?

— Мы все сочтем за честь служить вам конвоем, ваше превосходительство, — поспешил ответить сержант, — впрочем, нам и по дороге к нашей караульне.

— Как хотите, только скорее, я тороплюсь.

— К вашим услугам, ваше превосходительство. Марш! — крикнул он.

Патруль пошел далее, а за ним, на почтительной дистанции, все следовал человек, который не отставал от него.

Дойдя до главной квартиры, Поблеско еще раз поблагодарил солдат, вошел в дом, где был многочисленный караул, и отпустил свой конвой, который немедленно воспользовался позволением вернуться в караульню.

Человек, до тех пор внимательно наблюдавший за всеми движениями Поблеско, постоял с минуту, пристально глядя на окна главной квартиры.

— Напрасно тут и ждать его, — пробормотал он, — только попусту терять дорогое время. Посещение продлится добрую половину ночи, ему многое надо сообщать генералу фон Вердеру. Теперь я узнал, что мне было нужно, известно мне и местожительство его, и то, что он, не теряя минуты, приступает вновь к прежним коз-

ням. Чего же мне еще? Я сумею отыскать его опять, когда захочу.

Он повернул налево кругом и пошел большими шагами по улице Голубое Облако.

Было одиннадцать часов вечера. Дождь не только не унимался, но лил еще сильнее, ветер дул с яростью, большая часть фонарей погасла или распространяла слабый и дрожащий свет, который только делал тьму еще чернее, как бы очевиднее.

— Ай да времечко! Словно для меня посланное! — говорил, идучи, человек, по-видимому охотник рассуждать с самим собою. — Решительно Бог за меня: темно, хоть глаз коли, черт наступит на собственный хвост, и кошки на улице не встретишь. Вот счастье-то! Э! И дом налицо, если не ошибаюсь, посмотрим.

Он тихо свистнул, тень отделилась от стены.

— Это ты, мальчуган? — спросил человек.

— Я, батюшка, — ответил ребенок, подходя ближе.

— Что нового?

— Ничего, я видел, как вы прошли вслед за патрулем, а потом никого не было.

— Ладно, значит, все как быть следует, — сказал человек, потирая руки. — Предупредил ты?

— Вас ждет господин Гартман.

— Так войдем.

— Ведь случилось несчастье, батюшка.

— Что такое? Говори же скорее, мальчуган! — вскричал отец, останавливаясь.

— Не много и говорить. Тому дня два в дом явилась команда солдат с офицером, и все-то они перерыли и перевернули вверх дном, каких-то бумаг искали.

— Ага! А дальше что?

— Ничего не нашли, батюшка, и ужас как взбесились. Накинулись они на господина Гартмана и грозили, что засадят его. Тут прусский офицер, вне себя, что не может добиться от него ответа, выхватил револьвер и выстрелил ему в руку, а там и ушел с солдатами, которые захватили все ценное, что им попало.

— Негодяи! Все ли ты сказал?

— Нет еще, батюшка, не все. Пруссаки, говорят, рвут и мечут, много такого было, чего я рассказать не сумею, но все в один голос уверяют, что прусский генерал велел арестовать господина Гартмана и отправить

в какую-то немецкую крепость, какую именно, не помню.

— Это мы еще посмотрим, сто чертей! Все ли теперь?

— Все, батюшка.

— Ладно же, ступай на свое место и гляди в оба, при малейшем подозрительном шуме присылай мне Тома, ведь он с тобою, надеюсь?

— Как же, батюшка, он стережет, что вам известно.

— Хорошо, хорошо, иди, мой мальчуган, я доволен тобою.

И Оборотень, которого читатель, вероятно, узнал уже давно, поцеловал своего сына, тот немедленно вернулся на свой пост в углублении двери, а сам он вошел в дом господина Гартмана, вход в который отворился перед ним без шума.

Дом этот, который мы видели в начале нашего рассказа таким гостеприимным, теперь имел пустынный вид, от которого сжималось сердце. Полуразрушенный гранатами, он почти весь обгорел от бомб с петролеином, богатая мебель в нем была переломана, хрусталь и дорогие вещи отчасти перебиты, отчасти расхищены пруссаками. Ветер уныло завывал в коридорах, загроможденных мусором, дождь лил почти во всех комнатах в окна без стекол, и сломанные решетчатые ставни плачевно повисли. Невольно задавались вопросом, как люди имели мужество жить в этих руинах, ежеминутно грозивших обрушиться под двойным действием дождя и ветра.

Разумеется, господину Гартману легко было найти себе другое пристанище: он имел несколько домов в городе, но этот напоминал ему целый мир, дорогой его сердцу. В этом доме, теперь почти разрушенном, он родился, провел детство, женился и дети его увидали свет, здесь он провел столько лет мирно и счастливо среди дорогого ему семейства, которого бедствие коснулось своим роковым крылом и которое страдало вдали от него, здесь, наконец, его старуха мать, после стольких лет жизни, окруженной уважением, погибла одиноко насильственной смертью и сам он был ранен палачами его злополучной родины.

Но он сознавал, что чаша переполнена и долее бороться против бедствий, поражавших его, было бы безумием, что он обязан сохранить себя для жены и детей,

которых его смерть убьет, и что он права не имел дать арестовать себя или подло умертвить презренным врагам, которые поклялись погубить его.

Силою воли затаив в глубине сердца волновавшие его чувства, он наконец готов был решиться уступить просьбам детей и оставить город, где жить более не мог. На всякий случай он полностью приготовился, бумаги свои одни сжег, другие привел в порядок и с грустным благоговением долго обходил опустевшие комнаты, как бы прощаясь навсегда с самыми дорогими воспоминаниями. Едва он успел вернуться в свой кабинет, как дверь отворилась.

Франц робко просунул в нее голову и улыбнулся кроткою улыбкой.

Один он оставался при Гартмане.

Этот достойный слуга боготворил господина, которого мать его была кормилица.

Одновременно с объявлением войны у богатого фабриканта случайно оказывались в руках громадные суммы. События так быстро следовали одно за другим, что разместить этого капитала он не мог и должен был оставить при себе. Когда пруссаки уже готовились вступить в Страсбург, Гартман призвал своих слуг, на преданность которых ему можно было полагаться, так как все они давно уже служили в доме, раздал им по частям деньги и самые важные бумаги свои и отправил их в Лозанну с приказанием ждать его.

Они уехали, не обратив на себя внимания пруссаков, которые вообразить не могли, чтобы простые слуги имели при себе миллиона три векселями и банковыми билетами.

Разумеется, первый, на ком Гартман остановил свой выбор, был Франц, его молочный брат. Он знал, как он умен и что лучше кого-либо сумеет соблюсти интересы семейства, которое по многим причинам считал все равно что своим. Но старый слуга наотрез отказался ехать — приказания, просьбы, угрозы даже, ничто не подействовало, ничто не могло побороть его упорства. Место его при своем господине, твердил он, долг велит охранять его, что бы ни случилось, и своего поста он не оставит. Гартману пришлось уступить.

Он имел повод радоваться упорству молочного брата, когда узнал, как поступили пруссаки, какие постыдные

грабежи они совершали и каким унижительным притеснениям подвергали жителей Страсбурга, храбрость которых привела их в ярость. По крайней мере, при нем находился друг, преданность которого поддерживала его мужество, внушая ему надежду, тогда как он не раз впадал в отчаяние под бременем бедствий и горестного одиночества.

— Что тебе надо? — спросил Гартман с грустной улыбкой.

— Кто-то желает говорить с вами, — ответил Франц.

— Кто это?

— Человек преданный, сударь, Жак Остер, прозванный Оборотнем.

— Оборотень! — вскричал с живостью Гартман. — Сам Бог посылает его, веди сюда скорее!

Франц сделал знак, и контрабандист вошел в кабинет.

— Карауль, чтоб нам не помешали, — обратился фабрикант к Францу.

— Никто не войдет без разрешения, сударь, будьте покойны.

Он вышел и затворил за собою дверь.

— Садитесь, друг мой, — сказал Гартман, — я вам очень рад.

Он протянул контрабандисту руку, и тот почтительно пожал ее.

— Ну что, — продолжал Гартман, когда Оборотень сел, — какие вести принесли вы мне? Что жена, дети, здоровы ли они все?

Оборотень раскрыл рубашку, отомкнул кожаную сумку, которая была надета у него на шее, достал из нее сложенную и запечатанную бумагу и подал ее Гартману, говоря:

— Это письмо, которое командир Мишель велел вручить вам, сударь, лучше меня объяснит вам все.

Старик поспешно взял письмо, дрожащими от волнения руками распечатал его и внимательно прочел.

— Благодарение Богу, все мои дорогие здоровы, — сказал он, складывая опять письмо, — вы радостный вестник, а в настоящее время хорошие вести редкость. Как мне отплатить вам за ту минуту счастья, которую вы доставили мне, друг мой?

— О! Это очень легко, сударь, — прямо ответил контрабандист.

— Говорите без боязни.

— Таков мой обычай, я и пруссакам доказал это. Я попрошу вас об одном.

— О чем же? Высказывайтесь!

— Примите предложение, которое вам делает командир Мишель от имени всего вашего семейства и работников ваших, также преданных вам душою, как вы сами знаете, сударь.

— Да, да, — медленно произнес старик разбитым голосом, оглядываясь вокруг взором, исполненным грусти, — я знаю глубокую привязанность ко мне моего семейства и преданность моих работников, а все-таки...

— Не можете решиться, сударь? — с живостью перебил контрабандист вполголоса.

— Признаюсь, — шепотом ответил Гартман и с унынием опустил голову на грудь.

Настало непродолжительное молчание, прерываемое одним свистом ветра в коридорах и шумом дождя, который хлестал в окна.

Контрабандист, этот железный человек, смотрел на Гартмана с почтительным умилением, он понимал тоску сердца, разбитого горем.

Пробила половина двенадцатого. Оборотень вздрогнул как бы от электрического сотрясения.

— Время уходит, надо покончить, — пробормотал он про себя и обратился к Гартману, все еще погруженному в печальные размышления. — Нельзя колебаться далее, — сказал он решительно, — надо бежать, и в эту же ночь, сейчас, иначе вы погибнете.

— Что вы под этим понимаете? — спросил Гартман, быстро подняв голову и глядя на него вопросительно.

— На длинные объяснения у нас времени не хватит; я только ограничусь тем, что командир Мишель успел захватить Поблеско и отобрать у него наворованные деньги. К несчастью, командир слишком добр: ему следовало расстрелять подлеца как шпиона и вора, а он ему возвратил свободу. Я сам привез его в Страсбург не более полутора часов тому назад. А знаете ли, как он воспользовался своею свободой на первых же порах?

— Подготовил какой-нибудь способ мести?

— Как раз угадали, сударь, но до командира Мишеля ему не достать, тем более что он не знает даже, где разыскивать его, вот он и направил все свои козни против вас, чтобы излить свою злобу над вами.

— Такая низость непостижима со стороны человека, всем обязанного мне.

— А между тем жаждавшего обобратить вас еще почище, — возразил Оборотень с горькою усмешкой. — Поймите же, сударь, что человека этого поймали с поличным, командир Мишель обличил его, вот он и не считает более нужным щадить вас. Впредь между ним и семейством Гартман, которое он гнусно обманывал, может быть одна борьба насмерть.

— Да, я должен сознаться, вы говорите правду. О! Все это ужасно! — с глубокой скорбью воскликнул старик, закрыв руками лицо.

— Едва он был освобожден, как отправился прямо в главную квартиру требовать вашего немедленного ареста, в этом нет ни малейшего сомнения. Я наблюдал за ним и собственными глазами видел, как он входил. Генерала фон Вердера вы знаете, достаточно вынесли вы от него оскорблений и угроз. Конечно, он согласится на все, чего потребует Поблеско против вас. Не разделяете ли вы моего взгляда?

— Другого иметь нельзя. Итак, вы полагаете, что меня арестуют?

— Не полагаю, но уверен, и в эту же ночь, пожалуй, а на рассвете неминуемо. Этого вам допускать не следует, сударь, вы прибавите страшное горе к тем испытаниям, которые постигли близких вам, и повергнете их в отчаяние. Надо бежать, не теряя ни минуты, для того я и здесь. Все готово, я жду только слова от вас, чтобы приступить к действиям.

— Господи! Что тут делать?

— Верить этому честному человеку, сударь, — сказал Франц, внезапно отворив дверь, — немедленно оставить Страсбург, где ничего вас не удерживает более, не упорствовать в невозможной борьбе и спастись бегством; если не для себя, то для вашего семейства, которое ожидает вас в смертельной тоске, зная, что вы окружены неумолимыми врагами, поклявшимися погубить вас.

Гартман осмотрелся вокруг в последний раз, из груди его вырвался вздох, похожий на рыдание, и он рукою провел по лбу, влажному от пота.

— Вы хотите этого, друзья мои, — сказал он, — пусть будет по-вашему, я уйду, но когда?

— Сейчас, сударь, это необходимо. Сынишка мой там внизу, на улице, притаившись у подъезда. Я дал ему подробное наставление. Хоть и мал, а изворотлив он, что шелковинка, и предан вам. Можете положиться на него вполне. Он так проведет вас среди пруссаков, что те и не почуют. В состоянии ли вы пройти две-три мили без отдыха?

— Вдвое пройду, друг мой, я силен и бодр. Разве я не иду к жене и детям?

— Вот так-то лучше, сударь, и слушать вас приятно, теперь я отвечаю за ваше спасение! — весело вскричал Оборотень. — Вам предстоит не более трех миль пути, и вы остановитесь на месте, называемом Волчьей Ямой, где я и сойду с вами незадолго до рассвета.

— Разве вы не идете с нами?

— Никак не могу, сударь, у меня здесь дело есть. Но вы не тревожьтесь, ваше бегство совершится вполне благополучно, вы не подвергнетесь ни малейшей опасности.

— Я не забочусь об опасности, давно уже свyksя я с нею. Если нападут на меня, я сумею защищаться. Даю вам слово, что живого меня не захватят.

— Хорошо сказано, сударь, надевайте теперь плащ и шляпу и следуйте за мною. Мы и то чересчур долго замешкались.

— Разве я должен уйти один?

— Нет, Франц идет с вами.

— Напрасно вам было и спрашивать это, сударь, — вмешался старый слуга, — мой долг быть при вас неотлучно, и я пошел бы за вами несмотря ни на что.

Гартман протянул обе руки, которые Оборотень и Франц пожали с глубоким чувством и почтительностью.

— Спасибо вам, друзья мои, — сказал негоциант, — спасибо за преданность, оказанную с такою простотой и величием. Теперь мое решение принято, вы не увидите во мне ни колебания, ни малодушия. Пойдемте, и да хранит нас Бог!

— Аминь! — заключил контрабандист. — Пора Ему, Батюшке, заняться немного нами, — пошутил он, — а

то уж очень что-то долго черт обделывает дела наших врагов.

Они спустились с лестницы при свете глухого фонаря, чтоб не привлечь внимания шпионов, которые могли караулить дом.

Достигнув двора, Оборотень, который словно видел среди мглы, коротко приказал спутникам остановиться и тихо засвистал.

Почти мгновенно отворилась калитка и мальчуган вошел во двор, а за ним по пятам следовал Том.

— Ну что? — тихо спросил Оборотень.

— Ничего, батюшка, — ответил мальчик так же тихо, — минут пять назад Том обходил вокруг, пруссаков не было поблизости.

— Ладно! Значит, самое время теперь?

— Самое время, батюшка.

— Ты хорошо запомнил мои наставления?

— Еще бы! Нет, батюшка, вы знаете, что мне не надо два раза повторять одно и то же.

— Так я могу поручиться за тебя этим господам?

— Можете, батюшка, — ответил мальчуган, подняв голову, — с Томом бояться нечего.

— Помни, что до рассвета надо быть у Волчьей Ямы.

— Будем, батюшка, не беспокойтесь.

— Там ты остановишься выжидать моего прихода.

— Сказано уж это, только поторопиться бы следовало; идти далеко, а дорога неудобная.

— Ты прав, — и, обратившись к Гартману, он прибавил: — С Богом в путь, господа! Можете положиться на моего мальчугана.

— До свидания! — сказал Гартман.

Мальчик свистнул собаку, приласкал ее и сказал:

— Пожалуйста, господа.

За ним последовали Филипп Гартман и старый слуга его.

Все трое удалились большими шагами и вскоре исчезли во мраке.

— Я думаю, командир Мишель останется мною доволен, — пробормотал себе под нос Оборотень, как скоро очутился один, — но дело мое не кончено еще, предстоит самое трудное, надо торопиться.

И он в свою очередь вышел на улицу.

Уходя из своего дома, Гартман не запер ни одной двери, он оставил все ключи в замках. Действительно, к

чему было и запирать? Разве пруссаки задумались бы взломать двери или разбить мебель?

Едва Оборотень сделал несколько шагов вдоль улицы, как быстро откинулся назад и почти плашмя припал к земле за грудою обломков.

Он вдруг заметил идущего к нему навстречу человека, закутанного в большой плотный плащ, впереди него шел солдат с зажженным факелом, а сзади следовали еще двое, вероятно, служившие ему охраной.

Человека этого контрабандист узнал с первого взгляда, несмотря на его старания закрыть лицо.

Это был Поблеско.

Проходя мимо темного и безмолвного дома Гартмана, он приостановился и, по-видимому, поглядел на него внимательно, а потом пошел дальше, пробормотав несколько слов, которых Оборотень не расслышал.

Поблеско отпер дверь своего дома, поблагодарил солдат, которым дал мелочи, вошел к себе и затворил за собою дверь.

Солдаты пошли обратно, разговаривая между собою и деля полученные деньги.

Оборотень не трогался с места и дал им пройти, но когда они скрылись из виду за углом, он встал на ноги, прошел через улицу и притаился против самого дома Поблеско.

Огонь виднелся в окне, надо полагать, спальни. Несколько раз он переменял место и минут через двадцать погас, погрузив все во мрак.

Поблеско лег спать.

— Доброй ночи! — сказал Оборотень, удаляясь большими шагами по направлению к предместью Пьера. — Изволь спать спокойно, мой почтеннейший, чтоб не приснилось тебе тяжелых грез! Гм! Ты воображаешь, что дело в шляпе. Какое же лицо ты скорчишь завтра, когда увидишь, что птичка улетела! Ахти мне! Как пора было господину Гартману отправиться на свежий деревенский воздух!

Беседуя таким образом сам с собою, Оборотень дошел до улицы Всех Святых, в которую и свернул, не замедляя шага.

Миновав около половины улицы, контрабандист остановился и пытливо стал озираться вокруг, чтоб удостовериться, действительно ли он один.

Успокоенный мертвою тишиной, он сделал еще несколько шагов и очутился у низенькой двери. Она отворилась без малейшего шума, едва он толкнул ее, и Оборотень бесстрашно углубился в темный коридор, выходящий на узкий двор, которого он вскоре и достиг. Там он взял немного влево, вынул из-за пазухи глухой фонарь, который оставил у себя, отворил дверь перед собою и вошел в комнату, где не было ровно никакой мебели, но три человека спали на соломе мертвым сном.

Оборотень тщательно затворил за собою дверь, поставил на пол фонарь и подошел к спящим, которых стал трясти изо всей силы.

В несколько мгновений три спавшие человека были на ногах, зевая и потягиваясь, но не выражая ни малейшего неудовольствия на бесцеремонность, с которой прервали их сладкий сон.

Эти три человека наши старые знакомые: Шакал, Влюбчивый и Карл Брюнер.

— Да скоро ли вы кончите зевать и потягиваться, словно карпы, выскочившие из воды? — засмеялся Оборотень.

— Вот и кончено, не сердись, старина, — ответил Влюбчивый, — мы теперь смотрим во все глаза и настороже, как зайцы. Что делать надо?

— Скажут тебе сейчас, любопытный. А ты, Карл, исполнил то, в чем мы с тобою условились?

— Точно я не знаю, какую встряску вы иначе задали бы мне! — вскричал молодой человек смеясь.

— Это вероятно, малый, итак, говори, что следует, да скорее, нам нельзя времени терять на разглагольствования. Валай!

— Все в том же виде, как я оставил по приказанию барыни, когда мы выезжали из Страсбурга. С этой стороны помехи нет, дорога открыта, и мы войдем словно к себе домой, но...

— Ах, черт возьми! Тут *но* есть.

— Что вы говорите, Оборотень?

— Ничего, продолжайте.

— Душой бы рад, да с толку сбился теперь. Что бишь я говорю?

— Ты сказал *но*.

— Да, да, знаю! Но дом не пуст, как мы полагали.

— Ах ты черт! Кто же там живет?

- Прусский полковник, ни более ни менее!
- У молодца губа не дура! Один он?
- Нет, у него трое слуг.
- И более никого?
- Есть еще молодой офицер, он служит ему секретарем и спит в комнате возле его спальни.
- Ладно! А полковник где спит?
- В собственной спальне графини и в ее кровати, вообразите!
- Воображаю, разве пруссаки теперь не у себя в Страсбурге? Зачем им стесняться?
- Все равно, уж чересчур это своевольно.
- Не занимайся такой мелочью, а говори, где нам-то предстоит дело.
- В спальне.
- Где спит полковник?
- Именно там.
- Гм! Вот она крапива-то. Ну, была не была! Можешь ты провести нас в эту спальню?
- Это очень легко, никто не увидит нас и не услышит.
- Того-то нам и надо.
- Я к вашим услугам.
- Постой минутку. Где спят слуги?
- Один на конюшне.
- А другие два?
- В туалетной, смежной с спальней, чтоб тотчас явиться на зов господина.
- Вот тебе и на! Дом-то сущий капкан. Какие трусы эти пруссаки!
- Это не трусость, а скорее осторожность.
- Мне наплевать что, одно для меня ясно — возложенное на меня поручение, которое я принял, основываясь на твоих уверениях в успехе, просто неисполнимо.
- Полноте! — вскричал Карл Брюнер смеясь. — Ведь я вам говорю, что отвечаю за все.
- А я, малый, после твоих сведений ровно ни за что не отвечаю.
- Вот видите, друг любезный, — продолжал Карл Брюнер с лукавою улыбкой, — Господь, положим, создал пруссаков подозрительными, но Он же их сделал и пьяницами, один порок уничтожает другой. Понимаете?
- Что тут поймешь?

— А я понимаю.

— С чем и поздравляю тебя. Но довольно болтовни. Когда ничего здесь не поделаешь, то лучше вернуться в наш стан у Дуба Высокого Барона.

— Пойдите, дружище.

— Чего тут стоять-то?

— Выслушайте меня хорошенько. Сегодня вечером, пока товарищи спали, а вы были не знаю где, я прокрался в дом.

— Ага!

— Самолично хотелось удостовериться в положении вещей и в трудностях нашего предприятия. Дом оказался пуст, и я воспользовался этим... отпер двери.

— Эхе-хе! Уж не ошибся ли я, чего доброго, на твой счет, молодец? Неужто ты менее глуп, чем я полагал?

— Пожалуй, что и так.

Оба посмотрели друг другу в глаза и захохотали.

— Черт возьми! — вскричал Оборотень. — Я не отступлюсь от сказанного. Что вы об этом думаете, товарищи? Попытаться?

— Взялись, так и попытаемся, — ответил Влюбчивый. — Двух смертей не бывает, а одной не миновать.

— Мне сдается, что мы похочем, — подтвердил Шакал.

— Когда и вы согласны, то идем, — решил Оборотень.

Он поднял фонарь и взялся было за ручку двери.

— Не тем путем! — с живостью вскричал Карл Брюнер. — Напротив, запирайте дверь на все запоры.

Он отодвинул в сторону солому, брошенную на пол, и открыл вход в подполье.

— Вот наша дорога, — сказал он, — предоставьте это дело мне, и все будет отлично.

Дверь заложили накрепко, потом Карл Брюнер при помощи Шакала и Влюбчивого поднял крышку люка, и под нею оказались первые ступени каменной лестницы.

По знаку Карла Брюнера Оборотень спустился первым, чтобы освещать дорогу, Влюбчивый и Шакал последовали за ним, а последним был Карл, который тщательно закрыл за собою люк.

Продолжение предыдущей

Лестница, по которой сошли смельчаки, имела не более двенадцати ступеней и вела в довольно обширный подвал, еще загромаженный пустыми бочками и бутылками. Подвал разделялся на две почти равные части деревянною переборкой, посреди которой была дверь.

Почти сорванная с петель, дверь эта стояла настежь. По запущению, в котором находился подвал, было очевидно, что он не служил уже много лет. Действительно, деревянная переборка наполовину сгнила, а разбросанные пивные бочонки и бутылки почти распадались в прах.

Карл Брюнер прошел впереди товарищей во второе отделение, раздвинул несколько пустых бочек, потом стал на колени в углу у стены и попросил Оборотня осветить ему. Побуждаемый любопытством, тот живо бросился к нему с фонарем.

Некоторое время Карл рыл землю руками; она была чрезвычайно рыхла, словно недавно вскопана, и не представляла ни малейшего сопротивления. Вскоре показалось железное кольцо. Молодой человек ухватился за него и сильно потянул к себе. В ту же минуту большущий камень без шума отделился от фундамента стены и медленно ушел вглубь, открыв круглое отверстие такой величины, что в него прошел бы человек даже довольно тучный.

— Вот наша дорога, — сказал Карл, поднимаясь на ноги, — проходите, товарищи, я буду последним.

Оборотень наклонился к отверстию и осмотрел его при свете фонаря. Яма была круглая, вроде колодезя, и

около семи с половиною футов глубины. Иного способа спуститься, как прыгнуть в нее, не оказывалось.

Контрабандист не колебался, он передал фонарь Шакалу, крепко ухватился обеими руками за края отверстия и спрыгнул вниз. Едва он коснулся ногами дна, как Шакал подал ему фонарь и спрыгнул в свою очередь. За ним последовал Влюбчивый, и Карл был последний. После него камень принял свое прежнее положение.

— Да где же мы? — спросил Влюбчивый.

— Черт меня побери с руками и с ногами, если я знаю, — возразил Оборотень, — мы, кажется, лазаем по помойным ямам.

— Терпение, — сказал Карл с своею лукавою усмешкой, — дом этот был построен на развалинах монастыря, разрушенного в 1793-м. Теперь мы в монастырских подземельях, где кишмя-кишит, как сами видите, потаенными проходами и тайниками.

— А графиня знала это, когда покупала дом?

— Как не знать! Из-за того и купила.

— Та, та, та! — вскричал Оборотень. — Это странно что-то.

— Напротив, очень просто. Лучше кого-либо вы знаете, какие неумолимые враги преследуют графиню, весьма важно было для нее...

— Правда, понимаю теперь! — воскликнул Оборотень, ударив себя по лбу.

— А я так ничего не понимаю, — заметил Влюбчивый, — все равно, лишь бы выбраться отсюда поскорее. Мы тут словно сельди в бочке, и воздух не чист.

— О! Теперь самое трудное сделано, — возразил Брюнер.

— Я, напротив, нахожу, — вмешался Шакал, поглаживая длинную рыжую бороду, — что прогулочка эта не без прелести и живописна, ей-Богу! Смешно так расхаживать под землю в многолюдном городе, и никто про тебя не ведает не гадает!

— Согласен, что приятно, но перестаньте болтать, — остановил Оборотень, — у нас другое дело на руках. Что теперь прикажешь, распорядитель?

— Мы пройдем под землю на другую сторону улицы, — ответил Карл Брюнер.

— По водосточной трубе, значит?

— Ничуть, под нею. Это подземелье идет легкой покатою в глубь земли. Здесь мы уже на тридцать футов ниже поверхности, а ход углубляется футов на сорок.

— Справедливо изволишь рассуждать, идем.

Молодой человек придавил пружину, совершенно незаметную для того, кто не знал о ее существовании. Тотчас отворилась потайная дверь, и взорам изумленных путников открылся длинный подземный ход.

— Полагаю лишним предостеречь вас не делать шуму, — шепотом сказал Брюнер, — от этого зависит успех нашего предприятия, да и жизнь наша.

— Не беспокойся, — ответил Оборотень, — мы будем немые как рыбы.

Поправили свечу в фонаре, и смельчаки отважно вошли в подземную галерею вслед за Оборотнем, который никому не уступал своего места во главе маленькой колонны. Но теперь подвигались вперед с величайшей осторожностью, ступали тихо и придерживали рукой оружие, чтоб не брнчало. Все сознавали, что над ними нависла грозная опасность и безделица может погубить их безвозвратно.

Подземелье, широкое и высокое, с полом, усыпанным мелким желтым песком, с свежим воздухом, проникавшим в искусно оставленные скважины, было сооружения чисто циклопического, то есть выложено невидимо скрепленными громадными каменными глыбами: там дышалось легко. Шла эта галерея по прямой линии, углубляясь сперва в землю, а потом опять поднимаясь в гору, так что образовывала собою выем.

Оборотень и спутники его заметили во многих местах крепкие решетчатые двери, отворенные, но которые представляли бы преграды неодолимые, будь они закрыты. После четверти часа ходьбы достигли низа лестницы, которая заканчивалась наверху толстой дубовой дверью, обшитою железом. Карл знаком остановил товарищей.

— Мы теперь под погребями дома, куда намерены войти, — сказал он шепотом, — два этажа подвалов отделяют нас от поверхности земли.

— Так стоит только подняться? — спросил Оборотень.

— Да, за дверью, что перед нами, род колодезя, похожий на тот, через который мы спустились в подземелье. Над ним расположены подвалы, и потайная дверь

ведет на лестницу, в стене, которая выходит в самый альков спальни, где расположился полковник.

— Прекрасно, но как же в альков-то входят?

— Незаметная дверь без шума вдвигается в стену на пазах и открывает пространство достаточно большое, чтобы двум пройти рядом.

— Еще лучше. Только не следует ли опасаться, что нас услышат слуги из смежной туалетной?

— Ни они, ни секретарь, который спит в следующей комнате, — ответил, улыбаясь, Карл Брюнер, — я принял свои меры, когда пробрался в дом незадолго до вашего прихода.

— Стало быть, мы имеем дело с одним всего-то?

— С одним, но тот, вероятно, проснется.

— Важная беда! Только вот что, ребята, наденем маски, нет нужды, чтоб он узнал нас.

Все, не исключая Карла Брюнера, достали из карманов черные шерстяные колпаки с двумя прорезями для глаз и одной для рта, плотно надели их на голову поверх своих шапок.

— Хитер будет тот, кто узнает нас в таком наряде. Вперед, други любезные! Я отвечаю за успех, только молчок, вот-то мы позабудемся! Пустите, я пройду первый.

Оборотень встал по правую руку Карла Брюнера, и все четверо поднялись на лестницу, внизу которой и дух перевели, и окончательно сообразили план действия.

Им понадобилось не менее двадцати минут, чтоб преодолеть все преграды, которыми усеян был их путь. Наконец они добрались до потайной двери в алькове спальни.

Оборотень и Карл Брюнер едва слышно шепнули друг другу на ухо несколько слов. Потом Карл приложился ухом к двери и стал прислушиваться.

Полковник не только лежал, но еще и храпел вовсю. Да простит нам читатель эту пошлую подробность, не лишенную значения.

— Все благополучно, — прошептал Карл. — Слышите?

— Разве он так храпит?

— Еще бы нет, когда он пьян, по своему обыкновению, от шнапса и пива.

— Я берусь попотчевать его пробуждением, которого он ввек не забудет. Ты понял меня, надеюсь?

— Будьте спокойны, друг Оборотень.

— Так за дело, да живо и дружно.

— Внимание!

Он нажал пружину, дверь скользнула вдоль пазов и оставила свободный проход.

Двое передних кинулись в спальню.

В мгновение ока полковник очутился связанным и с кляпом во рту.

Он широко раскрыл глаза, в которых еще виднелись следы опьянения, и дико озирался вокруг с глупым изумлением и суеверным ужасом. Достойный полковник почти готов был верить, что нечистая сила замешана в странном событии, которого он сделался жертвою.

Двое слуг и секретарь, хотя находились под влиянием того же усыпительного, однако также были связаны и наделены кляпами.

Итак, менее чем в пять минут неожиданные посетители могли действовать как им заблагорассудится.

Полковник, человек осторожный, оставил гореть лампу, убавив только огонь, чтоб яркий свет не мешал ему спать. Пистолеты его лежали под подушкой, и сабля, вынутая из ножен, висела на темляке у изголовья кровати. Одна беда: он не мог ожидать такого нападения, какому подвергся, и потому все меры осторожности оказались бесполезны.

— Примемся теперь за наше дело, — сказал Оборотень, не заботясь более, слышит его полковник или нет. — Где тайник?

Последнее слово заставило прусского офицера навести уши.

О чем шла речь? Возможно ли, чтоб существовал тайник, чтоб он не заметил его при тщательном обыске, который производил? Надо отдать полковнику справедливость, что едва он расположился в доме, как добросовестно очистил его с чердака да подвала, собрав мебель, шелковые занавески, кружева, художественные произведения и тому подобное. Все эти предметы, тщательно уложенные, были отправлены им в Германию.

«Если действительно он существует и эти замаскированные люди отыщут его, просто повеситься можно с отчаяния, что он миновал моих рук».

Пока мысли эти волновали полковника, вторгнувшиеся к нему люди продолжали говорить.

— Признаться, я вовсе не знаю, — ответил Карл, — барыня говорила, да я забыл.

— Эх ты, безголовый! — вскричал Оборотень. — Скверно, черт возьми!

— Знай я, где он, мне и помощи вашей не нужно бы, вот что! Одно я помню, что он в этой комнате у зеркала, а направо или налево, не спрашивайте. У вас ключ?

— Разумеется, но к чему служит ключ, дурень, когда мы не знаем, где замок?

— И то правда, мне в ум не пришло, — наивно возразил Карл.

Оборотень засмеялся, пожав плечами.

— Однако не надо терять времени, — сказал он и подошел к зеркалу осмотреть его ближе.

— Экие скоты эти пруссаки! — пробормотал он. — Как они разбили это прекрасное зеркало; не чуть ли оно служило им мишенью?

Действительно, в зеркало стреляли и оно стало совсем негодно к употреблению.

— Это не пруссаки сделали, — возразил Брюнер с видом значительным.

— А кто же? — спросил контрабандист, взглянув на него пытливо.

— Графиня.

— Как графиня?

— Она сама.

— Та, та, та! Расскажи-ка, друг любезный, это что-то очень любопытно!

— Не так, как вы думаете.

— Возможное дело, малый, а все-таки рассказывай.

И Оборотень стал рассматривать зеркало еще внимательнее.

— Вот в чем дело. В день своего отъезда, когда графиня велела вынести все, что брала с собой, она совсем собралась идти и даже сошла на несколько ступеней, но вдруг остановилась и сказала про себя: «О чем я думаю! Ведь оно стоит более трехсот франков; они непременно снимут его, как только явятся сюда, а тогда все пропа-ло». О чем она говорила, я не знаю.

— Продолжай, я-то знаю.

— Вы? Вот тебе на, это мне нравится!

— Нравится либо нет, а сейчас увидишь, продолжай только.

— Ну-с, бросилась моя графиня бегом наверх и прямо в свою спальню; стала она против зеркала, потребовала от меня мой револьвер и выстрелила четыре раза в самую середину. Сами видите, как она отделала его. Потом барыня вернула мне револьвер и сказала: «Пойдем, теперь я спокойна, они не тронут его». Я и этих слов не понял, пошел за нею вслед, и мы уехали. Графиня казалась очень довольна, вот и все. Что же вы узнали из всего этого?

— Вот увидишь. Ты решительно премилый малый, преумный и рассказываешь отлично, ты доживешь до глубокой старости, если не случится чего особенного, положишься на мое слово.

— Спасибо, Оборотень, но я не...

— Не понимаешь, верно? И не нужно.

Полковник, прозорливее Карла Брюнера, понял и задышался от ярости.

— Товарищи, — сказал Оборотень, — снимите-ка зеркало. Некогда нам забавляться тут отыскиванием пружины, чтоб заставить его сдвинуться с места.

— Что за мудреная у вас мысль! — вскричал Карл Брюнер.

Оборотень улыбнулся насмешливо, но ничего не отвечал.

Между тем Шакал и Влюбчивый уже ухватились за раму и, так как не нужно было соблюдать осторожность, в пять минут зеркало очутилось положенным на паркет плашмя.

Оборотень оборвал серую бумагу, которою стена обклеена была за зеркалом, и железная пластинка шириною в двадцать пять сантиметров и вышиною в тридцать открылась удивленным взорам Брюнера и остальных. Полковник понял все.

— Гм! Что скажешь об этом? — смеясь, спросил контрабандист.

— Колдовство сущее! — вскричал молодой человек. — Как могли вы угадать, что тайник находится именно там?

— Глупендас! Не ты ли надоумил меня?

— Я? Да ведь я сам не знал!

Оборотень и товарищи его засмеялись.

Контрабандист отпер тайник ключом, который заранее передал ему Карл Брюнер, и вынул из углубления в

стене изящной работы стальной ящичек с чеканью, пятнадцати сантиметров высоты и двадцати пяти длины. Удостоверившись, что там нет ничего более, он сунул ящичек за пазуху и обратился к товарищам, даже не дав себе труда запереть тайник.

— Уйдем, — сказал он, — нам тут незачем оставаться долее.

— А офицер, — спросил Карл Брюнер, — с ним-то что нам делать?

— Что прикажешь делать с подобной дрянью?

— Верно, вы не всмотрелись в него хорошенько?

— По правде говоря, нет.

— Так взгляните-ка из любопытства.

— К чему?

— Все-таки посмотрите, что вам стоит.

Оборотень небрежно подошел к кровати и наклонился над пленником.

От спертого ли дыхания или от волнения, а пожалуй, от обеих этих причин вместе, тот был без чувств.

— Ого! — воскликнул контрабандист в изумлении. — Кого нам тут Бог послал?

— Узнали наконец? Ведь это тот самый храбрый полковник, что женщин сечет да убивает детей и старцев, истребитель деревни Конопляник! Неужели мы оставим его, не сказав ему пару слов?

— Мы не убийцы, — резко возразил контрабандист и прибавил спустя минуту: — Однако человек этот заслужил наказание и не минует его; выньте у него изо рта кляп.

Приказание исполнено было немедленно.

Полковник не шевельнулся, и его сочли мертвым, хотя он только лежал в обмороке.

Оборотень подошел к нему, взял с туалета ножницы, остриг ему усы и брови, завернул их в бумажку и странный этот сверток вложил в правую руку полковника.

Потом он взял его саблю и сломал ее о колено, сорвал с мундира ордена и бросил их в чашку с грязною водой, которая стояла на умывальном столе.

— Вот дело и сделано, — сказал он с удовольствием, — в путь теперь.

Они не пошли подземельями, так как дорога оказывалась очень длинна, да им и нечего было опасаться жителей дома.

Через четверть часа они уже выходили из города и беглым шагом направлялись по полям к сборному месту.

Мы скажем теперь же, какие последствия имела для полковника насмешливая месть Оборотня.

На другой день распространилась по городу странная молва, что полковник, который имел сильную поддержку в высших сферах, громадное состояние и в генералы глядел не сегодня, так завтра, застрелился поутру, хотя нельзя было постичь причины такого отчаянного поступка со стороны человека, которому улыбалось все.

Некоторые приписывали это самоубийство внезапному припадку белой горячки, до того были странны передаваемые подробности. Перед тем чтобы застрелиться, полковник остриг себе усы и брови. Более того, дав чего-то наркотического секретарю и слугам, он накрепко перевязал их во время сна, вероятно, чтобы они не могли воспротивиться его роковому решению.

Прусские власти, не легковверные по природе, тайно приступили к следствию. Но к чему привело оно, осталось скрыто от публики. Если узнали истину, что весьма правдоподобно, то этим сведением прусские власти не поделились ни с кем.

Вольные стрелки шли быстро.

Било четыре часа, когда смельчаки эти выходили из города. Погода переменилась, и стало морозить. Холод так и пронизывал насквозь, земля твердела, идти становилось все труднее по опустошенным и перерытым полям, где то и дело встречались траншеи и глубокие колеи от орудий и телег. Рыся с быстротою добрых гончих по следам зверя, вольные стрелки весело разговаривали между собою.

— Хотел бы я знать, какую рожу скорчит полковник, когда взглянет в зеркало, одеваясь сегодня утром! — вскричал Влюбчивый.

— Надо сказать, что шутка эта просто прелесть, — возразил Карл Брюнер, — никогда этого мне не пришло бы в голову.

— Весьма вероятно, — посмеиваясь, подтвердил зуав, — ты не блистаешь находчивостью, мы заметили это.

— Еще усы куда ни шло, — продолжал Влюбчивый, — но страшно, должно быть, взбесило храброго полковника, что в его самой спальне оказывался тайник. Уж, верно, он обшарил все стены, на то и пруссак.

— Шарил везде, кроме настоящего места, — сказал зуав, поглаживая длинную рыжую бороду. — Чай, он вообразил, что имеет дело с самим чертом во плоти.

Вольные стрелки захохотали.

В эту минуту послышался довольно громкий шум впереди, и вскоре они увидали шедших к ним навстречу шестерых крестьян; возле них тянулся ряд употребляемых в горных странах узеньких тележек, на которых возят живность и другие съестные припасы.

Поравнявшись, крестьяне и вольные стрелки поменялись дружелюбными приветствиями.

— Желаю удачи, — весело сказал Оборотень, — главное, продавайте товар ваш как можно дороже этим мошенникам-немцам.

— Постараемся изо всех сил, друг Оборотень, — ответил один из крестьян, который знал контрабандиста, — что-то вы рано вышли ни охоту, разве чувствуете здесь где-нибудь дичь?

— Не угадали, дядя Бауман, — возразил Оборотень с лукавою усмешкой, — охота кончена, и дичь в наших руках; мы вышли из засады и теперь возвращаемся.

— Видно, всю ночь проохотились, когда назад идете так рано; а погодка-то, признаться, была не подходящая.

— Пустяки! Хорошие охотники на погоду не смотрят. Дождь лей себе в пруды сколько угодно, только лучше ловля в мутной воде, как вам известно.

— Стало, вы хорошо тут поохотились?

— Недурно, дядя Бауман, не жалуюсь, кстати, свободна ли дорога впереди нас?

— Не знаю, право, как вам сказать, чтоб не ввести старого приятеля в обман. Дорога и свободна и нет. Понимаете?

— Как нельзя лучше. Вы хотите сказать, что дорога свободна для вас и не свободна для меня — словом, что есть засада.

— Именно-то, но засады я не видал, только почуял ее, словно ищейка след, и уверен, что она должна быть.

— Гм! — отозвался Оборотень. — И в каком приблизительно месте, думаете вы, она находится?

— Наискось от Черных Скал, у Черешневого поворота, не доходя Волчьей Ямы этак на два ружейных выстрела.

— Да, да, — сказал Оборотень, кивнув головой, — это действительно должно быть там; место удачно выбрано. Спасибо, дядя Бауман, до скорого свидания с вами и товарищами.

— Не за что благодарить, друг Оборотень, разве не все мы французы, черт побери пруссаков с их четырехугольными шапками! До скорого свидания с вами и вашими приятелями. Однако не выпить ли на дорожку?

— Отчего нет, стужа; глоток водки бодрит после долгой бессонной ночи.

Фляги раскупорили и усердно выпили за возлюбленное отечество, бедную Францию, так жестоко испытываемую в настоящую войну. Поменялись крепким пожатием рук и разошлись.

По мере того как вольные стрелки удалялись от города, почва становилась все волнистее, плавно шла в гору и образовывала, милями двумя или тремя далее, холмы и пригорки, которые составляют передовые отроги Вогезов.

Еще не рассвело; солнце в это время года восходит не ранее половины восьмого, а было едва шесть. Ветер, довольно сильный в средних слоях атмосферы, стремительно гнал массы сплошных серых облаков, которые, местами растрепанные, принимали странные и фантастические формы. Положительно погода клонилась к стуже, и под ногами путников хрустела уже покрывшаяся льдом вода в колеях.

Но мало думали волонтеры об изменении в температуре и более или менее живописной местности, которую проходили; у них другое было на уме.

Известие, сообщенное дядею Бауманом, встревожило Оборотня более, чем он хотел выказать. Засада, насчет которой он предупреждал, по-настоящему не объяснялась ничем и заставляла его сильно задумываться, более потому, что господин Гартман должен был волею-неволею пройти на пистолетный выстрел от Черных Скал, очень опасного прохода, но единственного к Волчьей Яме.

Соображая все это и ломая голову, как бы открыть средство ускользнуть от грозившей им новой опасности, Оборотень быстро подвигался вперед. Немного вправо от дороги стоял уединенный домик с грязным кабачком. О нем давно шла дурная слава, хотя ни в чем особенном

нельзя было обвинить хозяина, человека лет пятидесяти, еще очень бодрого. В продолжение долгой своей жизни он брался понемногу за все ремесла, однако наиболее сочувственно относился к контрабанде, и контрабандисты составляли главный контингент его посетителей.

Короткие знакомые и приятели прозвали его дядею Звоном за нрав несколько резкий и крутой. Много лет он был знаком с Жаком Остером, который до войны не раз имел с ним кой-какие контрабандные дела. Итак, Оборотень решил зайти к нему за сведениями. В собственных интересах он должен был знать лучше кого-либо, что происходит вокруг его жилища и насколько справедлива странная весть, сообщенная ему дядей Бауманом. Итак, маленькая группа путников свернула вправо и пошла по узкой тропинке, которая кончалась у входа в кабачок.

Оборотень полагал, что должен разбудить хозяина.

Однако, подходя ближе к дому, он убедился, что там не спят: внутри был свет и дверь стояла открыта. Положение становилось затруднительно.

Контрабандист остановился.

— Ребята, — сказал он товарищам, — этот свет мне не по нутру. Бог весть что за люди теперь у дяди Звона, не сунуться же зря в пасть волка и уничтожить весь успех нашей ночной экспедиции. Оставайтесь здесь, пока я один подойду к дому; чуть что-нибудь неладно, я увижу это сразу, а если, напротив, все как быть следует, я дам свисток и вы подойдете ко мне. Решено?

— Решено, черт возьми, когда нельзя поступить иначе, — вскричал Влюбчивый, — но будьте покойны, дремать не станем.

— Возьмите мое ружье, оно ни к чему мне там не годно, а может наделать хлопот. До свидания, не показывайтесь.

— Ладно же, Бог помощь!

Оборотень отдал Влюбчивому свое шаспо, спрятал револьверы под длинный кафтан и отважно направился к дому.

Расстояние было не велико. Быстро миновав его, Оборотень переступил порог, слегка коснувшись шляпы, и подошел к прилавку, за которым величественно восседал дядя Звон, куря исполинскую трубку и наполовину скрытый, словно древнее божество, густым облаком голу-

боватого дыма, который носился вокруг него и образовывал над его головой нечто вроде венца.

Оборотень заметил с изумлением, что в кабаке нет ни души и дядя Звон сидел один-одинешенек за своим прилавком с кружкой пива перед собою и своею исполинскою трубкой в зубах.

При шуме шагов контрабандиста он обернулся.

— А! И вы, Оборотень! — вскричал он весело. — Милости прошу.

— Спасибо, дядя Звон. Вы словно один тут?

— Как видите, не угодно ли чего? Я угощаю.

— Не откажусь.

— Чего вам предложить, мягкого иль забористого?

— Дайте водки, она полезна, чтоб выгонять туман.

— И червячка заморить, не так ли, молодец? — заметил кабатчик, наливая водки.

— Пожалуй, и так. За ваше здоровье, дядя Звон.

— За ваше, друг любезный.

— Однако скажите-ка, — начал опять контрабандист, поставив назад на прилавок пустой стакан, — отчего же у вас так рано отперто? Посетителей в настоящее время не много, насколько мне известно.

— Не говорите, друг любезный, — вскричал кабатчик, качая головой, — в день-то деньской не придет и двух человек, хоть на хлеб и на воду садись с нашим ремеслом в настоящее время, ничего не сделаешь. Просто отчаяние, честное слово! Если так пойдет, я в один прекрасный день наострю лыжи искать счастья в другом месте.

— Гм! Это не весело, но когда так, зачем вы даете себе труд отпирать в такую рань?

— Вы опять за то же! — с лукавой усмешкой возразил хозяин. — Не повторить ли?

— Пожалуй.

Кабатчик наполнил стаканы, чокнулся с посетителем, и оба выпили.

— Довольно пошутили, — сказал тогда дядя Звон, вылив себе на ладонь последнюю каплю водки, оставшуюся на дне его стакана, и растерев ее руками.

Эта замашка, признак особенной озабоченности в достойном кабатчике, не укрылась от внимания контрабандиста, с давних пор знакомого со всеми причудами дяди Звона.

— Так вы хотите знать, — продолжал он, — почему у меня отперто так рано поутру, хотя нет посетителей?

— Разумеется, хотел бы, если только это вам не противно. Я был бы в отчаянии втираться насильно, так сказать, в ваши дела. В настоящее время у каждого достаточно своих, не то чтобы еще соваться в чужие.

— Умно сказано, мой почтеннейший, но будьте покойны, ваш вопрос меня не смущает нисколько. Давно уже я отворяю мой кабак не ранее половины девятого или девяти, если же сегодня и сделал исключение, то единственно для вас.

— Для меня? Я не понимаю.

— А дело-то ясно: я вас ждал.

— Вы ждали меня сегодня утром, дядя Звон? — вскричал Оборотень. — Этого быть не может!

— Почему же?

— Да полчаса назад я сам во сне не видал, что буду у вас.

— Положим, однако на пути к Волчьей Яме вы увидели свет. Это понравилось вам тем менее, что с час назад дядя Бауман говорил с вами при встрече о засаде пруссаков у Черных Скал; конечно, вы тотчас велели товарищам ждать вас на дороге, а сами пришли сюда за сведениями. Не так ли было дело?

— Почти так, черт возьми! Но если вы не колдун и не...

— Шпион пруссаков, хотите вы сказать, — перебил кабатчик.

— Когда слово уже сказано, так не отрекаюсь.

— Ни я колдун, ни я шпион, друг любезный, просто француз, и хороший, смею уверить.

— Я всегда считал вас таким...

— Сохраните же доброе мнение обо мне, которого я стою; но в несчастной родине нашей много теперь происходит странного, почему не худо быть осмотрительным и постоянно настороже.

— А как же вы узнали в точности, что произошло?

— От мальчугана услышал в начале ночи.

— Сынишки моего?

— От него самого. Ведь вы поручили ему отвести господина Гартмана, моего благодетеля и благодетеля многих других, которые забыли про это теперь?

— Правда, вот как все идет на свете! Эх! — вскричал контрабандист, изо всей мочи ударив кулаком по вырубке. — Прескверно все идет, вот оно что!

— Признаться, лучше идти бы могло, — философски возразил кабатчик, — господин Гартман слишком понадеялся на свои силы; в нескольких стах шагах отсюда у него подкосились ноги и он упал на дорогу без чувств. Мальчуган, умница, не потерял головы, сейчас вспомнил обо мне, оставил Тома со слугою стеречь его, а сам бросился со всех ног сюда. Я спал мертвым сном; нужды нет, малый поднял такую песню, что я вскочил, схватился за ружье и отворил окно, с твердым намерением не щадить того, кто осмелился потревожить меня таким манером. Мальчуган, разумеется, тотчас назвался и попросил меня сойти вниз, остальное вы угадываете. При имени господина Гартмана я едва дал себе время натянуть брюки и пустился что было духу к нему на помощь. Взяли мы его на руки и принесли сюда, где он вскоре, к великой моей радости, пришел в себя.

— Спасибо за это доброе дело, дядя Звон, — сказал Оборотень с чувством.

— Не принимаю вашей благодарности, старый товарищ; я только долг свой исполнил. Ведь я душой и телом принадлежу господину Гартману. Не будь его, никогда бы мне не уйти... все равно от чего бы ни было, а ему я обязан так, как и представить себе трудно. Если понадобится ему, чтобы я пролил последнюю каплю крови, я с радостью пожертвую собою и все еще буду считать себя в долгу у него, вот что!

— Но где же он теперь?

— В безопасности, в одном из наших старых тайников для контрабанды.

— Прекрасно, однако пруссаки тонкие бестии.

— Что мне было делать? Он не мог шагу ступить, поневоле пришлось дать ему несколько часов отдыха, чтобы прийти в себя.

— Правда, лишь бы он скорее оправился настолько, чтоб быть в состоянии продолжать путь.

— Вот увидите сам.

— Впрочем, здесь ему лучше, чем где-либо.

— Особенно в отношении безопасности.

— Как так?

— Ведь дядя Бауман исполнил мое поручение.

— Какое?

— Он предупредил вас, что пруссаки сидят в засаде у Черных Скал.

— Он говорил, но мне это показалось чересчур нелепо, и я не поверил.

— А все-таки пришли ко мне разведывать.

— Во время войны особенно надо опасаться того, что кажется всего нелепее. Так я и поступил.

— Это первое рассуждение, друг любезный, нас в тупик не поставишь. Как нелепо это ни кажется, однако дядя Бауман сказал правду и засада действительно существует, хотя, собственно говоря, засадою этого называть не следовало бы. Дело в том, что вот уже два дня, как тут стоит пятьсот человек.

— Пятьсот человек, тьфу ты пропасть!

— Я знаю наверно, что не меньше, друг любезный. Мне ли не знать? Они то и дело ходят сюда и от меня не скрываются. Оттого мне все известно, то есть я узнал причину их пребывания в Черных Скалах и чего они ожидают.

— И скажете мне?

— Еще бы не сказать, когда для того, чтобы предупредить вас, я нарочно осветил свой домишко, словно маяк.

— Говорите же, я слушаю.

— Нет, друг любезный, этого так сделать нельзя, тут воздуха больно много вокруг.

— Как же быть?

— Дело просто. Кликните товарищей, а как скоро они войдут, я запру дверь и мы можем тогда говорить на свободе.

— Не возбудит ли подозрений, что дом заперт?

— Не тревожьтесь, пруссаки видеть его не могут из своего стана; они знают, что я никогда не отпираю ранее девяти, потому и являются только около десяти или одиннадцати часов.

— Значит, об этом заботиться нечего.

Оборотень стал в дверях и свистнул известным образом. Через несколько минут подошли три волонтера.

— Кстати, — спросил Оборотень, — как же пруссаки не пытались остановить меня, если они уже целых двое суток скрываются в Черных Скалах?

Кабатчик засмеялся.

— Потому что вы шли в город, — ответил он, — если б вы направлялись к горам, они тотчас бы и цапнули вас за ворот или, пожалуй, издали пошли за вами вслед.

— Ого! Это что значит? — сказал Оборотень задумчиво.

— Узнаете сейчас, но сперва запремся со всех сторон, — ответил кабатчик.

Дядя Звон обрисовывается

Благодаря дяде Звону дом, минуту назад оживленный, вскоре представлялся снаружи одною темною и безмолвною массой, где все было погружено в глубокий сон.

Кабатчик провел своих посетителей во внутреннюю комнату нижнего жилья, где никаким образом нельзя было ни видеть, ни слышать их, разве только они стали бы кричать как оголтелые.

Приняв эти меры, достойный кабатчик сообразил, что его посетители, должно быть, проголодались и в горле у них пересохло после утомительной ночи. Он поспешно поставил перед ними на стол вина, пива, водки, собрал еще кое-какие съестные припасы, нарезал хлеба, ветчины и стал усердно приглашать гостей оказать ему честь.

Надо отдать волонтерам справедливость, они не заставили себя просить, только соблюли долг вежливости, насколько нашли нужным, чтобы в собственных глазах сохранить приличие, и сильное произвели нападение на закуску, в которой нуждались на самом деле.

Осмотревшись вокруг с довольным видом, чтобы удостовериться, все ли в порядке, хозяин уже раскрывал рот, вероятно для объяснения, которого Оборотень требовал от него все время, когда контрабандист взял его за руку.

Кабатчик обернулся с изумлением и поглядел на него вопросительно.

— Простите, дядя Звон, — сказал контрабандист, — ведь вы понимаете мое беспокойство и не посетуете на него?

— О чем речь?

— О ком, хотите вы сказать?

— Положим, товарищ, а дальше что?

— Дальше я спрошу о господине Гартмане.

— Он отдыхает, при нем Франц, мальчуган и Том; последний караулит, другие ходят за ним. Повторяю вам, он в безопасности и пруссаки, при всей своей пронырливости, с самим чертом в жогах, не отыскали бы его, так хорошо он скрыт. Успокоились ли вы теперь?

— Почти.

— О, о! Вас трудно удовлетворить, друг любезный.

— Что прикажете, таким уж Бог создал, не моя вина. К тому же командир Мишель мне поручил своего отца, и я буду в отчаянии, если с ним случится несчастье.

— Ничего не случится, даю вам честное слово. Впрочем, вы увидите с ним в надлежащее время. Еще нет надобности спешить.

— Я полагаюсь на ваше слово. Говорите теперь сколько душе угодно о вашем деле.

— И вы будете не прочь узнать то, что я скажу?

— В этом я убежден, мы с вами знакомы не со вчерашнего дня. Я знаю, что хитер был бы тот, кто провел бы вас.

Он засмеялся, налил себе кружку пива и осушил ее залпом.

— Говорите же, — прибавил он, поставив на стол пустую кружку, — я готов слушать.

— Надо сказать вам, товарищ, что в начале войны, когда наши дела пошли ко всем чертям из-за плохого распоряжения, мне было пришлось на ум закрыть кабак, захватить с собою что имею ценного и дать стрелка, чтобы искать счастья в другом месте. Но я скоро одумался, мне стыдно стало махнуть на все рукою. При таких бедствиях истинному патриоту не бросать надо отечество, а служить ему по мере сил на том месте, куда поставила его судьба. Нет малого и ничтожного орудия, которое не могло бы оказать пользы в данную минуту.

— Хорошо сказано, дядя Звон! — вскричал Оборотень и протянул ему руку. — Вот как следует говорить французу!

— Я имею притязание быть им, — продолжал кабатчик с убеждением, — молодость моя была бурная, не спорю, за мною много и крупных провинностей, меня не

раз увлекали страсти гораздо далее, чем я бы хотел, но я человек, черт возьми, у меня душа есть, и я боготворю родной мой край. Как служить ему? Пойти в солдаты, так воевать я стар, сил не хватает, хотя духом бы и взял. Смолоду я побывал в разных странах, денег не нажил, но набрался опыта и поневоле научился языкам тех земель, куда приводили меня случайности моей бродячей жизни. Я говорю по-немецки, по-итальянски, по-испански, по-английски, по-голландски, по-русски и невесть еще по-каковски. За неимением лучшего я решился, оставаясь у себя, слушать все, что будут говорить мои посетители, и сведениями этими приносить пользу соотечественникам. Пруссакки считают меня баденцем и несколько не опасаются. Нередко сюда приходят их офицеры держать совещания о вопросах важных. Обсуждают они их либо по-английски, либо по-голландски, словом, на каком-нибудь чужом языке, чтобы я не понимал их, и, разумеется, в этом убеждении высказывают свободно все, что у них на уме. Так-то я узнал многое, и мне удалось помешать самым искусно задуманным их планам, хотя они и понять не могли, каким путем угадали их французы.

— Славная это игра, ей-Богу! Нашла коса на камень, значит.

— Не так ли? — хитро улыбнулся кабатчик. — Вот дней несколько назад, утром, помнится, входит сюда человек, которого я уже никак видеть не ожидал, особенно в такой компании. До того я изумился, что кружку из рук выронил, которую чистил. По счастью, она была оловянная и беды не стряслось. Человек, о котором я говорю, нахлобучил на глаза шляпу и поднял воротник камзола, как будто от стужи — мороз-таки пощипывал, — но, в сущности, чтобы я не узнал его. Отлично это удалось ему, как видите.

— И в самом деле, — засмеялся Оборотень, — но кто же был это?

— Терпение, друг любезный, скоро узнаете.

Контрабандист знал по опыту, как трудно заставить дядю Звона в чем бы то ни было поступить иначе, чем решил он заранее. Хотя любопытство его сильно было возбуждено и он терзался беспокойством, однако мужественно примирился с этой невзгодой, понимая, что лучше предоставить старику рассказывать по-своему.

— За ваше здоровье, дядя Звон, — сказал он, чокаясь с кабатчиком, и прибавил, когда осушил свой стакан: — Сапристи! Вы собаку съели по части рассказов, мастерски говорите.

— Надо сознаться, — согласился кабатчик, лукаво подмигнув, — не даром взяла деньги молодка, что смастерила меня за пять су.

Вольные стрелки засмеялись этой шутке. Выпили круговую, и, утерев рот рукавом, дядя Звон продолжал:

— Итак, двое людей вошли в общую приемную, где на ту пору не оказывалось ни души. Еще рано было для обычных моих посетителей. Однако новые пришельцы не остановились в приемной, а прошли прямо сюда. Они сели за этот самый стол, что перед нами, и товарищ того, кто не хотел быть узнан, заказал сытный завтрак на двоих, строго наказав мне ни под каким предлогом не пропускать к ним в комнату никого. Так как молодец этот имел право приказывать другим, то я с почтительным поклоном уверил его, что приказание будет исполнено мною в точности. Я спокойно ушел готовить завтрак. Разумеется, люди эти не стали бы говорить о цели, которая привела их ко мне, прежде чем им будет подано все, что они потребовали. И я имел свой план; не впервые полковник фон Штанбоу выбирал мой дом для своих тайных совещаний.

— Как вы его назвали?

— Кого?

— Да полковника-то.

— Фон Штанбоу, это полковник королевской гвардии, подлец, каких свет не производил. Вы разве знаете его, друг любезный?

— Немного знаю, дядя Звон, — ответил Оборотень, странно переглянувшись с товарищами. — Часто он ходил к вам?

— То есть ходит, будет вернее сказано, — поправил кабатчик. — Я вижу его почти ежедневно.

— Действительно, я обмолвился. Так вы видите его здесь чуть что не каждый день?

— Да, но, признаться, это мне вовсе не по нутру; в этом человеке что-то кроется недоброе, от него кровью несет. Я не трус и, кажется, доказал это; что бы вы думали, верьте мне или нет, а я трушу его!

— Я это понимаю, продолжайте, пожалуйста. Если этот человек примешан к вашему рассказу, то я подозреваю какой-нибудь постыдный замысел.

— Вот увидите. Итак, я мигом сготовил завтрак, подал его, велел моему горбуну прислуживать в приемной посетителям, какие могли явиться, и немедленно засел в тайник, не известный никому, который я устроил собственнo для себя и откуда все могу видеть и слышать, что происходит тут.

— Позвольте, а горбун-то кто, о котором вы упомянули?

— Бедный калека, который мне служит уже четвертый год.

— А! Итак, вы засели в тайник?

— Едва я стал прислушиваться к тому, что говорили, как порадовался своей счастливой мысли. Сами сейчас увидите, прав ли я был. Не буду передавать вам всего разговора, который длился битых два часа, это взяло бы много времени, а для вас дорога каждая минута, я скажу суть дела в немногих словах. Полковник фон Штанбоу, по-видимому, давно уже вел переговоры со своим собеседником, убеждал его самыми блистательными обещаниями, предлагал ему самые щедрые награды, тот все колебался, пожимал плечами, отвечал односложно и никак не соглашался на предложения полковника, не из чувства чести либо ужаса к измене, на которую его хотели подвинуть, но просто потому, что предложенная сумма казалась ему недостаточно велика в сравнении с важностью того, что от него требовалось.

— Вот подлая-то скотина! — вскричал Оборотень, хлопнув по столу кулаком. — Это не может быть француз!

— Не француз и есть, но этого никто не подозревает; вы первый, друг любезный, хотя знаете его хорошо.

— Да скажите же имя-то его!

— Погодите, узнаете и тогда не поверите, когда я вам скажу.

— Поверю, поверю, дядя Звон, потому что считаю вас человеком, каким быть следует, вы не способны низко оклеветать невинного.

— Это я называю говорить! Итак, чтоб не мучить вас долго, вот в чем дело. Полковник фон Штанбоу сулил две тысячи флоринов золотом человеку, о котором я

говору, с условием, что тот откроет ему, в каком именно месте нашли убежище семейства работников с фабрики господина Гартмана, составивших отряд вольных стрелков, к которым пруссаки питают особенную ненависть.

— Понятно, альтенгеймские вольные стрелки надедали им довольно неприятностей и перебили у них довольно народа, но кончайте, пожалуйста. Неужели этот человек был настолько низок, что продал своих братьев?

— Это хитрый негодяй. Зная, какие скряги пруссаки, он сперва торговался: сумма, видишь, казалась ему мала. Полковник все не раскошеливается, хоть ты лопни. Вот и сказал он наконец:

«Дайте мне тысячу флоринов в руки теперь, а тысячу в тот день, какой вы сами назначите, чтоб я указал вам дорогу, и дело будет в шляпе».

Более часа полковник не соглашался, но, убедившись, что не уломает упряма, что пьет он здорово и чем более пьет, тем становится упорнее, достал кошелек, отсчитал ему тысячу флоринов, которые тот сунул в карман со вздохом удовольствия, и буквально сказал следующее:

«Вот требуемые вами тысяча флоринов, только смотрите, держать слово, а то я буду без жалости. Куда бы ни скрылись вы от моей мести, я везде вас настигну. Дня через два отряд немецкого войска поставлен будет у Черных Скал, дабы ближе быть к тому пункту, где нам вскоре придется действовать. Во вторник, в семь часов вечера, я буду ждать вас здесь, на этом самом месте, и отсчитаю вам остальную тысячу флоринов, после чего вы сведете меня с отрядом солдат в гнездо ехидн; я растопчу его ногами, уничтожу дотла. Вы слышали теперь, так смотрите, будьте точны».

Полковник встал с этими словами, позвал меня, расплатился и вышел в сопровождении подлеца, который, словно Иуда, продал своих братьев. Как находите вы эту историю?

— Плачевною и позорною. Слава Богу, что подлец-то не француз, как вы утверждаете.

— Нет, он бельгиец, и выгнан был из родины общим презрением. Он искал убежища во Франции, где уже лет двадцать живет, разумеется, приняв другое имя.

— Это чудовище, а не человек! — вскричал Оборонтень с движением ужаса.

— Нет, друг любезный, — спокойно возразил дядя Звон, — просто скот без малейшего нравственного чувства, которого ослепляет тщеславие и корысть.

— Но кто же это? Должен же он носить какое-нибудь имя у нас?

— Имя его теперь Жозеф Фишер.

— Жозеф Фишер! — вскричали вольные стрелки в изумлении, которое походило на ужас. — О, это невозможно!

— Разве я не говорил заранее, что вы не поверите мне? — сказал с усмешкой дядя Звон.

— Жозеф Фишер, шурин Людвига, командира альтенгеймских вольных стрелков! — воскликнул Оборотень в глубоком унынии.

— Он сам, друг любезный, вот до чего довели его жажда золота, тщеславие и пьянство! Он не колеблясь продает не только друзей и братьев, но еще и сестру с дочерью неумолимому врагу, — продолжал кабатчик отрывистым и суровым голосом, устремив на контрабандиста взгляд выражения странного.

— Я верю вам, я должен верить, — ответил Оборотень, силясь говорить твердо, тогда как у него захватывало дух от душевного волнения. — Спасибо вам, что вы предупредили нас об этом позорном заговоре. И это бельгиец изменяет нам, один из сынов сочувственной нам великодушной нации! И без всякого повода с нашей стороны он входит с нашими неумолимыми врагами в заговор, которого можно только гнушаться! О, это ужасно!

Наступило довольно продолжительное молчание. Эти честные люди были возмущены такой подлой изменой.

Скоро, однако, Оборотень провел рукою по лбу, как будто хотел прогнать докучливую мысль; лицо его, на котором отражалось жестокое душевное потрясение, повеселело почти мгновенно, и, наклонившись над столом, чтоб наполнить свой стакан, он сказал голосом спокойным, почти веселым:

— Спасибо вам, дядя Звон, повторю я опять; это дело, как и много других, которым счет ведется у меня тут, — прибавил он, коснувшись пальцем своего лба, — зачтется в свое время. Теперь у нас другая забота на руках.

— Какая же? — спросил кабатчик с изумлением, которого не в силах был скрыть, так поразила его внезапная перемена в контрабандисте.

Короче знакомые с нравом Оборотня, вольные стрелки только значительно переглянулись.

— Гм! — заметил контрабандист. — У вас память коротка, дядя Звон, если вы уже забыли про господина Гартмана.

— Признаться, я другим был озабочен в эту минуту и заслужил ваш упрек.

— Я обещал командиру Мишелю, что доставлю ему отца целого и невредимого или голову сложу во что бы то ни стало. Слово свое я сдержу. Итак, взглянем на вопрос хладнокровно. Надеюсь, вы не допускаете, точно так же, как и я не допускаю, чтобы проклятые пруссаки могли преграждать нам путь и мешать пройти куда нужно?

— Разумеется, не допускаю, это было бы из рук вон смешно.

— Посмотрим-ка теперь, где именно они находятся!

— Между Черными Скалами и Волчьей Ямой. И то и другое место у них в виду и стережется их часовыми.

— Черешневый Дол свободен?

— Совершенно.

— А Перепелковые Бугры?

— Также.

— Что ж, вы говорите дорога отрезана?

— Да, кажется, так.

— Вам кажется неверно, батенька мой. Конечно, Перепелковые Бугры и Черешневый Дол менее чем на расстоянии ружейного выстрела от прусских часовых и приходится идти под их огнем. Но как быть-то? Не бить яиц, так и яичницы не сготовишь. Вам ли не знать это, дядя Звон, когда у вас харчевня! Мы пройдем, будьте покойны, не правда ли, ребята?

— Да, да, пройдем, — подтвердили вольные стрелки.

— И ведь есть еще пещера Мертвеца, о которой мы не упоминали, — продолжал Оборотень.

— Вы отважились бы пройти там?

— Почему нет? Я отважусь на все, лишь бы исполнить свой долг. Не беспокойтесь, пруссаки будут проведены на славу. Мы у них под носом пройдем, и ничего-то они не увидят.

— Желаю от всего сердца, но понять не могу, куда вы намерены пройти через пещеру Мертвеца.

— Это мое дело, а ваше скорее вести меня к господину Гартману. Впереди у нас целых два часа ночи, надо ими воспользоваться.

— Правда, — согласился кабатчик, вставая, — пойдемте.

— Ждите меня здесь, ребята, и будьте готовы идти при первом знаке; особенно не пейте больше.

— Ладно, — ответил зуав и опрокинул свой стакан, — можете быть благонадежны, мы будем как встрепанные, когда вы вернетесь.

— И прекрасно.

Оборотень встал и вышел с хозяином.

Тайником кабатчика для склада контрабанды была каморка, почти подполье, так искусно скрытая среди здания, что невозможно было открыть ее иначе, как разрушив дом до основания.

Там старик Гартман лежал одетый на складной кровати и спал крепким сном под верной и преданной охраной мальчика и Тома, двух существ, которых Оборотень любил, бесспорно, более всего на свете; Франц спал на полу в другом углу.

Сон Гартмана был так глубок, что он не проснулся при входе посетителей и тогда только открыл глаза, когда контрабандист положил ему на плечо свою широкую ладонь.

Он удивленно осмотрелся вокруг, но, тотчас узнав Оборотня, улыбнулся, сел на кровати и протянул ему руку.

— Вы привели нашего друга Жака Остера, хозяин, — сказал он, — я ждал вас с нетерпением и очень вам рад. Ну что нового? — обратился он к контрабандисту.

— Не много, сударь, я пришел узнать, как вы теперь чувствуете себя, — ответил тот.

— Очень хорошо, любезный Остер, несколько часов сна вернули мне силы, а главное, спокойствие духа, я опять стал вполне самим собой и готов на все, что вы пожелаете для успешного завершения предприятия.

— Простите вопрос, не обманываетесь ли вы, действительно ли вы настолько пришли в силы, как полагаете? Ведь в эту ночь они изменили вам, сударь, хотя вы считали себя бодрым. Не скрою от вас, что, случись то

же теперь, и мы погибли. Если б только мы одни, то не беда, но вашей гибели я не допущу ни под каким видом. Без вас я не посмею показаться командиру Мишелю на глаза.

— Успокойтесь, любезный друг, — ответил Гартман, — вчера я расстался, быть может, навсегда с домом, где родился, где провел счастливейшие годы моей жизни, где оставил все дорогие мне воспоминания, и горе сломило меня, как ребенка, несмотря на все усилия побороть его. Теперь дело иное, я спокоен и хладнокровно оцениваю свое положение — словом, примирился с ним; а с бодростью духа возвратилась и бодрость тела. Как бы ни было велико утомление, которое я должен вынести, чтобы увидиться с женою и детьми, меня окрыляет радость этой встречи, столь для меня долгожданной.

— Дай Бог, впрочем, мы уже сделали более половины дороги. Одна беда: та часть, что впереди нас, самая трудная, не столько с точки зрения усталости, сколько по опасностям, которым вы можете подвергаться, как ни желал бы я оградить вас от них.

— Почему же, Жак Остер? Разве наше дело не общее? Опасности мы должны делить, я требую своей доли: опасность заставит меня забыть утомление.

Тут кабатчик, вышедший с минуту назад, вернулся, неся на тарелке миску, из которой шел пар. В другой руке он держал стакан и под мышкой бутылку.

— Вот, сударь, — сказал он, подходя к Гартману и ставя из рук на стол у кровати, что нес, — натошак отправляться в дорогу нехорошо, особенно когда уже не в первой молодости и путь предстоит трудный. Я разогрел вам бульону, в надежде, что вы не огорчите меня отказом выпить его.

— Вам отказать, мой усердный хозяин! — весело, возразил Гартман. — Вы не можете предположить этого, напротив, я принимаю с величайшим удовольствием, вполне разделяя ваше мнение, что бульон принесет мне пользу.

— Вот и славно! — вскричал дядя Звон, от радости потирая руки. — Чашка теплого бульона да стакан вина — это самое лучшее на дорогу; с этим подкреплением в желудке можно идти целый день по отвратительнейшим дорогам и не чувствовать усталости.

— Не преувеличиваете ли вы его действие, — с улыбкой возразил Гартман, — хотя с точки зрения гигиены это, бесспорно, превосходное средство поддержать силы, и я, как видите, пользуюсь им без дальних обстоятельств.

Во время этого разговора Гартман прихлебывал горячий бульон с очевидным удовольствием.

Оборотень знаком подозвал к себе сына и нагнулся к его уху.

— Ты улепетывай вперед разведывать дорогу, мальчуган, — сказал он. — Ступай по Коршуновой тропинке до перекрестка Белого Коня. Остерегайся пруссаков, они поблизости. Если заметишь кого из них, тотчас пришли ко мне Тома; я буду на дороге, недалеко от тебя. Понял?

— Понял, батюшка. Но если до Белого Коня я не встречу никого, ждать вас там или далее идти?

— Ты оставишь Тома караулить на перекрестке, а сам по Черешневой тропинке пойдешь к Опаленной Скале. Далее не иди, помни это, притаись там, как только можешь лучше, и жди меня. Когда я дойду до перекрестка, то пришло к тебе Тома. В случае нового чего или если тебе что-нибудь покажется подозрительным, отошли ко мне назад Тома сию же секунду. Ты хорошо понял все?

— Понял, батюшка, — бойко ответил мальчуган, щелкая пальцами.

— Так поцелуй меня, дитя, и живо в путь!

Ребенок бросился в объятия отца и поцеловал его, потом свистнул собаку и скрылся из виду со счастливой беспечностью возраста, для которого опасности не существует.

Отец грустно глядел ему вслед и думал:

«Бедный мой мальчуган! Один он остается у меня на земле. А если я лишусь и его? О! Нет, не допустит этого Господь, ведь мы стоим за святое дело!»

И мгновенно этот человек с железной волей точно устыдился, что поддался чувству слишком человеческого, крепко протер себе глаза и гордо поднял голову.

«Баба я, что ли? — сказал он себе. — Очень мне к лицу распускать нюни! Каждому своя доля. Не унывай, Жак Остер, и заботься о старике, которого обещал спасти».

Он подошел к Гартману, который маленькими глотками пил старое вино, налитое хозяином в стакан.

— Ну вот и дело в шляпе, — весело сказал Гартман, — я точно снова родился. Спасибо, любезный хозяин, я не забуду того, что вы для меня сделали, и может быть, мне удастся еще доказать вам это на деле.

— Не будем говорить об этом, сударь, если кто должник, то это я, как вам известно, и долг мой неоплатный — при всем желании, я ввек не могу сквитаться с вами.

— Что поминать старое, я давно забыл, следуйте моему примеру, любезный друг, это лучше будет.

— Вам забыть легко, сударь, вы благодетель, — возразил кабатчик с чувством, — а мне невозможно.

— Полноте, полноте, — улыбаясь, остановил его Гартман, — оставим это.

— Как вам угодно, сударь, но помнить мне это не помешает.

— Вот упрямец! — засмеялся Гартман и, мгновенно переменив тон, обратился к контрабандисту: — Кажется, вы мне говорили об опасности, Жак Остер?

— Как не говорить, сударь!

— При мне оружия нет.

— Что за нужда, когда мы все вооружены?

— Нет, друг мой, нужда есть; я хочу разделять с вами опасность и сам сколько-нибудь способствовать своему избавлению. И то надо сказать, я твердо решил живым пруссакам в руки не даваться. Вы обяжете меня, если доставите оружие, дабы я сам мог защищаться при нападении.

Оборотень казался под влиянием сильной внутренней борьбы.

— Да, да, — бормотал он себе под нос, так нахмутив брови, что они сходились, — это правда. Нельзя отказывать человеку в орудии защиты. Лучшие друзья могут, при всем желании, не оказаться под рукой в критическую минуту, как же ему обороняться без оружия? Все это справедливо, я не должен этому противиться.

Он поднял голову и сказал, почтительно склонившись перед Гартманом:

— Простите, сударь, я не сообразил этого, но действительно лучше, чтобы при вас было оружие; сейчас вам принесут.

По знаку Оборотня, кабатчик вышел и через несколько минут вернулся. Он держал в руках шаспо, пару шестиствольных револьверов и портупею, к которой прицеплены были штык в чехле и туго набитый патронташ.

Гартман ухватился за это оружие с такою поспешностью, что, несмотря на опасность их положения, контрабандист невольно улыбнулся, слегка отвернувшись.

Однако старик Гартман подметил и движение, и улыбку.

— Друг Остер, — сказал он с невыразимой грустью, — не думайте, чтобы я жаждал крови моих врагов, никогда я не знал чувства мести. Эти ружье и револьверы для меня не оружие, но охрана. Теперь я ничего не боюсь, я огражден от возможности попасть живым в руки ожесточенных врагов. Итак, спасибо вам, что дали мне средства уйти от их ярости.

Слова эти он произнес с такой твердостью, простотой и величием, что произвел сильное впечатление на тех, к кому они были обращены; почтительно и молча склонили оба перед ним голову, понимая, что он без колебания и без страха исполнит то, что говорил.

— Чего же мы ждем? — продолжал Гартман. — Кажется, нам тут делать больше нечего.

И он улыбнулся своей сердечной улыбкой.

Они вышли из потайной каморки и вернулись в приемную.

Три вольных стрелка уже стояли наготове, опираясь на ружья.

— Ну, дядя Звон, — сказал Оборотень, потирая руки, — теперь мы опять молодцы молодцами, выведите-ка нас отсюда незаметно, да следы за нами уничтожьте, чтобы никто ничего не заподозрил.

— Пруссакам только останется глазами похлопать. Следуйте за мною и не заботьтесь ни о чем.

Кабатчик взял фонарь и пошел впереди, а за ним остальные.

За домом был сад, не большой, но очень густой, окруженный живой изгородью, также очень густою и высокою. Кабатчик вел беглецов по разным дорожкам и наконец остановился у изгороди.

— Здесь выход, — сказал он тихо, — за изгородью глубокий ров, по которому вы пройдете никем не замеченные.

— Да ведь я знаю эту дорогу, — ответил контрабандист, — не раз я ходил по ней в былое время.

— И в самом деле, — засмеялся кабатчик, — где ж у меня голова? Очень нужно толковать вам то, что вы знаете не хуже моего!

— Выход должен быть тут, — сказал Оборотень, указывая на место в изгороди, которое казалось особенно густо.

— Именно тут. Давно не проходил в него никто, вы знаете почему, — прибавил старик, значительно поглядев на Оборотня.

— Подозреваю, — ответил тот, усмехнувшись, — но отчаиваться не следует. Придут еще и красные деньки.

— Да услышит вас небо! Я, признаться, сомневаюсь, — прибавил он, покачав головою, — стар я становлюсь и ни на что более не годеи.

— Всегда бываешь годеи на что-нибудь, когда мозги на месте. Однако мы тратим время, товарищ, а нам следовало бы уже быть далеко.

Ничего не ответив, кабатчик подошел вплотную к изгороди и стал на колени. Тщательно всмотревшись, он осторожно разобрал несколько перепутанных ветвей и открыл довольно большое отверстие, в которое два человека могли пройти без затруднения.

— Вот, — сказал он.

Оборотень сделал знак зуаву.

— Сперва вы, Паризьен, — сказал он, — потом Влюбчивый, Карл Брюнер будет третьим, а там господин Гартман, Франц и я заключим шествие. Ну, братцы, в путь, да живее!

Вольные стрелки повиновались молча. Они прошли сквозь изгородь, спустились в ров и ждали. Гартман последовал за ними и почти тотчас на краю рва появились Оборотень и дядя Звон.

— Разве вы с нами идете, старина? — спросил шутиливо контрабандист.

— Хотел бы, — возразил тот, — да не могу. Я вышел замести ваши следы, которые, пожалуй, приметят снаружи. Ведь эти черти немцы всюду суют нос.

— Да, настоящие ищейки. Спасибо и до свидания, старый дружище! — заключил он, протягивая ему руку.

— Да хранит вас всех Господь! — с глубоким чувством ответил кабатчик, крепко пожимая протянутую контрабандистом руку.

Тут и Оборотень сошел в ров, где ожидали его спутники.

Ров был глубокий и широкий, а бока настолько отлоги, что по ним легко выбраться; на дне и зимой и летом стояла вода фута на два или полтора; по счастью, благодаря зимней поре и сильному морозу, вода превратилась в лед.

Но и гладкий лед подвергал опасности сломать себе шею на каждом шагу, если б не отвратил ее контрабандист способом простым и вместе с тем замысловатым.

Он велел товарищам надеть штыки и, взяв шаспо в руки прикладом кверху, опираться на них как на палки; кончик штыка вонзался в лед и представлял вполне достаточную опору.

В то время когда он занимался контрабандою, ему нередко приходилось употреблять этот способ, отлично заменяющий длинные палки с железными наконечниками, с которыми горцы обыкновенно взбираются на ледяные вершины высоких кражей.

Приказу Оборотня последовали с поспешностью.

— Теперь, ребята, марш! — сказал он. — Впрочем, я пойду впереди, чтобы показывать дорогу, Влюбчивый последует за мною на расстоянии пятнадцати шагов, потом зуав на таком же расстоянии от него, и, наконец, Карл Брюнер составит собою арьергард вместе с господином Гартманом и Францем, от которых не должен отходить ни на пядь. Такой порядок шествия составит протяжение в сорок пять шагов. Если услышите совиный крик, два раза повторенный, вы остановитесь и будете ждать, держа ружья наготове. Поняли?

— Поняли, — ответили волонтеры.

— Так в путь.

Он прошел вперед и вскоре был уже далеко, идя беглым шагом так же легко, как будто у него под ногами маками.

Товарищи последовали за ним, однако тише и тщательно стараясь соблюсти назначенное им расстояние.

Для этих людей, привыкших переносить усталость и преодолевать самые большие затруднения, эта опасная прогулка была игрой, почти забавой; но далеко не тем

казался путь Филиппу Гартману, избалованному удобствами роскошной обстановки. Он не имел понятия о подобном путешествии по льду, особенно при такой мгле, что ни зги не было видно.

Однако он вооружился мужеством и, опираясь с одной стороны на опрокинутое ружье, а с другой на Франца, который поспешил подать ему руку, храбро двинулся в путь.

Первые попытки оказались трудны до крайности. Он едва подвигался вперед и скользил на каждом шагу. Но мало-помалу сила воли взяла свое, он приноровился и ему уже не стоило таких усилий идти; разумеется, утомление уменьшалось по мере того, как он шел свободнее, и спустя минут двадцать он мог обойтись без помощи Франца.

Путь длился долго, три четверти часа, без остановки. По прошествии же этого времени Гартман достиг места, где его ждали спутники и где ров кончался почти незаметным откосом.

— Ну что, сударь, — спросил Оборотень, — очень вы устали?

— Менее, чем мог полагать, — возразил старик, — в начале было трудно, но теперь я готов идти таким образом еще целый час, если нужно.

— В этом нет надобности. Слава Богу! Мы выходим опять на сухую землю, но теперь-то следует смотреть в оба и быть настороже. Мы приближаемся к опасности. В путь, ребята, и все в таком же порядке; слушать сигнал!

С этими словами Оборотень быстро удалился, сделав рукою знак, как будто в последний еще раз предостерегал товарищей.

Он скрылся во мраке почти мгновенно.

Путешествие непродолжительное, но с сильными ощущениями

Беглецы скользили как призраки в ночной мгле с быстротою, к которой побуждало их не только желание скорее достигнуть цели пути, но и холод, особенно чувствительный, как всегда бывает, перед рассветом и почти невыносимый, особенно для Гартмана, которому в жизни не приходилось подвергаться такой суровой стуже.

Против нее одно средство и было, это движение; средством этим путники могли пользоваться вволю и прибегали к нему с усердием, которое не ослабевало, а напротив, росло с каждою минутой.

Станции, заранее назначенные Оборотнем, пройдены были одна за другою, и ничего не случилось такого, что могло бы вселить опасения. Так достигли передовых отрогов Вогезских гор, с мальчуганом и его приятелем Томом впереди, когда при повороте на узкую извилистую тропинку два раза повторенный крик совы раздался в авангарде.

По знаку Оборотня остановились и каждый скрылся за деревом, держа ружье наготове, смотря во все глаза и чутко прислушиваясь.

Тихо приказав спутникам не показываться, а главное, не сходить с места, пока он не вернется, и смотреть во все глаза, он удалился большими шагами и вскоре исчез из виду в густом кустарнике, которым порос крутой склон холма.

Был седьмой час утра, но еще не рассветало. Леденящий ветер пробегал по верхушкам деревьев и заставлял сталкиваться обнаженные ветви. Только изредка неопределенные звуки нарушали глубокое безмолвие этой местности, опустошенной войной; печальный вид ее сжимал сердце. Тропинка, где притаились беглецы, утопала в высоком лесу и колючем кустарнике, извиваясь желтой каймой по отлогому склону до самой вершины горы.

От жестокой стужи у притаившихся путников кочнели члены, их была нервная дрожь, зловещий шум стоял в ушах, глаза их слезились и руки едва удерживали нетяжелые ружья, словом — положение их становилось невыносимо.

Протекла четверть часа и показалась им сроком нескончаемым, однако перемены не принесла никакой.

Наконец показался Оборотень.

Лицо его было мрачно, глаза сверкали, он находился в сильном волнении.

— Пойдемте скорее, — сказал он тихо и отрывисто.

— Что же там? — спросил Гартман.

— Не знаю, ничего не мог понять; между тем очевидно, тут что-то происходит и пруссаки, черт их побери, где-то недалеко.

— Что же нам делать?

— Идти вперед во что бы ни стало, если не хотим быть захвачены как зайцы в норе. Одна смелость может спасти нас. Еще темная ночь; я знаю малейшие изгибы горы и не теряю надежды провести неприятеля.

— Разве вы полагаете, что нас заметили?

— Не думаю, однако все-таки, повторяю, здесь что-то творится, чего я не могу постичь и что сбивает все мои соображения.

В эту минуту раздался окрик: «*Wer das?*»*

Он послышался довольно далеко и в направлении противоположном тому, где пробирались беглецы.

— Что это значит? — пробормотал Оборотень. — За кем они теперь гоняются?

— Как знать, — возразил Гартман, — может статься, мы не одни бродим здесь и слышанный нами окрик обращен к людям, которые, подобно нам, хотят пробраться в горы.

* Кто идет? (нем.)

— Должно быть, так и есть! — вскричал Оборотень, хлопнув себя по лбу. — Верно, пруссаки подметили кого-нибудь. Подвигайтесь вперед, переходя от дерева к дереву, чтоб заслонять себя ими, и остановитесь ждать меня на перекрестке в шестистах шагах отсюда. Там вы найдете моего мальчугана с собакой, которых я поставил караулить; я пойду на разведку к самим пруссакам, если понадобится, и скоро принесу вести положительные, даю вам слово.

— Будьте осторожны, Жак Остер, — заметил Гартман с сердечной озабоченностью.

— Ба! За меня опасаться нечего, сударь, пруссаки будут не умнее прежнего; только мне необходимо знать наверно, что происходит. Идите же, мы скоро увидимся опять.

— Бог помощь! — напутствовали его товарищи.

— Спасибо, спасибо, не забудьте, что общая сходка на перекрестке. Влюбчивый, бери командование в мое отсутствие.

— Ладно, старина, все будет исполнено.

Оборотень свернул в сторону, а Гартман с остальными пошел по горной тропинке, которая извивалась перед ними.

Вольным стрелкам понадобилось около двадцати минут, чтобы достигнуть перекрестка, где они нашли мальчика и его верного Тома, которые бдительно сторожили тропинки, в виде звезды сходящиеся на перекрестке со всех сторон.

Едва успели путники перевести дух после тяжелого перехода, как раздались выстрелы.

— Ого! Это что такое? — вскричал Гартман озабоченно. — Пожалуй, заметили Жака Остера.

— Не думаю, — возразил зуав, — если вслушаться в выстрелы, то сейчас можно отличить, что они раздаются не в одном направлении и одни ближе, другие дальше, так как они то громче, то слабее.

— Что вы заключаете из этого? — спросил Гартман.

— То, что это не погоня, а сражение, перестрелка идет правильным ходом.

— Так вы полагаете?..

— Не полагаю, сударь, а уверен, что на пруссаков нападают или, пожалуй, они производят нападение на французский отряд; какой именно, я сказать вам не сумею, но положительно верно и очевидно, что это

схватка, и горячая в придачу, клянусь вам солдатским словом.

— Ты прав, старина, — вмешался Влюбчивый, — там дерутся на славу; теперь надо смотреть в оба.

Паризьен не ошибся: ожесточенный бой завязался в полумиле от перекрестка. С того места, где стояли вольные стрелки, они видели всю местность и вскоре удостоверились, что поле сражения у самых Черных Скал, где, по словам дяди Звона, находился прусский отряд. Благодаря тому что Оборотень знал местность вдоль и поперек, он сумел так провести своих спутников, что они обогнули Черные Скалы, темные зубчатые вершины которых начинали виднеться в утреннем полусвете и мало-помалу выступали из туманной мглы, застилавшей равнину.

Какие вольные стрелки вступили с немцами в бой, беглецы решить не могли, но нисколько не сомневались, что это не регулярное войско. Во всем Эльзасе, кроме Бельфора, не было ни одного французского батальона.

Влюбчивый не терял времени и тотчас принял необходимые меры, чтоб не попасть как кур во щи, если б сражение распространилось и вдруг захватило то место, где скрывались они. Меры предосторожности были очень просты и, так сказать, предначертаны естественным ходом вещей: они состояли в тщательном осмотре местности вокруг, дабы удостовериться, что нигде вблизи нет засевшего неприятельского отряда, и в расстановке вдоль тропинки караульных, которые должны были предупредить о малейшем подозрительном движении.

Разведчиком послан был мальчуган с своею собакой, так как он доказал на деле, что лучше его никто не сумеет исполнить подобного поручения.

Ребенок с радостью взялся за него; он боготворил отца, и, опасаясь, не случилось ли с ним несчастья, так и рвался удостовериться, что ему не грозит опасность. Свистнув собаку, которая тотчас подбежала к нему, мальчик храбро нырнул в кусты и скрылся из виду.

Тогда Влюбчивый приказал зуаву стать за стволом громадной черешни, которая росла на краю тропинки, шагах в ста от перекрестка, и зорко наблюдать за всеми движениями сражающихся, предупредить, как только ему покажется что-нибудь подозрительное, и немедленно

отступить к перекрестку, стараясь всеми мерами остаться незамеченным.

Зуав молча кивнул головой и направился к своему посту.

Приняв меры, бывшие в его распоряжении, Влюбчивый осмотрелся вокруг и пошел, хладнокровно набивая свою трубку, к тому месту, где Гартман, Карл Брюнер и Франц сидели на краю рва.

— Ну, мой любезный, — спросил Гартман, — что вы думаете о нашем положении? Опасно ведь?

— Опасно, но далеко не отчаянно, — ответил волонтер, раскуривая трубку.

— Вы полагаете?

— Еще бы, сударь, сразу видно. Оборотень знает горы как никто и провел нас обходом вокруг стана пруссаков, так что мы и не видали их, а главное, ими не были замечены. Поглядите-ка, там в долине, немного влево, громадные гранитные глыбы и есть Черные Скалы. Благодаря Богу, мы уже далеко от них, а немцы нас и не почуяли; теперь еще нет повода их опасаться.

— Так вы думаете, что они не подозревают нашего присутствия здесь?

— Это очевидно, сударь, иначе, как только стал заниматься день, они сейчас отрядили бы человек двадцать в погоню за нами и мы уже видели бы их в конце тропинки. Ведь совсем почти рассвело.

— Дай Бог, чтобы мы избавились от них окончательно!

— Аминь от всего сердца, сударь!

— Далеко еще до цели, друг мой? Мы что-то долго уже идем.

— Три часа самое большее, а далеко не уйдешь в потемках и по отвратительным дорогам. Что мы приближаемся, это верно, но в точности определить, где мы и сколько еще остается пройти, этого я на себя не возьму. Не здешний я, лотарингец, край этот мне незнаком. Впрочем, про то и другие знают не более меня, кроме Оборотня да его шустрого сынишки.

— Мы в руках Божиих, — сказал Гартман с глубоким вздохом, — будем ждать, что ему угодно будет решить.

— С вашего позволения, сударь, я полагаю, что нам ничего другого не остается.

После такого ответа старый солдат отдал Гартману честь и стал расхаживать по перекрестку взад и вперед, куря трубку так беспечно и хладнокровно, как будто на дворе казармы. Давно освоившийся с войною в горах, он не мог быть взволнован внезапной опасностью, еще отдаленною, как бы грозна она ни была; к тому же он принял все надлежащие меры, остальное его не касалось.

Солдаты и авантюристы вообще веруют в предопределение. Это позволяет им прямо смотреть опасности в глаза и не давать сразить себя неожиданностью, что именно и обеспечивает успех в деле войны.

Между тем Оборотень, как мы уже говорили, отправился на рекогносцировку. Несмотря ни на какие преграды, он пошел по равнине напрямик, минуя бесчисленные изгибы тропинки, чтоб не терять лишнего времени. Услыхав выстрелы, он, так же как Влюбчивый и Паризьен, понял тотчас, что это не погоня, а настоящая схватка между пруссаками, расположенными у Черных Скал, и французским отрядом, еще невидимым. Не думая долго, контрабандист решил идти по тому направлению, где, по его мнению, должны быть французы, высмотреть их положение и, если возможно, расспросить.

Согласно тому он взял вправо и удвоил усилия, чтобы скорее достигнуть равнины.

В первые минуты слышалось больше отдельных выстрелов с продолжительными промежутками, но вскоре перестрелка приняла ход более правильный, и беглый огонь почти не умолкал.

Оборотень вывел такое заключение, что пруссаки были застигнуты врасплох, однако благодаря дисциплине вскоре сомкнули ряды и стали отбиваться храбро. Тем не менее контрабандист с искренней радостью заметил, что место действия мало-помалу изменяется и где за минуту назад слышались выстрелы игольчатых ружей, теперь раздавались шаспо. Это наблюдение, в справедливости которого он вскоре убедился, внушило ему добрую надежду на исход сражения.

Он быстро миновал последние пригорки, очутился на равнине, пытливо осмотрелся вокруг и пустился бегом по тому направлению, где полагал наверно встретить соотечественников. Однако он все-таки старался заслонять себя чем-нибудь, чтоб не сделаться мишенью для обеих сторон. Он и успел в этом с обычным ему счастьем, хотя

был вынужден пробежать довольно большое пространство по открытому месту. Он наткнулся прямо на засаду французов, прикрытых грудой скал, и не успел слова вымолвить, чтоб дать знать, что он француз, когда был принят с распростертыми объятиями; его узнали.

— Оборотень! Оборотень! — весело вскричали вольные стрелки, теснясь вокруг него и наперерыв протягивая ему руки.

— Вот-то удачно, ей-Богу! — воскликнул контрабандист. — Валькфельдские партизаны и в придачу сам господин Конрад! Ну, можно сказать, что я счастлив!

— Самолично, друг Оборотень, — ответил Конрад, весело улыбнувшись, — что вы делаете в этих краях?

— Да то же, что, вероятно, делаете и вы. Однако позвольте, мне бы нужно видеть вашего командира.

— Это нетрудно. Вы должны сообщить ему что-нибудь?

— Да, и очень важное.

— Так пойдемте, я сведу вас.

— Благодарю, господин Конрад, вы не раскаетесь в услуге, вспомните мое слово.

— Эй вы, держать ухо востро! — приказал молодой человек стрелкам. — Я вернусь в пять минут. Главное, чтоб не стрелять; пусть негодяи пруссаки сунутся и обожгут свои грязные усы о жерла наших пушек.

— Ладно, идите, мы притаимся как мыши.

Конрад сделал контрабандисту знак следовать за ним, они обогнули скалы, и через две минуты Оборотень был в обществе Отто фон Валькфельда.

Весь партизанский отряд, начиная с офицеров и кончая солдатами, был в масках, но маски эти исчезли тотчас при появлении Оборотня.

— Это вы? — вскричал командир с живейшей радостью. — Как я вам рад, мой добрый друг! Сам Бог посылает вас. Вы можете оказать мне величайшую услугу.

— Эхе! — возразил Оборотень, потирая себе руки. — Заранее угадываю, в чем дело. Если не ошибаюсь, мы устроим штучку на славу.

— А вы что предполагаете?

— Не хитро сообразить, ей-Богу! Вы напали на пруссаков врасплох и привели их в замешательство. Теперь они еще отбиваются бодро, но уже колеблются. Обратить их в бегство можно одним смелым маневром, как, напри-

мер, знаменитый обход, к которому они прибегают при каждом удобном случае.

— Как раз верно определили положение, любезный друг. Одного усилия еще было бы достаточно, только...

— Только, не зная местности, вы боитесь сделать ошибку, которая приведет вас прямо в волчью пасть и заставит проиграть партию, не так ли, командир? — перебил контрабандист с усмешкой.

— Именно это и останавливает меня. Проклятые тропинки так перепутаны, что я десять раз уже плутал и теперь, признаться, вовсе не понимаю, где я.

— Не беспокойтесь, командир; во-первых, у вас засада расположена отлично, лишь бы оставалась скрытой еще с час времени.

— Слышите, Конрад? — сказал Отто.

— Слышу, командир, будьте спокойны.

— Сколько человек у вас в деле? — продолжал Оборотень свои расспросы.

— Сто двадцать человек.

— Сапристи, вот работают-то! Можно думать, что их пятьсот. А в резерве у вас много ли?

— Сто семьдесят человек.

— Ладно, дайте мне шестьдесят, и я берусь обойти с ними пруссаков, так что в четверть часа голубчики угодят между двух огней. Когда я открою пальбу, надо стрелять и тем, что в засаде сидят, а вы бросайтесь в атаку. Согласны так?

— Согласен ли? Вы просто спасаете меня!

— Только долг свой исполняю, командир. Где ваши люди?

— Следуйте за мною, а ты, Конрад, ступай к своему посту.

Молодой человек наклонил голову в знак повиновения и удалился быстрыми шагами.

Резерв скрывался за пригорком; люди припали к земле, держа палец на спусковом крючке ружья, в готовности вскочить на ноги при первом сигнале. Как только завидели они командира, то весело подняли головы, вообразив, что настала минута действовать.

— Терпение, ребята, — с добродушною улыбкою ответил Отто на безмолвный вопрос, — скоро вы понадобятся мне все, но теперь не более шестидесяти из вас. Первые шестьдесят человек справа, вставай!

Приказание исполнили немедленно; большая часть волонтеров были отставные солдаты.

Командир знаком подозвал к себе офицера.

— Станьте во главе этих добрых ребят, — сказал он ему, — я отдаю вас временно в распоряжение Оборотня, которого вы наверно знаете.

— Кто не знает его, командир? — смеясь возразил офицер, молодой человек с изысканным обращением.

— Так вы имеете к нему доверие?

— Полное, командир, — ответил офицер с вежливым поклоном контрабандисту.

— Стало быть, вы не колеблясь исполните, что он ни приказал бы вам? Помните, что от движения, которое вы производите теперь, зависит успех боя.

— И вы, командир, и этот честный человек могут рассчитывать на мое безусловное повиновение...

— Благодарю, идите же, желаю успеха.

Отто пожал руку Оборотню, любезно поклонился офицеру и поспешил назад к своему посту.

— Пойдемте, — обратился контрабандист к молодому начальнику отряда, — а главное, прикажите людям молчать и так осторожно идти, как по яйцам ходят, да ни одного не дают, — пошутил он.

Двинулись по следам Оборотня.

Тот сделал довольно большой обход, точно будто намеревался пойти обратно, но вдруг круто свернул в сторону и спустился в глубокий овраг.

— Теперь беглым шагом! — скомандовал он.

Подавая пример, он первый бросился вперед. Минут через десять опять выбрались из оврага и очутились за толстой стеной гранитных глыб, которые составляли непроницаемую преграду.

— Мы находимся за Черными Скалами, — шепнул он офицеру.

В несколько минут обогнули скалы и вышли на опушку густого леса, в который смело углубились по следам неустрашимого контрабандиста.

Тот улыбался и весело потирал руки. Вдруг он остановился и тихо произнес:

— Стой!

Отряд словно врос в землю.

— Пойдемте, — сказал Оборотень офицеру.

Тот последовал за ним.

Сделав несколько шагов, Оборотень остановился опять.

— Поглядите-ка, — сказал он офицеру, указав направление рукой.

Тот взглянул и чуть не вскрикнул от изумления.

Они стояли на самой опушке леса, скрытые деревьями; в четырехстах метрах впереди них, несколько вправо, были палатки и навесы пруссаков, а левее тянулась их боевая линия, не более как в шестистах метрах от леса, куда Оборотень привел стрелков таким искусным обходом.

— Понимаете? — обратился он к офицеру.

— Еще бы! — возразил тот. — Они попались.

— Не теперь, но с помощью Божией попадутся скоро. Предоставляю вам расставить ваших людей, но строго запретите им стрелять до команды.

Офицер вернулся к солдатам.

В эту минуту Оборотень почувствовал, что об ноги его что-то трется. Он опустил глаза и увидел Тома; возле него стоял мальчик.

Мощными своими руками приподняв сына, он крепко поцеловал его в обе щеки и опустил опять.

— Что ты тут делаешь? — спросил он.

— Меня послали отыскивать вас, батюшка; там беспокоятся на ваш счет.

— Да, понимаю. Духом беги к ним назад и веди их сюда; они рады будут участвовать в забаве.

— Ладно, батюшка, а дальше что?

— Ничего. Однако постой, — прибавил он, ударив себя по лбу, — есть и еще кое-что. Черт меня побери, если это не отличная мысль! При тебе кремень и огниво, мальчуган?

— При мне, батюшка, всегда в кармане ношу.

— Это хорошо, очень холодно, не худо бы нам согреться, прежде чем опять лезть ввысь. Вот что ты делаешь.

Оборотень опять приподнял сына, шепнул ему что-то на ухо, потом поцеловал, опустил на землю и прибавил вслух:

— Главное, смотри в оба.

— Не беспокойтесь! — успокоил его ребенок. — О! Как славно, батюшка, как славно!

— Ну, поворачивайся, малый, живо!

— Духом слетаю! Ай да мысль!

Вмиг ребенок скрылся за деревьями, а за ним и неразлучный его товарищ Том.

«Мысль счастливая, надо сознаться, — подумал Оборотень с сияющим от удовольствия лицом, — черт меня поberi с руками и с ногами, если не счастливая!»

В эту минуту вернулся офицер.

— Я готов, — сказал он, указывая на расставленных им по опушке леса стрелков.

— Подождем еще с минуту, — ответил Оборотень, — я готовлю пруссакам приятную неожиданность.

— Неожиданность! Какую?

— А вот увидите, минутку терпения. Наши приятели пруссаки не ожидают ничего подобного, и какой же мы им натянем нос!

— Да о чем речь-то?

— Как вы нетерпеливы! Потерпите крошечку, впрочем, ни к чему, посмотрите-ка на лагерь.

— Прости Господи, палатки горят! — вскричал офицер в сильном изумлении.

— Так и надо, — хладнокровно ответил Оборотень. — Поглядите-ка, славно разгорается. Пусть себе, у нас же все украдено. Бог наказывает воров, — прибавил он с усмешкою.

Действительно, сперва вспыхнула одна палатка; ветер раздул пламя, и огонь перешел на другую, потом и на третью, и вскоре почти все горели ярким огнем, словно костры.

Едва пруссаки заметили пожар, который тщетно пытались затушить люди, оставшиеся караулить лагерь, как небольшой отряд в пятьдесят человек, под командой офицера, направился к нему беглым шагом, вероятно с целью помочь товарищам остановить пожар.

Оборотень указал офицеру на эту команду, говоря:

— Сперва в этих, а потом валяйте по всей боевой линии куда ни попало, с криком «Да здравствует Франция!» — потом прицелился, выстрелил и положил прусского офицера на месте.

— Да здравствует Франция! — гаркнули вольные стрелки в один голос, и мгновенно открылась пальба по всей опушке леса.

Одновременно открыли убийственный огонь из засады, где командовал Конрад, а Валькфельд во главе своих

волонтеров отчаянно атаковал боевую линию пруссаков с фронта.

Итак, с фронта немцев теснил Валькфельд, с фланга их бил Конрад, засевший за скалами, а с тыла они подвергались неумолкаемому беглому огню благодаря искусному маневру контрабандиста. К довершению несчастья, стан их горел вместе со всем, что в нем находилось, и нельзя было никак остановить огонь.

Тем не менее, приученные к строгой дисциплине, немцы с добрые четверть часа еще держались твердо и оказывали отчаянное сопротивление. Вдруг занялся весь лагерь и представил собою одно сплошное огненное море. Это окончательно сразило немцев. Такого бедствия не вынесла даже их стойкость, которая выражается особенно блистательно, когда они идут десять на одного. Еще не опомнившись от первого переполоха, сильно теснимые вольными стрелками, которые удваивали свои богатырские усилия, пруссаки упали духом ввиду своего разорения от пожара, ряды их смешались, несколько человек бросилось бежать, другие последовали за ними и вмиг рассыпались все. Это было уже не только полное поражение, но постыдное бегство.

Отто фон Валькфельд послал взвод стрелков, не гнаться за пруссаками, что было бы безумием, но зорко наблюдать, не сомкнут ли они рядов опять. Этого не случилось, по крайней мере не ранее Страсбурга, когда они почувствовали себя в безопасности за городскими валами и под защитой крепостной артиллерии.

По окончании боя вольные стрелки, едва дав себе время подобрать раненых и схоронить мертвых, отправились в путь, дабы как можно скорее добраться до Дуба Высокого Барона.

Отто знал пруссаков с давних пор и не сомневался, что они вскоре придут назад с значительными силами, а тогда бороться с ними будет физически невозможно. Итак, следовало скорее уйти.

Отто сам был изумлен своим нечаянным нападением на пруссаков. Направляясь к Дубу Высокого Барона, он подозревал, что немцы занимают позицию у Черных Скал. К счастью, разведчики его отлично исполнили свое дело и заметили неприятеля, когда тот не подозревал еще близости партизанского отряда. Схватка была жаркая, и, быть может, вольные стрелки, несмотря на оже-

стечение, с которым бросились в атаку, увидели бы себя вынужденными отступить, если б случай не привел Оборотня, как раз кстати для обхода, который замышлял партизанский предводитель, но сам произвести не мог по незнанию местности.

Поручение отца мальчуган исполнил со свойственной ему смывленостью и обычным везением, а затем он предупредил вовремя вольных стрелков, оставшихся ждать Оборотня, и те, приняв участие в развязке, содействовали ей в значительной степени. Добрые люди рады были случаю отогреться.

Гартман знал партизанского начальника через сына. Встреча их после сражения была самая дружелюбная. Прежде всего Отто поздравил старика с тем, что он успел уйти из Страсбурга и оградить себя от гнусных преследований ничем не стеснявшихся победителей. А там зашла речь о событиях, все более и более важных в Эльзасе, где вольные стрелки, окончательно предоставленные самим себе, были окружены и, словно дикие звери, преследуемы пруссаками, которые поставили их вне закона и не давали им пощады.

— Надо положить этому конец, — сказал Отто, — нет возможности продолжать борьбу, да и поведет она к одной гибели. Собственно, из-за этого я и здесь. Нам с Мишелем и Людвигом необходимо посоветоваться, каким образом проскользнуть сквозь сети, которые стягиваются все плотнее вокруг нас. Если не остеречься, мы в один прекрасный день очутимся в положении безвыходном и останется нам одно — храбро пасть с оружием в руках. Это будет жертвой героической, но бесполезной, тогда как выгоднее для Франции сохранить испытанных сынов отечества, содействие которых может в данную минуту принести существенную пользу.

— Не смотрите ли вы на это в черном свете? — спросил Гартман. — Разве положение действительно так опасно?

— К несчастью, — ответил партизан, уныло покачав головой, — я смотрю на него скорее в розовом, чем в черном свете. Не будь горсти самоотверженных патриотов и нескольких генералов, верных долгу, которые после уничтожения наших армий не задумались жертвовать собой для общего спасения, Франция погибла бы окончательно и навек померк бы яркий маяк, кото-

рый светил всему миру. Впрочем, мысль эта была уже выражена французом.

— Неужели дошло до такой крайности? — вскричал Гартман с грустью.

— Приверженец павшего правительства осмелился сказать: «Finis Galliae» (конец Галлии), как некогда Костюшко сказал: «Finis Poloniae» (конец Польше).

— Да ведь это гнусно! Не может быть, чтоб существовали подобные подлецы и чтоб никто не зажимал им рта!

— Отвращение и презрение мстят им за нас. Какое нам дело до их клеветы?

— Все это ужасно. Империя привела Францию на грань гибели, сколько потребуется времени, чтоб мы поднялись опять!

— Менее, чем вы полагаете. Французы, нация рыцарская и мужественная, подобно Антею, как коснутся земли, вновь получают силы и поднимаются могущественнее прежнего. Ныне Франция унижена и повергнута в прах. Под их гнетом она почти безжизненна и бескровна, но дайте два года срока, и вы увидите ее с гордо поднятою головой, спокойным и сияющим надеждой взором, могущественнее, чем полгода назад. До войны величие ее было поддельным, тогда же оно будет настоящим, так как Франция, обновленная ужасною ванною из крови и перерожденная несчастьем, уже не согласится подло преклонить голову по прихоти какого-нибудь проходимца. Она захочет быть свободною, сама вести свои дела и заботиться о своей судьбе.

В эту минуту вольные стрелки спускались по крутому склону к шаровидной горе, которая занимала пространство в сто гектаров и со всех сторон окружена была высочайшими пиками.

— Вот, сударь, — сказал Оборотень партизану, — мы теперь у входа в одно из подземелий. Менее чем в четверть часа мы будем на месте. Могу я обратиться к вам с просьбою?

— Говорите, друг мой, чего вы желаете?

— Чрезвычайно важно для нас всех, чтоб вход в подземелье охранялся людьми верными, как скоро мы войдем в него.

— Ого! Разве ход этот известен? — вскричал Отто, обернувшись к контрабандисту и глядя ему прямо в глаза.

— Нет еще, по крайней мере, надеюсь, что нет, — ответил тот, не опуская глаз под пытливым взором, — но если не принять меру, на которую я вам указываю, легко могут открыть его в самом скором времени.

— То есть как же это?

— Я знаю, что говорю, сударь, только время еще не пришло объясниться, да и место неудобно для того; вы не замедлите узнать все.

— Положим, но этот вход не единственный же?

— Не беспокойтесь об остальных; я беру на себя приставить к ним караул.

Через четверть часа вольные стрелки были в подземелье, оставив десять человек, вполне надежных, стеречь вход.

— Вот и ладно, — пробормотал Оборотень, — мы посмеемся.

Военный совет

Вернемся теперь к Мишелю, которого мы оставили в минуту, когда он отпер на стук потайную дверь.

— А, — вскричал он, увидев Отто фон Валькфельда, — само небо посылает вас, мой добрый друг.

Молодой человек почтительно поклонился дамам, пожал протянутую ему Мишелем руку и ответил с пленительною улыбкой:

— Я не один пришел.

— Тем лучше, кого же вы привели с собой, не честного ли Людвига?

— Посмотрите кого!

Он отошел от двери, и на пороге показался господин Гартман с улыбкой на губах, блестящим взором и выражением живейшей радости на лице.

— Батюшка, дорогой батюшка! — вскричала Лания, бросаясь в объятия старика и рыдая.

И в радости, как в горе, проливают слезы, но сладостны они и отрадны для сердца!

— Наконец-то мы опять вместе и не расстанемся уже более, дорогой батюшка! — с восторгом вскричал Мишель.

Лания, Шарлотта и Мишель окружили старика и осыпали его ласками.

Глубоко тронутый, он вынужден был опуститься на стул; слезы тихо катились по его исхудалым щекам, голос изменял ему, он не мог произнести слова, он задышался: его сломил прилив счастья после всего, что он вынес с таким мужеством.

По знаку Мишеля Шарлотта вышла и вскоре вернулась с матерью, госпожою Гартман и графинею де Вальреаль. Не станем описывать сцены свидания супругов после продолжительной разлуки.

Зрители этой трогательной встречи скромно отошли на другой конец комнаты, предоставив перенесшему тяжелые испытания семейству на свободе предаваться радости.

Отто фон Валькфельд подошел к графине де Вальреаль, почтительно поклонился и завязал вполголоса разговор, очень занимательный, если судить по оживлению молодой женщины.

А Шарлотта и госпожа Вальтер между тем понемногу приблизились к семейству Гартман и вскоре, по ласковому знаку, совсем слились с семейною группой.

Спустя немного в дверях потайного входа показался Оборотень, пытливо осмотрелся вокруг, увидел графиню и поспешно подошел к ней.

Заметив контрабандиста, молодая женщина чуть не вскрикнула от радости и, приложив палец к губам, чтоб предписать Оборотню не молчание, но осторожность, она сказала Отто со своею пленительною улыбкой:

— Простите, если я прерву на минуту наш разговор; этот честный человек, по-видимому, хочет сообщить мне что-то.

Отто поклонился, собираясь уйти.

— Нет, останьтесь, пожалуйста, — ласково остановила его графиня, — вы без малейшей нескромности можете присутствовать при нашем разговоре.

— Если вы приказываете, графиня, то я повинуюсь.

— Я только прошу. Ведь вы знаете Оборотня?

— Кто не знает его, графиня, — возразил Отто улыбаясь. — Разве он не лучший и не храбрейший из наших партизан? Не далее как сегодня утром он оказал мне громадную услугу.

— Оборотень?

— Да, он. Его специальность оказывать всем услуги, — прибавил молодой человек, протягивая контрабандисту руку, которую тот почтительно пожал. — И добросовестно же он исполняет дело, которому посвятил себя. Все мы, сколько нас тут есть, обязаны ему многим...

— Какую же услугу оказал он вам сегодня? — перебила графиня с живостью.

— О! Это безделица, — сказал Оборотень, пожав плечами со смущенным видом.

— Конечно, сущая безделица: он только не дал пруссакам разбить меня, и я объявляю во всеуслышание, что ему одному обязан, если обратил их в бегство.

— Он сделал это?

— Как все делает, точно невзначай и сам про то не ведая.

— Извольте, сударыня, должно быть, из снисхождения ко мне господин Отто неверно вам передал то, что было; я только, удачно правда, но исполнил его же приказания.

— И то хорошо, — улыбаясь, возразила графиня, — но вы, кажется, шли ко мне, Жак Остер?

— Так точно, графиня.

— Не нужно ли вам еще каких сведений от меня?

— Насчет чего, сударыня?

— Насчет дела, о котором я поручила Карлу Брюнеру переговорить с вами.

— Нет, не нужно.

— Вы находите возможным взяться за поиски, которые, не скрою, очень важны для меня?

— Не только они возможны, но и трудности не представляют.

— Однако, — возразила графиня с видом сомнения, — подумайте, что надо войти в Страсбург, и не довольно того, еще пробраться в мой дом, где, по доставленным мне сведениям, поместился прусский офицер.

— Все знаю, сударыня. Так вы очень дорожите успехом этой попытки и считаете ее опасной?

— Мало сказать опасной, почти неисполнимой, а я охотно дала бы сто тысяч франков, чтоб иметь в руках драгоценные бумаги, которые в поспешности внезапного отъезда вынуждена была оставить в доме. Вот как я высоко ценю их.

Оборотень тонко улыбался.

— Какое счастье, сударыня, что вы посулили такой значительный куш одному мне!

— Почему же, друг мой?

— Потому что деньги ваши подвергались бы большой опасности, будь кто-нибудь другой на моем месте.

— Я готова сдержать свое слово.

— Не сомневаюсь в этом, но лучше сберегите ваши деньги, поверьте, они скоро понадобятся вам самой.

— Но бумаги эти мне добыть надо во что бы ни стало.

— Вы их получите.

— Положим, но когда?

— Разве вам скоро надо?

— Конечно, — подтвердила графиня, пристально взглянув ему в глаза, — их могут открыть с минуты на минуту.

— Успокойтесь же, сударыня, — ответил Оборотень улыбаясь, — если бумаги эти вам так дороги и вы так сильно желаете иметь их в руках, то вот они; по крайней мере, я полагаю, что они находятся в этом ящичке.

Он достал из-за пазухи ящичек, так смело взятый им в Страсбурге, в доме графини де Вальреаль, и подал его молодой женщине.

Она ухватила за него с движением радости и невольным восклицанием восторга.

— О! Друг мой, — вскричала она с чувством, — как мне отплатить вам!

— Ни слова о награде, сударыня, — перебил он почти грубо, сиюсь скрыть, что тронут, — человеку не платят за исполнение долга; говорят ему спасибо и делу конец.

— Справьтесь-ка с ним, — засмеялся Отто, — ему цены нет, честное слово.

— Как вы успели исполнить мое поручение?

— О! Это было не трудно. Командир Мишель поручил мне отвезти Поблеско в Страсбург, я воспользовался случаем и два дела сделал разом. Ничего проще быть не может.

— Как видите, графиня, у Оборотня все чрезвычайно просто, — заметил Отто смеясь, — а порасспросите кого-нибудь из его товарищей, и вы услышите рассказ о подвиге неслыханной отваги. Что его касается, то напрасно настаивать, он вам не скажет ничего более, в полном убеждении, что все им сделанное очень естественно и не стоит быть передано.

— Да, да, знаю, — ответила графиня в задумчивости, — но я знаю также, чем обязана этому необыкновенному человеку. Кажется, я нашла средство сквитаться с ним, насколько это возможно после услуги, которую

он мне оказал. А письмо? — прибавила она нерешительно.

— Письмо передано в верные руки и теперь уже должно быть доставлено по назначению.

— Благодарю, по поводу этого-то письма я и желаю переговорить с вами серьезно.

— Я весь к вашим услугам, графиня, — ответил молодой человек, — что бы вы ни приказали, я исполню немедленно, клянусь честью.

— Принимаю ваше обещание, — сказала, улыбаясь, графиня.

Наступило непродолжительное молчание.

Полагая, что на него не обращают внимания, Оборотень почтительно поклонился и сделал несколько шагов к двери, так как присутствие его было необходимо в другом месте.

Вдруг графиня быстро подошла к нему и, положив свою беленькую руку на загорелую руку контрабандиста, сказала ему, очаровательно улыбнувшись:

— Пойдите, Жак Остер, мне еще надо сказать вам несколько слов.

Контрабандист остановился.

— Вы человек не такой, чтобы вам можно было предлагать деньги, — продолжала она, — я знаю это, однако непременно хочу отблагодарить вас за оказанную мне услугу.

— К чему это? — возразил он, пожав плечами с видом нахмуренным. — Вы мне ничем не обязаны.

— Я с вами не согласна, и вот средство, которое мне пришло на ум. Я посмотрю, как вы мне откажете, — заключила она ласково.

Оборотень взглянул на нее с изумлением.

— Да, — продолжала она смеясь, — вы должны будете примириться с этим. Вам я ничем не обязана, это решено; но у вас есть сын, единственное существо, быть может, которое дорого вам и связывает вас с жизнью.

— Так что же? — пробормотал контрабандист с беспокойством.

— Вот я вам что скажу, любезный Жак Остер: с этого дня ваш сын будет вместе с моим сыном, я беру его на свое попечение. Он будет воспитываться с моим Генрихом и получит такое же образование, я сделаю из него человека. Когда же он кончит образование, пусть

выбирает карьеру, которая ему придется по душе, и я облегчу ему путь к желаемой цели. Разумеется, я и не подумаю разлучать вас с сыном; вы останетесь при нем и будете видеть его сколько хотите. У меня громадные леса, в которых вы можете жить по вашему вкусу. Принимаете вы мое предложение?

Две слезы тихо катились по загорелым щекам контрабандиста.

— Вы сделаете это для моего мальчугана, сударыня? — произнес он дрожащим голосом. — Вы не обманываете меня?

— Зачем же мне вас обманывать, мой бедный друг? — возразила она с сердечной добротой. — Я даю вам слово, вот моя рука.

Он осторожно пожал эту крошечную ручку, которая совсем исчезла в его жесткой, большой ладони, потом бережно поднес ее к своим губам и голосом глухим и хриплым от глубины чувства сказал:

— Верю вам, вы добры, принимаю за моего мальчугана, и теперь я ваш навек душой и телом, жизнь моя принадлежит вам, располагайте ею.

— Я знаю, что могу положиться на вас, Жак Остер, — кротко продолжала графиня, — когда настанет время, я вас призову.

— Буду готов явиться.

И, поклонившись еще раз графине, которая задумчиво смотрела ему вслед, он направился к потайной двери. В то самое мгновение, когда он проходил возле Мишеля, тот вдруг обернулся и поймал его за ворот.

— Куда ты, беглец? — весело вскричал молодой человек. — Ты нужен здесь, останься с нами.

Графиня де Вальреаль уже продолжала прерванный разговор с Отто фон Валькфельдом.

Хотя они говорили очень тихо, однако ушли в дальний угол комнаты, чтобы свободнее вести беседу.

— Пустите меня, командир, — возразил Оборотень Мишелю, — мне непременно надо уйти.

— Дело возможное, но ты и здесь нам нужен.

— Мне необходимо отлучиться по важному делу, дайте мне четверть часа срока.

— Гм! И ты вернешься в четверть часа?

— Даю вам слово, командир.

— В чем же дело?

— Скоро узнаете, но теперь прошу вас отпустить меня.

— Иди же, когда непременно хочешь этого, но не задерживайся.

— Не более четверти часа.

Мишель выпустил из руки воротник его камзола, и, воспользовавшись свободой, Оборотень юркнул в дверь.

Отсутствие его продлилась не более двадцати минут; когда же он вернулся, с лица его уже изгладился всякий след душевного волнения и черты его приняли обычную неподвижность.

Госпожи Вальтер и Гартман и молодые девушки ушли, уведя с собою господина Гартмана. Когда горе сменилось радостью и все желания его исполнились счастливым соединением с семейством, природа вступила в свои права и сказалось утомление, забытое в первую минуту. Старик чувствовал настоящую потребность в отдыхе, но никак не хотел уходить, чтоб оставаться при сыне и помогать ему советами, так как предвидел, что будет обсуждаться вопрос важный, но Мишель потребовал, чтобы он пошел отдыхать, и дал слово сообщать ему все свои распоряжения.

Когда возвратился Оборотень, в комнате оставались одна графиня де Вальреаль, Отто фон Валькфельд и Мишель.

Капитан подал графине руку и подвел ее к дивану, потом знаком пригласил сесть Отто и Оборотня.

— Любезный Отто, — сказал он, — теперь мы достаточно потратили времени на семейную радость и сердечные излияния; я опять вполне хладнокровен и вместе с тем ко мне вернулись тяжелые заботы, неразлучно связанные с положением, в которое я поставлен по роковому велению судьбы. Ваш неожиданный приход обрадовал меня, однако, признаться, и встревожил порядком. Я знаю вас и потому понял, что только самый важный повод мог побудить вас явиться сюда. С каждым днем наше положение становится все напряженнее; оно было опасно, теперь гибельно. Настало время высказаться откровенно, не так ли?

— Вы не ошиблись в моих намерениях. Мы поклялись друг другу помогать и не бросать один другого, пока будет продолжаться эта война в горах, которую мы все еще ведем, хотя знаем, что на поддержку рассчитывать

нечего и мы предоставлены лишь себе. Настала роковая минута, и я пришел, любезный Мишель, для объяснения, которого вы ожидаете с нетерпением вполне естественным.

— Действительно, друг мой, теперь для колебания нет места, надо на что-нибудь решиться.

— Немедленно, время не терпит.

— К несчастью, с нами нет друга, в отсутствие которого честь воспрещает нам принимать решение, так как он заинтересован в настоящем вопросе более нас. — О ком же вы говорите, любезный Мишель?

— О ком могу я говорить, если не о честном Людвиге, командире альтенгеймских вольных стрелков? Ведь вам известно, что этот отряд составлен исключительно из рабочих фабрики моего отца.

— Знаю, друг мой, отбросьте эту заботу. Перед тем как выступить для соединения с вами, я отправил к нему нарочного с запиской, в которой предупреждал о моем намерении и просил спешить сюда, оставив всякое другое дело.

— Спасибо вам, что подумали об этом. Полагаю, мы хорошо сделаем, если подождем его.

— Не пройдет получаса, как он будет здесь, — заметил Оборотень.

— Почему вы знаете?

— Не велика хитрость знать, когда авангард его уже пришел; сержант Петрус Вебер, который командует им, уверял меня, что отряд находится не более как на милю позади.

— О! Тогда это верно.

— Очень верно. Однако позвольте, господа, у нас остается еще несколько минут, и я предложу вам вопрос: что вы решите насчет известного человека, сейчас арестованного по моему приказанию, когда он собирался дать тягу, но, к счастью, все входы караулились тщательно?

— О ком речь? — спросил Отто.

— О презренном, который продал нас пруссакам, — ответил Мишель с отвращением.

— О! О! Что вы говорите?

— Истину. Беглец, работник с нашей фабрики, обязался выдать нас неприятелю за деньги.

— Вот мерзавец-то, клянусь честью! И вы не ошибаетесь?

— К сожалению, нет, любезный Отто, хотя не знаю, каким способом Оборотень проведаль об измене. Что меня касается, то я не сохраняю ни малейшего сомнения; мне сообщили о ней за несколько минут до вашего прихода и привели неопровержимые доказательства.

— Я узнал в эту ночь от дяди Звона, который слышал все своими ушами. Заговор состоялся в его кабаке, — сказал Оборотень.

— Это возмутительно! — вскричал Отто.

— Еще возмутительнее, чем предполагаете вы. Известно ли вам, кто изменник? Ведь это зять Людвиг, нашего храброго товарища. Его племянница, дочь Людвиг, выдала мне измену, или, лучше сказать, призналась во всем сестре моей и Шарлотте Вальтер, а те передали мне.

— Дело нешуточное, правосудие должно быть совершено, но бедный Людвиг, честный и благородный человек, умрет со стыда и отчаяния.

— Я полагаю, что лучше ничего не скрывать от Людвиг, надо выждать его и тогда уже принять решение согласно с его мнением.

— Если положение вещей такое, как вы говорите, пруссаки знают наше убежище и могут нагрянуть сюда с минуты на минуту. Мое мнение, что надо, напротив, торопиться уйти.

— Успокойтесь, господа, — вмешался контрабандист, — измена, которой вы опасаетесь, еще не совершилась, немцы ничего не знают.

— Смотрите, как бы нам не ошибиться, друг Оборотень, ведь это было бы нашей смертью.

— Очень хорошо понимаю, господин Отто, но уверен в том, что говорю. Фишер ничего не сказал определенно; немцы подозревают наше убежище, однако в точности еще не знают, где оно. Я имею самые положительные сведения, что только сегодня Фишер должен был прийти в кабак дяди Звона получить обещанные за измену деньги и указать место, где мы скрываемся. Фишер не придет, потому что арестован мною, и прусский офицер, который вел с ним дело, по всему вероятно, еще не выезжал из Страсбурга, если не был остановлен на дороге во время битвы в это утро. Пожалуй, он обвиняет Фишера в том, что изменнически заманил их войско в ловушку, где оно разбито было наголову.

— В самом деле, это правдоподобно, однако, когда речь идет о спасении стольких людей, нельзя быть достаточно осторожным.

— Самая действительная мера осторожности, господа, это послать разведчиков по всем направлениям, удостовериться в движениях неприятеля. Разведчиков я уже разослал; когда же они вернутся, будет положительно известно, при чем мы. До той поры, если вы позволите высказать мое скромное мнение, нам нечего другого делать, как ждать их возвращения; вероятно, одновременно с ними будет сюда и Людвиг.

— Оборотень прав, надо ждать.

— Теперь и я не вижу к этому препятствий.

— Я озабочен насчет бедного Людвига, — с грустью сказал Мишель.

— Людвиг человек с душой, мы все любим и уважаем его, — с живостью возразил Отто, — он уж никак не может быть ответствен в гнусности негодяя, с которым он только в свойстве.

— Между ними никогда не было сочувствия; против воли Людвига вошел в его семейство Фишер, дурное поведение которого всегда ставило между ними преграду, — заметил Оборотень, качая головой. — Я помню, Людвиг говаривал не раз, что зять его кончит дурно, если не исправится и не бросит пить. Не думал он, что напророчит так верно. Однако, если позволите, господа, я возьму на себя объявить Людвигу случившееся. Сообщенная мною, эта страшная весть, я уверен, менее потрясет его, как если б передали ее вы, которые воспитанием и положением в свете стоите настолько выше его. Мы с Людвигом простолюдины и с полуслова умеем выпрашивать и понимать друг друга. Что вы скажете о моем предложении, господа?

— Скажу, любезный Жак Остер, — ответил Мишель, протягивая ему руку, — что вы человек с сердцем и вам врождено тонкое понимание чувств. Разумеется, лучше, чтоб вы исполнили это тяжелое поручение, от вас удар будет не так жесток. А возьмись я говорить с Людвигом, при всей осторожности с моей стороны, трудно сказать, какие последствия это повлечет за собою.

— Когда вы уполномочиваете меня, командир, то я, с вашего позволения, оставлю вас, чтоб пойти скорее

навстречу Людвигу, а то, пожалуй, кто-нибудь предупредит меня и как раз брякнет ему всю историю.

— Именно так, друг мой, ступайте, мы будем ждать вас здесь.

Оборотень встал и тотчас вышел из комнаты.

Два начальника отрядов, оставшись наедине, решили между собою некоторые необходимые меры. Они согласились относительно всех почти вопросов, когда послышался громкий шум шагов и вошли человек пять.

Прежде всех появился Оборотень, вероятно показывая дорогу, а вслед за ним шли командир Людвиг, Люсьен Гартман и Петрус Вебер.

Людвиг, бледный и с сдвинутыми бровями, казался глубоко взволнован, но походка его была тверда, он высоко держал голову, и глаза его метали молнии. Эта могучая и прекрасная натура, олицетворение народа, его силы и доброты, напоминала собою и льва и ягненка.

Мишель и Отто поспешно встали приветствовать новоприбывших и дружески пожали Людвигу руку. Потом все сели.

— Господа, — заговорил Людвиг своим густым голосом, — я глубоко вам признателен, особенно же господину Мишелю. Оборотень передал мне, что вы для меня сделали. Казнь совершена, изменник не выдаст никого более.

После этого ясного и категорического заявления, произнесенного твердым голосом, настало несколько минут мрачного молчания, и затем Людвиг продолжал, осмотревшись вокруг с спокойной уверенностью.

— Вы не должны удивляться моим словам. Дело это касалось одного меня, и я благодарю вас еще раз, что вы предоставили мне покончить его. К счастью для чести нашего семейства, этот подлец был со мною только в свойстве, однако в качестве работника на фабрике он уже был наш общий товарищ, я не хочу сказать друг. Изменически продав неприятелю тайну, где укрывались наши семейства, он совершил преступление тем более гнусное, что за горсть золота выдавал палачам своих родственников и друзей. Я упомяну только мимоходом о бесчисленных благодеяниях, которыми он обязан был семейству Гартман; кто изменяет своим близким, тот может продать благодетелей, — с горечью заключил Людвиг. — Итак, судить негодяя следовало альтенгеймским вольным стрел-

кам, потому что им в особенности угрожала его измена. Когда мы достигли Дуба Высокого Барона, я созвал военный совет нашего отряда и Фишер предстал пред ним. Я председательствовал. В качестве родственника подсудимого долг повелевал мне показать пример уважения к закону. Обвиняемый не отрицал своего преступления и выказал низкую трусость; он со слезами и криками отчаяния обнимал наши колени, сознаваясь во всем и моля о пощаде; я остался непреклонен. Правосудие требовало, чтоб он был наказан, и это совершилось. Изменника приговорили к смерти, но так как нельзя было терять времени и выстрел мог быть услышан неприятелем, быть может, скрывавшимся где-нибудь поблизости, осужденного завернули в одеяло, всунули ему кляп в рот, скрутили его веревками и бросили в Гав, привязав тяжелый камень к ногам. Для него все кончено на земле, да умилосердится над ним Господь на том свете! Отдав вам теперь отчет в суде и казни этого негодяя, я до конца исполнил свой долг без малодушия и без ненависти. Пусть человек этот предастся забвению, когда совершилась над ним заслуженная казнь. Нельзя требовать от него более, да и не следует. Теперь надо позаботиться о спасении тех, кого он чуть было не погубил; вследствие его измены, быть может, жизнь многих в настоящую минуту подвергается опасности.

Мишель и Отто оцепенели от изумления. Они были бледны, холодный пот выступил у них на лбу, ими овладел ужас и вместе удивление к человеку, который без колебания и страха приступил к исполнению страшной обязанности.

Долго длилось мертвое молчание.

Мишель понял наконец, что не следует оставлять товарищей да и самому оставаться долее под впечатлением этого мрачного события.

— Господа, — сказал он, — вы слышали нашего друга и товарища, командира Людвига, казнь совершена, и между нами даже имя изменника не должно произноситься более. Теперь нам предстоит долг более важный — отвратить опасность, которую человек этот навлек на наши головы, и провести целыми и невредимыми до верного приюта несчастные семейства, доверившиеся нашей чести. Прежде всего надо собрать точные сведения о нашем положении, узнать достоверно, что

произошло вокруг нас, и тогда только мы можем определить, какой нам остается исход и какими средствами мы располагаем для спасения стольких дорогих нам существ, которых решились защищать до последней капли крови.

— Позвольте сказать два слова, командир, — обратился к нему Петрус.

— Говорите.

— Ведь у нас здесь нечто вроде военного совета, не так ли?

— Это военный совет и есть.

— Мне кажется, что при таких важных обстоятельствах, когда речь идет о мерах для общего спасения и вопрос касается всех, не худо бы выслушать мнение каждого, взвесить все предложения и тем упрочить точное исполнение мер, которые будут приняты. По моему мнению, всем офицерам наших трех отрядов следовало бы присутствовать на совете, дабы они вполне прониклись опасностью нашего положения и, сознавая, что нам грозит в данную минуту, оказали более действенную помощь. Разумеется, я не думаю этими словами набрасывать тень на честность или отвагу наших храбрых товарищей. Что вы скажете на мое предложение, командир?

— Скажу, любезный Петрус, — ответил Мишель, — что и сегодня, и всегда вы между нами представитель здравого смысла и логики, а следовательно, справедливое требование ваше будет исполнено сейчас же. Друг мой, — обратился он к контрабандисту, — потрудитесь пригласить господ офицеров прийти сюда не теряя ни минуты.

Петрус поклонился командиру, и Оборотень вышел.

Вскоре он вернулся в сопровождении всех офицеров отряда альтенгеймских вольных стрелков и партизанского отряда Отто фон Валькфельда. С ним пришел и Паризьен, который принадлежал, как и Оборотень, к небольшому отряду Мишеля.

В то же время явилось новое лицо, которое приветствовали с живейшей радостью.

Это был Ивон Кердрель; его не ожидали так скоро и очень жалели, что он в отсутствии.

Он только что прибыл к Дубу Высокого Барона, исполнив поручение Мишеля.

Итак, совет был в полном составе и состоял человек из двадцати.

Разместились в тесноте, и Мишель открыл заседание.

— Я попрошу нашего друга и товарища Отто фон Валькфельда, — сказал он, — дать нам подробные сведения о событиях в эти последние недели.

Каждый приготовился слушать с напряженным вниманием.

Благодаря бесчисленным сношениям, Отто знал все до малейшей подробности из самых верных источников. Без преувеличения и без пристрастия передал он, что произошло, ясно, отчетливо, в особенности же правдиво, стараясь ничего не смягчать и не скрывать. Он понимал, как необходимо слушателям его, с самого начала войны остававшимся без всяких сведений о ходе дел, знать наконец, что происходит, дабы здраво обсудить свое положение и принять без колебания и малодушия необходимые меры и таким образом избежать грозившей им катастрофы.

Молодой командир говорил долго звучным и симпатичным голосом, вселявшим убеждение в сердца слушателей.

— Господа, — прибавил он в заключение, — из слышанного вами вы должны вывести тот факт, что Франция, застигнутая врасплох, так сказать, с руками и ногами выданная неприятелю, без надежного войска и почти обезоруженная, отчаянно отбивается в роковом кругу, который охватывает ее со всех сторон как стальной обруч. Ее не воодушевляет надежда склонить победу на свою сторону; она только силится сохранить честь своих знамен и внушить, когда падет, даже самому неприятелю уважение и удивление, которое невольно вызывает возвышенное самоотвержение. Не в силах сама охранять себя, она вынуждена предоставлять нас самоотвержению нашего патриотизма. Ей известно, какую борьбу мы ведем, и жаль нас. Она страшится за нас и, кто знает, не надеется ли скоро увидеть в своих рядах спасенными из когтей прусского тигра и готовых, пока длится еще борьба, проливать за нее кровь, которую долг велит нам принести ей в жертву до последней капли. Брошенные на произвол судьбы, мы победить не можем. Родную почву Эльзаса и Лотарингии мы отстаивали дюйм за дюймом; настало время храбрым отступлением в виду подавляющих сил, которыми мы окружены, блистательно доказать врагам, на что способен патриотизм людей, подобных нам. Будем отступать шаг за

шагом, лицом к врагу и держа его страхом на расстоянии. Мы уйдем от него, несмотря на все его усилия, и с торжеством примкнем к славным остаткам французской армии, так долго остававшейся непобедимой.

Речь Отто, произнесенная с воодушевлением, вызвала горячие рукоплескания. Все эти преданные сыны отечества, которые предпочитали смерть, только бы не сдаться неприятелю и постыдно сложить оружие, с восторгом приняли предложение отступить со славой в виду немецких войск, которые не в силах будут противиться этому. В предложении было что-то величественно-патриотическое и потому нравилось этим избранным натурам.

Ни один из присутствующих не сомневался в успехе отступления при подобных условиях. Отступать, когда нет более никаких средств, доступных человеку, сохранять позицию, это не значит признавать себя побежденным, напротив, это значит доказать неприятелю свою силу и сохранить отчизне закаленных воинов.

— Все, сказанное вами, командир, — ответил Людовиг, подавив в могучей груди вздох, — к несчастью, вполне справедливо. Самообольщение уже невозможно. Продолжать борьбу, когда мы окружены неприятелем, просто безумство; мы дали бы убить себя без всякой пользы для Франции и для нас самих. Наша смерть повлекла бы за собою неминуемую гибель всех дорогих нам существ, защищая которых мы сражались столько месяцев. Отступление не бегство. Отступим, когда так надо, но не оставим за собою пруссакам ничего, кроме священной земли, которой защищать более не в силах, хотя вскоре опять завладеем ею, я в том уверен. Так ли вы понимаете наше отступление?

— Разумеется, к чему затевать дело, если не спасти женщин, детей и стариков? Все должны следовать за нами и разделить нашу участь.

— Ну, вот это я называю настоящей французской речью, которая приятна моему сердцу! Теперь мы потолкуем о направлении, какого должны держаться.

— Надо идти на Бельфор! — вскричал с живостью Мишель. — Мы должны приложить все усилия, чтобы достигнуть этого города.

— Тем более, — прибавил Отто, — что Бельфор защищается храбро и отражает все нападения давно обложивших его прусских войск. Геройство этого города

разбивает в прах планы пруссаков. Полковник Данфер, комендант Бельфора, доблестный воин и преданный патриот; он умрет на своем посту, если так надо, но никогда не сдаст города, которого защита вверена ему.

— Признаться, — согласился Людвиг, — и я тоже думал о Бельфоре. Полковника Данфера я знаю, служил под его командой. Это настоящий военный, безжалостный и к себе, и к другим. С ним не шути, изволь идти прямою дорогой, но он справедлив и друг солдата. Одна беда — Бельфор далеко отсюда.

— Правда, — сказал Мишель, — однако все же это Эльзас.

— Так пусть будет по-вашему, командир, идем в Бельфор. Остается только решить мелкие подробности экспедиции.

— Вот настоящее дело! — весело вскричал Отто. — Мы не отступим, но отдалимся от боевой линии и проложим себе путь сквозь немецкие войска, чтоб опереться на укрепленный город. Меня даже в дрожь бросало, так разбирала досада от одного слова «отступление». Экспедиция — выражение самое верное.

— Мое мнение, — вмешался Мишель, — когда все согласны, что нельзя держаться долее в занимаемой нами позиции, то немедленно следует принять меры, чтобы произвести наше движение с полной безопасностью для женщин, детей и стариков, которых мы уведем с собою.

Людвиг встал с живостью.

— Господа и товарищи, — с жаром обратился он к членам совета, — мы поставлены в такие условия, что между нами необходима величайшая откровенность. Спасти нас могут только доверие и согласие действий. Мы не можем скрывать от себя, что успех смелого маневра, который мы попытаемся предпринять, невозможен, если все мы не будем воодушевлены одним и тем же чувством самоотвержения. Вспомните, каким правилом мы руководились с первого же дня наших действий.

— Все за одного и один за всех! — вскричали партизаны в один голос.

— И мы честно исполнили долг, возлагаемый на нас этим девизом, — с чувством продолжал Людвиг, — только один презренный негодяй, тем преступнее, что он

не был в рядах сражающихся и мы защищали его грудью от неприятеля, только один изменник оказался между нами. Он уже наказан, правда, но впредь не должно повторяться не только подобному факту, и неосторожного слова не может быть проронено, так как эта неосторожность была бы нашей смертью. Вследствие того я требую, чтобы исключительно на трех командирах лежала ответственность за все распоряжения в предстоящем нам трудном походе. Пусть они сами выберут себе двух-трех помощников. Решения их останутся тайными и приказания будут исполнены немедленно, не требуя от них объяснений. Подумайте, господа, что только это может спасти нас и наши семейства.

— Да, если не хранить тайны, ничего не сделаешь, — согласился Оборотень.

— Однако, — прибавил Мишель, — мы оставляем за собою право в исключительных случаях советоваться с нашими офицерами, чтобы воспользоваться их добрым советом.

— Господа, — сказал старый капитан, — от имени моих товарищей и моего собственного я одобряю все, что было предложено. Мы играем в страшную игру, где успех может быть доставлен только силою воли, быстрым исполнением и строгою дисциплиной.

— Мы знаем наших предводителей и на что они способны, — сказал другой. — Единственное средство выйти из западни, это предоставить им полную свободу действий.

— Да, да, надо предоставить им полную свободу действий! — вскричали остальные офицеры в один голос.

— Разве мы можем колебаться оказать нашим предводителям полное доверие? — заметил капитан Пинерман. — Мы сражаемся за наших жен и детей.

— Вы возлагаете на нас тяжелую ответственность, господа, — сказал Мишель, — но мы не отклонимся от цели, которою задались. Благодарим вас за доверие к нам, что бы ни случилось, мы сумеем исполнить наш долг. Еще последнее слово перед тем, чтобы разойтись: нельзя терять времени, надо действовать с чрезвычайною быстротой — это главное условие успеха. Пусть в каждой роте, в каждом взводе немедленно приступят к приготовлениям, дабы можно было двинуться в поход при первом сигнале. Вы сейчас получите приказание высту-

пить. А теперь, дорогие товарищи, да поможет вам Бог! Да здравствуют Франция и республика!

— Да здравствуют Франция и республика!

С воодушевлением восторга вырвалось восклицание это из груди каждого, потом офицеры почтительно раскланялись с начальниками и вышли, остались, по данному им знаку, только Оборотень, Паризьен, Конрад и Герцог, бывший трактирщик в Прейе.

Графиня де Вальреаль также встала, чтобы уйти, но Мишель любезно попросил ее сесть опять.

— Вы нам нужны, графиня, — сказал он улыбаясь.

— Теперь за дело, господа! — вскричал Отто, потирая руки. — Не знаю отчего, мне так и сдается, что мы будем иметь успех.

— И я так думаю, командир, — вмешался Оборотень с обычным своим непроницаемым видом.

Тут началось тайное совещание, от которого, по всему вероятно, зависело общее спасение.

Прения длились долго, несколько часов кряду, но когда члены тайного совета наконец встали, их воинственные лица сияли надеждой.

Во время отступления

Прошло несколько дней после событий, переданных в предыдущих главах. Война точно разгорелась с новой яростью, и все предвидели, одни с отчаянием, другие с затаенной радостью, что страшный переворот неминуем.

Словно в гибельную эпоху Восточной империи, борусы и тевтоны нахлынули на Францию как стая саранчи и, распространяясь по всем направлениям, грозили покрыть ее всю полчищами хищников, и жадных и жестоких.

Города и деревни горели, словно мрачные маяки, везде, где проходил неприятель, оставляя за собою кровавый след вперемежку с почернелыми развалинами. Наши войска, сформированные второпях из молодых людей, которых любовь к отчизне заставила покинуть опустошенный домашний очаг, но которые не привыкли к тяжелому ремеслу солдата, отступали, содрогаясь перед волнами завоевателей, приливавших все с большею силой, и ознаменовывали свое отступление достославными победами, бесплодными, однако, для успеха войны. Наша военная честь была спасена благодаря самоотвержению и неодолимой отваге наших новобранцев, но обаяние нашей военной славы исчезло, и окровавленная, истерзанная Франция клонилась все более и более к бездне, которая, по мнению Европы, себялюбивой зрительницы, завидовавшей нашим прежним победам, окончательно должна была поглотить даже национальность нашу, без всякой

надежды или возможности для нас когда-либо подняться после такого ужасного падения.

Все наши старые враги, владетели, часто нами разбитые и униженные, которых первый Бонапарт презрительно заставлял ждать в передних собственных их дворцов, где властелином был он, радуясь случайной местности, на которую никогда не смели бы рассчитывать, присутствовали спокойные, улыбающиеся и насмешливые при ужасных наших поражениях, мысленно деля между собою наши истерзанные провинции, которыми думали скоро обогатиться.

Ужасное «конец Галлии» было на всех тонких губах чудовищных очковых змей, составляющих европейскую дипломатию.

Один народ не отчаивался — он верил в призвание свыше дорогой Франции, он знал, что великие гуманитарные завоевания, прогресс и свобода покупаются только кровавыми жертвоприношениями и что сила ничего не основывает. Подавленные числом, наши солдаты храбро подставляли грудь врагу и падали с улыбкой на губах при восторженных криках «Да здравствует республика!».

Полагали Францию совсем убитою, она же, напротив, возрождалась и менее чем через два года поднялась с колен, чтобы занять, к всеобщему удивлению ошеломленных врагов, свое место между европейскими нациями.

Но тогда мы этого еще не достигли, будущность была подернута кровавою завесой, полной бурь, борьба, клонившаяся к концу, продолжалась с неслыханным ожесточением, то и дело раздавался грозный гул пушек и люди валились, словно зрелые колосья, которые падают под серпом жнеца.

Ночь была темная; восемь часов било на дальней колокольне; ветер яростно бушевал в лесу и сталкивал обнаженные ветви; серые облака стремительно неслись по небу. Многочисленный отряд вольных стрелков разбил лагерь на одной из вершин Менхберга в Эльзасе.

Менхберг не самая высокая гора в Эльзасе, однако, быть может, одна из любопытнейших и живописнейших, вся покрытая густым сосновым и черешневым лесом и орошаемая множеством ручейков, стремящихся великолепными водопадами с крутых скатов. До войны она

была усеяна деревушками и возделанными полями, которые утопали в чащах темной зелени. С вершины ее открывается чудный вид на богатую и плодоносную долину Святого Григория, посреди которой, почти у подошвы Менхберга, стоит кокетливый городок Мюнстер, построенный на берегу Фешта; потом далее вид простирается с одной стороны до Кольмара, отдаленного от нее всего на двадцать километров, а с другой на множество городов и деревень, прихотливо разбросанных чуть не до высокой, затерявшейся в облаках вершины Эльзасского Балона.

Но со времени прусского вторжения вид горы совершенно изменился, деревушки и поселки брошены были жителями, которые бежали, захватив с собой домашнюю утварь и уводя скот, как только подходил неприятель. Мрачное безмолвие водворилось вместо оживления, которым некогда дышала эта очаровательная местность.

Опустошенные дома, обвалившиеся крыши, разрушенные стены и сломанные изгороди; смерть заменила жизнь, мертвое молчание — веселые песни трудолюбивых жителей, дни которых протекали так мирно и покойно, пока не нагрянула война со всеми ее ужасами и не вынудила их бежать, чтоб найти какой-нибудь приют вдали от своих пепелищ, оскверненных иноземцами.

Декабрь был на исходе: около полутора суток шел сильный снег, однако часам к семи вечера в тот день, когда мы снова приступаем к нашему рассказу, погода прояснела и стало морозить.

Вольные стрелки, о которых мы упоминали, достигли места привала часам к четырем, в самую сильную вьюгу.

Они удачно выбрали, где расположиться. Это была деревня, брошенная с самого начала войны. Несколько уцелевших домов представляли им достаточное ограждение от стужи, становившейся все сильнее на этих высотах, и снег, заваливший тропинки и дороги, служил ручательством, что их не захватят врасплох. Никто, кроме горца, не мог бы ступить шагу по этим снежным сугробам, а вьюга, продолжавшаяся еще несколько часов после прибытия вольных стрелков в деревню, замела их следы и не оставила никаких признаков их прохода по горным тропинкам.

С ними было несколько из тех странных эльзасских телег, что безопасно могут проезжать по всем дорогам, даже самым трудным. В этих телегах, с верхом из смоленого холста, помещались женщины и дети, которые немедленно приютились в домах, тогда как лошадей с телегами кой-как разместили под навесами на дворах и в полуразрушенных сараях. Расставили часовых, так чтобы они не страдали от холода и видны не были, и все вольные стрелки ушли в дома, окна и двери которых старательно заткнули толстыми шерстяными одеялами и досками, оказавшимися понемногу везде. Приняв эти первые меры осторожности, развели огонь в очагах и принялись готовить ужин.

Своеобразный бивак этот был так расположен, что шагах в ста никто не подозревал бы тут присутствия трехсот человек, мужчин, женщин и детей.

Часам к девяти вечера небо совсем очистилось от туч и замерцало мириадами бриллиантовых звезд на темно-голубом фоне. Луна, в конце первой четверти, плыла в эфире, проливая на белую от снега землю холодные белесоватые лучи, придававшие картине местности отпечаток оригинальный, почти фантастический.

В обширной зале первого этажа довольно красивого дома, бывшего некогда местопребыванием мэра, несколько мужчин и дам сидели вокруг громадного камина, у огня таких размеров, что быка бы изжарить можно. Все они казались сильно озабочены. Одни с видом печальным курили громадные глиняные трубки на длинном чубуке, другие, машинально устремив взор на пламя, глубоко задумались, некоторые еще как будто спали, в глубине залы на тщательно разложенных снопах соломы две-три женщины лежали закутанные в одеяла и погружены были в сон.

Карл Брюнер, Герцог, Шакал и Влюбчивый накрывали стол под наблюдением Паризьена.

Из козел и досок пять вольных стрелков ухитрились устроить обеденный стол посредине комнаты, поставили вокруг полуразбитые скамейки, отрытые в гряде развалин, и утвердили их по мере возможности, потом явились каждый с огромною корзиной посуды в руках и расставили приборы так же тщательно, как для обеда офицеров в мирное время в городе, где стоят гарнизоном.

Паризьен зорко следил за всем и наблюдал, чтобы блюда и тарелки оказывались в безупречной симметрии. Освещение было настоящим чудом изобретательности. Влюбчивый и Шакал устроили из дощечек люстру, утврдили на ней свечи и повесили ее над столом ровно посредине.

Нельзя представить себе зрелища более живописного, как вид этого роскошного стола при развалинах и нищете вокруг.

Когда зажжены были свечи в люстре и Паризьен удостоверился внимательным осмотром, что все в надлежащем порядке, он сделал знак товарищам и те вышли в боковую дверь.

Но через несколько минут они вернулись, неся кушанья, которые с подобающим этикетом поставили на стол.

Тут Паризьен подошел к Мишелю, сидевшему у одного из углов камина, вытянулся перед ним и доложил:

— Кушанье подано, ваше высокоблагородие.

Молодой человек встал и, обратившись к остальным лицам, которые подобно ему сидели у камина, пригласил их к столу.

При звуке его голоса все как будто проснулись, погасили трубки, поднялись со своих мест и направились к накрытому столу.

Обед начался печально и безмолвно; кроме одних, быть может, простых стрелков, все ели с видом грустным и озабоченным.

Когда же первый голод был утолен и стали уже выбирать куски повкуснее, а несколько рюмок хорошего вина оказали свое действие, господин Гартман сказал сыну:

— Отчего ты так озабочен со времени нашего прибытия сюда, друг мой? Уж не опасешься ли ты чего?

Молодой человек провел рукою по лбу, как бы силясь прогнать докучливую мысль, налил себе немного вина, медленно выпил и ответил, опустив на стол пустой стакан:

— Мы здесь в безопасности, батюшка, наша позиция недоступна, особенно при таком снеге и морозе; за нас я не боюсь нисколько.

— Так ты встревожен насчет других?

— Быть может, батюшка, — ответил молодой человек почти машинально и тотчас вслед за тем вскричал с движением нетерпения: — Да что же это Оборотень все не возвращается? Уж не случилось ли с ним несчастья, сохрани Боже!

Все мгновенно подняли голову и устремили на него вопросительный взгляд.

Тогда только молодой человек заметил, что неосторожно выдал свою тайную мысль; он прикусил губу, опустил голову и впал в прежнее безмолвие.

— В чем дело? — спросил шепотом старик Гартман у Отто фон Валькфельда. — Что происходит?

— Ничего, надеюсь, — ответил тот также шепотом, — дай-то Бог, чтобы мы скорее получили известие!

— Но о ком же?

— О наших товарищах, оставленных позади в снегах и, быть может, попавших в руки немцев, которые со вчерашнего дня гонятся за нашим арьергардом и перестреливаются с ним.

— О! Дай Господи, чтобы подобного не случилось! — вскричал Гартман с прискорбием.

— Я надеюсь, что они спаслись. Людвиг так же хитер, как храбр, и, верно, успел уйти, всего более нас тревожит судьба женщин и детей, которые были с ними.

Все перестали есть, невыразимая тоска сжала им сердце. Теперь ясно было, почему встревожен Мишель, ему сочувствовали.

Людвиг командовал арьергардом. Итак, на его обязанности лежало прикрывать отступление и собирать отставших, которые от холода и голода не в силах были следовать за товарищами. Кроме того, с ним было пять-шесть телег с женщинами и детьми, охранять которых выпало на его долю. По всему вероятно, когда пруссаки подступили к нему слишком близко, он увидел себя вынужденным бросить телеги на дорогах, не проезжих от снежных сугробов. Именно этого-то и опасался Мишель, зная по опыту — раз уже был подобный случай, — что несчастные люди, если попались неприятелю в руки, уже наверное умерщвлены; пруссаки поклялись не давать пощады ни вольным стрелкам, ни их ближним.

Такова была война дикарей, которую вели немцы в том самом краю, на который заявляли право собственности.

Наконец Мишель, не в состоянии выдерживать долее душевной пытки, встал из-за стола и отрывисто сказал Паризьену:

— Поддай мне и плащ и оружие.

— Куда вы? — спросил Отто.

— Разве вы не угадываете? — с горечью возразил он.

— Хорошо, так я пойду с вами.

— Это невозможно. А кто будет наблюдать за безопасностью остающихся здесь, если вы уйдете со мною, Отто?

— Правда, но вы не один уходите, я полагаю?

— Нет, я беру с собою свой отряд. Паризьен, вероятно, уже предупредил людей.

— Так идите, друг мой, — грустно сказал Отто, — и да хранит вас Господь!

Люсьен и Петрус встали в одно время с Мишелем и подошли к нему.

— Что тебе, Люсьен? — кротко и ласково спросил старший брат, как всегда говорил с младшим.

— Я хочу идти с тобой, брат, — ответил Люсьен. — Петрус и я, мы принадлежим к отряду альтенгеймских вольных стрелков, в минуту опасности наше место посреди них.

Мишель было сделал рукой движение.

— Ты не должен отказывать нам в этом! — с живостью вскричал молодой человек. — Если случатся раненые, кто окажет им пособие, когда нас там не будет?

— К тому же, — прибавил Петрус своим мрачным и глухим голосом, — поручение к вам теперь исполнено, командир, и вы не можете мешать нам возвратиться к нашему посту.

— Вы правы. Пойдемте же, я не хочу и не могу препятствовать вам исполнять свой долг.

Вошел Паризьен.

— Товарищи готовы? — спросил его Мишель, между тем как вооружался и накидывал на плечи шинель.

— Они стоят на улице, командир.

— Так не надо заставлять их ждать. Каждая лишняя минута, которая проходит, может быть, ознаменована непоправимым несчастьем.

Он обратился к остальным лицам, которые стояли вокруг стола, пораженные унынием.

— Не опасайтесь за меня, мы скоро опять увидимся.

И он вышел в сопровождении Отто, который хотел проводить до площади Люсьена, Петруса и Паризьена.

Стрелки ждали его, выстроившись в одну шеренгу, с ружьями на плече.

— Отто, я доверяю вам все, что мне дорого на земле, — тихо сказал Мишель, пожимая руку друга.

— Будьте покойны, я бдительно стану стеречь, — успокоил тот, отвечая на пожатие руки, — до свидания!

— Кто знает, вернусь ли я? — пробормотал Мишель так тихо, что приятель не расслышал его слов, и, утвердив голос, он скомандовал: — Марш!

Небольшой отряд, во главе которого стал Мишель, удалился беглым шагом и вскоре скрылся во мраке.

Мишель Гартман питал горячую дружбу к Людвигу, бывшему подмастерью на фабрике его отца, этому оставшему унтер-офицеру зуавов, на коленях которого он прыгал ребенком и благородство которого ценил, как и качества, великие в своей простоте, вообще отличающие во Франции настоящего работника, честного и деятельного труженика. Когда арьергард схватился не на шутку с немецкими войсками и в то же время снег повалил еще сильнее, грозя разделить партизан на две части, которым трудно будет соединиться опять среди мрака и по запутанным горным тропинкам, Мишель, ни под каким видом не соглашаясь бросить своего старого друга без помощи, взял лучших шестьдесят человек из отряда Отто фон Валькфельда, отдал их под команду Оборотня, которого тонкий ум и отвага, в особенности же искусство ориентироваться среди непроницаемой мглы ему были известны, и послал эти шестьдесят человек храбрецов к Людвигу с предписанием во что бы ни стало выручить отряд альтенгеймских стрелков и привести их в деревню, где он рассчитывал остановиться на ночь.

Это произошло в половине четвертого, когда начинало смеркаться и вьюга свирепствовала.

Оборотень ушел на помощь товарищам с вверенными ему людьми, и Мишель видел, как они, подобно лавине, скатились с крутого склона горы; вслед за тем они скрылись из глаз и с той минуты о них не было ни слуху, ни духу.

Что произошло? Примкнул ли Оборотень к отряду Людвигу? Или он также сбился с пути в снежном хаосе?

се? Может быть, он погиб с людьми, которых вел, тщетно пытаясь соединиться с теми, к кому спешил на выручку?

На все эти вопросы, которые Мишель сам задавал себе, он не находил ответа, и неизвестность повергала его в крайнее беспокойство.

Оно еще усилилось, когда, достигнув часов в шесть лагеря, где должен был остановиться на ночь, он увидел Люсьена и сержанта Петруса.

Молодые люди были посланы к нему Людвигом требовать подкрепления. Отправившись в ту минуту, когда схватка была самая жаркая, Людвиг чувствовал, что его вольные стрелки колеблются, Люсьен и Петрус совершили чудеса искусства и отваги, взбираясь на гору, чтоб догнать Мишеля, которому они немедленно донесли о положении, в котором находился арьергард. Они не встретили ни Оборотня, ни его отряда и даже на дороге не видали следов их прохода.

Это известие было тем ужаснее, что оказывалось невозможно отправить тотчас новое подкрепление, следовало ждать, пока снег настолько отвердеет, чтобы можно было идти по нему без опасения увязнуть по горло, не то, пожалуй, скатиться с обрыва или провалиться в бездну. Мишель пришел в отчаяние. Очевидно, случилось несчастье, но спрашивалось, в какой мере оно было велико и как помочь ему? Относительно этого он мог ostаваться в неведении еще много долгих часов.

Мы видели, как Мишель, не в состоянии долее сдерживать своего беспокойства и противиться чувствам, волновавшим его, решил, во что бы то ни стало положить конец неизвестности и пойти самому на поиски товарищей.

То, что предпринимал Мишель, было исполнено трудностей. Несмотря на светлую ночь, оказывалось крайне затруднительно направляться по обширной снежной равнине, под которою исчезли все дороги и тропинки, не оставив ни малейшей возможности ориентироваться.

По счастью, его отряд состоял из тщательно выбранных Оборотнем горцев, контрабандистов и браконьеров, людей, привыкших постоянно жить в лесах и во всякую погоду ходить по самым диким местностям, а потому и приобретающих такую чуткость чувств, что свойство это

походит на чутье и верный инстинкт породистой ищейки и делает их способными без всяких дорог безошибочно напрямик направляться к цели, назначенной заранее через громадные пространства.

Сознавая, что не может вести свой маленький отряд с уверенностью, Мишель приказал остановиться и держал нечто вроде военного совета под открытым небом, чтоб придумать средство заменить сведения, которых ему недоставало.

Влюбчивый и Шакал тотчас же вызвались служить товарищам проводниками, утверждая, что ничего нет легче, как отыскать отряд альтенгеймских вольных стрелков, где бы он ни находился.

— Однако, если это так просто, как вы уверяете, — возразил Мишель, — отчего же Оборотень еще не возвратился? Ведь он также знает, как направляться.

— Разумеется, командир, и лучше кого-либо из нас, — ответил Влюбчивый, — его, очевидно, удерживает что-то неизвестное нам, иначе он вернулся бы давным-давно.

— Итак, вы считаете себя в состоянии свести нас, куда мы хотим пройти?

— Вполне, командир, что вам кажется трудно, пустое для людей, привыкших всю жизнь проводить под открытым небом.

— В таком случае я полагаюсь на вас, вы люди честные и желаете не менее меня отыскать наших несчастных товарищей.

— Вы можете довериться нам, командир.

При этом уверении Мишель кивнул головой, представляя им распоряжаться по своему усмотрению.

Сначала Влюбчивый и Шакал всмотрелись в расположение звезд, потом в стволы деревьев вокруг и наконец в цвет льда. Кончив эти наблюдения и тихо обменявшись несколькими словами, они стали во главе отряда и пошли быстрым шагом, взяв немного правее.

— Прежде всего, — сказал Мишель, шедший рядом с Влюбчивым, — надо бы отыскать ручей, вдоль которого мы шли довольно долго и через который перебирались несколько раз, но теперь его, должно быть, не видно под снегом.

— Это вероятно, командир, — ответил Влюбчивый, — но все равно. Как скоро мы отыщем прогали-

ну, где привал делали, если вы припомните, чтобы обождать самую сильную вьюгу, мы непременно нападём и на ручей, ведь он в пятидесяти шагах от нее, не более.

— Правда, — согласился Мишель, качая головой, — но спрашивается, найдем ли мы прогалину-то?

— Велика хитрость! Мы скоро там будем. Вот, слышите крик совы? Это Шакал дает знать, что есть что-то новое.

Они ускорили шаги и вскоре догнали Шакала.

Тот стоял у дерева, притаившись за громадным его стволом.

— Что тут такое? — спросил Мишель.

— То, что мы достигли прогалины! — весело вскричал Влюбчивый. — Поглядите-ка между деревьев в ту сторону.

— И в самом деле, — сказал Мишель, — но зачем же было останавливаться Шакалу?

— Тсс! — остановил тот. — Говорите тише, я слышу звуки, которых не могу понять; лучше скрываться здесь, чем идти вперед, не зная, с кем имеешь дело.

— Гм! — отозвался Мишель после того, как внимательно прислушивался несколько мгновений. — Я ничего не слышу.

— Вы не привыкли к лесу, командир, — возразил с улыбкой Шакал.

— Звуки едва уловимы и несутся издалека, — прибавил Влюбчивый. — Заметьте, командир, что воздух не шелохнется и замечательно чист; вы лучше нас знаете, что снег тело упругое, наделенное свойством далеко переносить звуки, которые точно отскакивают от него и прыжками несутся на большое пространство. Тот шум, который мы слышим, вскоре различите и вы, потому что он приближается довольно быстро, хотя нельзя еще при таком отдалении определить причину его. Одно можно сказать с уверенностью, это — что создают его люди, как, например, если б шел многочисленный отряд. Что вы решите, командир?

— Когда вы так уверены в своих словах, — шутливо возразил Мишель, — то мне остается только исполнять предписанное вами и мы на первый случай притаимся здесь, а Шакал между тем пойдет на разведку.

— Слушаю, командир. Если я три раза крикну по-совиному с равными промежутками, смело идите вперед; если один раз, то не худо пуститься наутек.

— Это решено, Шакал, с Богом!

Старый солдат не заставил повторять приказания, как змея юркнул сквозь ветви и несколько минут еще силуэт его обрисовывался на снегу, после чего исчез окончательно.

А тем временем быстро усиливался шум. Теперь стало очевидно, что многочисленный отряд идет к самому тому пункту, где стоят они.

Предписав величайшую бдительность, Мишель в тревожном состоянии духа ожидал исхода рекогносцировки Шакала.

Вдруг шум замолк и водворилась тишина.

Она продолжалась несколько минут, когда раздался совиный крик, повторенный несколько раз.

— Это друзья! — вскричал Влюбчивый.

— Наши друзья, хотите вы сказать, — возразил Мишель и тотчас вышел навстречу к идущим, которые снова уже двинулись в путь.

Почти одновременно показались Оборотень и Кердрель, они шли быстрым шагом впереди многочисленного отряда, который длинной темной чертой, как громадная змея, извивался между деревьями.

По знаку Мишеля остановились на прогалине. Альтенгеймские вольные стрелки вовсе, по-видимому, не пострадали: с ними не только были все телеги, которые им поручили прикрывать, но еще вдвое больше, а сверх того они завладели четырьмя маленькими горными орудиями, вместе с ящиками их и упряжью.

После первых приветствий Мишель стал расспрашивать Людвига, горя нетерпением узнать, что случилось. Но со свойственными этому честному человеку откровенностью и благородством, которые составляли отличительные черты его характера и заставляли всех любить его, он весело обратился к Ивону Кердрелю и Оборотню, говоря:

— Вам, господа, следует рапортовать командиру, без вас мы погибли бы все, и мой отряд, и бедняги, которым мы служим конвоем.

— Что вы говорите, любезный Людвиг? — спросил Мишель с горячим участием.

— Говорю то, командир, — продолжал он, — что все мы обязаны свободой и жизнью вашими двум друзьям. Долг этот мы постараемся уплатить рано или поздно.

— Но что же, наконец, произошло?

— О! Дело самое простое, — вмешался Оборотень улыбаясь, — командир Людвиг преувеличивает то не-многое, что мы исполнили и сам остается в тени, чтобы предоставить нам всю славу сражения, в сущности принадлежащую одному ему.

— Ну уж это чересчур! — вскричал Людвиг. — Вы мне нравитесь, Оборотень, с вашим простым тоном. Лучше я сам расскажу вам все, командир, — обратился он к Мишелю.

— И я того мнения, любезный Людвиг, — ответил молодой человек с улыбкой.

— Сегодня на рассвете, мы только что выступили, когда на нас внезапно напали пруссаки. Мы не думали, что они близко, да и ринулись они на нас с таким ожесточением, что, признаться, в первую минуту я совсем потерял голову. Женщины плакали, дети кричали, сумятица была страшная, и я не знал, что делать. Предоставив мне выпутываться как могу, господин Кердрель стал во главе шестидесяти смельчаков, сказав мне, чтобы я держался в позиции во что бы ни стало, сделал обход влево, бросился в лес и, обогнув неприятеля, устремился на него с неслыханной яростью. Со своей стороны и я водворил некоторый порядок, стал за срубленные деревья, которыми окружен был стан, и смело встретил врага. Четыре раза немцы кидались на нас с ревом демонов и все-таки выбить с позиции не могли. Понятно, мы сражались за жен наших и детей, было отчего воодушевиться отвагой. В эту минуту я отправил к вам господина Люсьена и сержанта Петруса.

— Меня предупредили о приближении немцев, и я послал к вам Оборотня с сильным отрядом.

— Я вскоре убедился в этом, командир, но в ту минуту ничего еще не знал.

— Правда, продолжайте.

— Сакраблѐ! Командир, дело было жаркое. Разбойники-пруссаки бились словно черти. Едва оттесненные, они опять лезли на приступ с прежним пылом и точно будто росли числом вокруг нас. Несколько раз схватыва-

лись мы врукопашную, но позиция наша, по счастью, была сильная, да и мы поклялись лечь тут костями. Особенно жарко приходилось нам от горных орудий, которыми то и дело палили в нас. Просто хоть удирать впору.

— Гм! Это понятно.

— Впрочем, не столько снаряды наносили нам вред — мы были ограждены поваленными деревьями, за которыми укрывались, и выстрелы, почти не касаясь нас, производили более суматохи, чем опустошения, разрываясь во все стороны и ломая ветви, — крики этих чертей и страшные их лица до того испугали женщин и детей, что они как безумные ежеминутно кидались к нам, путались в ногах и мешали сражаться. И то надо сказать, что рыдания и страх этих дорогих нам существ, за жизнь которых мы дрожали, все вместе вязало нам руки и лишало бодрости. Наконец, дело дошло до того, что я предвидел скорый конец борьбе. Отчаиваясь в возможности продолжать бой, я уже готов был дать какое-то приказание труса, когда мне показалось, что неприятель колеблется и в рядах его произошло смятение. Я стал вслушиваться с напряженным вниманием, и мне показалось, будто раздаются дружные выстрелы знакомых мне шаспо. На пруссаков нападали и с тыла, и с флангов. Я знал, что господин Кердрель с яростью атакует их с левого фланга, но меня совсем сбивало с толку, что теперь уже несколько минут шаспо пели свою песенку на правом фланге.

— Это, верно, подоспел Оборотень с подкреплением.

— Именно так, господин Мишель, но я-то ничего не подозревал, и это двойное нападение сильно озадачило меня. Головы я, однако, не терял. «Надо посмотреть, что это», — подумал я про себя и, взмахнув саблей, крикнул: «Вперед, ребята, *острые каски* замялись, они отступают, пора в штыки!»

Вмиг мы перескочили баррикаду при криках «Да здравствует республика!» и ринулись на пруссаков. Произошла страшная свалка. Она длилась минут пять, но первый толчок уже был дан, неприятель вскоре отступил, смешался и обратился в бегство, оставив нам весь багаж и даже полевые орудия. Оборотень и господин Кердрель погнались за пруссаками и преследовали их мили две, однако они все бежали врассыпную, не

думая смыкать рядов. Как видите, господин Мишель, во всем этом деле я не принимал никакого участия, и успех боя должен быть приписан исключительно господину Кердрелю и Оборотню. Этого отвергать нельзя, дело налицо.

Мишель улыбнулся, значительно переглянувшись с Ивоном и контрабандистом, и дружески пожал руку достойного человека, говоря:

— Очевидно, мой честный Людвиг, продолжительная погоня, вероятно, задержала вас так долго?

— Отчасти погоня, отчасти необходимость восстановить некоторый порядок в отряде. И фургоны надо было подвезти, кроме того что мертвых следовало похоронить, да раненых перевязать по мере возможности.

— Много вы потеряли народа?

— Слишком много, командир, одиннадцать человек убиты и двадцать три ранены; по счастью, раны по большей части неопасные.

— Это действительно потеря довольно значительная. А много ли у неприятеля выбыло из строя?

— Приблизительно в шесть раз более, чем у нас. Вам известно, что мы не берем более в плен после того, как пруссаки повадились расстреливать без суда тех из наших, кого им удастся захватить. Вообще день вышел для нас удачный. Пруссакам дан урок, который научит их, полагаю, впредь быть осторожнее, а нам, следовательно, даст возможность поставить себя вне всякой опасности от их нападения.

— И я так думаю, друг мой, но надо держать ухо востро и быть настороже.

— О! Не беспокойтесь, дремать не буду. Я знаю по опыту, что негодяям доверять нельзя.

— Если ваши люди не очень устали, нам лучше бы двинуться в путь: сильная стужа, и вы, вероятно, нуждаетесь в пище.

— Мы ничего не ели с утра и готовы идти, когда вам угодно.

— Так двинемся, еще длинный путь впереди до площадки, где бивак.

Вольные стрелки стали в ряды и тронулись с места тем бодрее, что мороз усилился к ночи и они торопились достигнуть бивака, где бы погреться и сготовить себе похлебку.

Мишель отправил вперед колонну Оборотня с двадцатью наиболее бодрыми вольными стрелками известить Отто фон Валькфельда и остальных офицеров об успехе его предприятия.

Колонна подвигалась тихо, ход ее замедлялся длинным обозом, который тянулся за нею по узким тропинкам, извилинами избежавшими на крутые склоны горы. К тому же волонтеры дрались все утро, они едва давали себе время перевести дух в глубоком снегу и, буквально падая от усталости, с величайшими усилиями передвигали ноги, опираясь на ружья, чтобы не скатиться на дно какой-нибудь пропасти.

Площадки они достигли не прежде одиннадцати часов вечера. Тут их ожидало самое радушное гостеприимство со стороны товарищей, которым более посчастливилось. Заготовлены были громадные чашки с теплым вином, чтоб подкрепить их и согреть окоченелые от стужи члены, во всех домах развели яркий огонь в очагах, солома разостлана была по всему полу; словом — менее чем через час по прибытии их в лагерь альтенгеймские вольные стрелки совсем забыли вынесенные страдания и весело ужинали.

Три главных начальника провели между собой продолжительное совещание, на котором решено было уменьшить, насколько будет возможно, число фургонов, полевые орудия, отнятые у немцев, заклепать и сбросить на дно пропасти, и наконец, простоять в деревне дня два, не столько чтоб отдохнуть и собраться с силами, сколько потому, что горные тропинки стали непроходимы.

Последнее решение не представляло никакой опасности для отряда. Доступ к нему был загражден со всех сторон, неожиданное нападение невозможно. И пруссаки потерпели такое поражение, что они, вероятно, не в состоянии будут погнаться за ними ранее как через несколько дней.

Приняв все эти меры и разослав патрули по всем направлениям для обзора окрестностей, офицеры деятельно принялись осматривать обоз, дабы уменьшить его, согласно принятому решению.

Осмотр начался тотчас после завтрака, то есть около десяти часов утра, и все, что нашли лишним или бесполезным, безжалостно было осуждено на разрушение и на месте же уничтожено.

От фуры к фуре комиссия дошла до тележки довольно красивого вида — два сильных лошака привязаны были к оглобле на длинном ремне и ели корм, насыпанный на разостланную перед ними попопу.

— Чья эта тележка? — спросил Мишель у Людвига. — Она не принадлежит к нашему обозу.

— Правда, я забыл упомянуть про это вчера, с этим связана целая история.

— История?

— Представьте себе, тележка эта принадлежит еврею из Кольмара. Бедняга, вероятно, не выдержав притеснений, которым то и дело подвергали его пруссаки, решился бежать во что бы ни стало и в один прекрасный день исполнил свое намерение. Но он ошибся в расчете, *остроголовники* открыли его и захватили. После нашего сражения вчера утром, возвращаясь с погони, господин Кердрель привез с собою этого беднягу, который лежал полумертвый в своей тележке.

Мишель обратился к Ивону.

— Да, — ответил молодой офицер на безмолвный вопрос, — я нашел этого человека в обмороке под опрокинутой тележкой. Должно быть, пруссаки сильно избили его и, не подоспей я вовремя, доконали бы. Он в таких трогательных выражениях стал умолять меня о помощи, что я не мог, ей-Богу, устоять, он же приходится мне и земляком в некотором роде. Итак, я велел положить его в тележку и привез с собою в лагерь.

— Гм! Какого это рода человек? — спросил Мишель, нахмутив брови.

— Да еврей в полном смысле слова, — ответил Ивон улыбаясь.

— Где он?

Приподняли верх тележки, в ней не оказалось никого.

— Он где-нибудь поблизости, — заметил Людвиг, — желаете вы видеть его, командир?

— Да, сам не знаю почему, но еврей этот не внушает мне доверия, хотя я лично не знаю его.

— Вид у него честный.

— Не спорю, но все-таки желаю допросить.

— Это легко, я сейчас прикажу отыскать его и привести к вам.

— Пожалуйста, любезный Людвиг, вы знаете, какую осторожность мы должны соблюдать.

— Да, да, командир, это справедливо. Куда привести жида?

— Сюда, к его тележке, где мы и выждем его. Только смотрите, не грозить ему и не прибегать к насилию.

— Будьте спокойны, командир. Слышите, — обратился он к вольным стрелкам, — пусть двое из вас отправятся отыскивать еврея, надо привести его сюда.

Два человека тотчас отделились от группы и быстро удалились исполнять приказание командира.

Здесь Мишель остается один при своем мнении

Недолго прождал Мишель; минут через десять самое большее волонтеры вернулись с человеком, которого им поручено было отыскать, они разговаривали с ним очень дружелюбно.

Молодой командир всмотрелся с пристальным вниманием в человека, который подходил к нему с самым спокойным видом.

Этот загадочный для него субъект был высокого роста, сухоощав и несколько сутуловат, вероятно от привычки сидеть за конторкой; его тонкие, правильные черты, высокий лоб, черные живые глаза, волосы с примесью серебристых нитей, падавшие почти до плеч, римский нос, немного большой, но с великолепными зубами рот — все придавало ему наружность положительно красивую, если б на толстых и красных губах не было постоянной двусмысленной улыбки, которая одинаково могла быть приписана и насмешке, и веселости, и если б глаза его, с бегающим и пытливым взором, не скрывались почти постоянно очками с круглыми стеклами в черепаховой оправе.

Впрочем, он был тщательно выбрит, бакенбарды в виде треугольников обрамляли его лицо, и одежду свою из тонкого сукна и хорошего покроя он носил с изящною свободой, свидетельствовавшей, что он должен принадлежать финансовой аристократии Эльзаса; разноцветная розетка красовалась в его петлице.

Словом, кто бы ни был этот человек, он не мог быть, так сказать, встречным и поперечным.

Таков был результат наскоро сделанных наблюдений Мишеля. В них не оказывалось ничего невыгодного для предмета их, однако общее впечатление на Мишеля было неблагоприятно. Он безотчетно, по какому-то внутреннему внушению, почувствовал к этому человеку непреодолимую антипатию, холод в сердце, нечто необъяснимое, как ощущение при виде змеи.

Когда неизвестный подошел шага на два или на три к офицерам, он остановился, раскланялся с изысканной вежливостью и сказал тихим, заискивающим голосом:

— Если не ошибаюсь, господа, вы начальники храбрых вольных стрелков, которым я обязан жизнью.

— Да, — ответил Людвиг, — вот наш главный начальник, — прибавил он, указывая на Мишеля.

Незнакомец поклонился Мишелю.

— Я рад, что меня привели к вам, — сказал он, — надежда увидеть вас в вашей главной квартире заставила меня отойти от моей тележки; я жаждал выразить вам благодарность, которой исполнено мое сердце, за громадную услугу, великодушно мне оказанную.

— Разве жизнь вам так дорога? — спросил Мишель с легким оттенком иронии.

— О! Милостивый государь, — возразил неизвестный со своей двусмысленной улыбкой, — жизнь я, пожалуй, не столько ценю; мне надо было отстаивать и сохранить нечто драгоценнее жизни.

— Драгоценнее жизни? Что же это? Не честь ли, быть может? — спросил Мишель.

— Нет, состояние, — возразил незнакомец, поклонился с довольным видом и тщательно протер стекла своих очков.

— Правда, — сухо сказал Мишель, чуть заметно пожав плечами, — состояние имеет большую цену в глазах некоторых людей.

— Состояние все, милостивый государь, потому что доставляет все, что можешь желать, почести, уважение, наслаждения всякого рода...

— Положим, — коротко перебил Мишель, — я готов допустить это, но, если позволите, мы бросим такие... общие рассуждения, чтоб заняться вопросом поважнее.

— Нет ничего важнее денег, — отчетливо произнес незнакомец.

— Этот молодец, — шепнул Отто на ухо Мишелю, — жаднее, видно, всего Ефраимова племени, взятого вместе, даю голову на отсечение, что он величайший ростовщик всего израильского народа.

— Быть может, — ответил Мишель тем же тоном и прибавил, обращаясь к незнакомцу с некоторой резкостью: — К делу, милостивый государь, не будем терять драгоценного времени на пустые слова, мы здесь не для того, чтобы отличаться остроумием.

— Позвольте вам заметить, — возразил неизвестный, кланяясь с изысканной вежливостью, — что не я перевел разговор на эту тему, я только отвечал на вопросы и, желая вас видеть, одну имел цель — поблагодарить за услугу, оказанную мне так вовремя. Считая это долгом, я и вышел из своей тележки отыскивать вас, как имел честь докладывать. Теперь же я готов отвечать, как подобает благородному человеку, на все вопросы, какие вам угодно будет сделать.

— Очень хорошо. Итак, вы говорите, что соотечественник нам?

— Не позволите ли вы мне, во избежание допроса, часто тяжелого для обеих сторон, познакомить вас с собою в нескольких словах? Ведь мне нечего скрывать, я и буду говорить с полной откровенностью. Если б какая-нибудь часть моего рассказа случайно показалась вам темною, я поспешу снабдить вас всеми необходимыми объяснениями, к тому же я представлю вам доказательства в подтверждение моих слов. Рассказ мой будет короток, — прибавил он с двусмысленною своею улыбкой, — и потому не много отнимет у вас драгоценного времени.

— Хорошо, говорите, мы слушаем.

— Господа, — начал незнакомец с вежливым поклоном всем троем слушателям, — мое имя Иаков бен Израиль Дессау. В середине века семейство, из которого я происхожу, после разного рода превратностей, которые пересказывать долго, нашло наконец верное убежище в Дессау и приняло, по обычаю наших единоверцев, дабы избежать всякого смешения имен, очень немногочисленных, как вам, вероятно, известно, у израильтян, от этого города Германского Союза свое прозвище, которое и со-

хранило. Этим обычаем объясняется, что много евреев носят имена городов, деревень, гор и даже рек.

— Стало быть, вы немец?

— Извините, француз и добрый патриот в придачу, могу вас уверить.

— Однако то, что вы сейчас сказали...

— Вовсе не доказывает, чтоб я был немец. Позвольте мне объясниться, и вы скоро увидите это сами.

— Говорите же, если так.

— Около 1640-го или 1645-го, определить в точности не могу, наш род переселился из Германии во Францию и с той поры оттуда не выезжал.

— В какой именно части поселились ваши предки?

— В Эльзасе, милостивый государь.

— Позвольте вам заметить, что в 1640-м и даже 1645-м Эльзас не принадлежал Франции.

— Знаю отлично, милостивый государь. Верхний Эльзас перешел к Франции только в 1648-м в силу Вестфальского мира, а Страсбург с своим епископством не ранее 1697-го, при заключении Рисвикского мира. Мои предки приняли французскую национальность, когда Эльзас был присоединен к Франции, и с того времени они всегда отличались патриотизмом, в чем я могу представить доказательства, если вы желаете. В 1863-м я основал банкирскую контору под фирмою «Жак Дессау и сын». Контора эта, быть может, благодаря моему энергичному почину, вскоре приняла обширное развитие; сношения ее распространились быстро. Я был вполне доволен положением дел, когда началась война. Мой старший сын, которого я взял в товарищи фирмы, уехал от меня: он поступил волонтером в полк зуавов и находился в числе трехсот, которые под Седаном не хотели сдаться, пробились сквозь всю немецкую армию и успели-таки достичь Парижа. Вследствие этого достопамятного подвига пруссаки расстреляли, они буквально ограбили меня, упрекая в геройстве моего сына, как в измене. Наконец дело дошло до того, что жизни моей даже угрожали, и я решился уйти во что бы ни стало от пыток всякого рода, которым подвергали меня ежедневно презренные люди без всякого благородства и великодушия. Два дня назад представился, как мне казалось, благоприятный случай; я поспешил воспользоваться им и оставил город. Продолжение вам известно, господа. Слуга мой только что был

убит и, по всему вероятно, меня ожидала такая же участь, когда провидение послало вас ко мне на помощь и ему было угодно, чтоб вы спасли меня. Вот и вся моя история. Она проста, как видите, и нет в ней романтического интереса, потому что это история человека, жизнь которого всегда текла мирно и которого общее бедствие могло только против воли втянуть в водоворот. Позвольте в заключение выразить вам еще раз мою сердечную признательность и представить неопровержимые доказательства, что я говорю правду и действительно тот, за кого выдаю себя.

Эта длинная речь произнесена была тоном добродушия и правдивости, который не допускал мысли об обмане и свидетельствовал о полной искренности неизвестного. Он произвел такое действие на своих слушателей, что даже Мишель, несмотря на упорные подозрения, почувствовал себя убежденным. Потому он и сказал тоном менее строгим:

— А доказательства эти какие же?

— Вот они, — возразил банкир-еврей, доставая из кармана своего теплого пальто туго набитый бумажник и подавая его молодому человеку.

Заметив, что тот держит его в руках и колеблется открыть, он прибавил с улыбкой:

— Читайте, читайте, прошу вас! Я понимаю и одобряю вашу сдержанность относительно меня. Пруссак поступают бессовестно, не разбирая средств, лишь бы пробраться к вам и уловить ваши тайны; я желаю, чтоб вы вполне удостоверились, что должны думать обо мне.

— Как вам угодно, — ответил Мишель с легким наклонением головы, — прошу извинить суровость моей встречи ради ответственности, которую возлагает на меня опасное положение наше.

— Личный интерес должен уступать интересу общему, милостивый государь. Когда вы бросите взгляд на эти бумаги, то узнаете несомненно, кто я, и тогда только я буду считать себя вправе ожидать от вас сочувствия и снисхождения. Окруженные врагами, вы не можете не соблюдать достаточную осторожность, так как от вас зависит участь всех ваших друзей.

Мишель наклонил голову, сделал знак своим двум товарищам, и все трое отошли на несколько шагов для осмотра бумажника.

Он длился долго и произведен был самым тщательным образом. Бумаги, прочитанные одна за другою, обсуждались и, так сказать, изучались с величайшим старанием. В них не открылось ничего, что противоречило бы показаниям владельца их. Все сведения, в них заключавшиеся, были ясны, определены и математически точны. Искренность и правдивость господина Дессау ярче выступали на вид с каждой строкою и каждым словом. Если этот человек лгал, то он был очень искусный актер и принял все меры с редким умом и такою глубиною соображений, что не опасался никаких исследований.

Таково было мнение Мишеля, но по странному расположению ума его, когда он читал эти бумаги, по мере того, как доказательства правдивости в невинности банкира накапливались перед его глазами, безотчетное отвращение, сначала внушенное ему этим человеком, вместо того, чтоб уменьшаться, напротив, увеличилось, и хотя все вещественные доказательства говорили в его пользу, подозрения его, так сказать, разрослись еще более, между тем как тайный голос говорил неумолчно в глубине сердца: «Этот человек обманывает тебя, это изменник!» Он почти сам бесился на себя за такую настойчивость обвинять человека, невинность которого доказана была очевидно.

— Что вы думаете об этом, любезный друг? — спросил Отто.

— Не знаю, как вам сказать, — ответил тот. — Эти бумаги не поддельные, они представляют собою настоящие документы, ничем не искаженные и не подправленные, а все...

— Все что? — спросил Отто.

— Человек этот не внушает мне доверия.

— Черт возьми! Любезный друг, трудно же удовлетворить вас; в доказательствах, однако, недостатка нет.

— Именно это множество так искусно сопоставленных доказательств и усиливает мои подозрения. Человек, которого так гонят, подозревают и караулят, как уверяет он, не имеет времени принимать столько предосторожностей, когда спасается бегством от смерти. Заметьте, есть документы, которые списаны всего несколько дней назад с актов книг Кольмарского муниципального совета, и это почти на глазах немецких властей. Разве вы полагаете, что это возможно?

— Я не так подозрителен, как вы, любезный друг. Передо мною бумаги, в которых сомневаться нельзя, далее того я не иду: истина едина.

— Это заблуждение, друг мой, вещь может казаться справедливою до очевидности и все-таки не быть истиною.

— О! О! — улыбнулся Отто.

— Смейтесь сколько хотите, любезный Отто, но это так. Даже в мире вещественном мы видим в африканской пустыне мираж, в Сицилии фата-моргану, и мало ли где что еще! Обман чувств полный. Почему же не допускать того же в мире отвлеченном? Мне приходят на память умные слова старого жандармского капитана, с которым случай свел меня однажды в Париже. «Не доверяйте, — говорил он, — людям, у которых бумаги в большом порядке — величайшие мошенники всегда имеют под рукою неопровержимые доказательства их невинности. Честные же люди, напротив, почти всегда попадают впросак, потому что, полагаясь на чистую совесть, не думают, чтоб им было чего опасаться, и не запасаются даже необходимыми документами. Во все долгое время моей служебной деятельности я всегда действовал согласно этому правилу и не имел повода раскаиваться. Из десяти раз девять оказывались мошенниками арестованные мною люди, у которых бумаги были в величайшем порядке, тогда как противное всегда случалось с людьми честными».

— Так вы заключаете из этого, любезный Мишель, что господин Дессау шпион?

— О! Нет, так далеко я не захожу, сохрани меня Боже! Только, признаться, я мало доверяю ему, он мне подозрителен, и, пока не получу доказательства в том, что обманываюсь, я не переменю мнения на его счет ни за что на свете.

— Однако надо же прийти к какому-нибудь заключению. Что вы намерены делать?

— Совсем не знаю, я не принял еще окончательного решения. Однако на первый случай, пока лучше не узнаем это загадочное лицо, я полагаю, хорошо будет зорко следить за ним не показывая ему вида. Кто знает, какое неожиданное открытие готовит нам будущее относительно него?

— Честное слово! Ваша недоверчивость привела бы в отчаяние самого Фома неверующего.

— Ошибаетесь, друг мой, с моей стороны нет недоверия, нет и упорства, это просто осторожность, вот и все.

— Вопрос, поставленный таким образом, принимает очень важное значение, и я не беру на себя оспаривать его. Поступайте как думаете, любезный Мишель. Вы были избраны главным начальником, на вас лежит вся ответственность, следовательно, вам одному судить, какие меры предосторожности надо принимать для общей безопасности и успеха нашего смелого предприятия.

— Одно несомненно, — вмешался Людвиг, — это что пруссаки должны быть взбешены против нас из-за хлопот, которые мы с самого начала войны причиняли им в горах, где продержались до сих пор, несмотря на все их усилия нас вытеснить. Пруссак особенно упорны и мстительны — эти два порока доведены в них до предела. Очевидно, они горят нетерпением блистательно отплатить нам за бесчисленные поражения, которые понесли от нас. Не надо давать им этой радости. Дней через пять, а самое большее через десять мы будем в виду французских аванпостов. Стыдно было бы нам потерпеть неудачу почти в гавани, когда до сих пор управляли нашим челноком так счастливо. Я со своей стороны присоединяюсь к мнению Мишеля, одобряю заранее все меры, которые он сочтет нужными, и первый подам пример полнейшего повиновения, тем более что я привел этого молодца сюда, в чем теперь сильно раскаиваюсь. Близок локоть, да не укусишь, — прибавил он, покачив головой.

— Решено, вы вольны, любезный Мишель, и теперь и впредь поступать по своему усмотрению. Дело это касается одного вас, мы даем вам полную власть поступать, как заблагорассудите.

— Благодарю, друзья мои, Впрочем, будьте покойны, я сумею согласовать заботу о нашей безопасности с уважением, должным соотечественнику, насчет которого могу ошибаться.

Он вернулся с двумя товарищами к тому месту, где Дессау ждал исхода тайного совещания трех партизанских начальников.

Во время их продолжительных прений банкир так добродушно разговаривал с волонтерами, которые привели его, что совершенно очаровал этих честных людей, и

нисколько, по-видимому, не беспокоился насчет того, что говорилось о нем в нескольких шагах. Но внимательный наблюдатель подметил бы, что порой мускулы в лице его содрогались нервно и брови слегка хмурились, между тем как взор раза два-три устремлялся через очки на офицеров, сверкая огнем, который тотчас мерк опять. Эти признаки тревожного состояния духа, которого он не мог скрыть, оправдывались, однако, вполне странным положением, в какое он попал, тем более что, согласно собственному его заявлению, всякое недоразумение могло быть вопросом жизни и смерти.

Впрочем, кроме этих нервных содроганий мускулов, ни в наружности его, ни в обращении не произошло ни малейшей перемены, голос его звучал все так же ровно и тихо, улыбка все так же была на губах.

— По желанию вашему, — сказал Мишель, возвращая ему бумажник, который все время не выпускал из рук, — мы тщательно осмотрели ваши бумаги, и я ставлю себе в обязанность заявить вам, что все в надлежащем порядке. Я рад этому результату, который убеждает нас, что мы были полезны соотечественнику и честному человеку.

— Господа, — ответил Дессау, кланяясь, — я вполне понимаю, сколько настоящие обстоятельства требуют осторожности и предусмотрительности, и потому поспешил сам снабдить вас всеми сведениями, какие вам были нужны.

— Мы признаем это и очень вам благодарны, — ответил Мишель немного сухо, — поверьте, нам было бы прискорбно, если б малейшее сомнение возникло в уме нашем против вас. Теперь остается только спросить у вас, как нам доверить начатое.

— Я не совсем понимаю ваш вопрос, — возразил Дессау с поклоном.

— Не удивляюсь этому. Вы, вероятно, имеете в виду как можно скорее оградить себя от преследований пруссаков?

— Разумеется, это мое живейшее желание. Не скрою от вас, что я захватил с собою большую часть моего состояния и что в моей тележке такие ценности, которые мне вовсе не хотелось бы видеть в руках наших хищных врагов. Они не задумываясь бы ограбили меня, если б я был так несчастлив, что попался к ним в лапы.

— Я понимаю это опасение; для вас крайне нужно уйти в самый короткий срок от случайностей войны. Вы, должно быть, уже решили, в какой именно город вам удалиться?

— Как только выберусь из Эльзаса, я направлюсь к северу и постараюсь достигнуть Лилля или Дюнкерка.

— Очень хорошо, стало быть, главное для вас теперь выбраться как можно скорее из Эльзаса.

— Разумеется.

— Так дорога открыта перед вами.

— Каким образом?

— Вы не более как в тридцати милях от Бельфора, что составляет два дня пути самое большее; неприятеля вам опасаться нечего, потому что мы находимся между ним и вами; только в окрестностях города начнется для вас опасность, так как немцы обложили его теперь и осаждают. Но против этой опасности вы можете принять меры, легко обогнете город и тогда ничего не помешает вам принять такое направление, какое вы сочтете нужным. Одно я посоветовал бы вам для вашей же пользы, это скорее отправиться в путь — сегодня, если возможно.

Лицо Дессау омрачилось, он слегка нахмурил брови и грустно покачал головою.

— Я вижу с прискорбием, — возразил он голосом взволнованным, — что, несмотря на все мои старания, успел внушить вам очень мало доверия.

— Ошибаетесь, милостивый государь. Что могло привести вас к такому заключению?

— Ваши собственные слова.

— Мои слова? Кажется, в них нет ничего оскорбительного и советы, которые я вам даю для вашей же безопасности, доказывают, какое горячее участие мы с товарищами принимаем в вас.

— О, Боже мой! — грустно возразил Дессау. — Я не жалуюсь; страшные бедствия, которые вдруг обрушились на нашу несчастную родину, оправдывают в известной степени дух недоверия, помимо нашего ведома вкравшийся между нами с некоторых пор и совершенно изменивший наш природный нрав, еще за несколько месяцев назад такой откровенный и доверчивый. Окруженные шпионами, втирающимися повсюду, даже в семейный круг, каждый незнакомец, будь он даже француз, если

не враг нам, то по крайней мере человек, который возбуждает подозрение и за всеми поступками которого следует зорко наблюдать.

— Однако, милостивый государь...

— Да ведь я не жалею, — перебил он с горечью, — я только излагаю факт, к несчастью несомненный. Обстоятельства требуют этого, мне остается только преклонить голову и покориться судьбе. Доброжелательные советы ваши, в сущности, только искусно прикрытое решение удалить меня — словом, вы не доверяете мне и отказываете в вашем покровительстве. Я покоряюсь этому приговору, как он ни жесток. Через час я оставлю ваш лагерь, и будет со мною, что Богу угодно! Тем не менее я уношу в душе, могу вас уверить, неизгладимое воспоминание об оказанной мне услуге и горячую признательность.

Сказав это с невыразимым достоинством, Дессау отвесил офицерам поклон, повернулся и отошел на несколько шагов.

Мишель остановил его движением руки. Он не знал, что думать, ему казалось невозможным играть роль с таким искусством, он сам негодовал на себя за суровость к человеку, который ничем с своей стороны не вызвал подобного обращения.

— Позвольте еще одно слово, — сказал он.

— К вашим услугам. Что вам угодно от меня? — ответил банкир, возвращаясь медленно и как бы нехотя.

— Я смущен тем, как ложно вы истолковали мои слова. Вы приписали недоверию то, что в моих мыслях было одним изъявлением искреннего участия к вам. Я сейчас докажу вам это.

— К чему? Я не имею никакого права требовать от вас объяснения.

— Быть может, но моя честь велит дать вам его.

— Так я вас слушаю.

— Вы мне выразили желание как можно скорее найти убежище от преследований неприятеля. Я объявил вам тогда, что Бельфор в тридцати милях и расстояние это вы легко проедете в два дня.

— Совершенно справедливо.

— Знаете ли вы, сколько нам нужно времени, чтобы добраться до Бельфора?

— Признаться, не имею никакого понятия, вероятно, те же два дня?

— Ошибаетесь, нам понадобится добрая неделя.
— Неделя, чтоб пройти тридцать миль! — вскричал он с изумлением.

— По крайней мере, а может быть и больше.

— Вот чего я совсем не пойму.

— Потому что вы не сообразили хорошенько. С нами громадный обоз, множество женщин, детей и стариков, к тому же мы должны продвигаться вперед с величайшей осторожностью, постоянно наблюдать за каждым движением неприятеля и быть наготове сразиться с ним. При таких условиях нам невозможно делать более трех, четырех миль в день, однако мы приходим на бивак измученные и едва имеем довольно сил, чтоб готовить ужин и принять к ночи необходимые меры безопасности.

— Простите, я не военный и никогда не был им; что вы мне сообщаете, для меня новость, потому я и впал в заблуждение.

— Если, вместо того чтоб ехать вперед один, вы предпочитаете подвергаться с нами опасностям, которые грозят нам ежеминутно, мы с удовольствием примем вас и постараемся, чтобы вам было по возможности приятно с нами, только взвесьте то, что путешествие ваше продлится недели две, быть может.

— Положим, — сказал он задумчиво, — но если я теряю относительно быстроты, то выигрываю относительно безопасности; итак, вся выгода на стороне этого решения. Главное для меня не столько быстро достигнуть цели, сколько добраться до нее без риска. Благодаря вам, правда, я избавлен от страха, что на меня нападут сзади, но кто поручится, что, не зная дорог, я прямо не наткнусь, ничего не подозревая, на какой-нибудь прусский отряд фуражиров?

— Такая случайность возможна, я должен сознаться, но вы один судья в вопросе, касающемся лично вас, взвесьте все доводы за и против и решите, что для вас лучше.

— Признаться, — ответил Дессау с веселою улыбкой, — когда мы пришли к соглашению, ведь мы теперь понимаем друг друга, не правда ли?

— Вполне, милостивый государь.

— Я не вижу, зачем долее колебаться принять любезное предложение, которое удобно мне во всех отношениях. Под защиту ваших штыков я ничего не боюсь, а долго ли, коротко ли будет мое путешествие, для меня

все равно, как скоро я застрахован от несчастной случайности. Итак, решено, я остаюсь, позвольте поблагодарить вас.

— Однако мы не ручаемся, — с улыбкой возразил Мишель, — чтобы путешествие ваше совершилось без неприятных случайностей. Мы можем обещать только, что вы разделите нашу участь и воспользуетесь одинаковыми средствами к спасению.

— Так я и понимаю это, будущее никому неизвестно, — сказал Дессау со свойственной ему двусмысленной улыбкой.

— Надеюсь, что во все время нашего путешествия вы сделаете нам честь обедать с нами.

— С удовольствием, — добродушно ответил Дессау, — но с непременным условием, предупреждаю вас.

— Что это за условие?

— Позвольте мне поступать, как это водится в некоторых провинциальных городах.

— Как же?

— Я оставляю за собою право принести свое кушанье к общему столу. В тележке у меня кой-какие съестные припасы и напитки, которыми вовсе пренебрегать не следует, а между тем они пропадут задаром, если вы не примете моего условия.

— За этим дело не станет, — согласился Мишель смеясь, — мы принимаем его тем с большим удовольствием, что наши припасы крайне скромного свойства.

После этих слов пожали друг другу руки и разошлись. Дессау сел в свою тележку, а начальники продолжали осмотр.

Повозок оставили всего двенадцать, а число лошадей в каждой было удвоено; таким образом, партизанский отряд мог действовать свободнее и был избавлен от лишнего наблюдения, часто очень стеснительного.

— Ну, — спросил Отто у Мишеля, когда они вернулись на свою квартиру по окончании осмотра, — переменили вы теперь мнение об этом достойном банкире-еврее?

— Вы требуете откровенного ответа?

— Еще бы!

— Так я скажу вам, любезный Отто, что не только не переменил своего мнения в его пользу, но еще сильнее подозреваю его.

— Это уж чересчур, мой друг, вы сознаетесь в этом сами!

— А между тем это факт.

— Если так, отчего же вы вдруг круто переменили обращение с ним?

— Потому что этот черт, признаться, искусник первой руки, так ловко вел дело со своей медоточивой крохотью и евангельским смирением, что мгновенно завладел в ваших глазах выгодной ролью, предоставляя мне разыгрывать гнусную, почти смешную.

— В ваших словах есть доля правды.

— И вы заметили это, очень рад и принимаю к сведению.

— К сведению, зачем?

— Затем, как выразился Дессау, что будущее никому не известно и в данную минуту, быть может, не очень отдаленную, мне приятно будет доказать вам, что в деле этом я один был прав, а вы все ошибались.

— Да если вы правы, друг мой, зачем же...

— Зачем я не настоял на своем, хотите вы сказать? — перебил Мишель с некоторым раздражением.

— Разумеется.

— Потому что, как ни сильно мое убеждение, за совершенным отсутствием фактических доказательств мне нельзя было заставить вас разделять его, оставшись же один при моем мнении, я точно будто настаивал из упорства, и положение мое становилось смешным, вы сами сознались в этом с минуту назад. Итак, мне надо было отступить и свалить с себя всю гнусность, которою хотели заклеймить меня. Понимаете теперь?

— Как нельзя лучше.

— Но я не считаю себя побежденным, будьте покойны, и дремать не стану; как ни хитер этот человек, даю вам слово разоблачить его в самый короткий срок.

— Желаю этого, но если ваши предположения справедливы, вы имеете дело с молодцом, который мастер по части обмана и не легко даст уловить себя.

— Это мы увидим. Я пойду отдохнуть минутку. До вечера.

— До вечера.

Они разошлись по домам, которые заняли.

Мишель вовсе не хотел отдыхать, но только сказал это приятелю, чтоб иметь предлог остаться одному. Он

задумал план, к исполнению которого намеревался приступить немедленно.

Входя к себе, Мишель не мог удержаться от движения радости, когда увидел на стуле у очага Оборотня, усердно греющего ноги около яркого огня.

— Вас именно я и хотел искать, друг Оборотень! — вскричал он, поставил стул по другую сторону камелька и сел.

— Я подозревал, что понадобится вам, господин Мишель, потому и здесь, — ответил контрабандист.

— Что подало вам эту мысль?

— Ничего особенного, мне так вдруг пришла на ум фантазия, сам не знаю почему.

— Ага! Нет ли чего нового? — спросил командир, закуривая сигару.

— Ровно ничего, полное затишье по всей линии.

— Не слышно ли чего подозрительного в окрестностях?

— И того нет, хотя мы производили разведку на расстоянии двух миль и более, почти до самого Кольмара.

— Знаете вы Кольмар?

— Кто же не знает его? Город великолепный.

— Не о том я спрашиваю.

— А! Понимаю, вы хотите знать, нет ли у меня там друзей.

— Именно.

— В Кольмаре у меня, пожалуй, более еще знакомых, чем в Страсбурге. Славные делишки обделывал я там в былое время. Уж не хотите ли вы, чего доброго, тайком пробраться в город, господин Мишель? Это опасно теперь.

— Нет, на первый случай не намерен. Не знаете ли вы в Кольмаре банкира по имени Дессау?

— Эхе! — вскричал Оборотень и, повернув голову, пристально взглянул на Мишеля. — Уж не пришла ли нам одна и та же фантазия?

— Какая фантазия?

— Продолжайте, господин Мишель; да, я знаю банкирскую контору Дессау; это одна из самых значительных в городе.

— А! Знаете, — возразил Мишель, очевидно обманувшись в надежде.

— Позвольте, — с живостью перебил Оборотень, — я знаю этот банкирский дом только понаслышке, но дел

не имел там никогда и не видал господина Дессау. В первый раз я встретился с ним третьего дня.

— Где же это?

— Когда мы отбили его от пруссаков.

— Ах! Понимаю. Что вы думаете об этом субъекте?

— Гм! На это отвечать трудно, господин Мишель.

— Говорите откровенно, Оборотень, вы знаете, что мне можно все сказать и я могу все понять.

— Если так, господин Мишель, то я прямо скажу, что в качестве контрабандиста знаю толк в контрабанде; этот субъект, который выдает себя за банкира Дессау, не более имеет права на это имя, чем мы с вами. Вот оно что! Это хитрая bestия, который пробрался к нам, сдается мне, чтоб выведать наши тайны. С первого же взгляда он мне показался подозрителен. Вообще, я недолголюбиваю людей, которые носят очки, мне все представляется, что это одна шутка, особенно если они поднимают их, чтоб лучше видеть.

— Те же подозрения возникли и в моем уме против этого человека. К несчастью, бумаги его в совершенном порядке, никто не знает его здесь и невозможно чем-либо оправдать мое недоверие. Мне поневоле пришлось оставить его при себе.

— Пожалуй, и было бы средство узнать положительно, что о нем думать.

— Какое?

— Пойти за сведениями в Кольмар.

— Гм! Средство опасное.

— Это правда, но дело стоит того, мне кажется.

— Однако, ведь это рисковать быть расстрелянным!

— Ба! Двум смертям не бывать, одной не миновать.

Если хотите, господин Мишель, я пойду.

— Вы?

— Я, и немедленно. В Кольмаре меня знают и остерегаться не станут, да и я буду осмотрителен. Положитесь на мое слово, я доставлю вам самые верные сведения.

— Пусть так, но игра крупная, а стоит ли еще свеч?

— Ну вот, точно пруссаки хитрее в Кольмаре, чем они были в Страсбурге! Ничего они не поймут, только глазами похлопают. Без риска ничего не добудешь. Мне сдается, сам не знаю почему, что я открою там прелюбопытные и назидательные вещи; отпустите меня, господин Мишель, прошу вас.

— Надо обдумать это, любезный друг, мне вовсе нет охоты лишиться вас, я так дорожу вами.

— Вы очень добры, господин Мишель, и поверьте, я благодарен вам. За вас я готов в огонь и воду, однако теперь не о том речь. Пустите меня в Кольмар, даю вам слово, что я буду осторожен и со мною ничего не случится, а вы увидите, какую пользу принесет мое путешествие.

— Верно, но...

— Полноте, господин Мишель, не возражайте более, ведь дело уже решено, — сказал Оборотень, вставая. — Я иду сейчас же, чтобы скорее вернуться. Завтра в течение дня или к вечеру вы увидите меня опять.

— Идите же, раз непременно хотите этого, но помните, что во все время вашего отсутствия я места себе не найду.

— Я дал вам слово, что со мною не случится несчастья, — возразил Оборотень смеясь.

— Гм! Я опасаясь противного, — сказал Мишель, качая головою, — но уж если так надо, то отправляйтесь. Главное, чтобы никто не проведал про ваше отсутствие, не пророните ни слова живой душе о том, что намерены делать, тайна, как вам известно, половина успеха.

— Я пойду руки в карманах и ни на кого не глядя. До свидания завтра, господин Мишель.

И, поклонившись командиру, контрабандист вышел из комнаты, затворил за собою дверь и пятью минутами позднее уже спускался с горы по обледелой тропинке.

Оставшись один, Мишель погрузился в свои мысли.

Когда вестовой доложил ему, что обед подан, он прошел в столовую, где уже собрались все, и дамы, и офицеры, ждали только его, чтобы сесть за стол.

И Дессау находился тут же. Мишель представил банкира присутствующим и посадил его напротив себя между Людвигом и Отто фон Валькфельдом.

Против всякого ожидания, обед был очень весел.

Беспечность одна из выдающихся черт военного.

Он не думает об опасности, пока не вступит с нею в ожесточенную борьбу. Не помышляя о будущем, он спешит пользоваться всеми случаями повеселиться, которые предоставляет ему судьба. А кто знает, что готовит ему следующий день?

Дессау выказал себя человеком светским во всем смысле слова; его любезность, остроумие без язвительности,

добродушие, неизменная веселость приобрели ему общее расположение. Дамы почти тотчас поддались очарованию. К концу обеда банкир уже ни для кого не был чужим, все считали его чуть не другом; один Мишель, хотя не выказывал этого, а, напротив, был изысканно вежлив и очень весел, в глубине души хранил затаенную мысль.

Дамы ушли скоро в занимаемое ими общее помещение, чтобы мужчины могли курить и разговаривать на свободе.

Тогда разговор завязался общий и чрезвычайно оживленный, не выходя, однако, из границ самого строгого приличия.

Спросили Мишеля, долго ли простоят они в деревне, на что тот ответил, что имеет намерение не оставлять этой позиции еще дня два, так как она не только совмещает все желаемые условия безопасности, но еще дает волонтерам возможность оправиться от усталости, собраться с силами и быть в состоянии, если потребуют того обстоятельства, достойно исполнить свой долг. Разумеется, все одобряли это решение, которое должно было благодетельно повлиять на дух отряда, с самого начала отступления вынесшего столько утомления, сражавшегося почти каждый день, и все это без жалоб, с полным самоотвержением и неслыханной преданностью.

— Только я прошу господ офицеров, — заключил Мишель с особенным ударением на последние слова, — внушить солдатам, чтоб они отнюдь не выходили из лагеря, хотя бы для прогулки. Отданы самые строгие приказания, и кто нарушит их, будет убит на месте, так как часовым предписано стрелять в кого бы то ни было, мужчину, женщину или ребенка, если б попытались пренебречь этим предписанием. Мы не должны подвергаться вторично такой измене, какой чуть не сделались жертвою.

После этого предостережения разговор принял другой оборот и продолжался до поздней ночи.

Дессау получил разрешение поставить тележку свою на площади, где и приютил ее под навесом. Итак, ему стоило только сделать несколько шагов, чтоб вернуться к себе, то есть в свой экипаж.

Готовятся важные события

Следующий день не был потерян для вольных стрелков, они воспользовались им, чтоб исправить всякого рода повреждения в их оружии и одежде. Добрые люди понимали, что это последняя их стоянка в милых родных горах. Грустные, но твердые духом, они усердно готовились оставить их.

Мишель был единодушно избран главным начальником вольных стрелков; два других командира настоятельно требовали этого, чтобы в настоящих критических обстоятельствах придать распоряжениям более единства.

Молодой офицер исполнял тяжелую обязанность, принятую им на себя для общей пользы, с самоотвержением выше всех похвал, не пренебрегая мельчайшими подробностями, чтобы, насколько возможно, ограждать вверенных ему людей от лишений и напрасно не мучить их.

Одни раненые озабочивали командира, хотя эти бедняги окружены были самым заботливым уходом и раны их тщательно перевязывались поступившими в отряд четырьмя студентами медицины. Однако, несмотря на старания Люсьена Гартмана и товарищей его, некоторые из тяжело раненных не вынесли утомительных переходов при поспешном отступлении в зимнюю пору, под дождем и снегом, ничем не будучи ограждены от бурь и непогод, в телегах, где едва прикрыты были верхом из смоленого холста, а между тем не оказывалось средства изменить чем-либо это печальное положение вещей.

В совете зашла речь о том, чтобы оставить раненых в деревне, и, предупредив прусские власти, доверить несчастных их состраданию. Но всем было известно варварство, или, лучше сказать, холодная и систематическая жестокость немцев к французским раненым, жестокость, которой они дали столько страшных доказательств и которая останется неизгладимым пятном на их чести. Едва Мишель сообщил это предложение раненым, как те объявили в один голос, что хотя бы им предстояло погибнуть всем до единого во время последнего трудного пути до места, где они наконец избавятся от преследований неприятеля, все-таки они скорее готовы делить тягости отступления с товарищами, чем доверить себя людям, которые радоваться будут их страданиям и усилят их, не то что облегчат.

Ввиду этого протеста всякое колебание должно было прекратиться. Итак, к удовольствию раненых, решили, что они по-прежнему останутся при отступающем отряде и что примут все меры, дабы перевезти их сколько-нибудь удобно.

Благодаря кипучей деятельности Мишеля в несколько часов лагерь укреплен был так надежно, как будто ему суждено оставаться тут целые месяцы. Все пришло в стройный порядок, и служба исправлялась с удивительной точностью. Поставили караулы, дабы предупредить нападение врасплох. К тому же при входе каждой улицы навалили срубленные деревья, и эти преграды одни могли устоять против внезапного натиска.

Все распределено было так разумно, что, не входя в деревню, никто не заподозрил бы там присутствия нескольких сот человек.

Съестных припасов было вдоволь, и волонтеры, в тепле и сытые, а ночью под крышей и на свежей соломе, очень были довольны своим положением и быстро собирались с силами.

Оборотень не возвратился в следующий день, и Мишеля терзало жестокое беспокойство. Он не мог дать себе верного отчета ни в расстоянии, которое отделяло его от Кольмара, ни в состоянии дорог, которые туда вели. Нетерпение его было невыразимо, и чем более уходило времени, тем сильнее он волновался.

Горя как в огне от ожидания, молодой человек не раз ходил далеко по горным тропинкам, в том направлении, откуда, как он полагал, должен вернуться контрабан-

дист, но все напрасно. Насколько простирался его взор, на белом снегу нигде не было видно выдающейся черной точки; пустыня оставалась безмолвна и мертва. Тогда он шел назад в деревню, задумчивый, хмурый, страхась, не случилось ли несчастья с его разведчиком, и упрекая себя в том, что дозволил ему такую смелую попытку.

Сам того не замечая, Мишель сильно привязался к контрабандисту, почти дикарю, которого образование и обращение составляли резкую противоположность с теми, с кем до тех пор приходилось встречаться молодому офицеру. Он понял и сумел оценить по достоинству врожденную честность и прямоту, которые крылись под грубой оболочкой простолюдина. Ему нравились его шутики, часто колкие, но всегда умные и меткие, он восхищался его неисчерпаемой находчивостью. Мало-помалу он так привык видеть подле себя постоянно веселого, беспечного и насмешливого Оборотня, что обойтись не мог без него, искал взором, если терял из виду, и улыбался ему, когда увидит. Итак, он был искренно огорчен, когда прошел весь день, а Оборотень не появлялся. Настал вечер, и Мишель уже не ждал его ранее следующего утра, даже предположив, что с ним не случилось несчастья. Он ушел к себе, чтобы предаться на свободе своим мыслям; спать он не мог от сильного волнения.

Отдав разные приказания к следующему дню и довольно долго побеседовав с Людвигом и Отто о необходимых мерах для перевозки раненых и размещения семейств вольных стрелков по телегам, оставленным для этих двух целей, командир Мишель окончательно простился с друзьями, объявив им, что отряд простоят еще двое суток в деревне, чтобы он совсем оправился от вынесенных трудов и можно было принять меры для более быстрого передвижения.

Протекло несколько часов; ветер переменялся, и пошел дождь. При оттепели всякая попытка двинуться в поход была бы безумством. Пока не утвердятся горные тропинки, они будут непроходимы. Молодой человек бросился на постель и, читая оды Горация, его любимого поэта, слушал рассеянно однообразный шум дождя, хлеставшего по стеклам, и завывание ветра в коридорах. Убаюкиваемый этой печальной гармонией, глаза его вскоре стали смыкаться, книга, выпав из рук, соскользнула на пол, и он окончательно заснул тяже-

лым и тревожным сном, в который впадают после душевных мук.

Долго ли он спал?

Он не мог бы сказать.

Когда он проснулся, свеча потухла и в комнате было темно; его прикрыли плащом, чтоб оградить от холода.

На очаге еще тлел огонь. Порой он вдруг вспыхивал ярким пламенем, освещал комнату с быстротой молнии, которая зигзагами разрезает тучу, и почти мгновенно повергал ее опять в глубокий мрак.

При свете подобного беглого пламени Мишель смутно увидал темный силуэт человека, сидевшего у камелька.

— Кто там? — крикнул он, вскочив на постели и протягивая руку к револьверам, которые лежали на столе возле него.

— Осторожно, командир, не играйте револьверами, — остановил его насмешливый голос, — в темноте долго ли до несчастья.

— А! Это вы, Оборотень? — обрадовался Мишель, узнав голос контрабандиста.

Он проворно соскочил с постели и подошел к камельку.

— Давно вы здесь?

— Часа два, командир. Вы спали так крепко, когда я вошел, что не слышали меня, и, ей-Богу, мне жаль было будить вас, сон такая хорошая вещь! Но позвольте, я зажгу свечи, тут ни зги не видеть.

Говоря это, Оборотень взял с очага потухающую за недостатком горючего материала головню, сильно дул на нее, пока показался беглый огонек, и зажег свечу, которую поставил на стол.

— Вот, — сказал он, — это дело сделано. А теперь, — прибавил он, бросив на очаг два пучка прутьев, — с позволения вашего, я разведу огонь; чертовская стужа, а я промок до нитки.

— И в самом деле, мой бедный друг, но как же вы не высохли в два часа, что сидите здесь?

— Потому, командир, что надо было развести огонь, а я не хотел будить вас, как уже сказывал.

— И вы просидели, таким образом, дрожа от холода?

— По правде говоря, да. Но не беспокойтесь, то ли я выносил на своем веку и мало ли что придется выносить еще, надо полагать.

Мишель сел у камелька, где уже пылало большое пламя, он закурил сигару и посмотрел на часы.

— Как! — вскричал он. — Уже пять часов!

— Не менее, командир, било ровно три, когда я пришел, стало быть, счет верен.

— Теперь поговорим, верно, вам многое надо сообщить мне?

— Порядочно-таки.

— Во-первых, отчего вы оставались в отсутствии так долго? Я умирал от беспокойства. Разве с вами случилось несчастье?

— Вы очень добры, командир. Со мною не было ничего, только раз уж я отправился в путь, то хотел воспользоваться случаем и собрать все возможные сведения. Разве я был не прав?

— Нисколько, друг мой, напротив. Посмотрим-ка, что вы узнали.

— К вашим услугам, командир.

— Пойдите, теперь шестой час, а вы шли добрую часть ночи.

— И странными дорогами, командир, доложу я вам. Не правда ли, старикашка? — обратился он к Тому, лаская собаку, которая лежала между его ног и грелась у огня.

Том поднял голову и помахал хвостом.

— Вот видите, командир, не я заставляю его говорить это.

Мишель улыбнулся и приласкал собаку. Потом он ударил кулаком по столу и крикнул:

— Паризьен!

Дверь отворилась немедленно, и в ней показался зуав.

— Здесь, командир, — сказал он.

— Видишь ли, мы с Оборотнем проголодались, не можешь ли ты дать нам чего-нибудь поесть?

— И готовить не понадобится, командир, — ответил зуав, — похлебка сварена, и товарищи завтракают. Я могу принести вам супу с куском говядины, хлеба или сухарей, на выбор, вина и кофе. Хорошо ли так будет?

— Отлично, принеси всего этого и не забудь захватить свою порцию, ты составишь нам компанию.

— Вы меня смущаете, командир, но я принимаю с радостью.

Он отдал честь и мгновенно исчез.

Отсутствие его, однако, длилось не долго, он почти тотчас вернулся со всем, что обещал принести.

— Вот кушанья, — объявил он, симметрично расставляя на столе блюда, — что же касается напитков, то они здесь, в шкафу. Когда мы дойдем до них, то я сбегая за кофе; я оставил его у огня, чтобы он не остыл — холодный кофе сущий яд для солдата, которому всегда требуется погреть и глотку и ружье.

— Ну, садись, болтун.

Они сели к столу и набросились на еду.

— Славная вам пришла мысль, командир, — сказал Оборотень, — мы с Томом натошак со вчерашнего утра.

Когда первый голод был утолен и принялись за сыр, командир обратился к Оборотню:

— Теперь, любезный друг, полагаю, пора бы вам рассказать свою одиссею.

— Рассказать что, командир? — переспросил контрабандист с полным ртом.

— Виноват, обмолвился, — ответил Мишель, — я хотел сказать: ваше путешествие.

— А! Это я понимаю. С начала начинать, командир?

— Еще бы, черт возьми! Я хочу все знать.

— Итак.

— Постой минутку, Оборотень, — перебил Паризьен, — я схожу за кофе. Нет лучшей приправы для занимательной истории, не так ли, командир?

— Ну да, только торопись, болтун! — вскричал тот смеясь.

Паризьен не заставил себе повторить этого, в пять минут кофе с коньяком был на столе и собеседники пили его маленькими глотками, куря сигару или трубку.

— Вот и готово, — сказал Паризьен, садясь, — начинай теперь, когда угодно, с позволения командира.

— Я имел честь докладывать, — приступил Оборотень к своему рассказу, взглядом испросив разрешения Мишеля, — что было поздно, когда я ушел, ночь глядела в глаза. Хотя скоро должен был взойти месяц, я все-таки поспешно направился к самому кратчайшему спуску с горы, чтоб не захватила меня ночная мгла, прежде чем я достигну равнины. Однако первым моим делом было тщательно сложить ружье и все мои принадлежности солдата в тайник, где я бы мог найти их опять в сохранности. Потом я срезал себе здоровую палку, чтоб она служила мне

и тростью, и оружием, смотря по обстоятельствам, и живо стал спускаться по крутому скату горы. Прошло добрых три четверти часа, когда я наконец очутился в долине. С той стороны, где я сошел, мне оставалось всего две мили до Кольмара. На мое горе, уже смеркалось и необходимо было спешить, чтоб поспеть, пока не заперты ворота. Пешком, и без того уже измученный трудными переходами, я не мог надеяться, чтоб мне это удалось, но все же не колеблясь пустился беглым шагом что было мочи.

— Так-то так, — заметил Паризьен, — но сил, верно, хватило не надолго, старина.

— Как раз угадал, дружище. Уже я чувствовал, что скоро не в состоянии буду передвигать ноги, когда, на мое счастье, догнала меня телега, колеса которой уже несколько времени стучали позади меня по булыжной дороге. Крестьянин, ехавший в телеге, первый заговорил со мною и предложил сесть с ним. Нужно ли говорить, что я с восторгом принял предложение? Этот крестьянин, добрый человек, ненавидел пруссаков. Пожалуй, он и догадался, что относительно меня что-то неладно, но виду не показал и не сделал мне ни одного вопроса. У городских ворот, когда его спросили, кто я, он ответил, подмигнув мне:

«Это мой кузен Гепар, будь вам известно».

Когда же мы проехали три-четыре улицы, он остановил лошадь, дал мне сойти и сказал, пожимая руку:

«Прощайте, земляк, желаю вам успеха. Идите обдѣлывать ваши дела, но остерегайтесь остроконечных касок, они злее рыжих ослов».

Тут он расхохотался, стегнул свою кобылу и, крикнув во все горло: «Ну ты, Августа, скверная тварь!» — ускакал во весь опор. Вот как я прибыл в Кольмар.

— Начало не худо, — заметил Мишель с веселою улыбкой.

— Вот что называется посчастливилось, — подтвердил Паризьен, налив себе рюмку коньяку.

Оборотень хлебнул глоток кофе, щелкнул языком, раскурил погасшую трубку, подлил порядочную дозу коньяку в свою чашку и продолжал рассказ в следующих выражениях:

— Я не заплакал, оставшись таким образом один посреди улицы. Благодаря Богу, город мне знаком и друзей у меня там не занимать. В пять минут я уже отыскал,

что мне было нужно, и находился в полной безопасности в доме честного торговца мелочными товарами, с которым до войны не раз имел выгодные дела. Я только назвался ему сквозь дверь, как он поспешно отпер ее и принял меня с распростертыми объятиями. Я плотно поужинал, лег и без просыпу спал до утра. В восемь часов я был уже на ногах и простился с моим хозяином, который настойчиво удерживал меня, но я боялся присутствием моим подвергать его опасности. Итак, я немедленно отправился собрать сведения, за которыми пришел. После трех часов ходьбы и расспросов я успел-таки узнать кой-что, но, к сожалению, не все, что желал. Сведения мои хотя и не полны, как вы сами увидите, но верны, можете на это положиться.

— Хорошо, хорошо, но посмотрим, что же это за сведения, — сказал Мишель с оттенком нетерпения.

— Вот они, командир. Дессау очень известен в Кольмаре, где пользуется самой лучшей славой. Его считают чрезвычайно богатым и вполне преданным Франции. По вступлении в Кольмар, пруссаки нашли в нем самого упорного противника притеснений и гонений, которыми они по своей привычке терзали жителей. Дессау всегда восставал против них и не раз имел с ними стычки, но никогда не уступал. Они питают к нему неумолимую ненависть и каждый раз, как представляется случай, поступают с ним гнусно; словом, нет человека, который не был бы уверен, что они ненавидят его изо всей мочи. Он же достойный и превосходный человек, преданный Франции и обожаемый бедными, потому что много делает добра и благородно тратит средства, приобретенные трудом.

— Это чудный портрет, если похож, — сказал Мишель, прикусив губу.

— Он должен быть точен, — уверил Оборотень со своей насмешливой улыбкой, — люди, которых я расспрашивал, далеко не подозрительны.

— Все ли теперь? — спросил молодой человек с очевидным нетерпением.

— Нет еще, командир, вы же угадываете, что я желал увидеть такого почтенного гражданина.

— Как же это возможно, когда он здесь? — вскричал Паризьен.

— Продолжайте, — сказал Мишель улыбаясь.

Оборотень взглянул насмешливо на Паризьена и пожал плечами.

— Ты, видно, еще зелен, — сказал он.

— Что, что такое? — вскричал Паризьен, раздосадованный таким эпитетом.

— Молчи! — повелительно сказал Мишель. — Ну что же, видели вы его, Оборотень?

— Невозможно было.

— Я думаю! — пробурчал себе под нос Паризьен. — Заберет же человек себе такую дурь в голову!

— Уже две недели, — продолжал контрабандист, не обращая внимания на слова зуава, — господин Дессау исчез после жаркого спора, который имел с немецким комендантом. Одни утверждают, что его захватили ночью и отвезли в крепость по ту сторону Рейна; другие, напротив, утверждают, что господин Дессау, которым меры давно были приняты, просто скрылся в самом Кольмаре в недоступном убежище, зная, что может рассчитывать на преданность своих друзей.

— Итак, он не оставлял Кольмара?

— Это общее мнение, командир.

— Гм! В этих сведениях нет ничего положительного, они полезны быть не могут. Что вы сделали тогда?

— Я не унывал, командир. Дав вам слово собрать верные сведения во что бы ни стало, я непременно хотел сдержать его. Долго не думая, я решился пойти напролом и прямо направился к дому господина Дессау, который пруссаки, скажу мимоходом, ограбили и обобрали сверху донизу, словом — совершенно опустошили. Когда я подошел, у подъезда шумно толпился народ, громким говором и свистом выражая свое неодобрение, между тем как пруссаки невозмутимо обирали даже до медных ручек на дверях, глупо ухмыляясь под нос негодующей толпе. Случайно я очутился возле человека, несколько мне знакомого. Тотчас между нами завязался разговор, и я заметил, что он прячет под полою сверток, должно быть очень ценный, если судить по заботливости, с какою он старался скрыть его. Мы перекинулись несколькими словами, когда он сделал движение, чтобы уйти, а я последовал за ним, мне тут нечего было ждать более. Итак, я проводил моего старого знакомого до его дома, находившегося двумя-тремя улицами далее. Впустив меня к себе, он тщательно запер за собой дверь, положил

на стол довольно большой сверток, который нес, и опустился на стул со вздохом облегчения. Должно быть, бедные люди, которые, как я уже говорил, сердечно были преданы господину Дессау, условились между собою спасти, насколько это было возможно, от хищничества пруссаков самые драгоценные из предметов, оставленных их благодетелем в его доме, когда он вынужден был бросить его. К великому разочарованию и бессильной ярости пруссаков, бедняки в этом успели, и ворвавшийся в дом банкира неприятель не нашел почти ничего достаточно ценного, что стоило бы унести. Разумеется, все, что таким образом было спасено, тщательно сохранялось для возвращения законному владельцу, как скоро он вернется. Моему знакомому удалось скрыть много редких художественных предметов, но всего более привлек мое внимание большой сверток, который он бережно поставил к стене. Конечно, я спросил, что это. Он развернул полотно, и я увидел картину, или, вернее, портрет человека лет сорока пяти, небольшого роста, широкоплечего и полного, с черными глазами и волосами, густой бородой, умным и добрым лицом, который в богатом халате стоял у стола и слегка опирался на него рукою. Вообще картина была прекрасная. Я спросил, чей это портрет; мой приятель ответил, что это портрет самого господина Дессау, написан он парижским художником и был на выставке 1867 года.

«Как! — вскричал я. — Разве господин Дессау не стар?»

«Ему лет сорок пять, самое большее», — ответил мой знакомый.

«Волосы у него не белые?»

«Сами видите, что они черны как смоль. Портрет разительно похож, только что не говорит», — продолжал мой приятель.

«Но очки его, лорнетка — словом, все орудия для зрения, я не вижу их!»

«Очки у господина Дессау, — засмеялся мой приятель, — с его-то глазами? Вы шутите, наверно».

Я узнал достаточно и потому ушел. Что вы скажете об этом, командир? Находите вы теперь сведения мои положительными?

— Без сомнения, — ответил Мишель задумчиво. — Итак, я был прав. Мое недоверие оправдывается?

— Как видите, командир.

— Конечно вижу, но сделать ничего не могу.

— Почему так? Разве не представил я вам достаточно доказательств его обмана?

— Правда, только не принесли мне ни одного, друг Оборотень, — возразил он, покачав головой. — Один шаг мы сделали по пути, на который ступили, так как имеем теперь достаточно нравственных доказательств, чтоб оправдывать наши подозрения и внушать нам сознание собственной правоты.

— А дальше что, командир?

— Да то, — продолжал Мишель, — что у нас нет никакой вещественной улики, как, например, если б в наших руках был портрет, открывший нам обман; только тогда мы могли бы рассчитывать на верный успех, а иначе как утверждать этому человеку, что он лжет, что он не то лицо, за кого выдает себя, когда он, с бумагами в руках, станет доказывать нам, что мы в заблуждении. Что возразим мы ему? Ничего, потому что разоблачить его будет для нас невозможно. Всякий суд решил бы против нас и был бы прав. Понимаете ли вы, что я хочу сказать?

— Да, да, командир, понимаю, что я олух, что поступил как осел, мне следовало принести портрет.

— Разве вы могли?

— Быть может, но ничего еще не ушло! — вскричал он с решимостью. — Что мне следовало сделать, то я исполню теперь, вот и все. Я могу вернуться сегодня вечером.

— Ни под каким видом я на это не согласен. Да и к чему? Доказательства, которого добились вы, весьма достаточно для убеждения и моего и вашего. Чего нам больше? Мы пристально будем следить за этим человеком, и при малейшем признаке измены я справлюсь с ним. Главное, никому ничего не говорить. Кто бы ни был этот человек, он обладает редким искусством. Неосторожного слова, одного движения достаточно, чтоб внушить ему подозрения, и тогда он выскользнет у нас из рук как змея. Ограничимся тем, чтобы внимательно следить за всеми его действиями. Вы ведь хорошо поняли меня оба?

— Поняли, командир, — ответили они в один голос.

— Остальное предоставьте мне, а теперь скажите-ка, не слышали вы чего нового? Взял Париж?

— Нет, все еще держится; говорят, парижане дерутся как одержимые. Они изготавливают порох, ружья, льют пушки и так искусно ведут оборону, что пруссаки не отвоевали ни пяди земли. Все, и молодые и старые, стали в ряды национальной гвардии и сражаются, как боевые солдаты. Две недели назад началась бомбардировка громадными орудиями, недостает съестных припасов, все равно парижане слышать не хотят о сдаче. ПруссакИ приведены в ужас подобною обороною и невольно удивляются ей.

— Храбрый Париж! — вскричал Мишель с восторгом. — Действительно, в его стенах бьется настоящее сердце Франции.

— Да, да, — заметил Паризьен, кокетливо крутя русский ус, — в Париже уж не увидят того, что было под Седаном и в Меце! Да здравствует республика!

— Не известно ли вам что о Бельфоре?

— ПруссакИ рвут и мечут. Полковник Данфер до сих пор с успехом отражал все приступы, он поклялся лечь костями под развалинами крепости, чем сдаться. Все население разделяет его чувства, энтузиазм всеобщий. ПруссакИ все на том же месте, где были две недели назад.

— Слава Богу! Подобные действия отрада для души после стольких низостей и стольких измен.

— Об этом-то я и позаботился, командир, почему запоздал. Бродя то туда, то сюда, мне удалось открыть дорогу, сокращающую на добрую треть расстояние, которое отделяет нас от французских линий.

— О! Если вы уверены в том, друг Оборотень, то сведение это вполне может назваться доброй вестью.

— Положитесь на мое слово, командир, я ручаюсь за это; только надо предупредить вас, что обозу никак нельзя проехать по этой дороге, в сущности, просто козьей тропинке, где одни горцы могут пробираться, не рискуя сломить себе шею. Впрочем, важного значения это не имеет, когда дорога впереди нас свободна и нападения мы можем опасаться только сзади.

— Мы еще переговорим об этом, — возразил Мишель, — занимается заря, надо подумать о ближайшем. Паризьен, убери с этого стола, а потом попроси сюда командиров Людвига и Отто фон Валькфельда. Мне надо переговорить с ними о важном деле.

Когда три командира сошлись, они заперли дверь на ключ.

Совещание их длилось несколько часов. Только в полдень они разошлись с видом озабоченным. Но едва кто-то из товарищей заметил это шепотом, как лица их прояснились и приняли выражение спокойное, почти веселое.

Через час после заката солнца Мишель в сопровождении Оборотня, Паризьена и всех неразлучных товарищей контрабандиста тайком вышли из деревни и углубились в горы, где вскоре скрылись во мраке.

Отсутствие их продлилось добрую часть ночи. Только к трем часам утра они вернулись в деревню, падая от усталости и по колени в грязи.

Три лица, ходившие в экспедицию, направились к дому, где была главная квартира.

Ответив часовому, который отдал ему честь, Мишель вошел в дом, все сопровождаемый товарищами, и отворил дверь своей спальни.

Там находились Людвиг и Отто фон Валькфельд; они сидели по обе стороны камелька, где горел яркий огонь. Курия и беседуя, чтоб убить время, они ожидали возвращения товарища и друга.

Том немедленно растянулся у огня, а трое мужчин сняли с себя верхнее платье и сели у камелька, выпив предварительно хороший глоток водки.

— Что нового, командир? — спросил Людвиг.

— Поздно вы вернулись. Имели вы по крайней мере успех? — прибавил Отто, пожимая руку Мишеля.

— Все благополучно, — сказал тот, — только дороги страшные. Надо будет обождать день-другой, пока немного отвердеет земля.

— Так нам нельзя отправляться тотчас? — спросил Отто значительно.

— Наверное я этого еще не говорю, — возразил Мишель, — проезжая дорога в строгом смысле сносна; не тяжело нагруженные телеги могут по ней проехать, не увязнув; но я имел в виду тропинку, открытую Оборотнем, которая теперь еще очень опасна. Тропинка эта сокращает путь на добрую треть и, подобно дороге, выходит в трех милях от Бельфора, со стороны Франции, в довольно густой лес, метрах в двадцати или пятнадцати, самое большее, от деревни, по словам крестьян, до-

вольно большой; названия ее не припомню. Оба эти пути мы исследовали так далеко, как было возможно в короткое время, каким могли располагать. Главное для нас было обозреть окрестности и удостовериться, что ничего не угрожает нам в настоящую минуту со стороны неприятеля.

— Ага! Так с этой стороны нет ничего, что могло бы тревожить?

— Не совсем, хотя, признаться, я сильно недоумеваю насчет этого.

— Как же так, любезный Мишель? Вы знаете, как важны для нас эти сведения.

— Еще бы! Разве иначе я настаивал бы на том, чтобы самому произвести рекогносцировку и собственными глазами удостовериться, в каком мы положении?

— Правда, любезный друг, и мы искренно благодарим вас за новое доказательство вашей неутомимой заботливости.

— Не будем говорить об этом, я исполнил свой долг, как исполняет его каждый из нас, и более ничего.

— Я умолкаю, если вам неприятно, но вернемся к настоящему вопросу. Что же именно ставит вас в такое недоумение?

— Сейчас сообщу. Милях в двух с половиной отсюда, почти у подножия горы, мы видели или нам показалось, что мелькают подозрительные огоньки. То они горели ярким светом, то вдруг исчезали и появлялись вновь минутой спустя. Тем более встревожило это нас, что по направлению, где блеснули огоньки, нет ни двора, ни деревни.

— В самом деле, это странно.

— Не правда ли? Я было хотел прямо идти туда, лично удостовериться, что бы это значило, но Оборотень и Паризьен этому воспротивились. Наконец рекогносцировку эту поручили Оборотню. Он оставался в отсутствии не более получаса. Вернувшись, он сказал, что чуть было не наткнулся на прусский взвод и спасся только благодаря собаке, которая вовремя предостерегла его. Потом он подполз как можно ближе к неприятельскому биваку, все высмотрел с величайшим тщанием и насчитал многочисленный отряд. Не так ли, Оборотень?

— Так, командир, их приблизительно полторы тысячи человек, пехоты и конницы; очевидно, они ждут нас.

— В этом мы мнениями и не сходимся. Присутствие кавалерии заставляет меня предполагать, что это войско направляется к Бельфору, по мере возможности держась ближе к подошве горы. Кавалерия была бы для них страшною помехой на отвесных тропинках, среди обрывов и горных ущелий, где скрываемся мы.

— Выслушайте меня, любезный Мишель, и я уверен, что вы разделите мнение Оборотня. Нам кажется, что он и теперь, как всегда, судит верно. Не правда ли, вы согласны с этим, любезный Людвиг?

— Разумеется, господин Отто, и командир сделает хорошо, если вас выслушает, — возразил тот, качая головой. — Ведь это ни к чему вас не обязывает, командир, — прибавил он.

— Я очень охотно исполню ваше желание, господа, — ответил Мишель улыбаясь, — всякое личное самлюбие должно быть отброшено, когда речь идет о пользе общей, и я не задумаюсь сознаться, что не прав, будьте уверены. Говорите, друг мой, я слушаю вас с величайшим вниманием.

— Не много и рассказывать, — начал Отто, — но в значении того, что я передам, вы ошибиться не можете. Вчера вечером, около часа после вашего ухода, любезный Мишель, один из передовых часовых наших подметил тень, скользнувшую мимо него между деревьями на расстоянии пистолетного выстрела. Он крикнул: «Кто идет?» Ответа не последовало. Два раза еще повторил он окрик. Все то же молчание. Между тем часовому показалось, что тень не только не приближается, но еще вдруг, переменив направление, по которому двигалась сначала, старается подобраться поближе. Схватив в руки ружье, он прицелился, выстрелил и крикнул: «К оружию!» Сбежались на шум, стали расспрашивать и по указаниям часового нашли в той стороне, куда он стрелял, тело человека, распростертого на земле. Пуля попала ему прямо в голову и положила его на месте. В первую минуту эта смерть вызвала общее неудовольствие, так как убитый был в одежде горца; но по тщательном осмотре открыли, что у него на шее номерок с именем и числом — словом, с полнейшим описанием примет. Мнимый горец оказался прусским солдатом. По странному совпадению, мы при выходе из леса столкнулись нос к носу с Дессау, известным вам жидом, которого встреча эта поразила не-

приятно, хотя мы и сделали вид, будто не придаем важности его присутствию там, где ему никак быть не следовало, особенно в такой поздний час ночи. Вот мой рассказ, любезный Мишель. Как вы находите его? Он прост, однако не лишен известного значения, которое ускользнуть от вас не может, как я предупреждал вас.

— И не ускользнуло, будьте уверены. Господа, я приношу повинную и сознаюсь, что был не прав; один Оборотень не ошибался, инстинкт контрабандиста подсказал ему и теперь самое верное заключение.

— Что, вы думаете, нам следует делать? Положение опасно, с минуты на минуту на нас могут напасть.

— Положение усложняется, но не так еще опасно, как полагаете вы. Нападения нам ждать нечего прежде чем дня через два-три по меньшей мере. Мы, по нужде, еще можем спуститься с горы; но совершенно невозможно, при настоящем положении дорог, чтоб войско отважилось взобраться по крутым дорожкам, ведущим на вершину горы: солдаты, которые не увязнут в грязи, неминуемо скатятся в пропасти. Итак, с этой стороны, на первый случай, нам опасаться нечего, тем более что прусский шпион открыт был, когда только что пробирался в лагерь, следовательно, не успел говорить со своим соучастником. Пруссаки не знают еще в точности, где наш лагерь, и долго не узнают, так как дождь и снег изгладили все следы нашего прохода.

— Все это очень вероятно. К какому же заключению приходите вы, или, вернее, какое решение вы принимаете?

— Нам надо воспользоваться временем. Вот что мы сделаем завтра: на заре весь обоз, и телеги, и фургоны, отправятся в путь по проезжей дороге. Пятьдесят человек из вашего отряда, Отто, с вами во главе, будут служить ему прикрытием, остальная часть отряда останется тут в моем распоряжении. Прошу вас наблюдать с особенным тщанием за этим милым Дессау.

— Будьте покойны, вы отдадите его в надежные руки.

— Я вовсе не беспокоюсь. Подвигайтесь вперед, насколько будет возможно, общее место сходимости при соединении двух дорог.

— Понял и все исполню в точности.

— А вы, Людвиг, составите арьергард из остальной части отряда Отто и половины вашего. Если ничего не случится нового, вы отправитесь через три дня по тропин-

ке, открытой Оборотнем, которую вам укажут. На место сходимки вы прибудете ранее Отто и найдете там меня; я отправлюсь по той же дороге, но днем ранее вас, с пятьюдесятью молодцами на подбор, а поручик Кердрель, с остальною частью обоих отрядов, пойдет одновременно со мной по проезжей дороге. Помните, Людвиг, что вы должны привлечь внимание пруссаков, дабы лучше их провести и отвлечь от обоза с женщинами и детьми. Покажитесь мельком, только не давайте возможности связать настоящий бой.

— Это будет не трудно, командир.

— Хорошо ли вы меня поняли, господа? Нет ли каких возражений?

— Никаких.

— Так план мой вы одобряете?

— Он нам кажется благоразумен и легкоисполним; силы наши хотя и будут разделены, однако мы всегда можем обоюдно поддерживать друг друга.

— Так прощайте, любезный Отто, мы, вероятно, не увидимся более до вашего отправления; я доверяю вам то, что мне дороже всего на свете, родных и невесту, не забывайте этого, — прибавил он с сдерживаемым глубоким волнением.

— Я дам убить себя, чтоб защитить их, более этого я сказать не могу, — ответил Отто улыбаясь.

— Отдайте тайно ваши приказания, знать о них не должен никто, это весьма важно, а на рассвете, с Богом, в путь. Желаю успеха!

Молодые люди обнялись как родные братья, потом еще пожали друг другу руки в последний раз и разошлись.

Согласно принятому решению, на другое утро, чуть забрезжил свет, Отто оставил лагерь.

Тайну сохраняли так тщательно, что Дессау буквально захвачен был врасплох. Он еще спал, когда Отто пришел объявить ему, что первые телеги уже двинулись и ему остается всего пять минут на сборы, чтоб следовать за колонной.

Однако он не казался недоволен внезапным отъездом, напротив, он как будто обрадовался, что уезжает из деревни, и радость эта выказалась еще очевиднее, когда он узнал, что будет при обозе с ранеными, женщинами и детьми, которому велено выехать ранее.

Радость эта показалась так неестественна Мишелю, когда ему рапортовали о случившемся, что он сильно ею был встревожен.

На другой день была очередь выступать отряду, которым командовал Кердрель.

Перед выступлением товарищи по оружию долго совещались шепотом, и в заключение Ивон сказал своему другу только два слова:

— Я позабочусь.

Потом он стал во главе своего отряда, и тот скоро скрылся в извилинах дороги.

Наконец ушел и Мишель, повторив Людвигу прежние наставления.

Людвиг остался один в деревне с отрядом человек в двести, готовых встретить неприятеля, если б он показался, и, как всегда, добросовестно исполнить свой долг.

Впрочем, ожидание Людвиг продлилось недолго. Часам к трем пополудни с передовых постов ему дали знать, что завидели прусские колонны, которые в стройном порядке взбирались на гору.

Немцы медленно подвигались вперед с чрезвычайной осторожностью, что Людвигу дало время сделать последние приготовления.

Наконец, часа в четыре, пруссаки были в виду площадки.

При их отряде находились кавалерия и несколько горных орудий, что, собственно, и замедлило их движение по дорогам, полным рывтин.

Когда они подошли на расстояние выстрела, их встретили убийственным залпом, который наделал тем более вреда, что они не имели еще времени развернуть фронт.

Вольные стрелки перерезали площадку по всем направлениям широкими и глубокими траншеями, возвели насыпи и прикрыли себя срубленными деревьями; позиция их была действительно сильная, можно сказать, недоступная.

Немцы попробовали было сделать обход, когда потеряли надежду одолеть противников с фронта, но первую их заботой было так укрепиться, чтоб их выбить не могли с места, где начиналась дорога проезжая, дабы отрезать вольным стрелкам отступление и забрать их, как они полагали, точно в громадную сеть.

Сражение продолжалось до ночи, но французы не потерпели чувствительного урона, потому что были защищены насыпями и наваленными деревьями.

Темнота вынудила прекратить бой.

Каждая сторона стала на биваках, где была, и запылали костры.

Не теряя времени, Людвиг велел своим стрелкам сходить один за другим по крутой тропинке, открытой Оборотнем. Он пользовался темнотой, пока не взошла луна. За собою он оставил всего двадцать пять человек, поддерживать бивачные огни и наблюдать за неприятелем, кроме того, он предписал им держаться тут как можно дольше.

Те повиновались буквально.

Как скоро взошла луна, немцы попытались захватить неприятеля врасплох, но, встреченные бойким огнем, вынуждены были отступить. Три раза в течение ночи они пытались овладеть укреплениями, все без успеха.

За час до рассвета вольные стрелки, находя, что сделали довольно и оставаться дольше было бы отвагою бесполезной, отступили в свою очередь и спустились по отвесной дорожке, настоящей козьей тропинке, доступной для одних горцев.

Едва рассвело настолько, что можно было различать предметы, как пруссаки сделали общее нападение и пустили в ход пушки.

Не получая ответа и опасаясь какой-нибудь дьявольской выдумки вольных стрелков, они не бросились очертя голову на приступ, а, напротив, отступили, чтобы принять самые тщательные меры против всякой случайности. Это и дало вольным стрелкам время укрыться от их преследования и примкнуть к товарищам.

Когда наконец последние меры были приняты, пруссаки бросились на приступ и вмиг были на верху баррикад с оглушительными «ура».

Они так и оцепенели от изумления, когда перед ними не оказалось ни души. Вольные стрелки уже скрылись все до одного.

Но вскоре изумление превратилось в ярость, когда пруссаки заметили тропинку, по которой неприятель ушел.

Тропинка это была нечто вроде пропасти, один вид которой заставлял пятиться от ужаса самых храбрых солдат.

Офицеры видели в свои зрительные трубы, как вольные стрелки сбегали с горы, словно серны, то скользя вниз, то ухватываясь за кусты и выступы скал. Итак, они несомненно бежали этим путем, да другого и не оказывалось.

Гнаться за ними было невозможно, особенно с кавалерией и артиллерией.

С минуту начальник отряда думал спуститься по проезжей дороге, но там не было никаких следов прохода войска или обоза, да и направление этого пути казалось диаметрально противоположно тому, по которому ушли вольные стрелки.

Смущенные и пристыженные тем, что еще раз были введены в обман чертями-волонтерами, насмехавшимися над ними с возмутительным нахальством, пруссаки с страшными ругательствами вернулись назад отыскивать дорогу, которая навела бы их на след неуловимых противников, и клялись отмстить им примерно, как только они попадут им в руки.

Брошенная деревня

Прошло три дня после событий, описанных в предыдущей главе.

Было около трех часов пополудни, хотя казалось гораздо позднее, так становилось темно. С самого утра вьюга яростно бушевала на высотах, соседних с Эльзасским Балоном. Низкие тучи грязно-серого цвета тяжело неслись в пространстве. Вихрь с громовым гулом пригибал растрепанные деревья и крутил снег, который валил густыми хлопьями. Крутые склоны гор казались уже только обширным снежным ковром, усеянным там и сям исполинами лесов, похожими на громадные беловатые призраки, в отчаянии ломающие руки с жалобным стоном.

Среди этого хаоса, неустанно крутимого все усиливавшимся вихрем, путешественник ехал на хорошем мулеиноходце едва обозначенною на склоне горы тропинкою, которая прихотливо извивалась по перелескам и буграм. Собственно говоря, нам следовало сказать, что путешественник силился держаться этой тропинки, так как, занесенная снегом, она совсем не была видна, и мул, ослепляемый вьюгой, подвигался вперед с величайшим трудом, спотыкаясь на каждом шагу.

Лица путешественника видно не было; он плотно закутался в широкий и большой плащ, покрытый густым слоем снега, которого он не думал стряхивать. Уткнув подбородок в бесчисленные складки громадного шарфа и нахлобучив на глаза круглую шляпу с широкими полями, он совершенно скрылся от взоров.

Прибыв накануне вечером неизвестно откуда в деревню Планшэ-ле-Мин, находившуюся на крайнем рубеже двух департаментов: Верхней Соны и Верхнего Рейна, но принадлежавшую первому, путешественник кое-как провел ночь на плохом постоялом дворе и, едва занялся свет, хотя погода не предвещала ничего хорошего, отправился в дальнейший путь, не слушая предостережений многоречивого хозяина, который с наводящим страх самоуслаждением распространялся о бесчисленных опасностях, грозивших ему при выюге на верхних участках горы.

Чудак, по словам трактирщика, упрямее самого мула, бедного животного, только закусил наскоро, пока седлали его буцефала, и отправился в путь, предварительно, однако, собрав все возможные топографические сведения о местности по направлению к Жироманьи, главному городу в департаменте Верхнего Рейна, отстоящему на семнадцать или, самое большее, восемнадцать километров от Бельфора. В это время Бельфор осаждался немецкими войсками, которые, потеряв надежду иначе завладеть им, уже несколько дней бомбардировали его с невыразимым ожесточением.

Путешественник надеялся задолго до сумерек достигнуть Жироманьи, куда призывали его, говорил он, дела величайшей важности, которые могли пострадать от малейшего замедления.

В первые два часа по выезде неизвестный продолжал свой путь при сравнительно благоприятных условиях, наперекор всем мрачным предсказаниям трактирщика. Правда, он в это время ехал по равнине и скоро вообразил, что беспрепятственно достигнет цели своего пути, то есть Жироманьи. От стужи он таки немного страдал, но в этом не было ничего, что могло бы навести на него уныние. Тепло одетый и на хорошем муле, он только должен был вооружиться терпением.

Так шло дело до тех пор, когда почва мало-помалу стала волнистее, и путешественник наконец очутился на тропинках все более и более крутых, извивавшихся по скатам горы. Тут все переменялось мгновенно.

Снег повалил гуще, заносил дорогу и вскоре изгладил всякий след ее. Ветер, довольно сильный на равнине, на этих высотах усилился до страшных размеров, яростно хлестал снегом в оцепенелого путешественника и каж-

дую минуту грозил опрокинуть его и сбросить вместе с мулом на дно зияющей пропасти.

Мул, ослепленный хлопьями снега, подвигался вперед маленькими шажками и с очевидным колебанием, казалось, он с величайшим трудом отыскивал твердую почву, куда бы ступить, он шел понуря голову и широко раздутыми ноздрями вбирал в себя воздух. Порой бедное животное останавливалось, теряя след извилистой тропинки, и снова шло далее словно с решимостью отчаяния.

Сначала путешественник пытался направить мула на настоящую, по его мнению, дорогу, но животное, полагаясь на свой верный инстинкт более, чем на неискусные указания всадника, оказало его усилиям упорное сопротивление, которое раза два-три чуть было не сделалось для него гибельным. Вовсе не желая доводить до полного разрыва, последствия которого могли быть для него в высшей степени плачевны, всадник решился уступить упрямству, которое пересиливало его волю, и, смирив свой разум перед инстинктом животного, бросил поводья, предоставив ему направляться по своему усмотрению и доставить его, куда ему будет угодно.

Это было самое лучшее, на что мог решиться путешественник, он вскоре убедился в этом. Мул, который сначала подвигался нерешительно, нетвердым шагом и как бы одурев, вдруг бодро поднял голову, наострив уши, повертывал ею направо и налево, как будто хотел ознакомиться с местностью, и после того, как две-три минуты проделывал эти странные штуки, побежал рысцой по направлению диаметрально противоположному тому, куда с минуту назад силился направить его всадник. Вскоре он оставил позади открытую местность, достиг опушки столетнего леса и бойко побежал с уверенностью и быстротой, которая предвещала успешный исход путешествия.

Мы оставим теперь на несколько минут — так как не замедлим вернуться к нему опять — незнакомца, чрезвычайно довольного результатом уступки, которую он решился сделать инстинкту мула, углубимся первыми в дремучий лес, куда видели его въезжающим, и проникнем в деревню, расположенную в горах и называемую Верхним Окселем, в отличие от другой деревни, отстоящей от нее на несколько ружейных выстрелов, построен-

ной в углублении оврага, на холмистых берегах речки, и называемой Нижним Окселем.

Верхний Оксель, расположенный недалеко от Жироманьи, главного города округа, населен, или, вернее, был населен до войны, трудолюбивым и смышленным народом, почти исключительно занимавшимся разработкой свинцовой руды, которая составляет главное или, вернее сказать, единственное его богатство. Это население грубых горцев, глубоко преданных отечеству, увидело с неизъяснимой скорбью вторжение во Францию немцев, к которым питало безотчетную ненависть. Едва в Верхний Оксель донеслась молва, что Страсбург обложен неприятелем, как все работы в копиях прекратились; кто только в силах был взяться за оружие, снимал со стены старые браконьерские ружья, повешенные у камелька, набивал карманы патронами и, поцеловав жену и детей, отважно уходил в горы и становился партизаном, с твердым решением защищать до последней капли крови священную землю родного края. Женщины, дети и старики собрали второпях что имели наиболее драгоценного и, оставив за собою открытыми двери их хижин, бросили не задумываясь бедную свою деревушку, чтоб искать верного убежища от ненавистного неприятеля или в Везуле, или в Бельфоре. Только несколько старцев, слишком слабых или слишком привязанных к земле, где родились и где лежал прах их отцов, не захотели расстаться с нею и с покорностью судьбе ожидали прибытия врага.

Раза два-три пруссаки проходили Верхний Оксель, грабили, жгли бедные жилища и подвергали пытке оставшихся в деревне немногих старцев, чтобы заставить их указать место, где спрятаны воображаемые богатства, вследствие чего деревня вскоре превратилась в безобразные развалины и не заключала более ни одного живого существа.

Однако в ту минуту, когда мы выходим на площадь, среди давно брошенного селения, пренебрегаемого из-за бившей в глаза нищеты его даже самыми наглыми грабителями прусской армии, один дом на площади, единственный уцелевший из всех, имел оживленный вид, который давно уже не был ему обычным. Из труб его взвивались в воздух клубы черного и густого дыма, огонь мелькал в окнах, точно чудом сохранивших целые стек-

ла, и перед растворенною дверью стояла с поднятым дышлом дорожная карета, вся в снегу.

В доме остановились путешественники, вероятно достигнутые в горах вьюгой.

В трех комнатах развели яркий и большой огонь; в дровах недостатка не было, и путешественники воспользовались ими не стесняясь.

Внизу в кухне молодая девушка, ловкая и проворная, в костюме крестьянок прирейнской Пруссии, усердно готовила ужин, довольно обильный, а главное, чрезвычайно изысканный для места, где она находилась. В комнате первого этажа двое мужчин, хорошо вооруженных, один в богатой ливрее, другой в одежде ямщика, сидели, куря громадные глиняные трубки, по обе стороны камелька, и между ними стоял стол с двумя роговыми стаканами довольно большого объема и толстопузой кружкой с пивом.

Наконец, в третьей комнате молодая дама редкой красоты, сидя у камина, облокачивалась на стол и подпирала рукою голову, следя рассеянным взором за пылением трещавшего огня.

Дама это, которую читатель знает давно и, вероятно, не забыл, баронесса фон Штейнфельд.

По какому странному случаю баронесса очутилась в жалкой разрушенной деревушке, брошенной жителями, скоро объяснится.

В комнате, где находилась баронесса, мебели не было, кроме нескольких стульев с прорванными сиденьями и двух столов простого дерева. Складная кровать, принесенная из кареты, поставлена была в углу комнаты, на каминной доске красовался богатый дамский несессер для дороги, из которого зеркало было вынуто и прислонено к стене, какая-то одежда и шляпа разбросаны были по спинкам двух-трех стульев и на кровати; словом, все было на походной ноге, но с удобствами, к которым привыкла богатая женщина.

Дверь отворилась, вошел слуга, без малейшего шума накрыл один из столов скатертью и поставил прибор, так же тщательно соблюдая симметрию, как будто он в Берлине в отеле баронессы. Затем он подложил дров в камин и ушел так же тихо, как появился.

Баронесса, по-видимому, не обратила на него внимания, она размышляла, и, если судить по выражению ее

прелестного личика, эти размышления не были сумасбродно-веселые.

Однако быстро темнело и в комнате начинал водворяться мрак. Она подняла голову и прижала нежным пальчиком пуговку звонка, стоявшего возле нее.

Дверь отворилась, и слуга появился опять.

— Огня, — сказала она.

Слуга вышел, но вскоре вернулся, держа в каждой руке по канделябру с пятью зажженными свечами из розового воска. Один канделябр он поставил на камин, другой на накрытый стол, потом взял два пледа со стула и повесил ими окна.

— Не прикажете ли подать обед? — почтительно спросил слуга. — Лилия просила доложить, что все готово и она ждет только приказания подавать.

— Который час? — спросила баронесса.

— Шестой.

— Подайте через полчаса.

Слуга почтительно склонил голову и сделал движение к двери.

— Какова погода? — опять обратилась к нему баронесса.

— Вьюга сначала было стихла, но с час назад разыгралась с новою силой; ночь будет бурная.

— Какая скука! — заметила баронесса, подавив зевок. — Идите, я позвоню, когда захочу есть.

Слуга поклонился и вышел.

Баронесса опять задумалась.

Протекло с полчаса, молодая женщина томно подняла голову.

— Аппетита нет, — пробормотала она, — ураган задержал меня здесь, а мне должно бы уже быть далеко. Кто знает, какое непоправимое несчастье может причинить эта роковая задержка! Что делать?.. Пообедаем, — продолжала она спустя минуту, — все это займет около часа, и на столько будет выиграно время.

Она протянула руку к звонку, но в ту самую минуту послышался снаружи шум.

Она стала слушать, но ничего разобрать не могла, кроме смутного говора; ни одного явственного слова не долетало до ее слуха.

— Что там происходит? — пробормотала она.

В дверь слегка постучали.

— Войдите! — сказала она.

В отворившейся двери опять показался ливрейный лакей.

— Что вам надо? — спросила баронесса.

— Сейчас приехал путешественник.

— Путешественник? — вскричала изумленная молодая женщина. — В такую-то ужасную погоду!

— Точно так, и мокрый, оковенелый, просто жаль смотреть на него, до того он кажется измучен.

— Верно, какой-нибудь бедняк, сбившийся с пути в эту страшную вьюгу.

— Прошу извинения, — возразил почтительно слуга, — путешественник вовсе не походит на бедного; он хорошо одет и приехал на добром муле. Судя по тому, что он говорил, один инстинкт животного спас его, примчав прямо сюда, когда он сам не знал, куда направиться.

— Странно. Кто этот незнакомец?

— Ничего еще не могу сказать о нем: он так закутан, что мы до сих пор не видали его лица.

— Какой вздор вы несете! Или, быть может, позволяете себе глупую шутку? — строго заметила баронесса. — По собственным вашим словам, вы разговаривали с путешественником, а теперь утверждаете, что не видели его в лицо.

— Это истинная правда, я никогда не позволил бы себе шутить в вашем присутствии.

— Так объяснитесь лучше, я ровно ничего не понимаю из вашей болтовни.

— Вот как было дело, баронесса. Когда незнакомец остановился у двери этого дома, он не мог сойти с мула, как мы приглашали его, оковенелые от стужи члены ему не повиновались. Тогда мы с Иоганном взяли его, каждый за ногу, и снесли в кухню. Он был прям и неподвижен, точно кол. Мы поместили его по возможности удобно возле очага, чтоб он у огня отошел, и теперь он понемногу оттаивает.

Слова эти, сказанные с невозмутимым хладнокровием, заставили баронессу улыбнуться.

— Хорошо, — ответила она, — окажите этому бедняге всякое попечение, а когда он совсем оттает, — прибавила она, закусив губу, — постарайтесь узнать, кто он. Если же он действительно человек простой, что возможно, то немедленно предупредите меня.

— Слушаю. Прикажете подавать кушанье?

— Нет, я немного подожду еще. Идите и в точности исполните мое приказание.

Слуга вышел с почтительным поклоном.

Оставшись одна, баронесса протянула руку и, взяв со стола книгу, раскрыла ее, скорее для вида, чем для чтения. Мысли ее были далеко, — она думала о путешественнике, который не побоялся, несмотря на вьюгу и ураган, отправиться в горы один и вдали от всякой помощи отважно подвергался величайшей опасности, без сомнения, не послушав предостережений местных жителей внизу на равнине. Она говорила себе, что человек этот, подобно ей, должен иметь важные побудительные причины, чтобы действовать таким образом; конечно, любопытство баронессы, женщины в полном смысле слова, было пробуждено и она задавала себе вопрос, что бы это был за человек и какие могли у него быть причины или дела, способные побудить его подвергаться ужасной и почти верной смерти.

Однако время шло; около часа протекло после прибытия незнакомца, а все она не получала о нем никакого сведения. Любопытство ее достигло крайней степени, нетерпение не знало пределов. Она невольно прислушивалась ко всякому неопределенному шуму в доме и пальцами стучала по столу в напряженном ожидании. Два-три раза она чуть было не встала сама осведомиться, что происходит, одно чувство приличия удерживало ее каждый раз, как она невольно порывалась встать.

Наконец отворилась дверь и слуга вошел.

Баронессе понадобилась вся сила воли, чтоб подавить восклицание, готовое сорваться с ее губ.

— А! Это вы? — сказала она с притворным равнодушием, умерив блеск глаз. — Что нового? Оттаял ваш путешественник?

— Совершенно, баронесса, но и пора было: еще несколько минут, и все было бы кончено с ним. Теперь он говорит, пьет и движется как настоящий человек. Мы вылечили его на славу.

— Тем лучше, — улыбаясь, ответила она, — очень рада за него. Теперь вы, вероятно, видели его лицо?

— Разумеется, баронесса. Он снимал с себя верхнее платье по мере того, как отогревался и как ему возвращалась свобода движений. Тогда мы могли смотреть на

его лицо сколько хотели. Это красивый и румяный мужчина с бакенами, подстриженными треугольником, обходительный и добрый малый, хотя в нем заметно некоторое коммерческое изящество.

— Что такое? Что вы называете коммерческим изяществом? — любопытно спросила баронесса, подняв голову.

— Прошу извинить мое странное выражение, я разумею под ним изящество не природное, но приобретаемое человеком в коммерции или даже в какой-либо промышленности, от постоянных деловых сношений с людьми благородными. Богатые торговцы, банкиры и тому подобные вообще имеют этого рода коммерческое изящество, которое с первого раза проведет, но слово или невольное движение тотчас выдаст простолудина-выскочку.

— Словом, вы хотите сказать, что шила в мешке не утаишь? — с улыбкой сказала баронесса.

— Именно так. Этот незнакомец имеет веселый вид, толстый нос, большой рот, великолепные зубы, он богато одет, но золотая цепочка его чересчур массивна, а бриллиантовый перстень на мизинце так и бросается в глаза.

— Да, да, это также коммерческое щегольство, по вашему выражению. Однако ваше описание примет, как ни подробно, не открывает мне, кто он. Разве он ничего не говорил вам о себе?

— Да, ничего такого, что навело бы нас на мысль, кто он. Говорит он много, но ничего не высказывает и как будто настороже. Он только сказал, что вынужден очень спешить из-за важных дел, и как будто досадовал, что должен был здесь остановиться.

— Это немного, продолжайте о нем заботиться и велите подавать обед.

— Не прикажете ли доложить вам прежде остальное?

— Разве вы не все сказали?

— Одно слово осталось прибавить.

— Говорите скорее.

— Когда путешественник немного отошел, он спросил Иоганна и меня, кто мы. Так как вы не изволите сохранять инкогнито, мы и сказали ему без дальних околичностей, что он находится в доме, временно занятом баронессою фон Штейнфельд, а мы имеем честь быть ее слугами.

— Вы хорошо сделали, я не имею никакого повода скрываться. А дальше?

— При вашем имени незнакомец вздрогнул и вскричал в сильнейшем изумлении: «Вот странно-то, ей-Богу! Какая встреча!»

— Он сказал это?

— Слово в слово.

— Это действительно странно. Все теперь?

— Нет еще, баронесса. Тогда я позволил себе спросить его имя и не знает ли он моей благородной госпожи.

— Что он ответил?

— Засмеялся и сказал: «Быть может, любезный друг», и прибавил: «Вы любопытны, это недостаток, от которого надо исправиться». Тут он достал из кармана бумажник, написал несколько слов на чистом листке, который вырвал, сложил и подал мне для передачи вам, баронесса.

— Где же записка?

— Вот она, — ответил слуга, положив ее на тарелку и почтительно подавая хозяйке.

— Разве не могли вы избавить меня от всей этой болтовни и тотчас передать письмо? — с неудовольствием заметила она.

— Вы изволили требовать от меня все сведения.

Баронесса молча пожала плечами и прочла записку.

— Действительно, странная встреча! — пробормотала она чуть слышно и спустя минуту прибавила: — Кто знает, не Господь ли посылает его ко мне? Во всяком случае, милости просим; очень уж мне не посчастливится, если я не успею вытянуть из него то, что желаю знать.

Она оставалась в задумчивости несколько мгновений, потом подняла голову и увидела лакея, стоявшего перед нею в почтительной позе.

— Что вам надо? — резко спросила она.

— Жду вашего приказанья, — ответил он. — Вы не изволили сказать, надо ли подавать кушанье или нет.

— Попросите господина ко мне и введите его сюда сейчас, с обедом нечего спешить. Идите.

Слуга вышел.

— Вот странно-то, — продолжала она думать вслух, когда осталась одна. — Как попал сюда этот человек? По какой бы это было причине? Вероятно, опять какая-

нибудь гнусность, какая-нибудь измена? Посмотрим, — прибавила она тонко. — Он идет. Возьмемся скорее за роль и будем вести дело искусно, он не так хитер, как хочет казаться.

Дверь отворилась, и появился слуга, который вел посетителя.

— Особа, которую вы изволили желать видеть, — доложил лакей и посторонился пропустить путешественника.

Тот вошел. Это был Жейер, страсбургский банкир, которого мы потеряли из виду после его неприятного разговора с Мишелем Гартманом, когда он вынужден был, против всякого желания, прокатиться весьма неудобно в Голландию, как, вероятно, не забыл читатель.

— Ступайте, — сказала баронесса слуге, когда вошел банкир, — но будьте поблизости, чтоб слышать звонок, вы мне скоро понадобятся.

Лакей молча поклонился, вышел и затворил за собою дверь.

— Так это вы, любезный господин Жейер! — весело вскричала баронесса, протягивая ему руку. — Очень рада вас видеть.

— А я-то как счастлив, баронесса! — воскликнул он, почтительно наклоняясь к протянутой ему руке и целуя ее. — Уж конечно, я не мечтал о такой очаровательной встрече, едуци сюда.

— Сядьте у камина, вы не совсем еще отогрелись, я думаю, если мне сказали правду о вашем состоянии, когда вы приехали, — смеясь, заметила баронесса.

— Я буквально замерз и не надеялся когда-либо оттаять.

— И как же вы неосторожны, что отправились в горы один при такой погоде!

— Сознаюсь, что поступил опрометчиво, чуть было я не поплатился дорого и не забуду этого. Меня ввели в заблуждение относительно расстояния; мили в горах нескончаемой длины.

— Кому вы это говорите, любезный господин Жейер? Ведь со мною случилось почти то же, что и с вами: мы сбились с пути и я была очень довольна, что нашла убежище хоть здесь.

— Положим, баронесса, — возразил он, содрогаясь при одном воспоминании о том, что вынес, — но вы были

в хорошей карете и холода почти не чувствовали, тогда как я ехал верхом, на меня валил снег. И пробрало же меня до мозга костей! Если я жив, то благодаря одному инстинкту мула. Бедное, верное животное. Не понимаю, как оно не сбилося с дороги в этой обширной снежной равнине, но едва я бросил поводья, как оно прямо и без малейшего колебания примчало меня сюда. Можете ли вы объяснить себе это, баронесса? Что до меня, то, признаться, я пас.

— Тут нет ничего необыкновенного, любезный господин Жейер, но, вероятно, вы не подверглись бы такой опасности, если б не побудило вас к тому дело, не терпящее отлагательства.

— Действительно, баронесса, дело мое спешное. Да и вы, полагаю, без важных причин не пустились бы в путь в это время года, вы, женщина светская, слабая, привыкшая к удобствам?

— Без сомнения, любезный господин Жейер, точно такие же причины, какие и вас заставили скакать по горам и долам верхом на муле.

— Быть может, баронесса, но я этого не полагаю.

— Почему не полагаете?

— Простите, баронесса, я только хотел сказать, что у меня могут быть личные побудительные причины, которых у вас, мне кажется, быть не должно.

— Пожалуй, вы и правы, на первый случай спорить не стану, — ответила она улыбаясь, — но оставим это, любезный господин Жейер.

— Весь к вашим услугам, баронесса.

— Полагаю, вы с утра не много встретили гостиниц на вашем пути.

— В восемь часов я выехал из Планшэ-ле-Мина, деревни, находящейся в нескольких милях отсюда.

— Знаю, я проехала ее, — перебила баронесса. — А по выезде из деревни?

— Ехал, баронесса, все ехал, не останавливаясь, до этого дома, где имел счастье встретиться с вами.

— Что значит, если я хорошо понимаю вас, что вы голодны.

— Сознаюсь в этом, баронесса. Даже с опасностью показаться вам существом грубым и с животными наклонностями, я не скрою от вас, что, оправившись теперь совсем, я почувствовал голод просто страшный.

— Не стесняйтесь, любезный господин Жейер, — сказала она смеясь, — я нахожу это вполне естественным. В доказательство я и сама, хотя не могу похвалиться таким же страшным голодом, однако собиралась есть в ту минуту, когда вы приехали, что и доказывает накрытый стол, как вы сами видите.

— Я в отчаянии, баронесса, что мое присутствие помешало вам...

— Не извиняйтесь, я, напротив, очень рада, что мешкала до сих пор, потому что это дает мне возможность пригласить вас разделить мою скромную трапезу.

— Мне, право, совестно...

— Полноте церемониться, любезный господин Жейер, мы теперь в обстоятельствах исключительных, просто два путешественника, соединенные случаем, которые делятся тем, что имеют.

— Да ведь я, баронесса, кроме голода, ничего со своей стороны предложить не могу, — громко захохотав, заявил банкир.

— Не беда! На сегодня этого достаточно, а в другой раз будет ваша очередь. Примите мое приглашение так же просто, как я желаю его, да я и вижу, что вам смертельно хочется согласиться.

— Признаться, баронесса, я умираю с голода, и если...

— Это полагает конец всякому сопротивлению, и мы вместе садимся за стол.

— Когда вы так добры, что непременно требуете этого, баронесса, я покоряюсь и с радостью принимаю честь, которой вы удостоиваете меня.

— Вот это хорошо, я знала, что мне удастся убедить вас.

— Против вас, баронесса, никто не устоит.

— Лстец, — заметила она с улыбкой, — кстати, вы, кажется, говорите по-английски?

— Немного, баронесса, — ответил Жейер с притворной скромностью.

— Очень хорошо, я уверена в своих слугах, они честны и преданы мне, но, к несчастью, как и все слуги, грешат любопытством. Очень может быть, что в беседе нашей нам придется говорить друг другу то, что им слышать ни к чему; итак, если вам не будет неприятно, мы станем говорить по-английски. Что вы скажете на это?

- Ваше желание для меня закон, баронесса.
- Значит, дело решено и вы назоветесь Липманом.
- Вы ничего не упускаете из виду, баронесса.
- Проболтаться так легко, а это может повлечь за

собою непоправимое несчастье в нашем положении, любезный господин Жейер. Осторожность в высшей мере, как вам известно, первое условие безопасности. Быть может, строгое инкогнито необходимо и для того безотлагательного дела, о котором вы упоминали.

— Да, я желал бы остаться неизвестным.

— Так все прекрасно! — вскричала баронесса смеясь. — Скорее теперь за стол.

— Я готов, баронесса, — ответил Жейер, весело потирая руки.

Баронесса позвонила.

Дверь отворилась немедленно, и на пороге явился слуга.

— Поставьте прибор для господина Липмана, Юлиус, — приказала хозяйка, — и пусть Лилия подаст нам кушанье. Прикажите Иоганну позаботиться о муле господина Липмана, а вы осмотрите дом и в комнате наиболее уцелевшей затопите камин и приготовьте все для ночлега, господин Липман останется ночевать: погода так дурна, да и темнота страшная. Ступайте.

Слуга поспешно вышел, вмиг вернулся со вторым прибором и потом ушел. Спустя минуту дверь отворилась опять, и Лилия, молодая служанка, вошла с мискою супа.

Лет двадцати, не более, Лилия была прекрасно сложена, с хорошеньким и свежим личиком выражения бойкого, живыми глазами и великолепными зубами; сверх того, она всей душой была предана баронессе фон Штейнфельд, что вовсе не служило ей во вред. Хотя только десятью годами моложе баронессы, она была ее крестница, не расставалась с нею никогда и даже присутствовала при уроках, когда та еще училась. Итак, молодая служанка имела образование гораздо выше своего положения и знала несколько иностранных языков, между прочим английский, на котором говорила бегло. Не против нее, следовательно, баронесса принимала осторожность. С какой же целью приглашала она Жейера говорить по-английски и за столом велела служить именно Лилии, которая одна из всех ее слуг мог-

ла понимать их? Тайну эту баронесса еще хранила в глубине души.

— Сядемте за стол, любезный господин Жейер, — весело сказала она, — суп подан.

Лилия не могла скрыть движения изумления, украдкой подмеченного банкиром.

«Ладно, — подумал он, обманувшись относительно причины невольного движения девушки, — вот любопытство-то удовлетворено и не будет, а плутовка, верно, собиралась слушать, что мы будем говорить».

Сначала ели молча. Жейер, который буквально умирал с голода; ел и пил на славу. Баронесса улыбалась, глядя, как он с пылом, который, по-видимому, не мог остыть, трудился над блюдами, и обильными, и вкусными. Однако самый ненасытный голод наконец утоляется; настала минута, когда банкир, заморив червячка, вспомнил, что молчать долее невежливо, и поспешил извиниться.

— Простите мое обжорство, баронесса, — сказал он, ставя на стол только что осушенный им стакан, — мне, право, совестно объедаться таким образом. Вы едва отвеживаете вашими очаровательными губками поставленные перед вами блюда, и вам должно казаться, что я веду себя как человек без всякого воспитания, просто как мужик.

— Нисколько, любезный господин Жейер, я понимаю, что вы проголодались во время вашего тяжелого пути в горах, и нахожу естественным, что вы утоляете этот голод, сидя за столом, довольно обильным.

— Благодарю, баронесса, вы ловко умеете обходить неприятные вопросы; но позвольте полюбопытствовать, как вы устраиваетесь, что в этой пустыне у вас такие роскошные пиры?

— Не смейтесь надо мною, любезный господин Жейер, не так приняла бы я вас, если б знала наперед, что вы будете моим гостем. Вы знаете лучше кого-либо, сколько я вынуждена ездить, что ж удивительного, если я принимаю все меры для доставления себе удобств. Вот уже несколько месяцев, что не выхожу из экипажа, я и устроилась, как могла: карета у меня большая, с множеством больших ящиков, где везется все необходимое для меня, когда я вздумаю остановиться в деревне или городке или если вынуждена, как сегодня например, искать

убежища в первом попавшемся строении, где не достанешь даже стакана воды.

— Я воспользуюсь уроком, который вы мне даете, баронесса, клянусь, впредь я приму меры, чтоб не очутиться в таком критическом положении; знаю я, чем было поплатился за свою оплошность.

— Может ли что сравниться с опытностью, любезный господин Жейер? — вскричала баронесса смеясь. — Вы отлично сделаете, взяв свои меры; но вот уже наш обед и кончен, Лилия подает десерт. Кажется, настала минута потолковать о делах, что вы скажете об этом?

— К вашим услугам, баронесса, добрая беседа всего приятнее завершает превосходную трапезу. Честное слово, я был голоден до изнеможения, я сознаюсь в этом теперь. Отличный ваш обед принес мне величайшую пользу, он совершенно переродил меня, я чувствую себя как бы другим человеком, мысли мои яснее, отчетливее и, главное, веселее. О, бренные мы люди! Какое громадное влияние плоть имеет на дух!

— Вы принимаетесь за философию, любезный господин Жейер.

— Успокойтесь, баронесса, я не позволю себе злоупотребления, да я и редко философствую, разве порою после хорошего обеда. Сегодня я счастлив, очень счастлив. Так дурно начатый день кончается точно *Тысяча и одна ночь*, недостает только...

— Кофе и сигар, — перебила баронесса улыбаясь. — Будьте покойны, любезный господин Жейер, эти две необходимые принадлежности всякого порядочного обеда явятся в свое время.

— Право, баронесса, вы меня смущаете вашим вниманием, я не знаю, как...

— Полноте, любезный господин Жейер, вы шутите, ведь я только исполняю долг хозяйки дома, вот и все. А наконец, кто знает, не имею ли я намерения пленить вас? — прибавила она с очаровательной улыбкой.

— Что до этого, баронесса, то дело сделано, я заранее признаю себя побежденным: вы видите во мне раба, готового повиноваться вам во всем, что бы вы ни пожелали приказать.

— О! Я не буду требовательна...

— Напрасно, вы вправе требовать всего.

— Знаете ли, что я очень беспокоилась на ваш счет?

— Как же это, баронесса?

— Сколько времени о вас не было ни слуху ни духу!

Никто не знал, куда вы девались.

— Ага! — сказал он, слегка покраснев.

— Без господина Поблеско я и до сих пор не имела бы понятия о роковых событиях, которых вы сделали жертвой.

— Вы видели Поблеско?

— Неделью тому назад.

— И он сказал вам?

— Все.

— Странно, я видел его дней пять назад, то есть после вашего свидания с ним, и он ни слова не проронил о вас.

— Неудивительно, любезный господин Жейер, вероятно, вы давно уже заметили, что Поблеско очень скромный, или, лучше сказать, скрытен. Честолюбие гложет его, и, насколько это возможно, он нагло приписывает себе перед высшими властями успехи, в которых нередко имел долю весьма незначительную.

— В ваших словах много справедливого, баронесса, я не раз удостоверился в этом, будучи сам жертвой подобных его проделок.

— Вот видите. Я приведу вам в доказательство один поступок. Альтенгеймские вольные стрелки, эти воплощенные демоны, которые совсем измучили прусские войска, однако никак не могли быть ни захвачены ими врасплох, ни уничтожены, нашли неприступное убежище среди гор.

— Ведь меня возили туда эти черти, отважившись захватить среди Страсбурга.

— Знаю, они заставили вас заплатить громадный выкуп.

— До того громадный, баронесса, что, не прими я заранее благоразумной меры перевести большую часть моего состояния в Германию, где, слава Богу, давно уже приобрел много поместий, я теперь был бы совершенно разорен; они ограбили меня на несколько миллионов, которых я не успел еще перевести за границу, всю прибыль от некоторых очень выгодных оборотов.

— Боже мой! Несколько миллионов, такую громадную сумму?

— К сожалению — да, баронесса, но я отмщу, клянусь вам, и мщение будет страшное! Все меры уже приняты мною. В этот раз негодяи уже не ускользнут.

— И я хочу отмстить им.

— Вы, баронесса?

— Разве вы не знаете, что разбойники эти чуть было не расстреляли меня, все отняли и довели жестокость до того, что повесили на моих глазах бедного барона фон Бризгау?

— Правда! Бедный барон, ему не посчастливилось! Такой приятный он был собеседник!

— Они повесили его.

— Упокой Господи его душу! Но вернемся, пожалуйста, к Поблеско, баронесса.

— Ваше и его похищение наделало большого шума в Страсбурге; военные власти бесновались, но не знали, что начать. Я поехала к генералу фон Вердеру и вызвалась открыть тайное убежище вольных стрелков.

— И вам, вероятно, удалось, баронесса?

— Удалось, любезный господин Жейер; ненависть изощрила мой ум. Менее чем в пять-шесть дней я узнала все, что требовалась; тогда я сообщила свои сведения господину Поблеско...

— И он присвоил их себе? — с живостью перебил банкир.

— Именно, вся честь открытия осталась за ним, его осыпали похвалами и наградами, а когда я пыталась разъяснить дело, мне засмеялись в лицо. Тем не менее коварство его со мною не привело к тому, чего ожидал Поблеско. Вероятно, заподозрив что-то, вольные стрелки благоразумно ушли.

— Итак, когда обступили гору?..

— Там не оказалось никого, все до единого скрылись бесследно; даже развалины, в которых они так долго находили приют, были разрушены и стали недоступны.

— Я очень этому рад. Поблеско поделом. А вольные стрелки что?

— Вам ведь известно, что за ними гонятся и дня через два, благодаря принятым мерам, надеются покончить с ними. Не разыгрывайте со мною дипломата, любезный господин Жейер, поверьте, я на столько же, если не более вас, посвящена во все, что делается.

— Прекрасная дама...

— Тут речь не о любезности, но о делах, и очень важных. Хотите вы помочь мне в моей мести, дабы я содействовала вашей? Я готова на такой союз, и теперь мы непременно добьемся успеха, положитесь на мое слово. Женщины сильнее мужчин в деле мести, если хотите знать.

— Это справедливо, баронесса. Я согласен, говорите, что мне делать.

— Бросить хитрости и говорить прямо.

— Очень охотно.

— Куда вы едете?

— В Жироманьи.

— А оттуда?

— Не знаю, это будет зависеть от обстоятельств.

— Где находится в настоящее время Поблеско?

— У самого неприятеля. Разве вы не знали этого, баронесса?

— Ну, я вижу, что теперь вы говорите откровенно, а когда так, повторяю, мы добьемся успеха, не только отмстим тем, кого ненавидим, но еще и Поблеско, который, постоянно обманывая, делал из нас ступени для достижения богатства и почестей, которых жаждет. Взгляните-ка на это, — прибавила она, показывая ему письмо в довольно большом конверте, который вынула из-за лифа.

— Почерк графа Бисмарка! — вскричал Жейер в глубоком изумлении.

— И полномочие действовать по моему усмотрению.

— Приказывайте, баронесса, я принадлежу вам душой и телом.

— Вот таким-то я и хотела вас видеть! Мы сыграем теперь последнюю партию, где вам надо вернуть проигранное.

— Я безусловно буду повиноваться вам, клянусь!

— И будете молчать?

— Как могила.

— Хорошо, я полагаюсь на ваше слово. Как видите, день кончается для вас лучше еще, чем вы полагали; но становится поздно, пора разойтись; завтра вы получите от меня последние инструкции.

— Я исполню их в точности, что бы там ни вышло, — отвечал банкир, вставая.

— Так я и рассчитываю. Подкрепите себя сном, утро вечера мудренее, до завтра.

Она позвонила, и вошел слуга.

— Посветите, — сказала она ему.

Жейер почтительно поцеловал руку баронессы и ушел, предшествуемый лакеем, который нес впереди него канделябр.

— Теперь он у меня в руках, — сказала баронесса, как только осталась одна с Лилией, — я надеюсь, с Божьей помощью, иметь успех!

Спустя минуту она прибавила:

— Малютка, помоги мне лечь, в эту ночь все предвещает мне отличный сон.

Коварная, как волна

Когда баронесса легла в постель, она знаком подозвала к себе Лилию и шептала ей на ухо минуты две, но так тихо, что молодая девушка едва расслышала слова. Когда крестная мать ее замолчала, Лилия поднялась, кивнула головой в знак согласия, или, вернее, повиновения, и вышла из комнаты.

Оставшись одна, баронесса взяла книгу со стола, поставленного у изголовья кровати, раскрыла ее, облокотилась на подушку, голову подперла рукой и стала читать.

Отсутствие Лилии продолжалось долго, около часа; наконец она вернулась с улыбкой на лице.

Баронесса прервала чтение и подняла голову.

— Ну что? — спросила она.

— Юлиус свел господина Жейера в комнату верхнего этажа с окном во двор.

— Очень хорошо, малютка, а дальше?

— Я исполнила ваши приказания, крестная. Перед тем как лечь, господин Жейер спросил выпить чего-нибудь; Юлиус приготовил ему грог, или, вернее, грог-то приготовила я, так как вы приказали мне, а Юлиус отнес ему.

— Продолжай, девочка, до сих пор все отлично. Я довольна тобою. Что делает теперь Жейер?

— Положил свои револьверы на стол под рукой, он запер, как мог, дверь своей комнаты, с которой снят был замок, потом сбросил с себя платье, наиболее стеснявшее его, выпил грог до последней капли, завернулся в одеяло

и лег полуодетый на постель; теперь он спит глубоким сном.

— Браво, девочка! Все теперь?

— Да, все, крестная.

— Что делают слуги?

— Они караулят, сидя в кухне у огня, пьют и курят.

— Чтоб они не напились.

— Они обещали мне.

— Какая теперь погода? Все еще идет снег?

— Нет, крестная, перестал, и ветер стих, небо усеяно звездами, ночь светлая, но морозит сильнее.

— Ты говорила, надеюсь, слугам, чтоб они ни под каким видом не ложились спать?

— Говорила, крестная, они поочередно будут дремать на стуле.

— Отлично, постели себе постель в этом углу и ложись, девочка, но смотри не раздевайся совсем, а главное, не забудь запереть дверь.

— Разве вы опасаетесь чего-нибудь, крестная?

— В таком месте, где мы находимся, благоразумие велит постоянно быть настороже — нельзя знать, что может случиться с минуты на минуту, когда всего менее ожидаешь. Торопись лечь, девочка, я сейчас засну.

— Доброй ночи, крестная.

— Поцелуй меня, малютка, и спи хорошо.

Баронесса закрыла книгу, положила ее на стол и сомкнула глаза.

Девушка постлала себе в углу, заперла дверь изнутри, задула свечи и, как приказала ей баронесса, почти одетая бросилась на свою постель.

Комната освещалась только порой вспыхивающим в камельке пламенем; глубокое, ничем не нарушаемое безмолвие царствовало снаружи.

В доме все спало или казалось спящим.

Ночью в деревнях слышны то пение петуха в ранний час утра, то лай собак на луну, то бой церковных часов вдалеке — словом, смутные и необъяснимые звуки, изобличающие жизнь, которые производит человеческий рой, когда погружен в сон. Но в этой брошенной деревне, среди снежной пустыни, где не было живого существа нигде, кроме единственного дома, мертвая и мрачная тишина ложилась на душу тяжелым гнетом и походила на безмолвие могилы.

Так протекло несколько часов в полном спокойствии, однако часам к трем утра треск зажигательной спички раздался в комнате баронессы фон Штейнфельд.

— Вы нездоровы, крестная? — тотчас спросил с живейшим участием серебристый голосок маленькой Лилии.

— Вовсе нет, дитя, — ответила баронесса, зажигая одну за другою свечи канделябра, стоявшего на столе, — я выпалась и потому встану.

Лилия уже вскочила на ноги и совсем была одета.

— Помогите мне, — сказала ей баронесса.

Молодая девушка повиновалась, потом помешала в камине, где огонь почти потух, но вскоре взвился кверху ярким пламенем.

— Сходи-ка в кухню посмотреть, что там делается, и скажи Иоганну, чтобы он дал лошадям овса.

Молодая девушка вышла, а баронесса, кончив одеваться, зябко закуталась в большую шаль.

— Уж успела вернуться? — сказала она входящей Лилии. — Как нашла ты наших караульных?

— В совершенном порядке, крестная, они спали поочередно и теперь вполне свежие.

— Знаешь ты, где комната господина Жейера?

— Знаю, крестная.

— Можно туда пройти так, чтобы не видали люди?

— Очень легко.

— Так води меня.

— Без огня?

— Разумеется, разве недостаточно светло, чтобы пробраться?

— О! Конечно, луна так светит, как будто белый день.

— Пойдем скорее, нельзя терять времени.

Они вышли и стали красться по темным коридорам, словно две мышки, трусившие на поиски ужина.

Поднявшись на довольно крутую лестницу, они прошли длинный коридор, по обе стороны которого были двери, по большей части полурастворенные, и Лилия остановилась перед самой последней. Эта дверь была затворена, и за нею раздавалось громкое храпение.

— Наш приятель спит хорошо, — с насмешливою улыбкой заметила баронесса.

— О! Нечего опасаться, чтоб он проснулся, — возразила молодая девушка с серебристым смехом.

— Тише, — остановила ее баронесса, — войдем.

Они толкнули дверь, но та не подавалась.

— Уж не заперся ли он? — с досадой сказала баронесса.

— Нет, крестная, замка нет в дверях. Он, должно быть, припер ее чем-нибудь изнутри, попробуем еще.

— Попробуем.

Они удвоили усилия, и на этот раз дверь подалась, сперва немного, а потом вдруг распахнулась настежь и вместе с тем раздался громкий стук: это с грохотом упала на пол палка, которой Жейер припер дверь.

Обе женщины в испуге притаились в самом темном уголке коридора, сдерживая дыхание и прислушиваясь.

Но опасение их оказалось напрасным: глухой храп не умолкал. Должно быть, сон банкира был очень крепок, что он не проснулся при таком грохоте.

Совершенно успокоенные, обе женщины вернулись на цыпочках и вошли в комнату.

Банкир не позаботился завесить свое окно, и лучи месяца, тогда почти полного, свободно проникали в комнату, освещая ее ярким и вместе холодным, бело-голубоватым светом.

Жейер лег совсем одетый на приготовленную ему постель из соломы. Одеяло, в которое завернулся, он сбросил с себя, и под расстегнутым жилетом был виден широкий сафьяновый пояс.

Баронесса улыбнулась с довольным видом.

— Помоги мне, малютка, — сказала она Лилии.

— Что мне делать, крестная?

— Осторожно приподнять его за туловище.

— А если он проснется?

— Не проснется, скорее! — прибавила она резко.

Молодая девушка повиновалась. Жейер был широкоплеч и тучен, только с величайшим трудом удалось наконец девушке приподнять его.

Не теряя минуты, баронесса расстегнула пояс и спрятала его под шаль.

Лилия тихо опустила спящего на прежнее место, а тот не переставал храпеть.

— Все равно, — пробормотала резвушка, — этому почтенному господину теперь должен сниться странный сон.

В это время баронесса осматривала карманы пальто банкира, брошенного на стул; она овладела большим бумажником.

— Возьми канделябр и ступай за мной, — сказала она служанке.

Они вышли и тихо приперли дверь.

— Пойдем в эту комнату, — продолжала баронесса, указывая на ближайшую к той, где спал банкир. — Зажги свечи.

Когда дверь за ними была притворена и канделябр с зажженными свечами стоял на камине, баронесса открыла бумажник и осмотрела с напряженным вниманием каждый листок. Бумажник заключал множество бумаг всякого рода, не говоря о пачке банковых билетов; но, вероятно, в этих бумагах баронесса отыскивала какие-нибудь особенные, которых не находила, и очень была этим раздосадована. После продолжительного и тщательного осмотра, который не увенчался успехом, баронесса аккуратно уложила опять в бумажник все бумаги в том же порядке, в каком они лежали; она знала, с какой заботливостью банкир хранил свои счета и документы, и прилагала все старание, чтоб не сделать промаха и не дать ему заметить похищения.

— Тут ничего нет, — сказала она с досадой, положив бумажник на каминную доску, — посмотрим пояс, вероятно, я там найду, что ищу.

Желтого сафьяна пояс, отличной работы, запирался замком, которого микроскопический ключ лежал в одном из отделений бумажника. Баронесса увидела этот ключик и отложила в сторону, угадав его употребление. Она вложила его теперь в замок, легко повернула, и пояс отомкнулся.

В нем оказались золото, бумаги и пачки банковых билетов.

— Этот человек сущая золотая бочка, — прошептала она, — при нем более чем на два миллиона ценностей. Где он наворовал это? Какая страшная пиявка!

Говоря таким образом, она развертывала бумаги и пробегала их глазами. Теперь поиски ее продолжались недолго и увенчались полным успехом. Она отобрала четыре бумаги и спрятала их за лиф с невыразимой радостью; надо полагать, что они имели для нее важное значение.

— Хитер этот молодец, как он ни мужиковат, — бормотала она, — искусно были спрятаны бумаги, никто не угадал бы тайника, не сделав того же, что я сделала. Теперь он в моих руках, что бы ни было. Не мне уж опасаться его, а ему меня.

Баронесса уложила банковые билеты и бумаги в прежнем порядке, потом заперла замок и ключик положила в бумажник.

— Ну, вот и все! — вскричала она. — Погаси свечи, малютка, и вернемся к нему скорее довершить начатое так успешно.

Они вышли из комнаты и направились к той, где находился банкир.

Он спал все таким же мертвым сном.

— Вот спит-то! — шепотом сказала девушка, ставя канделябр на место, где взяла его, между тем как баронесса опускала бумажник в карман пальто. — Какую же тягость он почувствует после такого крепкого сна, когда наконец проснется.

— Молчи, болтунья, — остановила баронесса, — и помогай мне, мы оставались здесь уж чересчур долго.

Молодая девушка немедленно исполнила приказание.

Пятью минутами позднее банкир уже лежал опять в поясе, не ведая ничего.

Тогда баронесса вышла из комнаты с своей камеристкой, но величайшее затруднение состояло в том, чтобы опять припереть дверь палкою изнутри. Благодаря стараниям и терпению, однако, это удалось так, что, не будучи колдуном, Жейеру при пробуждении никак нельзя бы угадать, что происходило во время его сна.

К тому же он ведь был под дружеским кровом и полагал, что ему опасаться нечего, даже бумажник оставил в кармане пальто, разумеется, он не подозревал измены.

Баронесса счастливо вернулась к себе, не замеченная слугами, любопытства которых имела основание опасаться, хотя на верность их рассчитывать могла вполне. Что касалось Лилии, то она уверена была в ее преданности и знала, что с этой стороны ей бояться нечего.

Первою заботой баронессы при возвращении в свою комнату было так спрятать драгоценные бумаги, которыми она успела овладеть, чтобы никто отыскать их не мог.

Исполнив же это, она села у камелька согреться, так как страшно озябла.

Она заставила пробить свои часы с репетицией — оказалось половина шестого; поиски ее длились более двух часов.

— Малютка, — обратилась она к Лилии, — когда ты сложишь постель и уберешь немного комнату, займись завтраком.

— Вы сегодня уедете из этой деревни, крестная?

— Разумеется, дитя, уж не жаль ли тебе с нею расстаться?

— О, нет!

— Так поторопись приготовить нам завтрак, я хочу выехать рано. Скажи людям, чтобы все укладывали, однако мне прежде надо одеться. Ступай, крошка.

Молодая девушка вышла, а баронесса занялась своим туалетом с тщанием, которое дамы всегда прилагают к этому важному делу, если есть мужчина налицо, хотя бы они ни малейшего не имели желания нравиться ему.

Кончив одеваться, баронесса позвонила. Был уже восьмой час. Явился слуга.

— Проснулся господин Липман? — спросила она.

— Он еще не звал меня, баронесса.

— Унесите эту кровать и все, что более не понадобится, мы отправимся тотчас после завтрака.

Слуга принялся с обычным проворством и безмолвием выносить из комнаты все, что не было в строгом смысле необходимо, как приказала ему баронесса, потом он подложил дров в камин, накрыл стол для завтрака и, так как начинало светать, снял с окон пледы.

Между тем баронесса углубилась в свои мысли.

Но в это утро они казались гораздо менее печальны, чем накануне, порой даже улыбка загадочного выражения раскрывала ее очаровательные губки.

Когда слуга все вынес и уложил, он вернулся опять.

— В котором часу прикажете подавать завтрак? — спросил он.

— Завтрак готов?

— Точно так.

— Погода какова?

— Холодно, но ясно.

— Кстати, проснулся господин Липман?

— Нет, кажется, баронесса.

— Странно! Который же час? — прибавила она, взглянув на свои часы, настоящее образцовое произведение Жанисэ. — Около девяти, и он все еще спит. Пойдите разбудите его от моего имени, и чтобы он поторопился, скажите, что я жду его, чтоб сесть за стол; завтрак вы подадите, только когда он сойдет. Ступайте.

Юлиус вышел.

— Вот крепкий-то сон! Мне сдается, что шальная Лилия всыпала чересчур сильную дозу, — с плутовскою улыбкой пробормотала про себя баронесса, оставшись одна.

Около получаса прошло, а Жейер все не появлялся.

Баронесса начинала тревожиться не на шутку и хотела уже позвонить, чтоб осведомиться о нем, когда он наконец явился.

Банкир, бледный, с расстроенным видом и черными кругами около глаз, как будто не совсем проснулся и с трудом скрывал ежеминутную зевоту.

— Идите же наконец, любезный господин Жейер, — сказала баронесса, смеясь и подавая ему руку, которую банкир почтительно поцеловал, — какой вы отчаянный соня! Мы тут все на ногах с шести часов утра, а вы спите себе как сурок, ни о чем не заботясь, хотя уверяли меня, что очень торопитесь продолжать путь. Садитесь-ка против меня, мы сейчас примемся за завтрак, дабы скорее выехать.

— Вы крайне любезны, баронесса, — ответил банкир, садясь на место, которое указала ему хозяйка, — признаться, я не понимаю, что со мною происходит. Вообще я не сонлив от природы; и зимой и летом я встаю в четыре часа утра и в пять сижу уже за делом. Представьте же себе, что вчера, когда я расстался с вами, меня неодолимо стало клонить ко сну. Едва я успел лечь, как заснул, и, не разбудив меня ваш лакей, я думаю, прости Господи, что спал бы до сих пор. Всего удивительнее, что этот продолжительный, этот мертвый сон не только не подкрепил, но еще, напротив, страшно утомил меня. Я совсем разбит.

— Я нахожу это вполне естественным после приключения с вами вчера, любезный господин Жейер. Оно сказалось на вас, вот и все. Это нездоровье пустое и скоро пройдет. Будьте покойны, после завтрака вы совсем оправитесь.

— Да услышит вас Бог, баронесса! Признаться, я чувствую себя очень нехорошо.

— Все пустое, говорю вам, — и она сказала по-немецки, так как разговор ее с банкиром происходил на английском языке: — Подавайте, Юлиус.

Принялись за завтрак, он был отличный и вкусно приготовлен.

Предсказание баронессы оправдалось: недуг Жейера вскоре прошел от подвигов его исполинского аппетита, несколько стаканов доброго вина довершили излечение. Он перевел дух как тюлень.

— Ах! — вскричал он. — Я чувствую себя теперь гораздо лучше, я буквально оживаю, баронесса!

С этими словами он весело осушил свой стакан.

— Я была уверена в этом, — ответила баронесса с пленительною улыбкой, — для человека, подобно вам привыкшего ко всем удобствам жизни, ничто не может быть ужаснее, как лежать на соломе, полуодетым и в комнате, где ходит ветер, особенно после того, что вынесли вы вчера.

— Вы правы, баронесса, и потом, надо сознаться, я уже не молодой человек, хотя еще не старик. Со всем смирением я признаю, что обязан вам вечной благодарностью за все, что вы удостоили сделать для меня.

— Что же я сделала, любезный господин Жейер?

— Да только спасли мне жизнь, баронесса.

— Я? — вскричала она смеясь.

— И скорее два раза, чем один, считаю долгом заявлять это во всеуслышание.

— Вы шутите.

— Ничуть не бывало, баронесса, век свой я не говорил положительнее, повторяю, вы спасли мне жизнь.

— К сожалению, я должна сказать, что и не думала.

— Та-та-та! Баронесса, говорите что хотите, покориться вы все-таки должны, я твердо буду стоять на своем.

— Пусть же будет так, если вы желаете, только я не вижу надобности упорно возвращаться к этому предмету разговора.

— Ведь я ваш должник, баронесса, и боюсь, что никогда не буду в состоянии поквитаться с вами, если небо не сжадется надо мною и не даст мне возможности оказать вам такую же услугу.

Баронесса громко захохотала, но слегка насмешливо.

— Итак, любезный господин Жейер, вы желаете мне сперва несчастья, чтоб потом отплатить мне за мнимую услугу.

— О! Я далек от подобной мысли, баронесса, я только...

— Послушайте-ка, откровенно говоря, я думаю, что вы не то сказали, что хотели бы, и вообще не совсем уясняете себе, что говорите в эту минуту, — шутливо заключила она.

— Не скрою, что вы отчасти правы, баронесса.

— Успокойтесь же, если вы так жаждете доказать мне вашу признательность, быть может, случай представится скорее, чем вы полагаете.

— Дай-то Бог, баронесса! Разве вы опасаетесь?..

— Я? — с живостью перебила она. — Ничего я не боюсь, но кто может предвидеть будущее, особенно в настоящее время бедствий и переворотов?

— Правда, живешь в постоянной тоске, все ожидаешь, что нагрянет катастрофа.

— Или по крайней мере несчастье; но так как ничему мы помешать не можем, то самое лучшее покориться судьбе. Вы знаете, что я выезжаю тотчас после завтрака?

— И я также, баронесса.

— Стало быть, мы расстанемся, любезный господин Жейер.

— Как расстанемся, баронесса, разве нам ехать не по пути?

— Не думаю, — сказала она странным тоном.

— Почему?

— Просто потому, что мы разъедемся в противоположные стороны.

— Вы разве не к Германии направляетесь?

— С чего вам пришла такая мысль?

— Не знаю, право, простите, баронесса, мне так показалось.

— О! Я понимаю причину этого намека, любезный господин Жейер.

— Намека, баронесса! — вскричал он, подняв голову.

— Вы все забываете, что мы условились говорить прямо. Откровенна одна я.

— Не понимаю, — пробормотал банкир.

— Не понимаете? — переспросила она с язвительной улыбкой. — Так я объясню, если на то пошло, чтоб доставить вам удовольствие.

— Смиренно прошу вас об этом, баронесса.

— Какой-то французский автор, человек большого ума, Бомарше, если не ошибаюсь, сказал лет семьдесят или восемьдесят назад страшную истину: «Клеветайте, клеветайте, что-нибудь все останется от клеветы». Понимаете вы меня теперь, любезный господин Жейер?

— Нет, баронесса, клянусь, что нет.

— Так я объяснюсь еще точнее: меня, любезный господин Жейер, оклеветали гнусным, возмутительным образом.

— Вас? — вскричал он, всплеснув руками. — Не может быть!

— Благодарю вас, — сказала насмешливо баронесса, — но это факт, и оклеветана я была. Кем? Этого я не знаю, или, скорей, знать не хочу, — прибавила она значительно. — Я и не жалуюсь, это было орудие борьбы. Сведения, сообщаемые мною правительству, имели такое важное значение, что должны были мешать некоторым особам, жаждавшим отличиться. Когда я очутилась на берегу Саара, во власти вольных стрелков, приписали измене, что я имела счастье остаться целою и невредимою, тогда как бедного барона Бризгау повесили без дальних околичностей. На меня написали такой донос, что я вызвана была в Берлин дать отчет в моих действиях. Знали вы об этом, любезный господин Жейер? — спросила она с горечью.

— Клянусь Богом, не имел понятия, баронесса. А последствия этого гнусного доноса, если позволите спросить?

— Последствия? Разумеется, я оправдалась в двух словах и посрамила клеветников, в тюрьму не попала, как, без сомнения, надеялись подлые доносчики, а, напротив, была осыпана похвалами и доказательствами благоволения за важные услуги, оказанные Германии, и, сверх того, мне дали особенное поручение к его величеству королю Вильгельму и его могущественному министру, графу Бисмарку.

— Возможно ли, баронесса... такая честь! — вскричал Жейер с волнением.

— Уж не считаете ли вы меня недостойной такого доверия? — возразила она с язвительной насмешкой.

— О, сохрани меня Боже! Напротив, я считаю вас достойной величайших почестей.

— Благодарю, любезный господин Жейер. Как видите, я вполне откровенна.

— Еще бы! Разве я когда-либо сомневался?

— Гм! Мне казалось.

— К сожалению, баронесса, при настоящих критических обстоятельствах нельзя достаточно быть осторожным.

— С некоторыми людьми — да, но есть и такие, относительно которых откровенность необходима. Итак, повторяю, я еду из Берлина; то есть еду выражение не совсем верное: я с месяц в Эльзасе, объезжаю всех наших агентов, сговариваюсь с ними и подготавливаю почву ввиду скорого присоединения. Для вас не новость, полагаю, что присоединение Эльзаса и Лотарингии уже решено?

— Оно решено было еще до войны, баронесса, это присоединение и есть настоящая причина борьбы, возмездие за Йену и раздел Пруссии Наполеоном I в 1806-м. Мне также даны были инструкции на этот счет.

— Я вижу, что мы понимаем друг друга; к несчастью, это насильственное присоединение, я боюсь, будет плохой политикой. Эльзасцы вовсе не считают немцев своими соотечественниками, напротив, они ненавидят их от всего сердца. Они французы в душе и утверждают, что останутся ими наперекор всему. Вот впечатление, какое я вынесла из моих разъездов, и считаю его верным. Пока сила будет на стороне Германии, она сохранит эти провинции за собою, но разоренные эмиграцией и постоянно враждебные всякому внушению или побуждению со стороны пруссаков. Словом, по моему мнению, Эльзас и Лотарингия будут прусскою Польшею.

— К сожалению, это истинная правда, баронесса, прибавьте к этому, что насильственное присоединение двух провинций, проникнутых французским духом и революционными идеями 1789-го, внесет в немецкое население революционное начало и наделает правительству новых хлопот. Напрасно будут укреплять города и строить форты — настанет день, когда мысль, с свойственною ей неудержимою силой, расторгнет самые грозные укрепления, и обрушатся они на тех же, кто строил их, Франция, снова могущественная, не только отнимет у

нас с торжеством эти две провинции, которые всегда оставались ей верными, но и те обширные территории, которыми мы завладели в 1815-м, Пруссия тогда будет побеждена и, быть может, не поднимется более.

— Да, да, все это может случиться, и ранее, пожалуй, чем мы думаем.

— Европа не смеет ничего сказать — она поражена изумлением и ужасом от неслыханных успехов Пруссии, которым не бывало еще примера. Завидуя Франции, она с некоторым удовольствием увидела ее униженною, но внезапное открытие военной силы Пруссии исполняет ее ужаса. Раздробление Франции возмутит ее, потому что Франция необходима для европейского равновесия; мы должны сознаться в этом против воли. По заключении мира Франция вскоре опять соберется с силами: в ней удивительная живучесть, богатство ее, которого она сама не знает, неимоверно, патриотизм, заглушенный двадцатью годами постыдного деспотизма, пробудится с новою силой, чтобы вырваться на Божий свет, и менее чем в два года, пожалуй, нация, которую мы считаем уничтоженною навек, восстанет пред нами могущественнее, дружнее сплотившись, а главное, страшнее для нас, чем до наших завоеваний, так как платить будет за свое унижение грозной местью. Тогда и Европа, опомнившись от своего оцепенения, возвысит голос против присоединения, с ее точки зрения несправедливого и противного всякому народному праву. Из этого возникнут разные осложнения, пробьет роковой час, и Германия тогда только увидит, но уже поздно, какую громадную она сделала ошибку. Как знать, не применится ли к ней неумолимый закон возмездия, и могущество, основанное мечом, не падет ли от меча и не обрушится ли, как власть седанского деспота, в потоках крови и грязи?

— Все это ужасно, любезный господин Жейер, но сделать мы ничего не можем, разве только втайне скорбеть об ослеплении могущественных лиц во главе правления, увлекаемых честолюбием к бездне, куда и мы низринемся вместе с ними. Впрочем, заметки, составленные мною об Эльзасе, заставят, пожалуй, первого министра задуматься. Сведения эти исходят из самых верных источников и несомненно справедливы.

— Не рассчитывайте на это. Они добровольно наложили себе повязку на глаза, ничто не в состоянии поко-

лебать их предвзятой мысли. Итак, баронесса, вы уезжаете из Эльзаса?

— Через час я буду на дороге в Версаль, где меня с нетерпением ожидает и первый министр, и его величество король, которому представит меня граф Бисмарк. А вы куда направляетесь?

— Я, баронесса, еду в Жироманьи, во-первых, а там и далее, может быть, смотря по сведениям, какие соберу об альтенгеймских вольных стрелках.

— Да разве они в той стороне?

— В настоящую минуту они должны быть в немногих милях отсюда.

— Если так, я поспешу отъездом, мне ни малейшей нет охоты снова попасть к ним в лапы, теперь-то они уже не пощадили бы меня.

— Действительно, *non bis in idem*, аксиома права или, лучше сказать, математически верная поговорка, но вы можете успокоиться, баронесса, не придут сюда эти люди, которых вы справедливо опасаетесь.

— Вы уверены в этом?

— Совершенно уверен. Вы говорили со мною откровенно, баронесса, теперь моя очередь отплатить вам тем же.

— Так вы скрыли от меня что-нибудь, любезный господин Жейер? — спросила баронесса с тонкою улыбкой.

— Скрыл, баронесса, но не сетуйте на меня, ради Бога! Я был не прав, вполне сознаю это теперь и потому все выскажу.

— Позвольте вам заметить, что я ровно ничего у вас не спрашиваю, я прибавлю даже, что не расположена вовсе к роли поверенной.

— Ну вот, вы теперь и рассердились!

— Я? Нисколько!

— Да, да, рассердились, баронесса, я очень хорошо это вижу.

— Поступайте как хотите, но помните, что я ничего от вас не требовала.

— Это решено и подписано, баронесса. Но вы говорили, что едете для свидания с первым министром и он представит вас его величеству королю.

— Я еду прямо в Версаль, это правда, любезный господин Жейер.

— Вот в том-то и дело.

— Какое дело?

— Я не так выразился. Это причина и есть, почему я должен все вам высказать.

— А! Почему же?

— Потому, баронесса, что король и граф Бисмарк...

— Взбешены на вас?

— Нет, на генералов, которые командуют войсками в Лотарингии и Эльзасе.

— За что, спрашивается?

— Видите ли, баронесса, генералы эти обвиняются королем и его министром в вялости и бездействии относительно вольных стрелков, которые опустошают край, им ставится в укор, что, располагая значительными силами, эти начальники ее умели избавить страну от такого бича.

— Говоря по правде, это странно.

— Несколько дней назад из Версаля пришло строжайшее предписание покончить с негодяями какими бы средствами ни было.

— Какими бы ни было?

— Да, эти слова стоят в депеше, а между тем все отряды, разбросанные до сих пор в горах, по-видимому, соединились в один и выбрали себе одного главного начальника.

— Известно ли вам имя его?

— Разумеется, баронесса, к тому же я знаю его лично, да и вы также, потому что были у него в плену.

— Я? Как его зовут?

— Мишель Гартман. Это бывший батальонный командир зуавов, черт суший, в которого головорезы, отдавшиеся под его команду, веруют как в Бога. И делает он с ними чудеса! До сих пор он разбивал все войска, которые посылались против него.

При имени Мишеля Гартмана баронесса слегка покраснела, но эта мимолетная краска мгновенно исчезла.

— Я все не пойму, в чем могу вам быть полезна, любезный господин Жейер.

— Постойте, постойте, баронесса, — с живостью перебил он, — вы понимаете, что подобное положение длиться не может. Плохо вооруженные мужики не в силах долго противиться регулярному, непобедимому войску. Все меры приняты, чтоб тайно окружить вольных стрелков как бы громадной сетью. И в их числе мы

имеем агентов, на которых можем полагаться и присутствия которых в их рядах они не подозревают. Мы извещены о малейших их движениях. Теперь они принимают меры для отступления в эту сторону, и их не тревожат, чтоб они считали себя в безопасности. Но в эту именно минуту, когда они вообразят, что ушли от нас, мы захватим их почти без боя. Повторяю, все меры приняты, и меры хорошие. Завтра вечером я должен видаться с Поблеско в окрестностях Жироманьи.

— Так Поблеско замешан в этом деле?

— Он всем и управляет, он придумал план чрезвычайно замысловатый, я должен сознаться, а главное, чрезвычайно простой.

— Какой же это план?

— Вот видите ли, баронесса, я знаю только общее, подробности Поблеско не выдаст никому, а вам известно, умеет ли он молчать. Быть может, я кое-что угадал.

— Кое-что?

— Но открыть этого не могу, — продолжал он, сделав вид, будто не слышал восклицания баронессы.

— Даже мне? — спросила она не без намерения.

— Гм! Это дело щекотливое.

— Так я не настаиваю, — сухо возразила она, — какое мне дело до этого, только я рада удостовериться еще раз, как велико ваше доверие ко мне.

— О! Баронесса, я верю вам, как самому себе...

— Но, — перебила она насмешливо, — справедливо думаете, что хранить тайну еще лучше. Бросим этот разговор, любезный господин Жейер, и я знаю, что мне, по приезду в Версаль, следует ответить графу Бисмарку, когда он станет расспрашивать меня о знаменитых альтенгеймских вольных стрелках, которых не может истребить целое войско, несмотря на ваше содействие и распоряжение Поблеско, этого тонкого и хитрого дипломата.

— Вы меня истинно приводите в отчаяние, баронесса. Бог мне свидетель, что я желаю сообщить вам все сведения, потому что ваше удостоверение было бы в высшей степени драгоценно, но я не знаю, как быть.

— Кто вас просит? Интересовалась я этими подробностями для вашей же пользы. Надеюсь, вы понимаете, что для меня все это не имеет почти никакого значения.

— Знаю как нельзя лучше, баронесса, но, несмотря на сильное мое желание удовлетворить вас, то, что я

угадал или полагаю, что угадал, основано на таких неопределенных данных, что я не вижу, каким способом мне сделать это понятным для вас.

— Уж не шарада ли это? — вскричала со смехом баронесса.

— Не смейтесь, баронесса, вы ближе к истине, чем полагаете. Приблизительно это так и есть.

— Вы шутите.

— Нисколько, клянусь вам.

— Так кто мешает вам предложить мне разгадать эту загадку? Пожалуй, мне и удастся.

— Я приискиваю слова, баронесса. Подумайте, что мне надо объяснить вам то, чего я сам хорошенько не понимаю.

— Уж будто бы?

— Клянусь честью, баронесса. Вы знаете по опыту, как скуп Поблеско на слова и как маскирует в куче околичностей то небольшое, что заблагорассудит выдать своим помощникам о планах, им задуманных и успеху которых эти же помощники должны содействовать. Теперь он был таинственнее, чем когда-либо; план, о котором идет речь, чуть что не двойной.

— Двойной, это что значит?

— Да то, баронесса, что Поблеско трудится в одно и то же время и для короля, и для себя.

— То есть?

— То есть что он смертельно ненавидит не только Мишеля Гартмана, сыгравшего, впрочем, и со мною, и с ним штуку возмутительную, как я докладывал вам...

— Вы мне ни слова не говорили о Поблеско, но все равно, продолжайте, любезный господин Жейер, — перебила баронесса, глаза которой сверкали как молнии, несмотря на ее усилия владеть собою.

— Итак, Поблеско одинаково возненавидел все семейство Гартман и поклялся отомстить ему жестоким образом. Потому-то план его и двойной: он хочет отплатить как альтенгеймским вольным стрелкам, так и...

— Семейству Гартман, — перебила баронесса.

— Совершенно справедливо. И вы можете заключить из этого, с какою осторожностью он должен приступить к делу, чтоб добиться успеха.

— Вполне понимаю, как и то, что, несмотря на очень умеренное сочувствие к самому Поблеско, вы не

колеблясь оказываете ему усердное содействие, имея в виду и собственную месть. Меня наиболее удивляет недостаток доверия к вам с его стороны.

— Ваше замечание вполне справедливо, баронесса. Такое обращение Поблеско, тогда как он знает, что сделал со мною Мишель Гартман, удивляет меня не менее вашего. Потому-то, оскорбленный в моем самолюбии обидным недоверием человека, который не что иное и быть ничем иным не может, как моим сообщником, я приложил все старание, чтоб открыть тайну, которую он упорно от меня скрывает, и если я не успел еще вполне угадать искусно, правда, задуманный им план, все, от вывода к выводу, я узнал столько, что вскоре добьюсь и полного уразумения. Тогда-то я докажу ему, что не так легко, как полагает он, сделать из человека, подобного мне, простое орудие.

— Прекрасно рассудили, любезный господин Жейер, я нахожу, что вы дадите Поблеско остроумный урок, в котором, будь сказано между нами, он сильно нуждается.

— Я горжусь вашим одобрением, баронесса. Однако после предварительного объяснения этого, я приступаю к шараде.

— Хорошо, говорите, я слушаю во все уши. Знаете ли, — прибавила она смеясь, — вы теперь несколько напоминаете древнего Сфинкса, который на дороге к Фивам задавал путешественникам загадки. Занесите же надо мной лапу, грозный Сфинкс, и вещайте; я вся превращаюсь в слух и вместе с тем уповаю на ваше милосердие, что, если я не разгадаю задачи, вы не скушаете меня, как имел обыкновение делать вышереченный Сфинкс, не сбросите меня в какую-нибудь пропасть.

— Успокойтесь, баронесса, я не способен на такие чудовищные поступки с вами, — любезно возразил банкир.

— Это ободряет меня, говорите же.

— Вам известна русская история, баронесса?

— Очень поверхностно, не скрою от вас.

— Но слышали же вы об императрице Екатерине II?

— Об Екатерине Великой я слыхала.

— У нее был любимец...

— Потемкин, все знаю, господин Жейер, говорите же загадку-то.

— Она именно и относится к знаменитому любимцу императрицы Екатерины.

— К Потемкину?

— К нему самому, баронесса. Надо вам сказать, что при Екатерине II покорили Крым.

— Я помню и это, даже у меня осталось в памяти, какую хитрость он употребил во время путешествия государыни по стране, почти совсем пустынной, чтоб представить ее монархине густонаселенною, богатою и процветающею под ее державною десницею.

— Это буквально верно, баронесса.

— Так что же?

— И загадка вся тут...

— Не понимаю.

— Уж будто и не понимаете, баронесса?

— Как! Разве Поблеско...

— Поступает, как Потемкин, да, баронесса, из других побудительных причин, разумеется, и в более скромных размерах, но сценическая постановка совершенно скопирована со знаменитого временщика.

— Да ведь это безумие!

— Не спорю, баронесса, но таков план, задуманный Поблеско. Могу вас уверить, что слова мои в строгом смысле справедливы.

— Впрочем, все возможно. Не изложили ли вы на бумаге результат ваших наблюдений, любезный господин Жейер? — прибавила баронесса, не переставая смеяться.

— Почему вы спрашиваете это?

— Мне мелькнула мысль, безумная не менее плана Поблеско, но посредством которой вы могли бы, если б хотели, блистательно отмстить ему за все его оскорбления.

— Каким же образом, баронесса? Простите мою настойчивость.

— Хотите вы сыграть отличную штуку с милым Поблеско?

— Сильно желаю, баронесса.

— Так это зависит от вас одних. Изложите в нескольких словах то, что сейчас сообщили мне, только не в виде загадки, а в докладной записке, ясной и краткой. По прибытии в Версаль я вручу эту записку первому министру — ведь и я имею повод жаловаться на действия Поблеско, — вас я выдам за единственного состави-

теля проекта, который, по вашим словам и по моему убеждению, неминуемо увенчается успехом; когда же через несколько дней Поблеско, покончив дело, пришлет свои депеши, вы понимаете, как они будут приняты.

— О, мысль ваша блистательна! — вскричал банкир в порыве восторга. — И вы согласились бы оказать мне такую услугу и замолвить за меня слово графу Бисмарку?

— Любезный господин Жейер, — ответила баронесса с пленительным добродушием, — вы всегда старались делать мне услуги. К сожалению, я не могу сказать того же о Поблеско, как вам известно. Положитесь же на меня, я так представляю это дело первому министру, что во всяком случае честь припишется одному вам. Воспользуйтесь немногими минутами, которые остаются до отъезда, чтоб составить вашу докладную записку, главное, повторяю, чтоб она была ясна и сжата.

— Это лишнее, баронесса.

— Вы отказываетесь?

— Напротив, принимаю, но надобности нет писать. При мне проект со всеми мелкими подробностями, который я намеревался отдать завтра Поблеско, чтоб доказать ему...

— И вы обманывали меня, прикидываясь в неведении...

— Смиренно сознаюсь, что покривил душой, — с живостью перебил банкир, — простите мне это кажущееся недоверие, умоляю вас, в уважение к моему раскаянию.

Тут Жейер расстегнул жилет, подпорол в одном месте подкладку, достал из-за нее большой конверт, набитый бумагами, и подал его баронессе.

— Вот полный план со всеми подробностями, баронесса, — сказал он, — теперь я остаюсь без оружия против Поблеско.

— Напротив, никогда лучше вооружены не были и вскоре получите в том доказательство, любезный господин Жейер. Вы раз навсегда отомстите человеку, который хочет возвыситься за ваш счет. Главное, ни слова ему, продолжайте разыгрывать полнейшее неведение, одно неосторожное слово может все уничтожить.

— Я так заинтересован в успехе, что остерегусь подвергнуть его опасности.

Спустя несколько минут банкир ушел готовиться к отъезду.

— Вот кремень-то! — проворчала она, как скоро осталась наедине и пробежала глазами переданный ей Жейером план, — он жид до мозга костей. Кто мог бы предвидеть, что у него в одежде столько разных тайников! Если б ранее пришла мне подобная мысль, я избавилась бы от целого часа скучной дипломатии. План этот, должно быть, верен, подробности так определенны, что иначе думать нельзя. О, ехидна! — прибавила она, сунув конверт за лиф. — Попробуй-ка теперь кусать. Я вырвала у тебя все зубы.

Банкир вернулся проститься с баронессой и еще раз попросить ее порадеть о его интересах.

— Вы скоро услышите обо мне, любезный господин Жейер, — сказала она ему со странным выражением и улыбкой еще страннее, прощаясь с ним на пороге своей комнаты.

Он невольно вздрогнул, и подозрение молнией мелькнуло в его уме. Он посмотрел на баронессу, та улыбалась ему самою очаровательною своею улыбкой — подозрение исчезло. Жейер поклонился и ушел.

Десятью минутами позднее он уже скрылся из виду в изгибах дороги, по которой мул, отдохнув за ночь, бежал бодрым и быстрым шагом.

Мальчуган и Лилия

Пять часов утра пробило на отдаленной колокольне; звуки колокола, повторенные горным эхом, неслись на крыльях ночного ветра и замирали над одною из самых живописных и величественных местностей Эльзасского Балона, освещенной, как среди дня, бледными лучами луны, которая клонилась к небосклону, плывя среди волн беловатых паров.

На одном из скатов горы, со стороны и почти на рубеже Вогезского департамента, вблизи от окраин департаментов Верхней Соны и Верхнего Рейна, простирался обширный лес, которого столетние деревья, покрытые снегом, имели в белесоватом свете луны странный, фантастический вид.

Мертвое безмолвие царствовало в этой громадной пустыне, где, кроме нескольких полуразрушенных хижин дровосеков, вероятно давно брошенных, не было следа человеческой деятельности.

Густой мутно-серый туман медленно поднимался из глубоких долин, сливался и охватывал со всех сторон вершину горы, придавая ей вид острова среди бурных волн Арктического океана.

Едва замерли в воздухе последние отголоски пятого удара колокола, как в чаще раздался крик совы; на крик этот немедленно отозвались таким же криком с разных сторон, точно будто все совы, дремавшие в лесу, мгновенно встрепенулись и стали перекликаться. Через минуту в кустах послышался легкий шорох и человек в

одежде вольного стрелка, с ружьем на плече, вышел на узкую прогалину, скрытую, так сказать, в густой чаще, которая простиралась на довольно большое расстояние и образовывала собою нечто вроде стены, непроницаемой для любопытного глаза.

За первым стрелком показался второй, потом третий, другие еще раздвинули кусты с разных сторон, в свою очередь вышли на прогалину, держа ружья наготове, насторожив уши, зорко оглядываясь вокруг, и вскоре человек пятнадцать молодцов смелого вида окружило того, кто показался первый и на рукаве которого были нашивки.

— Все ли мы? — спросил он.

— Все, сержант Петрус, — тихо ответили стрелки в один голос.

— Недостает одного Оборотня, — прибавил Влюбчивый.

— О нем я не забочусь, — продолжал Петрус, — он сумеет отыскать нас, когда захочет. Прежде всего, ребята, осмотрите-ка вы мне хорошенько это очаровательное место улады, куда так искусно привел нас приятель наш Оборотень. Обшарьте все кусты с величайшим тщанием — и представить себе нельзя, что может скрываться в кусте терновника. Помните, что если, по пословице, и стены имеют уши, другая поговорка гласит, что листья имеют глаза. Итак, внимание!

Вольные стрелки немедленно бросились исполнять с точностью приказание начальника.

Как выше сказано, прогалина была узкая и простиралась далеко по местности слегка покатой, волнистой и усеянной упавшими от старости деревьями, сухие ветви которых покрывали землю; местами глыбы красноватых скал поднимались из земли, иные на довольно значительную высоту. Почти развалившийся шалаш дровосека из переплетенных ветвей прислонен был к гранитной скале метров в десять высоты, у подножия которой из земли бил сильный ключ, быстрою струей стремился вниз по скату горы, образовывал довольно широкий ручей и примыкал далее среди чащи к другим потокам, чтоб великолепными водопадами, с уступа на уступ, окончательно низвергнуться в долину. Теперь ручеек покрывался корою льда, но легко было отличить его извилистое течение, несмотря на снег, да и вода все была из родника и струилась подо льдом.

Пока вольные стрелки исполняли его приказания, Петрус вошел в шалаш и осмотрел его внимательно. Хотя он совсем почти развалился, менее чем в полчаса можно было поправить его и сделать обитаемым; в материалах недостатка не оказывалось.

Не теряя времени Петрус приступил к починке. Первые вольные стрелки, явившиеся к нему с докладом, приставлены были к этому делу на общую пользу; внутри шалаша легко могло уместиться вдвое более того числа людей, которые намеревались приютиться в нем.

Работа закипела. Когда последние вольные стрелки явились с отчетом, что ничего подозрительного не заметили, шалаш уже был исправлен, земля выметена и очищена от разных нечистот, накопившихся со временем, и яркий огонь, разведенный на очаге из нескольких камней, врытых в землю, распространял уже приятную при семнадцатиградусном морозе теплоту.

— Итак, вокруг нет ничего подозрительного? — сказал Петрус, сидя на пне у огня и важно куря свою громадную трубку на длинном чубуке.

— Ничего, сержант, все тихо, мы не отыскивали никаких следов.

— Прекрасно! Но осторожность никогда не лишнее. Поставь-ка, Освальд, четырех часовых в чаще таким образом, чтоб мы были охраняемы со всех сторон. Часовых сменять каждый час — мороз очень силен. Живо, ребята!

Капрал Освальд отобрал четырех человек и вышел с ними.

— Ну, ребята, — продолжал Петрус, — можете варить себе кофе, есть, пить и даже спать; запрещать вам удаляться, полагаю, не нужно: погода не располагает к прогулке, и в окрестностях нет ни одной закусочной, — заключил он со вздохом, протирая стекла очков.

Вольные стрелки засмеялись, и потом каждый занялся завтраком с расторопностью, свойственной солдатам, которые знают, что ежеминутно могут быть оторваны от дела.

Вход завешен был одеялом, и наружный воздух не проникал внутрь шалаша, где уже было тепло.

Капрал Освальд вернулся и отрапортовал, что часовые расставлены и по мере возможности ограждены в чаще от суровой стужи.

Протекло с четверть часа; кофе был готов. Петрус приказал снести его часовым, чтобы они согрелись сколько-нибудь, потом он отложил в сторону трубку, сел верхом на обрубок ствола, расстегнул свою сумку и достал из нее с тем почти благоговейным тщанием, с каким делал все, разные съестные припасы, которые симметрично раскладывал перед собою. Съестные припасы эти были свойства самого скромного, а именно: кусок соленого сала, колбаса с чесноком, остаток ветчины, штук семь печеного, но холодного картофеля и сухая лепешка хлеба, потом он достал, все из той же сумки, оловянную тарелку, ножик и вилку и кожаный стакан.

— Ну вот! — вскричал он, когда кончил эти приготовления. — Теперь поедим. Как бы ни было, — прибавил он, окидывая жалобным взором свои припасы, — всему завтраку цена грош.

— Погодите минутку, сержант! — крикнул снаружи веселый голос. — Мы несем подкрепление к съестным припасам.

Все обернулись при звуке знакомого голоса.

Одеяло поднялось, и Оборотень с Мишелем Гартманом и Паризьеном вошли в шалаш, а впереди них вбежал Том и мгновенно растянулся у огня, от которого вольные стрелки посторонились, чтоб дать место общему их любимцу.

Оборотень тащил на спине четырех зайцев и барана, Мишель держал в руке целую связку кур и уток, а Паризьен бережно нес на плече бочонок и шесть четырехфунтовых хлебов, надетых на саблю.

— Вот вам припасы, товарищи, — сказал Оборотень, сбрасывая с себя ношу.

Мишель последовал его примеру.

При виде такого богатства вольные стрелки испустили восторженные крики. Они не задумались воспользоваться разрешением контрабандиста, и вмиг в шалаше закипела работа: чтобы дело шло быстрее, они разделили его между собою.

Паризьен осторожно опустил на землю свой бочонок в углу, самом отдаленном от огня.

— А тут напиток, — объявил он, — облизываться будете, доложу я вам. Шато-марго, голубчики мои, прошу не шутить. Скажете ли вы теперь, что мы, старые африканские служивые, знаем, где раки зимуют?

Это красноречивое объявление окончательно привело всех в восторг.

Со вздохом облегчения Петрус убрал назад в сумку запасы, которые было тщательно разложил перед собою.

— Хорошее кушанье дело доброе, друг Оборотень, — сказал он, застегивая опять сумку, — но пренебрегать не следует ничем, и в голодное время я рад буду поесть и это сало, и ветчину, и колбасу, и картофель. Ах! — прибавил он самым мрачным голосом, признак, как известно читателю, изобличавший в нем высшую степень удовольствия, — я чувствую, что этот валтасаров пир, устроившийся как по чародейству, принесет мне величайшую пользу. Оборотень, вы человек великий, вы благодетель человечества. Вы вообразить себе не можете, как эти изобильные припасы подоспели вовремя, — я голоден как волк.

— Тем лучше, сержант, тем лучше! — весело ответил контрабандист, внимательно наблюдавший за тем, как готовился завтрак. — Вы окажете больше чести съестным припасам.

Менее чем в час, так торопились вольные стрелки, все было готово, все изжарено в меру, каждый положил себе порцию сам, и трапеза началась при громком веселом говоре и хохоте волонтеров, которые, выходя на прогалину, не воображали, что их ждет такой роскошный пир.

Мишель Гартман, Оборотень, Петрус и Паризьен сидели отдельно; они поместились немного в стороне, кое-как устроив себе стол, пили и ели исправно и разговаривали между собою вполголоса. И вольные стрелки, угадав, что начальники желают говорить о чем-то важном, почтительно удалились на другой край шалаша; они сами занимались приятнейшим делом, до того ли им было, чтоб подслушивать то, чего знать не подобало?

— Признаться, — вскричал Петрус с полным ртом, — прав был Паризьен, утверждая, что старые африканские служивые знают, где раки зимуют! Мастера они отрывать лакомые кусочки, вот оно что! Этот роскошный пир заставил меня помолодеть на шесть месяцев. Он напоминает мне Ребертсау, где мы устраивали такие славные обеды, — прибавил он со вздохом. — Ах, миновало то времечко!

— И опять вернется, — со смехом возразил Оборотень, — известное дело, после дождика даст Бог солнышко! Не сокрушайтесь, сержант, кушайте и пейте сколько в душу войдет.

— Так и делаю, приятель, — ответил Петрус, давая кость Тому, который глядел на него голодными глазами, — но мне хотелось бы знать, где вы произвели эту приятную фуражировку; не худо запомнить место, можно бы и вернуться.

— За кого вы нас принимаете, любезный Петрус? — вскричал Мишель улыбаясь. — Фуражировку эту, как вы называете, мы произвели посредством добрых пятифранковых монет в деревне, расположенной отсюда милях в трех. Мы не грабители...

— В родном краю, — важно заключил Паризьен.

Все захохотали и выпили по стакану доброго вина, принесенного Паризьеном.

— Так здесь есть деревни в окрестности? — осведомился Петрус.

— Несколько разбросано там и сям.

— Закупая эти припасы, которые решительно превосходны, вы, вероятно, и порасспросили кое о чем?

— О многом, ведь для того-то мы и отправились!

— Правда, приятель, ну так что ж?

— Да то, сержант Петрус, — ответил Оборотень, — что полное затишье, говорят, ничего не видно, все тихо в горах, нигде не показывалось ни единого пруссак с рыжими усами, просто можно бы вообразить, что их не существует на лице земли.

— О, о! Это чертовски странно, — заметил Петрус, качая головой, — такая тишина не успокаивает меня нисколько, она неестественна.

— Не правда ли? — сказал Мишель. — Я вполне разделяю ваше мнение, любезный Петрус: такое затишье на поверхности изобличает скрытую под ним измену.

— Так и я понимаю это.

— Я тоже.

— И вы не открыли ничего, ни малейшего признака, хоть бы самого ничтожного, вы, Жак Остер, такой дока разгадывать хитрые уловки наших врагов? — спросил Петрус.

— Ровно ничего. Это усиливает мое беспокойство. Очевидно, что-то есть, но что? При всем старании я не

могу не только понять это, но и приблизительно угадать. Одно несомненно — все делается мастером своего дела с необычайным искусством и ловкостью. Я готов голову прозакладывать, что тут кроются штуки Поблеско.

— Признаться, мы сыграли с ним кровавую шутку, немудрено, если ему смертельно хочется отплатить нам тою же монетою.

— Надо держать ухо востро, стыдно бы потерпеть крушение в гавани, — сказал Мишель задумчиво. — Дня в два, самое большее, мы будем ограждены от всякой опасности; долг велит нам принять усиленные меры осторожности. Я убежден, что между нами закрались шпионы, которые извещают неприятеля о всех наших движениях.

— Это должно быть, — ответил Петрус, — но как прикажете открыть шпионов-то?

— Откроем с помощью Божией. Главное, не дремать и зорко смотреть за всем вокруг; слово, движение могут разоблачить нам истину.

— К несчастью, наша позиция на левом фланге колонны, которой мы служим разведчиками, невыгодна для того, чтобы действовать как следует; мы не можем подходить достаточно близко и знать все, что там происходит.

— Сегодня вечером, когда мы остановимся на ночь, я распоряжусь, — сказал Мишель, — нельзя долее слепо идти вперед. Тем хуже для тех, кто обидится, общая безопасность требует, чтоб немедленно приняты были решительные меры.

Говоря таким образом, он переглянулся с Оборотнем.

— Позвольте вы мне сделать замечание, командир? — спросил Оборотень.

— Говорите, друг мой, вашими замечаниями я всегда дорожу.

— Вы, вероятно, рассчитываете остановиться на ночь в Севене?

— Разумеется, положение этой деревни представляет большое удобство для обороны, там мы будем в полной безопасности и легко можем отбиваться, охраняя женщин и детей, стариков и раненых, которые с нами. Впрочем, мы останемся там несколько часов всего.

Оборотень покачал головой.

— Кто знает? — возразил он.

— Как кто знает? — вскричал Мишель. — Мы выступим завтра с рассветом, это верно. В особенности теперь нам останавливаться нельзя, идти надо во что бы ни стало.

— Так-то так, командир. А касательно Севена я должен сознаться, несмотря на его сильную позицию, или, лучше сказать, из-за нее именно, селение это мне подозрительно.

— Объясните лучше, приятель.

— Вы позволяете?

— Прошу, положение наше так опасно, что я не могу пренебрегать никакими сведениями, даже и пустыми, а то, что сообщите вы, уж наверно не лишено значения.

— Положительного я ничего сказать вам не могу о Севене, командир, хотя давно и хорошо знаю его; со времени войны я не был там. Я просто хочу представить на ваше обсуждение общие данные, которые считаю важными и, надеюсь, приняты будут вами в соображение.

— Говорите, друг мой, я слушаю вас с величайшим вниманием.

— Что я скажу вам, командир, быть может, ничего, а может быть, и много. Впрочем, судите сами.

— Именно, говорите.

— Итак, командир, я доложу вам, что жители Севена неотесанные горцы, честные, преданные Франции, которую боготворят, но грубые, вспыльчивые, дерзкие, по большей части контрабандисты и браконьеры, ига никакого не терпят и вечно в ссоре с местными властями; но они привязаны к своей бедной земле до того, что не могут терять из виду колокольню родной деревни даже на неделю. Ведь это смешно, командир, почва-то не производит ничего путного, а между тем я верно вам докладываю. Не было такого, чтоб когда-либо уроженец Севена переселился в другой край. Вы понимаете меня, командир?

— Да, да, продолжайте.

— Намедни я отправился по вашему приказанию в Кольмар, ведь вы изволите помнить?

— Отлично помню.

— Каково было мое изумление, когда первый мне встретился на улице, едва я сошел с тележки, не кто иной, как Даниэль Рааб, старик лет семидесяти, уроже-

нец Севена, который часто похвалялся при мне, что никогда не выходил из родимых гор и не имеет понятия, что такое город. Вы понимаете, что я был поражен, увидав Даниэля Рааба на улице Кольмара.

— Оторопел вконец, знаем это! — вставил Паризьен, выпустив громадный клуб табачного дыма.

— Действительно, это должно было показаться вам странно, — согласился Мишель.

— Да так, что в первую минуту я не хотел верить и шел дальше в убеждении, что ошибаюсь, но старик, добрый и давнишний друг мой, также узнал меня, окликнул и спросил, отчего я не заговариваю с ним. Я ответил ему откровенно. Он нахмурил брови, стиснул мне руку и увел к себе: он жил в нескольких шагах от места, где попался мне. Там, облокотившись на стол, с трубкой в зубах и с кружкой пива между нами, он рассказал мне голосом, дрожащим от волнения, отчего оставил Севен и жил в Кольмаре. Я передам вкратце сущность его рассказа. Когда после битвы при Рейсгофене пруссаки обложили Страсбург, жители Севена, по роду их занятий — контрабандой, как вам известно, — лучше кого-либо знали настоящее положение вещей. Они собрались на площади все, даже больные приплелись, едва волоча ноги, и там среди слез и рыданий решено было единодушно, что мужчины, которые в состоянии владеть оружием, примкнут к французскому войску, а женщины, дети и старики будут искать убежища в Везуле, или в Бельфоре, или где бы ни представился им безопасный приют — словом, что деревню надо оставить. На другой день, на заре, решение это было исполнено после заупокойной обедни, отслуженной в церкви старым деревенским священником; все жители поставили себе за честь отслушать ее, и затем выселение началось. Вечером того дня не оставалось ни живой души во всей деревне — жители удалились, унося с собой скудные свои пожитки. Отряхая пыль с ног на пороге опустевших хижин, они клялись, что не вернутся к своим пепелищам, пока будет хоть один иноземный враг на эльзасской почве. Даниэль Рааб не имел духа расстаться с родною стороной, которая для него была дороже отечества, вот потому-то он искал приюта в Кольмаре, откуда мог видеть вдали гору, где родился. Что вы скажете об этом, командир?

— Скажу, любезный друг, что патриотизм этих честных людей достоин удивления и делает им величайшую честь. Однако вы рассказали это не для того только, чтоб передать нам трогательный эпизод из занятия неприятелем нашей несчастной провинции.

— Разумеется, командир, этот эпизод, как вы называете его, ничего нам не представляет особенно любопытного, так как в большей части деревень крестьяне поступили точно так же. И вы не угадываете, почему я рассказал вам все это?

— Признаться, нет еще, мой друг, я прибавлю даже, что вовсе не угадываю, к чему вы ведете речь.

— Странно! А дело-то ведь ясно.

— Для вас, без сомнения, друг Оборотень, но никак не для нас, когда мы ничего не знаем.

— Вы правы, командир, я сдуру воображал, что когда сам себя понимаю, то и вы должны понимать меня с полуслова. Теперь я объяснюсь.

— Послушаем, — сказал Мишель улыбаясь.

— Помните, командир, что вам сказал один крестьянин?

— Говорено было много, как вы сами знаете, когда мы всячески старались собрать сведения.

— Мы закупали припасы, когда крестьянин, у которого мы спросили, в каком доме деревни можно бы запастись водкой, ответил вам: «Здесь у нас нет и капли водки, господин офицер, но если вы пойдете на Севен, как надо полагать, деревню, лежащую немного выше на горе, вы найдете там вдоволь и очень дешево. Жители гонят отличную водку, очень похожую на шварцвальдский киршвассер. Севенская водка славится, не забудьте запастись ею, если пойдете в ту сторону».

— Действительно, я теперь припоминаю, что крестьянин сказал мне это слово в слово, между тем как на губах его была злая усмешка, которая удивила меня.

— Вот он самый и есть, и еще прибавил, говоря о жителях Севена: «Это добрые люди настоящие французы, они хорошо примут вас и ваших товарищей, вероятно оставленных вами где-нибудь поблизости».

— Да, да, и я возразил ему: «Не мешайтесь не в свое дело, почтеннейший», повернулся к нему спиной и ушел.

— Так точно, командир, этот крестьянин и некоторые другие еще в деревне показались мне просто переря-

женными пруссаками, а сведения, сообщенные крестьянином, одно вранье. Никогда жители Севена не гнали водки или какого-либо спирта, да к тому же они целых три месяца уже оставили свою деревню, как я вам докладывал; зная их коротко, я поручусь головой, что ни один не возвращался.

— О, о! Это кажется делом нешуточным, — сказал Петрус.

— Далеко нешуточным, — продолжал Мишель. — Но как добыть сведения, как удостовериться, что ложь, что истина во всем этом?

— В котором часу обоз проедет завтра по той дороге, которую мы караулим? — спросил Оборотень, не ответив на вопрос Мишеля.

— Не ранее двенадцатого часа утра.

— А теперь который час, командир?

Мишель поглядел на часы.

— Сорок минут седьмого, — ответил он.

— Ладно, времени еще довольно. Не тревожьтесь, командир, ведь я отправил моего мальчугана вперед, у выхода из деревни, как вам известно.

— С какою целью?

— Да чтоб сведения же собрать! Мальчуган, изволи-те видеть, везде пройдет, никто его не заметит, никто и остерегаться не будет, ребенка охраняет возраст, а он себе слушает да высматривает, везде сует нос и часто узнает гораздо более, чем можно разведать взрослому, которого каждый шаг на примете.

— Не говоря, что ваш сынишка и маленек, да хит-ренок со своим видом «знать ничего не знаю», — заметил Петрус.

— Чертенюк сущий, весь в почтенного батюшку! — захохотал Паризьен.

— Шутник! — также со смехом ответил Оборотень. — Правда, он парнишка смысленый и расскажет нам всю подноготную.

— Понятно, теперь он высматривает западню, — сказал Петрус.

— Я так и чую ее, — заметил Паризьен и осушил рюмку водки.

— Ничего нельзя решать вперед, — возразил Мишель, — не надо заходить далеко, чтоб не приходилось потом отступать.

— И физически, и умственно, — заключил Петрус, — не так ли, командир?

— Приблизительно, надо выждать верных сведений, прежде чем решить, какого образа действий нам держаться; это не помешает нам быть настороже.

— Капрал Освальд! — позвал Петрус.

— Иду, сержант! — откликнулся молодой человек, подходя.

— Так как вы позавтракали, то возьмите четырех человек и сделайте обход, чтоб удостовериться, все ли в порядке.

Молодой человек поклонился, выбрал четырех волонтеров и вышел с ними.

— Я только что хотел просить вас послать патруль, вы предупредили мое желание, благодарю вас, любезный Петрус.

— Не за что, командир, теперь нам пуще прежнего надо смотреть в оба, я чую измену в воздухе.

— И я, — сказал Мишель.

— То есть так и разит изменой, — подтвердил Паризьен.

— Если они это сделали, — проворчал Оборотень сквозь зубы, — то, надо сознаться, это верх гнусности, из рук вон.

— На что вы намекаете, Оборотень? — спросил Мишель.

Контрабандист тряхнул головою.

— Терпение, командир! Дайте вернуться моему мальчугану — он расскажет нам, что видел, и тогда я узнаю, прав я или нет, до тех пор я предпочитаю молчать — лучшее средство, чтоб не ошибиться.

— Хорошо сказано, Оборотень, и как подобает человеку осторожному, — заметил Петрус. — За ваше здоровье! — прибавил он, чокаясь с ним.

— За ваше, сержант, и много лет вам здравствовать! — ответил контрабандист смеясь.

Потом он залпом осушил свой стакан, и бывший студент добросовестно последовал его примеру.

Протекло довольно много времени.

Мишель Гартман уже встал из-за стола и расхаживал взад и вперед по шалашу с задумчивым видом.

Паризьен растянулся на полу, ногами к огню, и спал, Петрус разговаривал с Оборотнем вполголоса, остальные

же вольные стрелки уже давно все храпели громовым храпом.

Вдруг Том, который лежал возле огня, встал, навестил уши, помахал хвостом и, слегка залавав раза два-три, одним прыжком очутился снаружи.

— Это мой мальчуган возвращается, но он не один, — обратился Жак Остер к Мишелю, который посмотрел на него вопросительно.

— Как же вы знаете это? — спросил Петрус.

— Том мне сказал, — ответил контрабандист с самым серьезным видом.

Опешив от странного ответа, Петрус взглянул на него почти с испугом — он не постигал невидимой связи между собакой и хозяином, в силу которой они понимали друг друга по слову, по знаку.

Мишель опять заходил по шалашу.

Протекло еще несколько минут, потом послышались голоса и шум шагов, наконец одеяло, служившее дверью, было приподнято и несколько человек, один за другим, вошли в шалаш: сперва капрал Освальд, за ним мальчуган с плутовскою рожицей, который на ходу играл ушами своей собаки, а затем прелестная молодая девушка в туземном костюме, зябко кутавшаяся в накидку из простой материи, какие крестьянки носят в Вогезах.

Шествие замыкалось четверьмя вольными стрелками, которые составляли патруль.

За этими разнородными лицами одеяло опустилось снова.

Капрал Освальд подошел к Петрусу рапортовать, а мальчик, все сопровождаемый собакой, подходил в это время к отцу, переглянувшись с молодой девушкой, которая, сильно зарумянившись, робко стояла у двери и не решалась подойти, вероятно от смущения, когда вдруг увидела кучу вооруженных мужчин, признаться, вида довольно страшного.

Оборотень поднял сына своими сильными руками, громко поцеловал его в обе щечки, красные и круглые, как яблочки, потом поставил опять перед собою на пол и глядел на него с наслаждением.

— Так ты уж вернулся, мой мальчуган? — сказал он. — Скоро что-то, знаешь ли.

— О! Батюшка, идти-то было недалеко, — протяжно ответил ребенок, по своему обыкновению.

— Разве ты поручения моего не исполнил? — спросил отец, нахмутив брови.

Мальчик щелкнул пальцами и продолжал, покачивая головой с видом себе на уме:

— Исполнено поручение-то, и хорошо исполнено, будьте покойны, батюшка.

— Ты был в Севене?

— Прямо оттуда теперь.

— Что видел там?

— Прекрасную деревню, полную народа, очень веселого и очень обходительного, это верно; они все смеются, поют, не говоря о том, что они пьют и курят.

Подошедший Мишель значительно переглянулся с Оборотнем.

— Так они хорошо тебя приняли?

— Я ел и пил сколько хотел.

— А на каком языке говорили они между собою?

— Да на французском, батюшка. Это славные люди, ей-Богу, и терпеть не могут пруссаков. Кабы слышали вы, как они чествуют их без умолку, лихо!

— Тебя они не спрашивали?

— Как не спрашивать!

— Что ж они хотели знать?

— И то и другое: скоро ли подойдут вольные стрелки, где они, много всего?

Оборотень опять переглянулся с Мишелем.

— А ты что ответил, малый? Ну-ка говори, — продолжал отец спустя минуту.

Мальчик щелкнул пальцами, подмигнул и наконец решился ответить со смехом:

— Ну конечно, сказал, что не знаю, о каких вольных стрелках они говорят, что я из Жироманьи, отроду не видал вольных стрелков, а потому и знать не могу, где они находятся. Они стали называть меня лгуном и грозили надрать уши, если я не отвечу лучше, а я, не будь глуп, — богатая карета в ту пору выехала вскачь со двора гостиницы на большой площади, все обернулись поглядеть на нее, — я взял да скок за карету и был таков. Они кричать мне вслед, грозить мне ружьями. Я знал, что стрелять не посмеют: ведь могли ранить тех, кто ехал в карете, вот я и прикинулся, будто не слышу, и удрал из деревни таким манером.

— Значит, ничего не выболтал, мальчуган, а, правда?
— Ни-ни! Боже мой, уж и взбесились же они, смех просто. Разумеется, было отчего.

— Все ли теперь, малый?

— О деревне?

— Да, о деревне.

— Все, батюшка.

— А ты как вернулся?

— Да в карете же.

— Как в карете? — вскричал Мишель.

— То есть не совсем в карете, надо говорить правду.

Около часа карета мчалась во весь опор, я не смел сойти, боясь сломать ребра, если попытаюсь соскользнуть наземь; вдруг, когда я не знал, что мне делать, карета остановилась сама собою и красивая барыня высунулась из окна, окликнула меня со смехом и велела подойти.

Выслушав рапорт капрала, Петрус отпустил его, потом закурил трубку и тихо подошел вместе с Паризье-ном к Оборотню и командиру Мишелю. А вольные стрелки между тем подошли к молодой девушке и любовно пригласили ее ближе к огню. Она не заставила просить себя и, поблагодарив их пленительною улыбкой, села, не говоря ни слова, возле самой группы, окружавшей мальчугана. Здесь у огня она внимательно прислушивалась к тому, что говорилось, и слова не пропустила из сказанного.

— Что ж ты сделал тогда? — продолжал Оборотень допрос.

— Да подошел же, батюшка.

— А дальше, что сказала тебе красивая барыня?

— И-и! Как много разного такого, только я не смогу рассказать, — ответил мальчик, отчаянно почесав в затылке.

— Разве не припомнишь?

— Ничего не забыл.

— За чем же дело стало?

— Да путается больно в голове, батюшка, и ей-Богу, я не знаю, как повторить.

— Попробуй-таки.

— Отчего не попробовать, только, пожалуй, вы меня все равно не поймете.

Молодая девушка встала, подошла к группе и, грациозно поклонившись, сказала:

— Если желаете, господа, я готова удовлетворить ваше любопытство и передать вам то, что бедный мальчик не знает как рассказать.

— Кто вы, молодая девушка? — спросил Мишель, после того как пристально всматривался в нее с минутой.

— Молодая девушка, сударь, — ответила она с легким оттенком насмешливости, — молодая девушка, которая прислана к вам, если не ошибаюсь, с важным поручением.

— Ко мне? — с движением изумления вскричал Мишель. — Это удивляет меня — насколько мне известно, я не имею чести знать вас.

— Вы действительно меня не знаете, но того нельзя сказать о лице, от которого я к вам прислана.

— Стало быть, вы в самом деле присланы ко мне?

— Иначе зачем бы я была здесь? — вскричала она, смеясь и зардевшись как маков цвет.

— Правда, — сказал офицер, — я сам не знаю, что говорю. А кто же прислал вас ко мне?

— Сейчас узнаете, сударь, если вам угодно будет выслушать меня; я вовсе не имею намерения сохранять в тайне ни собственного имени, ни той особы, которая прислала меня к вам.

— Говорите, я к вашим услугам.

— Сперва позвольте сделать вам вопрос.

— Спрашивайте.

— Ведь я не ошибаюсь, сударь, предполагая, что имею честь говорить с командиром Мишелем Гартманом?

— Я действительно Мишель Гартман.

— Благодарю, сударь, мне описали вас так подробно, что я не боялась ошибиться и, как видите, тотчас узнала.

— Однако это мне не объясняет еще...

— Простите мою болтовню, сударь, сейчас приступлю к объяснению. В полумиле отсюда дама, моя крестная мать, которую я имею честь сопровождать, велела остановить карету и подозвала к себе ребенка, который вскочил за карету в деревне. Бедный мальчик сильно дрожал от стужи и от страха также, надо полагать, одно присутствие духа спасло его, потому что люди, в руках которых он находился, убили бы его безжалостно, если б он не ускользнул от них так ловко.

— Что же это за разбойники, которые могут умерщвлять детей? — вскричал с негодованием Мишель.

— Не в моей власти отвечать на этот вопрос, сударь.

Мальчик подошел; дама спросила о вольных стрелках то же, что спрашивали у него в деревне, но с иною целью. Все напрасно: ничего она от ребенка не доби-лась, он оставался непроницаем и только коротко отвечал «нет» на каждый вопрос. Моя крестная мать предложила ему, что не тронется с места и просидит в карете, пока я схожу с ним туда, где находитесь вы, чтобы исполнить поручение, которое она даст мне к вам; при этом предложении мальчик очевидно недоумевал, на что решиться, он почесал в голове и наконец ответил:

«Если девушка хочет идти со мною, то пусть идет: я рад этому, но я не знаю, что вы говорите о вольных стрелках. Я из Жироманьи, у нас там нет вольных стрелков, и я не слыхивал о них ни разу».

Барыня не стала спорить, но мальчик все настаивал:

«Главное, не трогайтесь с места, — заключил он, — иначе я не беру с собою девушки».

Она свято обещала ему ждать моего возвращения на том самом месте, где стояла. Итак, я отправилась с мальчиком в путь. Когда карета осталась далеко позади, скрытая за кустарником и поворотами дороги, ребенок засмеялся и захлопал в ладоши:

«Ты добрая и полюбила меня, также и барыня твоя; дай слово не говорить ничего, так я сведу тебя к тому, кого ты видеть хочешь».

Я обещала все, чего он требовал, твердо вознамерившись сохранить тайну, и мальчик весело пошел дальше, сказав:

«Сейчас увидишь его!»

Не знаю, как он направлялся, но спустя пять минут мы очутились лицом к лицу с несколькими вооруженными людьми. Мальчик шепнул два слова начальнику. Тот поклонился мне и вежливо пригласил следовать за ним, на что я и согласилась. Через четверть часа мы были здесь. Вот все, что произошло, господа.

— Ах ты мой молодец! — вскричал Оборотень, лаская сына. — Ловко распорядился, ей-Богу! Я доволен тобою, ступай завтракать, ты, верно, голоден.

Осыпaeмый со всех сторон похвалами и ласками, ребенок весело стал кататься по полу с своим приятелем Томом; от еды он отказался, потому что плотно позавтракал в деревне.

— Благодарю за объяснение, — начал было Мишель, — теперь...

— Вы желаете знать, кто я, не правда ли? — с живостью перебила девушка.

— И кто вас посылает.

— Мое имя Лилия, сударь, а посылает меня к вам моя крестная мать — вот все, что мне дозволено сообщить. Однако, — прибавила она, достав из-за корсажа запечатанную записку и подавая ее командиру кокетливо, — это письмецо, пожалуй, откроет вам больше.

Офицер взял его, распечатал и пробежал глазами.

— Сапристи! — шепнул Петрус, чуть не облизываясь. — Какая хорошенькая девочка!

— Товарищ сержант, не увлекайтесь, — остановил его Паризьен, — девочка-то хороша, спору нет, но это не причина еще, чтобы воспламеняться.

Между тем Мишель, сначала бегло просмотрев письмо, внимательнее прочел его в другой раз с изумлением, которого не старался даже скрывать.

Оно было коротко и заключалось только в следующих словах:

«Милостивый государь, особа, которой вы не раз спасали жизнь, поклялась, когда представится случай, доказать вам свою признательность несмотря ни на что; настала для нее минута сдержать клятву. Вам угрожает смерть, и смерть ужасная, все меры приняты, чтоб заставить вас и всех, *кто дорог вам*, попасться в гнусную западню. Если вы помните Войер, то не колеблясь последуете за молодою девушкой, подательницей этих строк; она приведет вас к той, которая с радостью пожертвует своей жизнью, чтобы спасти вашу.

Торопитесь, время не терпит. Где бы ни находился ваш отряд, остановите его и не позволяйте идти далее, пока не услышите от меня подробности гнусного замысла против вас.

Придите один, но ради Бога, торопитесь — время уходит, а речь идет о жизни и смерти всех вас».

— Что ты думаешь об этом? — спросил Мишель, передавая письмо Петрусу.

Тот прочел его внимательно, с минуту оставался в задумчивости и вдруг ударил себя по лбу.

— Надо идти на свидание, — сказал он, — хотя письмо без подписи, я знаю, кем оно написано.

— Стало быть, твое мнение...

— Забывчивый сумасброд! — вскричал бывший студент с жаром. — Ведь это письмо от баронессы фон Штейнфельд.

— Как! Ты полагаешь?

— Не полагаю, но знаю наверно. *Если вы помните Войер* — эти четыре слова равносильны подписи.

— И вправду, — вмешался Оборотень, которому Паризьен прочитал письмо, — колебаться нечего. Да и поглядите-ка на эту красавицу, — прибавил он, указывая на девушку, — она улыбается, значит, вы угадали.

— Да, угадали, — отвечала она с улыбкой, — письмо написала я под диктовку моей крестной матери, баронессы фон Штейнфельд, но письмо могло быть перехвачено — подписавшись под ним, она сгубила бы себя и вас не спасла; она и подумала, что вы угадаете ее имя при намеке на Войер.

— И мы угадали его! — весело вскричал Петрус.

— Что же вы не решаетесь идти? — кокетливо улыбаясь, спросила девушка.

— Гм, с таким проводником я пойду в ад! — вскричал Петрус.

— Напротив, готов следовать за вами, — ответил Мишель.

— Если так, надо идти немедленно, сударь, время дорого.

— Позвольте одну минуту. Петрус, ты останешься здесь со своим отрядом.

— Решено.

— А вы, Оборотень, отправляйтесь скорее, вы знаете, где отыскать наших. Отдайте приказание остановиться, выбрав выгодную позицию. Мальчугана оставьте здесь, я пришлю его к вам, если понадобятся другие распоряжения, или, пожалуй, сам приду. Главное, никому ни слова, чтобы никто не угадывал причины внезапной остановки. Впрочем, мы скоро узнаем, в чем заключается измена, которую мы уже предчувствовали смутно.

— Иду, командир, приказания ваши будут исполнены в точности, желаю успеха!

— Я к вашим услугам, — обратился Мишель к девушке.

— Ну, а я-то? — вскричал Паризьен.

— Ты? Оставайся здесь.

— Гм, — проворчал он, по своему обыкновению, — это мы посмотрим.

— Пойдемте, сударь, — сказала Лилия, плотно закутываясь в теплую накидку.

Они вышли из шалаша.

Едва скрылись они из виду, как Паризьен крадучись последовал за ними, прилагая все старание, разумеется, чтобы не увидал его командир, который не простил бы ему такого ослушания.

Сыроварня в Вогезах

После обильного обеда или изысканного ужина большая часть гастрономов, если не все, дабы пробудить жажду к последнему и решительному нападению на расставленные перед ними бутылки разных форм и величин с отличным вином, отрезают себе с наслаждением ломтик грюэрского сыра, не подозревая, что эта скромная принадлежность десерта чуть ли не одно из самых поэтических произведений, когда-либо измышленных гастрономией.

Однако нет ничего, что изготовлялось бы при обстановке более пленительной и среди природы более живописной. Там, где прекращается всякая промышленная деятельность, начинается та, от которой происходит грюэрский сыр.

Высокие горы, душистые травы — вот свидетели и неизбежные условия его изготовления.

Стремясь всегда ближе к небу, этот почти неизвестный промысел процветает на одних местностях с атамактом, тмином, альпийской трехцветной фиалкой, горным паклуном, ползучим пятилистником и душистым ивановым цветом.

Когда пробуют низвести это своеобразное производство ближе к долинам, сыр портится, невкусен, и надо опять подниматься на высоты.

До войны с Пруссией, между Гебвиллером и Эльзасским Балоном, в окрестностях Мюрбаха, находилась сыроварня обширных размеров, ныне, вероятно, уже не существующая.

И там, надо полагать, как везде, где пруссаки проходили в Эльзасе, они оставили за собою одни развалины. Мы опишем место в немногих чертах.

Трудно передать словами величественный и вместе живописный вид площадки, где стояла сыроварня. С самого порога двери расстилалась перед глазами цепь Вогезов, вершины которых смутно обрисовывались вдали на краю небосклона.

У подножия площадки, точно бездна, уходила вглубь Гебвиллерская долина с рядом вершин в четыре этажа, высившихся по обе стороны ее, справа и слева, тогда как туманная пелена носилась над этою пропастью и делала ее невидимою. Ущелье поднималось к северо-западу до самого центрального кряжа, где расширялось в площадки, летом зеленеющие, но зимой, как и в настоящую минуту, покрытые снегом. Над ними высился Ротабах со своим изрытым гребнем, еще выше выставлял свою величественную и спокойную главу Гонек, к северу бесчисленное множество вершин выглядывали одна из-за другой, точно волны морские, которые бегут вдогонку, вдали стоял, со своею формою в виде конторки, Донон, высшая точка Вогезов в департаменте Нижнего Рейна, направо в смутной дали простиралась долина Рейна, а по другую сторону, далеко-далеко, хребет Шварцвальда со своими неправильными зигзагами выделялся на небосклоне, еще рдевшем от последних лучей вечерней зари. Леса, уже полные мрака, казались большими черными пятнами при первом взгляде на эту обширную картину природы.

И постройка дома была из самых странных. Лицевой фасад составлял самую главную часть его. Так как он был очень длинен и с двумя рядами окон, то скат крыши образовывал тупой угол и придавал строению вид приплюснутый. Крыша была из гонта, то есть драниц наподобие шифера; на ней лежало несколько больших камней, чтобы не снесло ее бурей. Окна, полукруглые сверху, вообще имели свинцовые рамы с мелкими стеклами; но некоторые из этих переплетов, вероятно уничтоженные временем, заменены были новейшими рамами, неприятно поражавшими взор в сопоставлении со старыми. На боковом фасаде были небольшая дверь, ворота и несколько круглых отдушин конюшни; к противоположному фасаду примыкал громадный деревянный хлев с

такими же отдушинами. На камне число 1574, высеченное рельефом, свидетельствовало о почтенной древности. Маленькая дверь вела в сени, где деревянный фонтанчик день и ночь бил тоненькою струйкой, чистой как кристалл, в сосновое корыто, из которого вода стекала по желобу на двор. В этих сенях, где постоянно журчала вода, стирали белье, полоскали овощи, мыли формы для сыра и даже поили скот зимою. Из сеней проходили в другое помещение, истинно поражающего, циклопического характера. Всем известны громадные очажные колпаки, под которыми могло укрываться целое семейство и где дым мог клубиться, не встречая препон. Пусть теперь читатель представит себе, что подобный колпак простирается до стен и составляет потолок: так была построена эта обширная комната. Громадный очаг с трубой занимал главную стену и один служил источником света, вековая сажа покрывала стены снизу доверху; она облепляла всякий предмет, блестела, как черный мрамор, и с течением времени стала тверда, как бронза; над очагом была утверждена железная полоса с крюком, чтобы вешать котел, и поддерживалась она приставленною к ней под прямым углом другою такою же полосою, поворачивавшеюся на кольцах; против очага старый поставец красовался с лучшею посудой маркара или сыровара; копоть выкрасила и поставец, подобно стенам, великолепною черною, как гагат, краскою, пол выложен был неровными, но тщательно пригнанными камешками.

Такая комната в вогезских сыроварнях — убежище от зимних непогод. Когда стужа стоит на дворе и снег лежит слоем в несколько метров толщины, когда горцы заключены в своих жилищах, крытых гонтом, и окна не пропускают света, засыпанные белыми хлопьями снега, который окружает сыроварню как бы ночным мраком, жители ее уходят в эту горницу, где нередко остаются по целым неделям, и ничто не изобличало бы снаружи существования жилья, потонувшего в снегу, если бы высокая труба не выходила из снега и голубоватый дым не взвивался к небу длинною спиралью.

На этом мы остановим и то уже очень длинное описание наше и вернемся к нашему рассказу.

В тот день, когда ход событий приводит нас в эту сыроварню, там царствовало необычайное оживление; часам к семи вечера человек двадцать мужчин и женщин

сидели в большой горнице вокруг накрытого посреди комнаты длинного стола и усердно ели наскоро приготовленные кушанья патриархальной простоты: вареный картофель, облитый молоком, яичницу с сыром и тому подобное. Все это запивалось кислым молодым вином, которое драло горло.

Эта обширная комната с довольно низким потолком и выбеленными известкой бревенчатыми стенами освещалась лампами, прибитыми в простенках окон, и желтыми сальными свечами, которые горели в тяжелых медных подсвечниках, поставленных на столе в некотором расстоянии один от другого; в одном из углов в нише гудела печь, распространявшая тепло до самого дальнего конца горницы.

Эти двадцать человек, которые ели с таким аппетитом, очевидно, были местные жители; одежда их не отличалась изяществом, прическа казалась очень небрежна — мужчины, по большей части сильные, средних лет, имели холщовые куртки и толстые шерстяные жилеты, у женщин корсажи из толстого и яркого цвета материи оставляли на виду рукава рубашки. Однако, несмотря на эти простые наряды, многие лица носили отпечаток изящества, выражали ум и освещались огненным взором, который поражал при всей остальной обстановке. На конце стола, как хозяин, сидел высокий старик мускулистого сложения, с крупными чертами лица и вида степного, настоящий тип горца. Это был глава этого дикого племени. Направо от него сидела женщина лет сорока пяти, а по обе стороны старой четы помещались семь рослых детин вида смелого, сходство которых с ними изобличало близкое родство — действительно, эти семь молодцов были сыновья хозяина сыроварни, процветавшей их трудом.

Остальные места заняты были приезжими.

Чтобы не держать долее читателя в неизвестности, скажем, что все эти приезжие, случайно собравшиеся в вогезской сыроварне, наши старые знакомые альтенгеймские вольные стрелки, к которым примкнул Отто фон Валькфельд со своим отрядом с тех пор, как они оставили развалины у Дуба Высокого Барона.

Когда трапеза уже совсем почти кончилась, хозяин велел долить стаканы гостей и, поднявшись со стаканом в руке, сказал:

— Соотечественники и друзья! Радостно приветствую ваше прибытие под мой кров в эти дни бедствий и бурь, даже если б оно повлекло за собою несчастье; вы здесь у себя, располагайте всем по желанию вашему и надобности. Да здравствует Франция! Да здравствует республика! Смерть пруссакам, грабителям, палачам женщин и детей!

Все дружно подхватили восторженные восклицания, чокнулись стаканами и осушили их до дна.

Старик сел и разбил свой стакан.

— Дайте мне другой, — сказал он, — после такого тоста пить из него более не следует.

Слова эти были встречены громкими и веселыми криками одобрения.

— Франция, — продолжал старик, глаза которого метали молнии, — переживает теперь одну из самых мрачных и грозных эпох своей истории. Вековые враги поклялись погубить ее, но баснословные их успехи не будут прочны — Франция, эта преданная поборница идеи прогресса, по велению Божию, необходима для счастья остальных народов; погибни она, и на земле распространятся мрак и варварство. Итак, не унывайте, будем бороться до последнего издыхания в уверенности, что сыны наши раздавят и отомстят победителям, которые священников вешают на паперти за то, что они призывают прихожан своих к защите родины, женщин умерщвляют, мужчин расстреливают, девушек насилуют, вырвав из рук матерей. Верьте мне, старику, дорогие гости, будущность Франции блистательна, Пруссия же, поглощенная большою германскою семьею, к которой не принадлежит и которую деспотически терзает в настоящее время, исчезнет с лица земного шара, и даже имя ее предастся забвению. Есть роковое предопределение судьбы, против которого все бессильно. Будущность не зависит ни от войска, ни от пушек, ни от обскурантизма: кесарский деспотизм и феодальные нравы уже отжили свой век. Эта страшная война будет началом нового периода благоденствия, нам предстоит возмездие — возвышенная победа идеи и права над грубою силой. Первый удар колоссу на глиняных ногах, ныне наводящему ужас, будет нанесен самою Германией — все стремления ее, что бы ни говорили, обращены к великой и святой свободе, к тому светлomu братству народов, которое так

долго казалось утопией, но скоро осуществится благодаря успехам промышленности, следственно, и развитию торговых сношений, порождающих общность мыслей, и навек уничтожатся мнимые преграды между народами, которые тираны всех стран напрасно силились делать непреодолимыми.

Отто фон Валькфельд, Ивон Кердрель и их товарищи слушали с благоговением пророческие слова старца. Он провел рукою по лбу, гладкому как слоновая кость, печальная улыбка показалась на его бледных губах, и он продолжал:

— Однако оставим это. Как ни близко это будущее, я, без сомнения, не увижу его. О! Счастливо поколение, которое сменит нас, — оно увидит великие события, которые переродят устаревший мир.

Тут он обратился к начальникам вольных стрелков с вопросом:

— Вы все еще намерены завтра отправиться далее, господа?

— Долг предписывает нам это, — ответил Отто, — завтра на заре мы уже будем в дороге. Отчего вы не хотите следовать за нами? Не лучше ли было бы, особенно после оказанного нам гостеприимства, оставить на время ваш дом и уйти с нами?

Старик грустно покачал головою.

— Нет, — сказал он со вздохом, — это невозможно. Видели вы год, высеченный на лицевом фасаде этого старого дома?

— Да, 1574-й, — ответил Ивон, — это, верно, год его основания.

— Именно, — грустно сказал старик, — несколько лиц из нашего семейства чудом спаслись от Варфоломеевских убийств, и спустя два года после этого гнусного преступления, совершенного королем против народа своего, нашли убежище в этой местности, тогда еще не французской земле, но близкой к дорогой Франции, которую оставляли со слезами, чтоб свободно исповедовать гонимую веру, и куда, по крайней мере, ветром доносились через вершины гор испарения и благоухания родной земли. Более трехсот лет мы оставались маркарами; Эльзас присоединен был к Франции и, не расставаясь с Вогезами, мы опять очутились на родине. Теперь то же будет.

— Дай-то Бог! — пробормотал Отто.

— Целых три века ни бури, ни революции не могли вынудить нас расстаться с этим простым и мирным жилищем, с ним связаны свято чтимые семейные предания, со времени деда моего все близкие мне кончили жизнь в этом скромном доме, и я хочу умереть в нем и лечь возле них там, за стеной фермы, в саду, насаженном моим дедом. Не настаивайте же, господа, чтоб я следовал за вами. Я знаю, — прибавил он с грустной улыбкой, — что, оставаясь здесь, я подвергаюсь почти верной смерти, но решение мое принято, оно неизменно, ничто не оторвет меня от моего домашнего очага. Пусть придет неприятель, я готов встретить его. Не страшна смерть в мои года, она только соединит меня с теми, кого я любил, и последнее мое издыхание будет мольбою за Францию, мое дорогое и несчастное отечество!

— Да будет по-вашему, — ответил Ивон с печальной почтительностью, — но клянусь, нам больно оставлять вас беззащитного и выдать, так сказать, оскорблениям врагов.

— Кто знает, не хорошо ли, чтоб так было, но я оставляю мстителей по себе: мои семь сыновей уйдут с вами и шестнадцать молодых работников моих, которые все мне сродни. Здесь нас останется только семь или восемь хилых стариков, белые волосы которых, быть может, и будут пощажены.

— Не обманывайте себя этою надеждой, пруссаки не принимают во внимание ни слабости, ни возраста, ни пола.

— Будет то, что угодно Богу. Он один властен в жизни и смерти. Пусть они убьют нас, только бесполезное совершат преступление, когда благодаря вам, господа, спасется все, что мне дорого. Неприятель не найдет также ни одного снопа хлеба, скот и лошади отведены в безопасное убежище, даже собаки он не отыщет на ферме. Что ж, им останется только нас убить, да дом сжечь. Положим, они сделают это, а польза-то какая в том? Лишнее позорное пятно ляжет на них, вот и все, и они бесноваться будут в бессильной ярости, когда, поражая нас, не вырвут ни одной жалобы. Впрочем, надо, чтоб эти разбойники знали, как эльзасцы, эти французы, которых они прикидываются будто считают немцами, умеют умирать за отечество, если не могут защищать его

иначе, как своими трупами. Господа, становится поздно; скоро пробьет час отдохновения. Не прочесть ли нам вместе молитву, прежде чем разойтись на ночь?

Все присутствующие выразили согласие почтительным наклоном головы.

По знаку старика двери отворили, и взорам представились в длинных коридорах и смежных комнатах работники и вольные стрелки, стоявшие с обнаженными головами.

Хозяин встал, и гости немедленно последовали его примеру.

Младший сын старика подал отцу раскрытую Библию.

Тот взял ее, перевернул несколько листов, и началась молитва; каждый стих, прочитанный сначала стариком, повторялся вполголоса присутствующими.

Сильно гудел ветер вокруг дома, снег хлестал по стеклам, что-то величественное, истинно трогательное было в этом простом обряде, который при настоящих обстоятельствах становился как бы таинством.

Кончив молитву, старик поклонился присутствующим и закрыл книгу, которую передал младшему сыну.

— Господа, — сказал он, — пора идти на отдых, да пошлет вам Господь мирный сон. Завтра я увижусь еще с вами перед вашим отъездом.

Присутствующие поклонились и, предшествуемые работником, который нес зажженный фонарь, ушли в отведенные им комнаты, где расположились уже накануне.

Ивон и Отто, помещавшиеся в смежных комнатах, не расставались, а вместе вошли в спальню Отто: им надо было переговорить о необходимых мерах при выступлении на следующее утро.

Мало-помалу огни погасли, окна потемнели одно за другим, везде водворилась тишина; не прошло часа, как в сыроварне все погружены были в сон или казались спящими.

Пробило одиннадцать на близкой колокольне; при последнем ударе в одной из телег, стоявших перед домом, что-то зашевелилось.

Движение это, сперва робкое и боязливое, стало решительнее, хотя не слышно было никакого шума; кожаные занавески у верха, для ограждения путешественников от холода, дождя и снега, слегка раздвинулись, и в

промежутке показалось бледное и встревоженное лицо. Минут пять неизвестный осматривал все вокруг и вслушивался внимательно в тихий, неопределенный шум без видимой причины.

Вероятно ободренный глубокою темнотою, человек, о котором мы говорим, окончательно раздвинул занавески, потом осторожно поднял фартук кибитки и ступил на подножку; так он оставался несколько мгновений, прислушиваясь и вглядываясь в полумрак, потом, убедившись наконец, что ему нечего опасаться нескромного глаза, он решительно вышел из экипажа, плотно закутался в плащ и нахлобучил на глаза поярковую шляпу с широкими полями.

Опять он осмотрелся вокруг, вероятно, чтоб ознакомиться с расположением местности. Кроме узкой черноватой тропинки, проложенной сапогами вольных стрелков, когда они сновали между домом и повозками, вся площадка, где находилось строение, покрыта была толстым ковром ослепительной белизны, так как снег перестал только с час назад. Судя по мере осторожности незнакомца, он имел важный повод скрывать свою ночную экспедицию. Упомянутая нами тропинка вела прямо к порогу двери. Навес крыши выдавался далеко, и снег не достигал самого дома, образуя вокруг него толстый валик на некотором расстоянии от стены, в этом промежутке на земле не оказывалось ни одной снежинки и легко было пробраться безопасно, не оставляя за собою предательских следов.

Незнакомец ободрился.

— Все идет хорошо, я спасен, — пробормотал он вполголоса.

Еще плотнее закутался он в свой плащ и смело направился по тропинке. Достигнув дома, он пошел вдоль стены и все эти эволюции мог произвести, не оставляя по себе обличительных признаков.

У заднего фасада он вдруг стал как вкопанный.

Там ему предстояло расстаться с покровительственною сенью навеса. Против него, метрах в полутораста, начинался дремучий лес, куда он пробирался, но его отделял обширный снежный покров, по которому он пройти не мог, не оставив за собой следов.

В этом-то заключался вопрос, и разрешить его было нелегко.

Неизвестный осмотрелся вокруг с отчаяньем утопающего, который чувствует, что идет ко дну, но и взгляд этот не принес ему облегчения. О грубую вещественную преграду разбивались все его усилия — он должен был пройти по снегу и тем выдать себя.

Прислонившись к стене, он скрестил руки на груди и погрузился в глубокие размышления.

Пробило половину двенадцатого; звуки колокола заставили его встrepенуться, он с живостью поднял голову.

— Время проходит, — пробормотал он, — мне нельзя не пойти на это важное свидание. Как быть? Что будет, если он не увидится со мною? Во что бы ни стало надо выйти из этого смешного положения. Проклятый снег!

Вдруг он ударил себя по лбу и лицо его просияло насмешливой улыбкой.

— *Эврика!* — вскричал он, доказав восклицанием этим, что человек с образованием. — *Эврика!* Олух я! Ведь проще ничего быть не может! А я-то не подумал об этом! Хитер будет тот, кто догадается!

На его счастье, громадная жердь футов пятнадцати в длину лежала вдоль стены, к которой он прислонился; жердь эту он нечаянно задел ногою и заставил откатиться — она и была средство, она была спасение. Он поднял ее, поставил к стене, потом, подобрав плащ, подвязался так, чтобы ему свободно было действовать, и взялся за жердь.

Незнакомец был молод, вероятно, ловок и к тому же знаком с гимнастическими упражнениями, иначе он и не мог бы рассчитывать на успех смелой своей попытки. Итак, он взялся за жердь, поставил ее одним концом в снег как можно дальше и разом прыгнул на большое расстояние от дома; пять раз он повторял эту проделку и в пятый раз очутился на опушке леса, не оставив благодаря заботливости, с какою каждый раз затапывал следы, других признаков за собою, кроме темных пятен без малейшего подобия формы ноги.

— Ей-Богу! Преполезное упражнение в это время года! — вскричал он, весело потирая руки, когда поставил жердь к дереву. — Я весь в поту. Хитер будет тот, кто угадает такой фокус! Ну, штука сыграна на славу! Теперь за дело, нельзя терять ни минуты.

Он углубился в чашу; в это время снег повалил опять.

Если б неизвестный не был так поглощен собственными размышлениями и вздумал оглянуться, прежде чем войти в лес, он, без сомнения, содрогнулся бы от ужаса, увидав человеческое существо, спокойно шедшее по снегу, не принимая мер осторожности, к каким прибегал он сам, и прямо направлявшееся к тому месту, куда он за несколько мгновений добрался таким своеобразным способом.

Это человеческое существо, до того закутанное, что невозможно было различить, какого оно пола, вошло в лес за неизвестным, который, не считая нужным соблюдать осторожность, оставлял за собою ясные следы на снегу.

Неизвестный все шел далее; он закурил сигару и напевал вполголоса.

Он воображал себя огражденным от всякой опасности.

После четверти часа ходьбы он остановился на краю глубокого рва.

Осмотревшись вокруг пытливым взором, наш молодец сильно затянулся сигарой раз за разом и потом бросил ее с огнем в ров, громко сказав:

— Vaterland!*

— König Wilhelm!** — тотчас отозвался голос из глубины рва, и в то же время огонек описал дугу во мраке.

Спустя минуту темная тень обрисовалась на краю рва; оттуда вышел человек.

— Здравствуйте, барон фон Штанбоу, — сказал человек этот, подходя с протянутою к незнакомцу рукою.

— Прошу без собственных имен, любезный Жейер, — возразил тот, посмеиваясь, — мы здесь в лесу, не в гостиной.

— Как прикажете понимать это?

— Хотя и покрытые снегом, листья на деревьях имеют глаза и уши.

— Ну вот! Чего нам опасаться? Все спят на несколько миль вокруг.

* Отечество. (нем.)

** Король Вильгельм. (нем.)

— Жестоко ошибаетесь, мой любезнейший. Запомните, что вообще на каждого заговорщика, который не спит, оказывается по одному шпиону, который его подкарауливает.

— Черт возьми! Знаете ли, вы страх на меня нагнали. Разве вы полагаете, что подозревают что-нибудь?

— Ничего я не полагаю, просто советую вам быть осторожным. Для меня очевидно, что за мною зорко следят: я не раз имел случай удостовериться в этом, однако сегодня, кажется, я сбил с толку своих караульщиков и так хорошо принял меры, что физически невозможно было последовать за мною сюда.

— Слава Богу, это успокаивает меня!

— Но все же нельзя достаточно быть осторожным, и потому остерегайтесь. Как знать, что может случиться?

— Очень хорошо, я воспользуюсь добрым советом. Однако как вы запоздали, я жду вас более часа.

— Мне было невозможно прийти ранее, иначе шпионы мои не успели бы заснуть, впрочем, свидание наше назначено было к полуночи, а двенадцать часов только что пробило.

— Правда, барон, прошу извинения.

— К делу, время не терпит.

— Спрашивайте.

— Войско что?

— Идет с заката солнца.

— Откуда.

— Из Кольмара и Бельфора.

— Очень хорошо. Велико ли оно?

— В шесть тысяч человек.

— Отлично.

— Кроме того, в известной вам деревне скрыто шестьсот человек в погребках, ригах и сеновалах.

— Еще того лучше, с жителями это составит прекрасную цифру.

— Они попадутся, как в ловушку.

— Да, теперь, кажется, они попались и гибель их неминуема.

— Это и мое мнение.

— Когда начнется дело?

— Завтра, не раньше вечера. Надо дать солдатам время взять все меры; новая неудача была бы для нас позором, которого не смоешь.

— Правда, так условимся насчет часа и сигнала.
— Я слушаю.
— Час утра время самое удобное, тогда сон всего крепче.

— Это так. А сигнал?

— Я подожгу ригу, полную хлеба; в ночной мгле пламя видно далеко, все бросятся тушить пожар, а это даст войску возможность действовать дружно и безошибочно.

— Мысль превосходная.

— Деревню обступят со всех сторон в одно и то же время. Не надо упускать из виду, чтоб вокруг нее поставить цепь, дабы захватывать всех, кто попытается спастись бегством. Поняли вы?

— Понял, барон.

— Главное, ни одного неосторожного движения, пока не подан сигнал, — лишняя поспешность может повредить успеху всего замысла.

— Будьте покойны.

— Назовите мне командиров обоих отрядов.

— Полковник Лансфельд во главе отряда, который идет от Бельфора, а полковник граф Экенфельс командует тем, что прислан из Кольмара.

— Bravo! Оба отличные офицеры, на которых вполне можно положиться, выбор сделан удачно.

— Не правда ли?

— Не надо ли вам сообщить мне еще что-либо?

— Нет, барон, ничего.

— Тогда до завтра.

— До завтра.

— И вы там будете?

— Я бы думал, разве мне-то не за что отплатить им?

— И вправду, я совсем забыл.

— А я не забыл.

— На здоровье. До свидания!

Они пожали друг другу руки и разошлись.

Вдруг банкир остановился и ударил себя по лбу.

— Кстати, — вскричал он, — где же у меня голова?

— Еще что? — спросил барон, оборачиваясь с видом недовольным.

— Вернитесь, барон.

— Черт вас побери! — проворчал барон, подходя. — Что еще тут набрело на вас?

— Особенного ничего, но я забыл упомянуть об одной особе.

— О ком?

— О хорошенькой баронессе.

— О какой хорошенькой баронессе?

— Да Штейнфельд.

— Ну, так что ж?

— Я видел ее.

— Кого, баронессу?

— Да, ее.

— Когда?

— Два дня назад.

— Вы с ума сходите! Баронесса засажена в Шпандау, и по заслугам.

— Ошибаетесь, барон, я встретил баронессу фон Штейнфельд дня два назад в брошенной деревне, блистательнее чем когда-либо; она в милости пуще прежнего и едет в Версаль, куда вызвал ее первый министр, чтобы дать тайные инструкции.

— Вы мне рассказываете чушь, от которой уши вянут.

— Напротив, барон, это сущая правда.

И он передал со всеми подробностями, по какому случаю встретился с баронессой и почти обязан был ей жизнью.

Барон все качал головой, слушая его.

— Мой почтеннейший, — сказал барон, когда рассказ банкира был окончен, — баронесса надула вас как ребенка, она просто насмеялась над вами. Не думает она ехать в Версаль, и в милость не попадала опять. Если же вы в самом деле видели ее...

— Могу вас уверить, — с живостью перебил банкир.

— Ну так ей посчастливилось каким-то способом бежать из тюрьмы в Шпандау. Эта баронесса пройдоха. Уж не вывернула ли она вас наизнанку?

— Что вы под этим разумеете? — вскричал Жейер бледнея.

— Что разумею? Да то, что она вытянула из вас тайну, которую так важно хранить от всех. Сознаетесь-ка, выболтали вы что?

Банкир замялся.

— Ну, я уж знаю теперь, — продолжал барон, — вы наболтали. Что вы ей открыли?

— Увы, — пробормотал банкир дрожащим голосом, — я хотел бы...

— Несчастный! — крикнул барон в бешенстве. — Неужели вы ей выдали тайну наших действий?

— Я не остерегался ее, полагая наверно, что она за нас. Не знаю, как она обернула меня вокруг пальца, но я открыл ей все.

— Негодяй! — вскричал барон, схватив его за горло и встряхивая с яростью. — Негодяй! Все погибло по вашей глупости! Эта женщина шпионка французов!

— Шпионка французов! — всплеснул банкир руками от ужаса.

— Да, я имею на то доказательства.

— О! Боже мой, Боже мой!

— Есть теперь время стонать! — вскричал Штанбоу, отталкивая его с такою силою, что он отступил на несколько шагов, шатаясь как пьяный, и наконец растянулся во всю длину на снег.

— Ну, вставайте, довольно выть! — грубо крикнул на него Штанбоу. — Надо торопиться везде отменить приказания. Только бы не поздно было, Боже мой! Слышите, отменить приказания, чтоб никто не трогался, пока я не дам новых инструкций.

— Я исполню это, хотя бы жизни мне стоило.

— Вы рискуете головой, предупреждаю вас.

— Не потеряю ни минуты, в эту же ночь ваши приказания будут переданы везде.

— Хорошо, надо захватить баронессу во что бы ни стало, живую или мертвую. Вы понимаете?

— Живую или мертвую, понимаю, — пробормотал он, весь дрожа, — но она должна быть далеко теперь, где ж мне поймать ее?

— Дурак!

— Я сам это вижу, — смиренно согласился Жейер.

— Ведь она уверяла вас, что едет в Версаль?

— Прямехонько — да, барон.

— Простофиля, ведь если она сказала это, то, очевидно, не выехала из Эльзаса; теперь, когда она знает наш план, как же ей не стараться всеми силами помешать ему?

— Это так, барон.

— Стало быть, вместо того чтобы катить к Версалью, она, вероятно, блуждает около того места, где находимся

мы. Кто знает, не ближе ли она к нам в эту минуту, чем мы полагаем. Сообразно с этим вы и должны действовать; здесь, в периметре пяти-шести миль самое большее, надо произвести поиски; но ради самого неба, без полумер, действуйте быстро и решительно, если не завладеем этой проклятой бабой, мы все погибли.

— Обещаю вам, что употреблю все старание...

— И хорошо сделаете, — грубо перебил Штанбоу, — клянусь вам, вы один останетесь в ответе за все, что случилось, и последствия, пожалуй гибельные, вашей глупости. Теперь идите и не теряйте ни секунды.

Они расстались, в этот раз уже не пожав друг другу руку, и вскоре банкир скрылся во рву.

Мы сказали выше, что снег повалил опять, когда барон вошел в чащу леса, густые хлопья снега делали мрак еще непроницаемее. Вернувшись на опушку леса, барон осмотрелся, но напрасно; черная мгла слила все предметы в одно, сыроварня стушевалась, и в сплошной массе не выделялось ни единой точки, по которой можно было безошибочно решить, какого направления держаться.

— Доннерветтер! — проворчал барон с досадой. — Вот неудача-то! Черт побери этого дурака Жейера, чтоб ему все кости переломать на дне пропасти! Если б он не задержал меня, я не был бы поставлен в такое затруднение. Как выйти из западни? Нельзя же мне всю ночь топтаться по снегу, черт его возьми! Поищем сперва жердь.

Сколько ни искал он, нигде не оказывалось жерди, сослужившей ему полезную службу с час назад. Он поставил ее к дереву неосмотрительно, от ветра она пошатнулась, упала наземь, и ее засыпало снегом.

Чем более уходило времени, тем барон негодовал сильнее, но напрасно перебирал он все ругательства немецкого языка, богатого по этой части, ничто не помогало.

— Надо же, однако, положить этому конец! — вдруг вскричал он вне себя. — Не околеть же мне тут от бешенства или замерзнуть на морозе, во что бы ни стало я должен отыскать дорогу! Ну ее к черту, проклятую жердь!

Он уже готов был пойти по снегу наугад, хотя бы и рискуя проплутать во мраке, когда у него вырвался глухой крик — впереди него в немногих шагах точно будто

скользила по земле тень, неопределенный человеческий образ; призрак этот шел из леса.

— Шпион, — прошептал Штанбоу в сильном волнении, — тайный свидетель моего разговора с Жейером, вероятно, все слышал. Кто бы ни был он, надо убить его. Это одно спасение!

Мгновенно исчезла всякая нерешительность, самохранение вызвало всю его энергию; он смело бросился вслед за темным призраком, твердая и быстрая походка которого возбудила в нем еще сильнее опасения.

Следы неизвестного шпиона видны были на снегу. Он, казалось, не думал скрывать признаков своего прохода.

В несколько минут барон достиг дома и очутился под навесом у входа, но там растаявший снег превратился в черноватую грязь и не сохранял никаких следов, или, вернее, в темноте их нельзя было различить. Тем не менее, за отсутствием видимых признаков, он руководился легким и постоянным шумом впереди, недалеко от него, за которым поворачивал то направо, то налево, все, однако, не отдаляясь от стены. После двух-трех минут ходьбы наугад барон вздрогнул и безотчетным движением откинулся назад, подавив крик ужаса: перед ним неожиданно распахнулась дверь, и яркая полоса света ударила ему прямо лицо.

В то же время тень, которую он преследовал, обрисовалась на светлом фоне в дверях, и нежный женский голос, показавшийся ему знакомым, заставил его вздрогнуть, сказав с выражением едкой насмешки:

— Войдите, барон фон Штанбоу, напрасно преследовать меня долее, я готова дать вам объяснения, которых вы, по-видимому, от меня желаете.

Барон был очень храбр; звук голоса, угрожающий тон, с каким приглашение было произнесено, все разом рассеяло его смутные опасения, более того, ему вернулось обычное хладнокровие.

— Пожалуй, — ответил он, — впрочем, и лучше кончить так или иначе.

Его странная собеседница отступила, чтобы пропустить его, и он смело вошел в сени, описанные нами выше, где журчал фонтан, или, вернее, бил родник, у которого поили скот и совершались другие домашние дела.

За ним заперли дверь.

С минуту длилось молчание.

На несколько шагов вглубь, облокотившись о крышку высокого сундука, на который поставлен был зажженный фонарь, ждала барона женщина, позвавшая его так странно; большое и широкое манто покрывало ее с ног до головы и под складками густой вуали нельзя было различить ее черт, только сквозь вуаль блестели, как два раскаленных угля, глаза, упорно устремленные на вошедшего, также закутанного в плащ и остановившегося мрачно и неподвижно на пороге двери.

Два противника, готовые завязать бой на смерть, пристально всматривались друг в друга, силясь разгадать один другого.

— Сударыня, — решился сказать барон, — вы звали меня, и я явился. Что вам угодно?

— Что мне может быть угодно? — возразила женщина тоном холодным и надменным. — Вы с добрых полчаса преследуете меня с упорством, ничем не оправдываемым, так как не знаете меня, я решилась положить этому конец, остановилась и окликнула вас, чтобы узнать ваше намерение, а в особенности причину такой погони за мною. Итак, не вы, а я имею право спросить вас: что вам угодно?

— Я хочу знать, кто вы, сударыня.

— Уверены ли вы, что не знаете этого? — спросила она резко.

— И, — продолжал он, как будто не слышал возражения, — по какому праву вы упорно следите за мною?

— К чему разыгрывать роль? Вы отлично знаете, кто я, а следовательно, не можете отрицать моих прав, прикидываясь, будто их не угадываете, — возразила она сухо, — но довольно пустых слов, барон фон Штанбоу. В четыре года, что я преследую вас неотступно, все ваши попытки от меня избавиться и стереть меня с лица земли, при всей громадной вашей власти, не увенчались успехом. Напрасно силились вы забыться и уничтожить прошлое, напрасно погружались в макиавеллические интриги вашего гнусного честолюбия, я всегда становилась пред вами в последнюю минуту и одним дуновением разрушала самые искусно придуманные планы, самые хитрые ваши соображения; ведь я для вас совесть, я — угрызение.

— Но чего же вы хотите, какой цели добиваетесь? — произнес Штанбоу, стиснув зубы. — Говорите, я требую!

— И буду говорить, — произнесла она ледяным тоном, — не потому, что вы грубо приказываете мне, а час пришел объясниться, и, подобно двум гладиаторам, в цирке поставленным друг против друга, роковой положить конец борьбе, начатой много лет назад и вынесшей столько видоизменений; ни лицемерной пощады, ни ролей между нами более, долой маски! Вы, барон Фридрих фон Штанбоу, низкий негодяй, который соблазнил дочь человека, спасшего ему жизнь, гнусно бросил несчастную с ребенком, которого она имела от него. А я, — прибавила она дрожащим голосом, внезапно сорвав вуаль, — эта женщина, постыдно обманутая и обесчещенная, я Анна Сиверс, ваша жертва! Узнаете вы меня теперь?

Она сделала шаг вперед и стала против света, гордо откинув назад голову со сверкающими глазами и грозно протянутою рукой. Она была прекрасна, как древняя Ниоба.

Барон вздрогнул; он был ослеплен и невольно попятился под молниеносным взглядом, как будто хотел бежать.

— О, — пробормотал он прерывающимся голосом, — демон! Ты не ошиблась: да, я давно узнал тебя, да, ты мое угрызение, ты камень, о который разбиваются, что бы я ни делал, все мои честолюбивые мысли, все стремления к богатству, к славе. Но и твои замыслы не удадутся! Ты думаешь, что я в твоей власти, — напрасно льстишь себя надеждой на невозможное торжество! Я не побежден, еще ты в моей власти и вскоре получишь тому доказательство.

— Продолжай, Фридрих, — воскликнула она голосом, дрожащим от глубины чувства, — сыпь угрозами, оскорблениями, старайся обмануть самого себя, ты несомненно побежден, ты чувствуешь это, ты сознаешь — как ни вырывайся ты из пут, которыми сам окружил себя, все твои замыслы открыты, ты погиб, и на этот раз погиб безвозвратно!

Водворилось непродолжительное молчание; два противника дышали тяжело и грозно смотрели друг на друга.

Но вдруг в лице барона произошла перемена: блеск в его взоре померк, резкое выражение смягчилось, две слезы выкатились из глаз и медленно потекли по щекам; он подошел к молодой женщине, все гордой и грозной.

— Анна, — сказал он кротким, трепещущим голосом, — Анна, ты права, я побежден, побежден не враждою твоею, собственными угрызениями. Проник теперь свет в мою истерзанную душу; да, ты сказала правду, бедная девушка, я презренный негодяй, недостойный помилования. Подло обманул я тебя. Меня увлекли пыл молодости, ненасытная жажда удовольствий, честолюбие, гордость, корысть, я хотел быть богат, хотел быть могуществен. Ты была преградой для достижения моих целей, я холодно разбил твою судьбу, разбил твое сердце, которое билось одною любовью ко мне. О! Верь мне, бедное дитя, если был я виновен, то дорого и поплатился за мой проступок. Давно уже я страдаю невыносимыми муками, ты правду сказала — ты моя совесть, ты мое угрызение. Но разве будешь ты неумолима? Неужели я тщетно стану умолять о прощении? Не тронешься ли ты моими слезами?

— Слезы тигра, который не может растерзать желаемой добычи, — заметила она с крайним презрением. — Раз ты уже разыграл предо мною эту гнусную комедию раскаяния, Фридрих, теперь я уже не дамся в обман.

— Анна, умоляю тебя, если не для меня, то, по крайней мере, для твоего сына, для нашего ребенка, невинного существа, на которое не должен падать позор от преступлений его отца.

— Твоего сына! Ты смеешь говорить о своем сыне! — вскричала она в порыве благородного негодования. — О, это уж слишком!

— Да, я умоляю тебя именем твоего сына, — продолжал он голосом все более и более жалобным, — сжался над ним, Анна, сжался над собою; ты убиваешь его, убиваешь себя, упорствуя в своей неумолимой мести. Поверь моему раскаянию, оно искренно. Ты заставила меня понять всю низость моих действий, не толкай же меня на край бездны, в которую я низринусь, если ты не протянешь мне руку помощи. Вот я у твоих ног, Анна, моя первая, моя единственная любовь, тронься моим раскаянием!

Он упал к ее ногам.

— Презренный! — вскричала она, с живостью отступив назад. — Презренный! Умоляет о прощении, осмеливается говорить о раскаянии и в то же время ощупывает под плащом рукоятку оружия, которым готовится поразить меня!

Барон испустил нечеловеческий рев. Увидав, что понят, он отказался от всякой личины, вскочил на ноги и ринулся вперед с кинжалом в руке.

— О демон! — вскричал он страшным голосом. — Ты не будешь наслаждаться своим торжеством — если мне суждено сложить голову, ты умрешь ранее меня.

Молодая женщина погибла, ничто не могло спасти ее; инстинктивно она сделала движение, чтоб бежать, но барон схватил ее руку и сжал точно железными тисками; кинжал сверкнул над ее головой, она опустилась наземь и закрыла глаза.

— Наконец! — воскликнул Штанбоу с хохотом гиены.

Вдруг дом огласился страшным грохотом, раздались крики, ругательства.

Барон стал слушать.

Шум усиливался и как будто приближался.

Барон бросил презрительный взгляд на свою трепещущую жертву, которая почти без чувств лежала у его ног.

— К чему теперь убивать ее? — пробормотал он с выражением удовлетворенной злобы. — Штука удалась, мщение будет полное. О, теперь я торжествую! Что тебя касается, презренная тварь, — прибавил он с ужасною усмешкой, ткнув женщину ногой, — живи! В моих руках жертва драгоценнее!

Он бросился к выходу, вышиб дверь и выбежал из дома с криком радости.

Почти в то же время распахнулась внутренняя дверь и в сени ворвались в беспорядке, размахивая оружием, Гартман, Отто, Ивон и еще человек десять; несколько вольных стрелков светили зажженными факелами.

— Боже мой! — вскричала молодая женщина. — Что случилось?

— Лания! Шарлотта! — в один голос вскричали ей в ответ.

— Похищены! Исчезли! — прибавил Гартман с отчаянием.

— Господи! — воскликнула молодая женщина, вскочив на ноги. — Там! Там! — прибавила она задыхающимся голосом. — Убийца! Бегите! Бегите!

— Какой убийца? — спросил Ивон с ужасом.

— Поблеско! Изменник! Подлец! Он не может быть далеко! Бегите за ним!

И она упала без чувств на руки Отто.

— За мной, за мной! — вскричал Ивон и кинулся вон из дома.

Вольные стрелки устремились за ним вслед.

К несчастью, вполне было справедливо, что госпожи Вальтер и Гартман, Шарлотта и Лания исчезли бесследно.

Если важнейшая часть плана барона фон Штанбоу и не удалась, другая увенчалась успехом: сообщники его, долго прождав его, так как он задержан был Анною Сиверс, завладели, однако, согласно его распоряжению, этими драгоценными заложницами.

Как Жейер встретил Паризьена и что из этого вышло

Мы вернемся теперь к Мишелю, которого оставили в ту минуту, когда он вышел из шалаша вместе с Лилией, чтоб пойти к баронессе фон Штейнфельд.

Идя рядом со своей спутницей, Мишель пытался расспросить ее; напрасно, однако, делал он самые тонкие и отдаленные вопросы, ни одного благоприятного ответа он не получил — молодая девушка ничего не знала или, что правдоподобнее было, прикидывалась ничего не знающей, она отстраняла предмет разговора с величайшим искусством, чем доказывала в одно и то же время находчивость и твердое решение оставлять его в полном неведении того, что для него так важно было знать.

Наконец Мишель решился молчать, раздосадованный совершенною неудачей всех своих попыток вывести что-либо от прелестной девушки, которая на все его вопросы отвечала неизменно в отчаяние приводящими словами «не знаю», хотя и произносила их с очаровательной улыбкой.

Очевидно, ей дали указания и она твердо решила не изменять им.

Около десяти минут длилось молчание двух спутников, сведенных такою странною случайностью.

Мишель опять заговорил первый.

Впереди них тянулась открытая снежная дорога, где мельчайший предмет виден был на большое расстояние;

по обе стороны ее, образуя как бы живые стены, росли кусты терновника и высокий кустарник.

— Долго нам еще идти? — спросил офицер. — Я не вижу экипажа, о котором вы говорили.

— И я не вижу, — ответила девушка своим серебристым голосом, — это удивляет меня; давно бы нам уже следовало дойти.

— Не случилось ли чего, что вынудило баронессу уехать?

— Это невероятно, сударь, моя крестная мать осторожна, все пустынно вокруг нас на несколько миль вокруг.

— Именно это совершенное отсутствие движения и тревожит меня, — ответил офицер улыбаясь.

— Я не понимаю вас, сударь.

— В военное время, милое дитя, особенно надо остерегаться тех мест, которые кажутся самыми мирными и пустынными.

— О! Это не может относиться к этому месту.

— Как знать? — прошептал Мишель задумчиво.

— Я скорее думаю, что барыня моя, находясь на прямой и открытой дороге, где так легко было увидеть ее издали, сочла нужным стать в кустарник у дороги, где ограждена от любопытных глаз.

— Быть может.

— Это очевидно так, сударь.

— Я допускаю это, прелестное дитя, но только отчего же мы не видим следов колес на снегу?

— Отчего, сударь? Я почти уверена, что мы далеко еще не дошли до места, где сначала остановилась карета. Следов колес и быть не может.

— Справедливо изволите рассуждать, — смеясь, согласился Мишель.

— К тому же, хоть бы они и были, — продолжала девушка наставительным тоном, который очень ей шел, — снег валит хлопьями и давно бы успел их закрыть. Оглянитесь, сударь, и попытайтесь-ка отыскать наши следы.

Молодой человек обернулся машинально: в самом деле, следов их уже не существовало.

— Прелестный профессор, — сказал Мишель шутливо, — я признаю себя побежденным, не употребляйте во зло вашего торжества.

— А следовало бы, — возразила она лукаво, — но я добра и лучше скажу вам, что, идя так тихо, нам еще добрых двадцать минут не достигнуть места, где сперва остановилась карета. Мы теперь едва на пистолетный выстрел от шалаша, где ваши стрелки.

— Ну, теперь вы ошибаетесь, прелестное дитя, мы идем более четверти часа.

— Положим, но черепашьям шагом, оттого, верно, вам путь и кажется длинен, — прибавила она с плутовскою улыбкой.

— Теперь вы зло смеетесь надо мною.

— Ничуть, просто говорю правду; но позвольте, кажется, я что-то слышу.

Они остановились и слушали.

В чаще раздался тихий свист с известными переливами.

— Слышали? — спросила девушка.

— Разумеется, но я не могу определить, где именно раздался этот сигнал.

— А я знаю, пойдемте.

— Позвольте, — остановил он девушку, — ничто не доказывает, чтоб сигнал относился к нам.

— Не бойтесь, я узнала свист, которым крестная призывает меня.

— Это другое дело, и если вы уверены...

— Как нельзя более, — перебила она с нетерпением.

— Однако вы говорили мне сейчас, что мы должны быть далеко от места, где остановилась карета.

— Правда, но что же в этом? Крестная могла, как я и предположила это сначала, для большей осторожности, не только поставить экипаж в кустарник, но и подъехать насколько возможно ближе к месту, где вы стоите биваком.

— У вас на все ответ, когда вам угодно, очаровательный демон, — сказал Мишель с улыбкой слегка насмешливой, — я слепо отдаюсь в ваше распоряжение. Ведите же меня!

В эту минуту послышался второй свист.

— Видите, крестная теряет терпение.

— Не заставим ее более ждать. Идите, я следую за вами.

Девушка улыбнулась и помчалась в кустарник, как испуганная серна, вслед за нею пошел без всякого колебания и Мишель, только более спокойным шагом.

Девушка не держалась края дороги, а смело вошла в кустарник, пройдя расстояние метров в сто, свернула вправо на природную аллею величественных сосен и как будто пошла назад, то есть по направлению к шалашу, но параллельно с дорогой.

— Куда же вы идете? — окликнул ее Мишель. — Я совсем не понимаю, где мы.

— Смотрите под ноги, — ответила она лаконично не останавливаясь.

Мишель опустил глаза — следы колес ясно виднелись на земле, только местами покрытой снегом.

— Правда, — сказал он, — но я все-таки ничего не понимаю.

— А загадку-то понять не трудно, — возразила девушка слегка насмешливо. — Крестная велела проехать гораздо далее, чем мы с вами полагали; мы прошли, не подозревая того, место, где она находится, а теперь должны возвращаться назад. Да вот поглядите, там у огромной сосны в начале прогадины разве не видите вы кареты?

— И в самом деле, решительно, прелестное дитя, вы отличный жокей, я лучшего бы не желал, хоть на край света идти.

— Так далеко я вас не поведу, сударь, — сказала девушка смеясь, — я побоялась бы...

— Чего же? — спросил он, когда она запнулась.

— Ничего, — ответила она. — Надо спешить, крестная теряет терпение, не время теперь говорить любезности.

Молодой человек прикусил губу, но не ответил.

Они продолжали идти и вскоре были в десяти шагах от экипажа.

Баронесса отворила дверцу, выпрыгнула из кареты и поспешно пошла к ним навстречу. Мишель ускорил шаги.

— Оставь нас, крошка, — сказала девушке баронесса, и та отошла тотчас.

— Я поспешил явиться по вашему приказанию, баронесса, — сказал Мишель, кланяясь почтительно.

— Благодарю за себя и за вас, — любезно ответила она, — но прошу следовать за мною; я открыла поблизости громадное дерево, высохшее от старости, пустой ствол которого еще стоит; нам удобно будет беседовать там о важных делах, вынудивших меня отыскивать вас.

— Я к вашим услугам, баронесса.

Они прошли несколько шагов молча, и баронесса остановилась перед столетним гигантом леса, ствол которого был совершенно пуст.

— Вот наша зала совещания, — сказала баронесса, входя в дупло. — Как видите, не мы первые нашли тут убежище; нам хорошо будет здесь.

В самом деле, дупло имело около пятнадцати футов в окружности, размер комнаты средней величины, в высоту оно достигало двенадцати футов, земля в нем была ровная и очень сухая. Несколько вязанок соломы в углу, две скамьи, табуретка и стол, срубленные на скорую руку, составляли мебель этого своеобразного жилища, которое недавно еще, и даже теперь, пожалуй, служило какому-нибудь дровосеку, отлучившемуся на это время по своим делам.

Точно будто принимая в своей гостиной друга-посетителя, баронесса с пленительной улыбкой пригласила Мишеля сесть и села сама.

Настало непродолжительное молчание, очевидно, оба собеседника не решались заговорить.

Однако молчание это чем долее длилось, тем становилось тяжелее. Мишель решил прервать его одной из тех общих фраз, которые ставят разговор на настоящую почву.

— Баронесса, — сказал он с поклоном, — хотя письмо, которым вы удостоили меня, и было без подписи, а прелестная ваша посланница хранила упорное молчание на все расспросы, я тотчас угадал, что письмо от вас, и поспешил явиться по вашему приказанию.

— Простите это ребячество, мне следовало откровенно подписаться под письмом, которое не могло набросить тени на мое доброе имя. Но знаете ли, мы, немки, любим тайну даже в безделицах, и я безотчетно увлеклась привычкой или, вернее, туманным настроением моего чисто германского ума; итак, прошу извинить меня и приступим к цели, очень грустной, нашего разговора.

— Не должны ли вы сообщить мне о каком-нибудь несчастье, баронесса? — вскричал молодой человек с душевным волнением, которого не в силах был скрыть.

— Я в долгу у вас, господин Гартман, — сказала она тихо и ласково, — и никогда не буду в состоянии отплатить вам; два раза случай сводил нас, и два раза я обязана была вам жизнью.

— Баронесса...

— Я должна помнить это и не забываю; я поклялась исключительно посвятить себя интересам вашим и тех, кого вы любите, пока длится эта ужасная война, то есть пока вы и ваши близкие подвергаетесь опасностям, от которых никакая власть, никакие меры не оградят вас, если преданный и верный друг вовремя вас не остережет. Меня уже заподозрили в измене, схватили и отвезли в Шпандау, но мне удалось оправдаться, и я опять на свободе. Я воспользовалась ею, чтобы вернуться сюда немедленно, продолжать смертельную борьбу с вашим непримиримым врагом.

— Презренный Поблеско! — вскричал Мишель в порыве гнева. — Змея, отогретая нами, которая платит за благодеяния...

— Самую черную неблагодарностью. Почти всегда так бывает, разве не знаете вы этого?

— Какое мне дело до ненависти подлого негодяя, баронесса? Раз он уже был у меня в руках, я мог раздавить его, но пренебрег такою местью; отняв у него наворованное, я отпустил.

— Знаю, но вы были не правы; когда захватишь змею, надо раздавить пятою ее отвратительную голову, полную яда, и не довольно того еще, разрубить на куски тело и разбросать их, чтобы они не срослись. Если б ненависть Поблеско только грозила вам, это было бы не важно, вы военный и в состоянии защищаться, но чудовище это, в котором человеческого только и есть, что образ, включает в свою ненависть все ваше семейство, против него-то задумана им страшная месть, от которой спасти может одно чудо.

— Объяснитесь ради самого Бога! Вы приводите меня в ужас, баронесса! — вскричал Мишель в волнении.

— При помощи Божией мне удалось с опасностью для жизни завладеть этим макиавеллическим планом, который диким зверством своим превышает всякое вероятие.

— И план этот?

— В моих руках, вот он.

Баронесса подала ему бумаги, которые несколько дней назад отняла у Жейера.

Офицер с живостью взял их и принялся было читать.

— Позвольте, — остановила она его.

Он поднял голову и сунул бумаги в боковой карман.

— Говорите, баронесса, — сказал он, — теперь я в долгу у вас.

— К сожалению, — грустно возразила она, — не известно еще, не способствовали ли мои усилия только к ускорению страшной развязки. Четыре дня эти бумаги в моих руках и я напрасно ищу вас везде; сегодня я напала на ваш след случайно, а между тем сколько протекло часов в эти четверо суток! Кто знает, не был ли человек этот предупрежден своим соучастником Жейером, у которого я отняла бумаги?

— А! Этот гнусный жид также участвует в заговоре?

— Он главный поверенный Поблеско.

— Где же сам Поблеско?

— Уже десять дней, как скрывается под ложным именем, он втерся...

— Дессау! — воскликнул молодой человек в неудержимом порыве.

— Да, под этим именем скрывается он.

— Зачем не послушали меня! — вскричал молодой человек с сердцем. — Я почуял его с первого же взгляда, несмотря на искусную гримировку. О! Теперь он поплатится мне за все. Я бегу...

— Пойдите! — удержала она его, заставляя сесть опять, так как Мишель уже вскочил с места и готов был броситься вон.

— Правда, мне все надо знать, прежде чем карать.

— Вы говорите о каре, — возразила баронесса, грустно покачав головою, — кто знает, не исполнил ли уже человек этот своего замысла и ускользнул от вашей мести.

— Объяснитесь ради самого Бога! Я горю нетерпением; мне надо лететь на помощь к своим.

— Если все свершилось, то уже поздно, если же не сделано еще, то у вас несколько часов впереди — замышляемое злодеем есть дело мрака и может совершиться только ночью. Где ваши вольные стрелки остановились на биваках третьего дня ночью?

— Близ уединенной сыроварни, хозяин которой при первом слухе о войне бросил свое заведение и укрылся в Кольмаре.

— Это не то. Видели вы с тех пор ваш отряд?

— Нет, четыре дня не видал; я иду впереди разведывать дорогу.

— Как же Лилия нашла вас в стане?

— Это не стан, мы только привал делали, чтоб отдохнуть часок и позавтракать. Когда я получил ваше письмо, содержание которого встревожило меня, я тотчас отправил к друзьям человека надежного предупредить их не трогаться с места и ждать моих распоряжений.

— Вы поступили благоразумно, этот человек, вероятно, и принесет вам сведения.

— Часа через два-три он непременно будет назад.

— Дай-то Бог, чтоб я ошибалась и принесенные им известия были отрадны! Где остановился ваш отряд вчера вечером?

— В большой сыроварне, хозяин которой до сих пор не хотел оставлять своего дома и оказал самое радушное гостеприимство.

— Далеко это место от Севена?

— Нет, милях в трех, не более.

— Если так, то вооружитесь всем вашим мужеством.

— Баронесса, умоляю вас...

— Меры приняты были заранее, чтоб похитить всех дорогих вам существ: мать вашу, сестру, невесту — особенно сестру, которую Поблеско поклялся сделать своей любовницей.

— О! Это невозможно! — вскричал Мишель, вскакивая. — Господь не попустит подобного злодеяния... я бегу...

— Да куда же вы пойдете? Что можете вы сделать? Кто знает, куда Поблеско увлек свои жертвы?

— Я узнаю! Прощайте, баронесса. Да благословит вас Господь за услугу, которую вы хотели оказать мне! Пустите меня, я должен идти, я спасу их, клянусь, или умру!

— Берегитесь! Берегитесь! — вскричала баронесса, бросаясь к нему и дернув его назад.

В то же мгновение раздался выстрел и вслед за ним другой.

— Ах! — вскричала баронесса и зашаталась.

Мишель поддержал ее.

Она страшно побледнела, и большое кровавое пятно показалось на ее лифе под левою грудью.

Молодой человек взял бедную женщину на руки, перенес ее в глубину дупла и положил на солому.

Вдруг стремительно прибежали двое. Лилия со слезами бросилась к баронессе, а Паризьен остановился у входа.

— Браво! — весело вскричал он при виде Мишеля. — Вы не ранены, командир? Вот счастье-то! Да здравствует радость и...

— Молчи, — остановил его Мишель, схватив за руку, — вот в кого попала пуля, и бедная женщина, быть может, испускает дух!

— Как! Пуля попала в женщину? О, подлец, в нее-то он, верно, и целил!

— Смотри!

— И в самом деле! — сказал зуав печально. — А если так, — вдруг крикнул он, ударив оземь прикладом ружья, — ну погоди, молодец...

И командир не успел опомниться, как он бегом пустился в лес и вмиг скрылся из виду в густом кустарнике.

Но вскоре он появился опять, волоча за ноги без малейшей осторожности человека, который ревмя ревел от боли и между этим жалобно умолял Паризьена, не обращавшего на него никакого внимания.

— Сапристи! Как умно я сделал, что не послушал вас, командир, — говорил сержант на ходу, — я подозревал недоброе. Всегда надо быть настороже с этими разбойниками-пруссакими. Хуже бедуинов они, право! Нежданно, негаданно — трах! — убьют женщину, ребенка! Вот кто стрелял, командир! Вы слышали, как запело мое ружьецо? Это в него я палил, к несчастью поздно; недостаточно я остерегся его и, потом, стрелял-то наугад. Все равно испортил лапку маленько. Погляди-те-ка, командир, на эту рожу, узнаете вы ее? А видели недавно. Ну, оборачивайся, молодец, чтоб тебя узнали.

Говоря так, неумолимый сержант дошел до командира, встряхнул без всякой пощады субъекта, которого тащил за собою, и быстро перевернул его на спину.

Несчастный испустил болезненный стон и закрыл глаза.

— Жейер! — вскричал Мишель с ужасом.

— Самолично, командир. Порядочный мошенник, честное слово! Что с ним делать?

— Прострели ему голову, это убийца, он заслужил смерть.

— Понял, командир, не занимайтесь им больше, лучше извольте оказать помощь бедной дамочке.

Мишель бросился к баронессе, укоряя себя в том, что так долго оставлял ее без пособия в ее опасном положении.

Сержант лукаво поглядел ему вслед и, когда убедился, что начальник не обращает на него более внимания, насмешливо, по своему обыкновению, пробормотал:

— Убийца-то он убийца, но прострелить ему голову — ни-ни! Не смешно вовсе и скоро кончено. Надо, чтоб он почувствовал приближение смерти; это утешит дамочку. Бедняжка, такая красивая, такая добрая, не гнусность ли подстрелить ее как куропатку!

Бормоча таким образом, сержант исподтишка следил взором за движениями Мишеля; когда же он удостоверился, что тот поглощен уходом за раненой и не думает о нем вовсе, то удалился потихоньку, волоча за собою несчастного банкира и повторяя с насмешливым выражением любимую свою фразу:

— Мы посмеемся.

Он шел медленно, озираясь вокруг с пристальным вниманием и порой взглядывая наверх, как будто искал чего-то и найти не мог.

— Вот что мне надо! — вскричал он наконец с движением удовольствия, обратившись к банкиру, который опять жалобно застонал. — Потерпи, молодец, я позабочусь о тебе, — сказал он тоном таким грозным, что несчастный содрогнулся.

Он выпустил ногу раненого, у которого опять вырвался стон, и подошел к высокому дереву, черешне со стволом в пятнадцать футов высоты, совершенно гладкой и без ветвей.

Сержант осмотрел это дерево с очевидным удовольствием и снял с себя тонкую, но прочную веревку, которая обмотана была у него вокруг пояса.

— Что значит быть предусмотрительным! — проворчал он. — Вот моя веревочка и кстати прилась.

Размотав веревку, он привязал камушек к одному концу и перебросил его через одну из вертикальных ветвей черешни; камушек упал по другую сторону, и сержант потянул веревку, а когда конец оказался в двух или трех футах от земли, он навязал на нем петлю с величайшим тщанием.

Вдруг в кустарнике произошел шум.

Паризьен поднял голову.

Сержант Петрус и человек восемь стрелков выбежали на прогалину.

— Та, та, та! Милости прошу, — сказал Паризьен шутливо.

— Благодарю! Что вы тут хлопочете?

— Как видите, товарищ, устраиваю виселицу, чтобы рассчитаться с этим господином, — ответил Паризьен, указывая на банкира, буквально лежащего врасстыжку на земле.

— Вот фантазия! Что это за субъект?

— Всмотритесь-ка лучше.

Петрус ткнул его ногою.

— Банкир Жейер! — сказал он.

— Собственною особою к услугам вашим... для некоторого развлечения, — подтвердил Паризьен все более и более насмешливо. — Но как попали вы сюда, товарищ?

— Услышал два выстрела, друг любезный, а командир Мишель был здесь, разумеется, это испугало меня и я бросился на поиски.

— Вы хорошо сделали, сержант, сперва стрелял вот этот человек, а потом я.

— Да, да, я узнал звук вашего ружья. И командир не ранен?

— К счастью, нет, но этот негодяй ранил и, пожалуй, убил прелестную даму, с которою командир беседовал в то время по-дружески.

— Что вы говорите?

— Правду.

— Как! Этот подлец стрелял в баронессу фон Штейнфельд?

— Как в кролика — да, товарищ, пройдите немного дальше, и вы найдете бедную женщину, лежащую в дупле мертвого дерева.

— Бегу сейчас, бедная женщина! — вскричал Петрус. — Надеюсь, вы не помилите этого мошенника?

— Кажется, не похоже на это, — ответил Паризьен посмеиваясь.

Знаком запретив волонтерам следовать за ним, Петрус помчался по направлению, указанному ему зуавом.

Тот спокойно принялся опять за свое дело с помощью уже волонтеров.

Проголина, где остановился зуав, имела порядочный объем; до войны она была центром большой порубки леса, что доказывалось множеством помеченных для срубки деревьев и пней, торчащих из земли; срубленные деревья были очищены от ветвей и сложены в кучу, совсем готовые для перевоза. Нагрянула война, работы

остановились, и, разумеется, бревна и ветви лежали тут в ожидании лучших дней.

По приказанию Паризьена вольные стрелки устроили из этого леса нечто вроде платформы у самого подножия дерева, предназначенного служить виселицей.

Исполнив это, Жейера поставили на платформу, приклонив спиной к дереву, на шею ему накинута петля, два волонтера приподняли его, и Паризьен сунул ему под ноги толстую чурку, потом веревку прикрепили так, чтобы она не соскользнула.

— Вот и готово, — сказал Паризьен, потирая руки, — механика на славу, надеюсь.

Три вольных стрелка сошли с платформы, предоставив несчастного банкира его судьбе.

Вот каково было его положение: туловищем прислоненный к стволу дерева, он ногами опирался на чурку, и веревка с петлей, накинута ему на шею, была натянута не настолько, чтобы сильно спирать дыхание, но при малейшем движении, которое он сделает, чурка неминуемо выкатится из-под его ног, он потеряет равновесие и будет повешен безвозвратно.

Паризьен великодушно предупредил его об этом.

— Ради Бога, убейте меня сейчас! — вскричал несчастный. — Не осуждайте меня на эту пытку.

— Души мы губить не хотим, — холодно возразил сержант, — вы большой грешник, пользуйтесь немногими минутами, которые вам остаются, молитесь и кайтесь пред Господом.

— Разве нескольких минут достаточно, чтоб вымолить прощение моих проступков? — вскричал осужденный в отчаянии.

— Это ваше дело и до меня не касается.

— Увы! Мои силы истощаются, пощадите во имя всего святого!

— Вы приговорены к казни, молитесь, если смеее.

— Сжальтесь, сжальтесь! — кричал повешенный, хрипя. — Убейте меня скорее!

— Нет.

— Я богат, на мне более миллиона золотом и банковыми билетами; возьмите все, я отдаю вам, только жизнь оставьте мне, жизнь, жизнь, самую жалкую жизнь, но только не эту ужасную смерть. Сжальтесь, я выбился из сил!

— Молитесь, ваше золото не спасет вас, нам оно не нужно. Раз мы простили вам, теперь вы осуждены безвозвратно, молитесь. Прощайте.

Сержант сделал знак, и вольные стрелки последовали за ним. Еще несколько минут мольбы, угрозы и богохульства презренного шпиона преследовали их.

Они ускорили шаги. Вдруг раздался ужасный, нечеловеческий крик, при всей их храбрости они вздрогнули и кровь застыла в их жилах.

Правосудие свершилось — банкир отдал Богу душу, тело его было уже только бездыханным трупом.

Однако Мишель находился в большом затруднении: он не имел понятия, как перевязывают раны, и Лилия, бедная девушка, смыслила в этом не более него, она только умела плакать.

Баронесса лишилась чувств.

Напрасно Мишель ломал себе голову, придумывая средство оказать необходимое пособие доброй женщине, столько раз доказывавшей ему свою преданность; и теперь она лежала умирающая у его ног, жертва последней попытки спасти его с товарищами.

Лакей и кучер баронессы, старые и преданные слуги, прибежали при звуке выстрелов, но также не знали, что делать, и приходили в отчаяние.

В эту минуту появился Петрус.

Увидав его, Мишель вскричал от радости и бросился к нему навстречу.

До поступления в отряд вольных стрелков Петрус Вебер несколько лет изучал медицину, он занимался отлично и, когда вспыхнула война, ему оставалось только защитить свою диссертацию для получения степени доктора.

В немногих словах Мишель передал ему случившееся.

— Все это я знал, — ответил Петрус, — Паризьен сказал мне. В каком положении находится раненая?

— Она в обмороке.

— Тем лучше, при обмороке оборот крови медленнее и она легче запекается. Ведь я сначала поступил врачом в отряд альтенгеймских вольных стрелков. У меня в сумке все, что нужно, чтобы осмотреть рану и сделать перевязку. Не будем отчаиваться.

— Надеетесь вы спасти эту несчастную женщину, любезный Петрус?

— Я многим пожертвовал бы для этого, не скрою, что она внушает мне живейшее сочувствие.

— Пытаясь еще раз предостеречь нас от коварства врагов наших, она была ранена подлецом Жейером.

— Знаю, я видел Паризьена, он собирается повесить жида.

— И хорошо сделает.

— Я не осуждаю его, он же мне сказал, где отыскать вас.

— И вы думаете, что спасете эту бедную женщину?

— Сделаю все от меня зависящее, но ничего еще не могу сказать, когда не видал ее.

— И в самом деле, где же у меня голова, что я держу вас здесь! Пойдемте.

Они подошли к соломе, на которой лежала баронесса.

— Оставьте меня с раненой, — сказал Петрус, — эта молодая девушка поможет мне при перевязке, вас мне не нужно, не пускайте сюда никого.

— Не оставляйте меня долго в неизвестности, я в тоске. Как скоро вы осмотрите рану, скажите мне, опасная она, смертельная или ничтожная, я предпочитаю самую ужасную известность тому чувству, которое теперь сжимает мое сердце.

— Честное слово, любезный Мишель, я все скажу вам без утайки, когда сам буду знать. Идите же; со мною несколько товарищей, велите им сходить за водою, или, если нет воды, хоть снегу принести, снег даже лучше, мне он нужен для перевязки.

Мишель вышел из дупла, в то же мгновение предсмертный крик банкира мрачно огласил воздух. Молодой человек содрогнулся.

— Что это? — спросил он себя, оглядываясь вокруг. — Не новое ли несчастье? Сохрани нас Боже!

Подошедший с товарищами Паризьен тотчас объяснил ему настоящую причину.

Когда Паризьен кончил доклад, Мишель снял шляпу.

— Да простит ему Бог! — сказал он.

— Что сделать с трупом? — спросил Паризьен.

— Вырыть могилу и тотчас схоронить его.

— Человек этот перед смертью объявил нам, что при нем более миллиона золотом и банковыми билетами.

— Он даже предлагал нам эти богатства, если мы согласимся оставить ему жизнь, — прибавил Влюбчивый.

— Что вы сделали с деньгами?

— Не касались их, командир, без вашего приказанья мы не хотели обыскивать его.

— Вы хорошо поступили, я пойду с вами до места казни, мы снимем тело и сделаем опись всему, что окажется на нем, потом тело надо схоронить. Двое из вас будут рыть могилу, пока мы составим опись. Вы, Влюбчивый, постарайтесь достать воды и принесите ее сюда, а вы, Шакал, останетесь здесь. Если сержант Петрус будет искать меня, тотчас бегите за мною.

— Слушаю, командир.

— Пойдемте, господа.

Мишель, предшествуемый Паризьеном, который служил проводником, удалился в сопровождении вольных стрелков.

Когда они достигли прогалины, где свершилась казнь, двое тотчас принялись рыть могилу в стороне, по указанию командира.

Должно быть, Жейер испустил дух в жестоких страданиях: черты его были страшно искажены, судорожно сжатые руки закинута на голову и, вероятно, в минуту агонии схватились за веревку; круглая палка, которую сержант сунул ему под ноги и которая, выкатившись из-под них, причинила мгновенную смерть, упала с платформы и лежала на снегу.

По приказанию Мишеля Паризьен отпустил веревку, два вольных стрелка подхватили тело и положили его на землю.

Тогда приступили к осмотру. Мишель заносил в список все, что мало-помалу находили на умершем банкире.

Он не солгал: при нем была громадная сумма золотом и банковыми билетами, сверх того, оказывались и важные бумаги от прусского правительства с подписями Бисмарка и Мольтке.

Кроме сафьянового пояса и бумажника, набитого бумагами, в одежде покойного находилось громадное количество потайных карманов, где сделаны были самые удивительные, драгоценные открытия.

Все было тщательно занесено в список, и присутствующие скрепили его своею подписью.

Денег оказалось почти до трех миллионов; какими грабительствами, должно быть, накопил такую громад-

ную сумму презренный, которого несколько недель назад заставили заплатить несколько миллионов выкупа!

— Эти деньги принадлежат французскому правительству, — сказал Мишель, — их надо отдать, мы не имеем на них права — это гроши, отнятые у многих сотен семейств, обобранных и доведенных до нищеты.

Могила была вырыта, тело опущено в нее, засыпано землею и заложено громадными кусками дерева, все вместе потом тщательно утоптали, чтобы тело не вырыли и не растерзали хищные звери, две палки в виде креста воткнули над могилою, и вольные стрелки, молча, оставив прогалину, вернулись на место, где совершилось покушение на жизнь баронессы.

Влюбчивый исполнил приказание Мишеля, он отыскал воду и принес достаточное количество.

Петрус еще не спрашивал командира.

Последний заставил тогда Влюбчивого передать ему, что произошло в шалаше после его ухода.

Он исполнил это в немногих словах.

Шалаш оказывался гораздо ближе, чем полагал Мишель. Услыхав два выстрела, Петрус встревожился насчет командира, решил произвести рекогносцировку и сам стал во главе ее. Стеречь шалаш со сложенными там сумками и поддерживать огонь он оставил капрала Освальда с четырьмя волонтерами.

Прошло довольно времени, и оставленные в шалаше волонтеры, вероятно, сильно беспокоились, да и мало ли что могло случиться. Мишель приказал Влюбчивому и Шакалу идти в стан, передать товарищам, что было, и вместе с тем строго предписал им, если он долго будет в отсутствии и Оборотень вернется ранее его, тотчас вести контрабандиста к мертвому дереву, где застанут его непременно.

Два вольных стрелка немедленно отправились в путь.

Чтоб не захватил их врасплох неприятель, если б бродил в окрестностях, отыскивая Жейера, Паризьен поставил двух часовых в кустарнике. Возвращаясь, он увидел привязанного к кусту оседланного мула. Он отвязал животное и повел его за собою на прогалину. Этот мул, красивый и сильный, принадлежал банкиру. Вероятно, Жейер давно уже тайком наблюдал за действиями баронессы и скрыл своего мула в кустах, чтоб спастись бегством после замышляемого им убийства.

Мул был тщательно осмотрен, однако ничего на нем не оказалось, кроме седла и сбруи. Его привязали за каретой.

Чем более проходило времени, тем сильнее становилось беспокойство Мишеля.

Наконец Петрус показался у входа в дупло; длинное и бледное лицо сержанта смотрело мрачнее и унылее чем когда-либо, что Мишелю показалось добрым знаком: он с давних пор знал Петруса вдоль и поперек.

У Петруса радость была сумрачна, счастье угрюмо.

Мишель бросился к нему.

— Ну что? — спросил он в волнении.

Сержант взглянул на него сурово.

— Я охотно выкурю трубочку, — ответил он, — сапристи! Целых два часа не курил.

И он немедленно набил свою огромную трубку, которая всегда висела у него на поясе.

— Ну же, Петрус, отвечайте мне! — вскричал Мишель, топнув в нетерпении ногою.

— Мы все смертны, — объявил сержант, чиркнул спичкой по рукаву и закурил трубку.

Мишель овладел собою, он знал, с кем имеет дело.

— Ах! Как приятно, — сказал сержант, выпуская громадный клуб табачного дыма, — право, я сильно в этом нуждался.

— Ради Бога, Петрус, друг мой, сжальтесь надо мною, не оставляйте меня долее в невыносимой пытке; теперь трубка ваша раскурена, чего же вам недостает еще? Скажите мне, есть надежда или надо опасаться всего?

— Любезный Мишель, — ответил Петрус глухим голосом, окружая себя густым облаком дыма, — вы мне нравитесь, ей-Богу! Разве был бы я так спокоен, если б принес дурную весть? Худо же вы знаете меня.

— Так есть надежда? — вскричал Мишель с радостью.

— Есть ли надежда? Еще бы ей не быть!

— Она спасена?

— Как нельзя вернее, любезный друг.

— Слава Богу! — сказал он с чувством. — Теперь, определив этот первый пункт, мы можем объясниться.

— Очень охотно.

— Скажите мне положительно, в каком состоянии она находится?

— В наилучшем, какое можно вообразить; завтра она будет танцевать гавот, если пожелает.

— Не шутите же, друг мой.

— В жизнь не говаривал серьезнее.

— Так рана ее?

— Булавочный укол и ничего более.

— Не понимаю.

— Однако дело ясно. Сапристи! Какой мерзкий табак курят дураки немцы, просто жалость, честное слово!

— Петрус, я как на угольях.

— Как святой Лаврентий или Гватимозен, знаю. Дело в том, что негодный Жейер, по счастью, имел охотничье ружье.

— Вы думаете?

— Когда же я вам говорю!

— Правда, дальше что?

— Он стрелял слишком издалека, и рука его дрожала. Пуля, неверно направленная и утратив большую часть силы, сделала одну легкую царапину под левою грудью, выше сердца, она не углубилась, а скользнула по поверхности тела, из чего следует, что ничтожная царапина только причинила потерю крови, следовательно, обморок и все такое. Более нет ничего, разве волнение, испуг и мало ли что могло способствовать обмороку.

— Ах, какое бремя вы у меня сняли с души!

— А говоря по правде, она спаслась чудом: несколькими линиями ниже, и она была бы убита.

— Как?

— Да пуля попала бы прямо в сердце и положила ее на месте.

— Слава Богу, что этого не случилось!

— Аминь от всего сердца, любезный Мишель, это прелестная женщина.

— Какова она теперь?

— Очень хорошо чувствует себя, я успокоил ее на счет последствий; она хотела тотчас ехать, но я не допустил.

— И хорошо сделали, мне надо проститься с нею.

Баронесса, еще бледная и трепещущая, показалась в эту минуту у отверстия дупла, опираясь о плечо Лилии.

— Простите мне беспокойство, которое я вам причинила, — с улыбкой обратилась она к Мишелю, — теперь все прошло, я чувствую себя совершенно бодрою. Ваш

доктор, добрый господин Петрус, наделал чудес: он меня вылечил не только от раны, которая ничтожна, но и от страха, который она было нагнала. Я уезжаю, Бог весть, увидимся ли мы когда-нибудь, господа, но что бы ни случилось, воспоминание о вас всегда мне будет дорого, я навсегда сохраню его в моем сердце. Не теряйте драгоценного времени, пожалуй, в эту ночь уже совершилось несчастье, спешите, не теряя более ни минуты, куда влечет вас сердце и призывает долг. Прощайте, господа!

— Мы не оставим вас таким образом, баронесса.

— Не занимайтесь мной, мне опасаться нечего, через несколько часов я буду ограждена от всякого нападения, пожалуйста, не думайте обо мне и спешите к тем, кто теперь, быть может, с отчаянием призывают вас на помощь.

— Боже мой! Я все забыл, — вскричал Мишель, — мать моя, сестра!

— И невеста, — прибавила она с грустной улыбкою, — кто знает, что она выносит в это самое мгновение? Спешите, спешите, ради Бога!..

Она посмотрела на них с минуту, еще раз махнула рукой на прощание и ушла медленными шагами.

Вскоре она скрылась в кустарнике и вслед за тем раздался стук кареты, удалявшейся во весь опор.

Мишель и Петрус стояли неподвижно, все еще устремив взор на место, где исчезло пленительное видение.

Мишель вздохнул.

— Она уехала, — пробормотал он.

— Да хранит ее Бог! — сказал Петрус. — И мы не худо сделаем, если последуем ее примеру, — здесь нам делать нечего, а долг призывает нас в другое место.

— Пойдемте, — вскричал Мишель голосом, дрожащим от глубины чувств, — мы и то уж запоздали.

Прогалина, где произошли переданные нами роковые события, опустела мгновенно.

Вольные стрелки вернулись в шалаш.

ГЛАВА XXIX

В Севене

Страшная суматоха царствовала в вогезской сыроварне.

В мгновение ока это мирное жилище приняло совсем иной вид.

Пока Отто фон Валькфельд нес так же легко, как ребенка, на своих мощных руках бесчувственную Анну Сиверс в ее комнату и сдавал ее на попечение верной Елены, большая часть вольных стрелков, с Ивоном Кердрелем и Гартманом во главе, в сопровождении слуг и волонтеров, которые несли зажженные факелы, бросились из дома и тщательно обыскивали все окрестности сыроварни.

Снег перестал, морозило сильнее, безоблачное темно-голубое небо сверкало блестящими звездами.

Позади дома виднелось множество следов: в некоторых местах снег был совсем затоптан, на опушке леса, метров на десять в глубь чащи, виднелись у развалившейся хижины дровосека следы около пятнадцати лошадей, которые, по-видимому, тут стояли привязанные часа два.

На этом месте, где снег едва покрывал землю, в грязи осталось множество следов ног — они шли кучкой на расстоянии ста или полутора метров, потом разделялись всером по трем разным направлениям и наконец терялись окончательно в глубоких оврагах.

С постов, распределенных накануне по окрестностям для наблюдения и охранения всего отряда, ничего не видали и не слышали.

Похищение совершено было с удивительным искусством и людьми, знакомыми до мелочей с местностью, где должны были действовать.

Всю ночь длились поиски с неутолимимым усердием, однако ни к чему не привели.

Вольные стрелки, посланные на разведки по разным направлениям, вернулись один за другим, падая от усталости, но не открыв ни единого признака, который мог бы повести к чему-нибудь положительному.

Гартман и Кердрель были в отчаянии.

Убедились только в одном — двери, должно быть, отворил неприятелю изменник, иначе похищение не совершилось бы с таким успехом. Но кто был он? Как уличить его? Вероятнее всего, что он бежал с похитителями.

Приступили к перекличке.

Два вольных стрелка не отозвались — эти два отсутствующие недавно поступили в отряд и вели себя примерно.

Что заключить? Виновны они или с ними случилось несчастье во время поисков ночью?

Часам к восьми утра, страшно изуродованный труп одного из двух исчезнувших стрелков нашли на дне оврага и принесли в сыроварню. Разве не мог другой отсутствующий быть жертвою такого же несчастного случая?

Словом, непроницаемый мрак облекал это мрачное событие.

А между тем надо было действовать быстро. Рассуждали без конца, а не приходили ни к какому выводу, вдруг увидали человека, который с ребенком и громадною черною собакою направлялся к сыроварне.

Это появление вызвало единодушный крик радости.

— Оборотень! Оборотень! — вскричали вольные стрелки.

Действительно, достойный контрабандист, присланный Мишелем, подходил к дому, не подозревая о несчастье, которое случилось ночью.

Оборотень вовсе не ожидал такого восторженного приема, при скромности своей он сильно был озадачен, и в самом деле, никогда его возвращение, после отсутствия более или менее продолжительного, не производило такого эффекта.

Он хотел уже осведомиться о причине, но ему не дали времени.

Гартман, Ивон и Отто завладели им, увлекли в комнату, где заперли за собою дверь, и голосом, который дрогнул не раз, Ивон рассказал без дальних околичностей события предыдущей ночи до мельчайших подробностей.

С грустным вниманием слушал контрабандист, не прерывая ни одним словом, печальный рассказ молодого человека, в голосе которого звучало отчаяние, трогательное сердце.

Когда же он кончил, Оборотень проворчал, качая головой и как бы рассуждая сам с собою:

— Вот несчастье-то! Что скажет командир Мишель?

— Увы! — вскричал Гартман. — Он будет в таком же отчаянии, как и мы все.

— С ума можно сойти! — пробормотал Ивон.

Контрабандист гордо поднял голову, взор его сверкнул молнией.

— Нет, — сказал он, — не время теперь предаваться горю, надо открыть виновных и отплатить им по заслугам, надо доказать этим врагам без совести и чести, нападающим на женщин, что не такого мы закала люди, которых оскорблять можно безнаказанно. Что вы делали после похищения?

— Всю ночь провели в бесплодных поисках.

Насмешливая улыбка мелькнула на губах контрабандиста.

— Вы горожане, — сказал он, — вы ничего не смыслите в лесах и пустыне. Я найду.

— К несчастью, поиски займут много времени и, пожалуй, все-таки ни к чему не поведут, — сказал Гартман со вздохом, похожим на рыдание.

Оборотень слегка прищурил один глаз, и лицо его приняло выражение самое плутовское.

— Я прошу у вас два часа, — сказал он, — разве это много?

— Конечно нет, — с живостью ответил Отто. — И в два часа?..

— Я все буду знать, — объявил Оборотень ясно и отчетливо.

— Да ведь это невозможно! — вскричал Ивон. — Повторяю вам, что мы производили самые тщательные поиски и ничего не открыли.

— Это не удивляет меня. Я открою все, ручаюсь вам, хоть бы они зарылись в землю, как кроты.

— Дай-то Бог! — пробормотал Гартман в унынии.

— Когда вы приметесь за поиски? — спросил Ивон.

— Сейчас же, — ответил он.

С этими словами он отпер дверь и крикнул:

— Эй! Мальчуган!

Ребенок прибежал почти мгновенно, говоря:

— Я тут батюшка.

— Не следует ничего забывать, — сказал Оборотень скорее про себя, чем присутствующим.

Тут он обратился к ребенку, стоявшему неподвижно на пороге.

— Мальчуган, ступай-ка ты назад в шалаш, откуда мы пришли, знаешь?

— Знаю, батюшка.

— Слышал от товарищей, что тут было ночью?

— Слышал, батюшка.

— Все передай командиру и скажи, что его ждут здесь с остальными, чтобы он спешил. Понял, мальчуган?

— Понял, батюшка.

— Повтори-ка для примера.

Мальчик повторил без малейшей ошибки инструкции, данные ему отцом.

— Хорошо, ты умник, смотри же духом беги, не зевайся дорогой.

— Не беспокойтесь, батюшка.

Он поклонился, взявшись за клочок волос, шаркнул ногой и убежал.

— Том, сюда, старикашка! — крикнул Оборотень.

Собака примчалась на середину комнаты.

— Останься со мною, старикашка, у нас с тобою дело есть, — сказал он, похлопав собаку по спине.

Та устремила свои красные глаза на хозяина и помахала хвостом.

— Можете вы свести меня в комнату, которую занимали дамы? — спросил контрабандист. — Мне надо взглянуть на нее.

— Пойдемте, — ответил Отто.

Они вышли и вскоре были в большой комнате, где стояли четыре кровати, отделенные ширмами.

— Здесь, — сказал Отто.

— Останьтесь за дверью, но пусть она будет открыта, — продолжал контрабандист.

И, позвав собаку, он вошел с нею в комнату.

Постели были разрыты, крышки чемоданов откинута, словом, все в величайшем беспорядке.

Оборотень, от которого не отходила собака, тщательно осмотрел комнату, порой останавливаясь, чтобы дать Тому понюхать платье, шаль или носовой платок.

Перчатку Лании, брошенную на столе, он неоднократно заставлял Тома нюхать, и каждый раз после того собака помахает хвостом, тихо твякнет и посмотрит на хозяина умными глазами.

Наконец после добрых двадцати минут, что он проделывал все эти штуки, Оборотень опять дал Тому понюхать перчатку и сказал:

— Шерш!

Собака уткнула нос в пол и обошла раза два комнату; вдруг она остановилась у одного из окон, помахала хвостом и тихо залаяла.

— Э! — вскричал Оборотень. — Окно-то приперто только, посмотрите.

— Это правда, — прошептали трое мужчин, следовавших за ним по его приглашению.

— Вот каким путем совершилось похищение.

— Вы полагаете? — вскричал Гартман.

— Сами видите, Том почуял, уж куда тонко у него чутье. Теперь мы напали на след и, ручаюсь вам, доберемся до конца его, следите внимательно за тем, что произойдет.

Собака одним прыжком махнула в окно, Оборотень последовал за нею, но осторожнее: окно было в семи футах от земли.

Под ним земля была затоптана на довольно большое пространство.

Оборотень нагнулся и поднял из грязи тонкую золотую цепочку с крошечным крестиком, тоже золотым.

— Поглядите-ка, — сказал он.

— Это моей бедной Лании, — вскричал Гартман, с рыданием целуя дорогие ему предметы.

— Как видите, я не ошибаюсь, — продолжал контрабандист, — едва я успел приняться за поиски, как уже напал на открытие.

Трое мужчин обошли двор вокруг и машинально смотрели на затоптанную ногами грязь.

Собака стояла неподвижно, глядя на хозяина с тем почти человеческим выражением, которое Господь вложил в глаза некоторых благороднейших видов собачьей породы.

— Ведь вы вернете мне дочь, друг мой? — с мольбою в голосе сказал Гартман.

— Мы с Томом сделаем что можем, сударь, — ответил контрабандист с свойственным ему непроницаемым выражением.

Потом он снова показал Тому перчатку, говоря:

— Пошел, торопись!

Собака повиляла хвостом и тотчас опять принялась искать.

Она прямо направилась к разрушенной хижине, где остались следы привязанных лошадей.

— Мы уже были здесь ночью, — заметил Отто.

— Немудрено, — возразил Оборотень с своим насмешливым видом.

— Правда, — согласился молодой человек, — следы довольно видны.

Том обогнул хижину, вошел внутрь ее и отправился далее, все не теряя следа.

Гартман, Ивон и Отто, сильно заинтересованные странными проделками Тома и его хозяина, также пошли за ними.

Вольные стрелки, стоя кучкой у дома, смотрели издали.

— Предупреждаю вас, — сказал Отто, — что следы расходятся в нескольких шагах отсюда.

— Это старая штука и ввести может в обман разве только горожанина, а такого умного пса, как Том, этим не обманешь, вот увидите.

Достигнув места, где следы разделялись на три тропинки, образуя некоторое подобие гусиной лапы, собака, не останавливаясь, прямо свернула на следы влево.

— Мы попали на настоящий след, — лаконически объявил контрабандист, — теперь нечего бояться потерять его.

Трое мужчин все следовали за ним.

Шагах в трех- или четырехстах далее собака вдруг остановилась, обнаруживая беспокойство, шерсть ее под-

нялась, она завывала так жалобно, что все содрогнулись и кровь застыла в их жилах, юркнула в кусты и мгновенно скрылась.

Через минуту она невдалеке испустила вой еще жалобнее первого.

— Что это значит? — спросил Гартман.

— Собака нашла что-нибудь, вероятно труп.

— Труп! — вскричали все в один голос.

— Надо пойти посмотреть, — решительно сказал Ивон Кердрель.

— Я только что хотел предложить, — подхватил Отто.

— Пойдемте, — сказал контрабандист, один вооруженный ружьем, которое поставил на второй взвод.

Все четверо вошли в кустарник. Они не сделали десяти шагов, как увидели Тома, сидящего на задних лапах возле мертвого тела, наполовину засыпанного снегом, что служило доказательством, что смерть последовала среди ночи.

Увидав подходящих мужчин, собака, не сходя с места, завывала в третий раз.

Они приблизились. Ивон и Отто с первого взгляда узнали исчезнувшего вольного стрелка, которого нигде отыскать не могли.

Оборотень наклонился к телу и несколько минут пристально рассматривал его.

— Человек этот был зарезан, — сказал он наконец, подняв голову.

— Зарезан? — повторили с содроганием другие.

— Посмотрите-ка, шаспо его ведь не разряжено.

— Правда, — согласился Отто.

— Револьверы его, засунутые за пояс, тоже заряжены.

— Что же это все значит? — спросил Гартман.

— Суньте руку в карман штанов этого человека, и все объяснится, — ответил контрабандист.

Гартман отступил в ужасе.

— Вы не хотите? Пойдите.

Оборотень сунул руку в карман и вывернул его — штук двадцать золотых монет, флоринов и фридрихсдоров, выкатилось на землю.

— Понимаете теперь? — спросил контрабандист.

— Почти, — сказал Отто.

— Ровно ничего, — возразил Ивон.

— Этот человек был изменник, — прошептал Гартман.

— Именно, — сказал Оборотень.

— О! Не обвиняйте, не будучи уверены, — остановил Ивон.

— Уверенность вы скоро сами получите. Вот что произошло. Этот человек доставил немцам необходимые сведения, чтобы пробраться в сыроварню, а так как похищение совершено через окно, то, разумеется, он же впустил в дом людей, которым оно было поручено. После похищения, когда вы занимались тщетными поисками, человек этот прямо прибежал сюда. Здесь ожидал другой кто-то, уплатил, вероятно, условленную за измену сумму и потом потребовал, чтобы вольный стрелок с ним ушел, когда же тот отказался, сделал вид, будто довольствуется его доводами, расстался с ним вот там, где снег утопан, как видите. Вольный стрелок не остерегался и шел торопливо, чтобы успеть вернуться, прежде чем заметят его отсутствие. Немец, напротив, сделал сначала несколько шагов в противоположную сторону. Вдруг он повернулся на каблуках — видите, след их и теперь ясно еще выделяется — и после секунды нерешимости одним прыжком бросился на вольного стрелка, схватил его за ворот, потянул назад и перерезал ему горло длинным охотничьим ножом.

— Мнимый Дессау всегда носил при себе охотничий нож, — вставил Отто в виде пояснения.

Оборотень продолжал, как будто не слышал этих слов:

— Бедняга упал мертвый на месте, не вскрикнув даже, убийца наклонился над ним, пожалуй с намерением отнять деньги, которые ему отдал, но что бы ни было у него на уме, исполнить этого он не успел. Видите, в каком беспорядке одежда несчастной жертвы, должно быть, внезапный шум помешал убийце — пожалуй, дикое животное промчалось в испуге, — он торопливо поднялся и бросился к месту, где привязал лошадь, вскочил в седло и ускакал во весь опор, вот что. Теперь надо похоронить этого беднягу, он и то дорого поплатился за свою вину.

— Не заботьтесь об этом, Оборотень, это наше дело, — сказал Отто.

— Разумеется, — прибавил Гартман, — а вы, другой, не прерывайте поисков ваших.

— Вы правы, господа, я и так много потерял здесь времени.

Он свистнул собаке, которая пошла за ним, понуря голову и поджав хвост, и вернулся на дорогу с видом грустным.

Другие следовали за ним молча.

Достигнув опушки леса, контрабандист указал рукою на дерево, у подножия которого снег был затоптан и на стволе, футах в четырех от земли, видны были следы от трения веревки или повода.

— Вот где привязана была лошадь, — сказал он.

И пошел далее.

Прошло несколько минут. Собака опять стала искать следы по знаку хозяина, вдруг она остановилась, как будто понюхала воздух и громадным скачком скрылась в кустарнике.

— Что-то есть новое, — заметил Отто.

— Есть, — коротко ответил контрабандист.

— Поспешим.

— Не к чему, вот и Том.

В самом деле, он только скрылся на мгновение и появился опять.

Он бежал к хозяину, неся что-то в зубах.

Махая хвостом и слегка подавая голос, он остановился перед Оборотнем и опустил на землю, что нес.

Это была женская перчатка.

— Перчатка моей дочери! — вскричал Гартман, схватывая ее и поднося к губам в судорожном порыве горя.

— Господа, — сказал контрабандист, — как видите, я напал на след, что бы ни случилось, я не собьюсь с него и, клянусь вам, достигну цели. Перчатка эта брошена с намерением, я в этом уверен. Несомненно, окажутся и другие признаки, надейтесь. Я обязался отыскать похитителей во что бы ни стало и отыщу их, ничего не предпринимайте до моего возвращения, через час, много два, я вернусь со всеми необходимыми сведениями. Провожать меня далее бесполезно, ведь вы должны быть совершенно успокоены насчет результата моих поисков, разойдемся здесь, вы только задерживаете меня, а в доме, быть может, в вас нуждаются.

— Правда, друг Оборотень, — сказал Отто, — мы уйдем от вас в уверенности, что вы будете иметь успех.

— Верните мне дочь мою, — прошептал Гартман.

— Повторяю, сударь, я сделаю все, что может исполнить человек.

Он еще раз махнул рукою на прощание, свистнул собаку, которая, уткнув морду в землю, бросилась вперед, и удалился такими быстрыми шагами, что не многие в состоянии были бы следовать за ним.

Почти тотчас он свернул с дороги и скрылся из виду.

Гартман пошел к дому грустный и молчаливый.

Вольные стрелки, шаря по окрестностям, отыскиали тело своего товарища и унесли его, в чем удостоверился Отто, когда проходил место, где бедняга был зарезан.

Оставим теперь сыроварню и вернемся в нашем рассказе на несколько часов назад, чтоб свести читателя в деревню Севен, о которой упоминалось не раз и где происходили тогда некоторые события, чрезвычайно важные.

Севен был до войны одним из самых населенных и промышленных местечек во всех французских Вогезах, но едва вспыхнула война, как все это процветание рухнуло словно от громового удара. Спустя несколько дней после Рейсгофена жители толпой оставили деревню и Севен опустел.

Надо сказать, что за неделю до того дня, когда мы входим в Севен, в пустынной деревне произошло нечто странное, что возбудило бы сильнейшее любопытство, не будь окрестности на десять или пятнадцать миль вокруг, также брошенные жителями, совершенно безлюдны, и в особенности если б сообщения, даже на короткое расстояние, не были почти невозможны на этих высотах при необычайной суровости зимы.

В одно утро с раннею зарею длинный ряд телег, нагруженных домашнею утварью, а за ними стадо скота и, наконец, множество крестьян появились на крутой горной тропинке, которая вела к Севену.

Крестьяне, в одежде горцев, шли за телегами один за одним, не перекидываясь ни словом и мрачно куря громадные глиняные трубки.

Замечательно, что все крестьяне были молоды, сильны, с лицами суровыми и жесткими, и между ними не оказывалось ни одного преклонных лет, не было также ни одного ребенка, а женщины, все здоровенные, с сме-

лым взором и почти мужскою походкою, отважно шли возле мужчин, вместо того чтобы укрываться в телегах от снега, валившего уже несколько часов кряду.

Женщин вообще было очень мало, десять или двенадцать, самое большее, а крестьян до шестисот по меньшей мере. Это кочующее население, направлявшееся в Севен, превышало на добрую пятую долю число прежних жителей его.

Когда новоприбывшие достигли деревни, они остановились на площади, выстроились в две шеренги с точностью, которая сделала бы честь прусским солдатам, и ждали безмолвно, не переставая курить.

Телеги также поставились в ряд за двойным строем крестьян, один из начальников раскрыл тетрадь, которую держал в руке, и стал вызывать каждого по имени, а второй начальник указывал вызванному дом, где ему поместиться.

Тот выходил тогда из ряда, телега следовала за ним, и, не говоря ни слова, он шел занимать указанный ему дом.

И все это производилось холодно, спокойно, безмолвно, без торопливости и без замешательства, в стройном порядке, словно полк пришел на квартировку и ему раздаются билеты на постой.

Менее чем в час все было, как следует, люди размещены, телеги разгружены и под навесом, двери открыты, окна завешены занавесками, из труб валили клубы дыма, лошади стояли в конюшнях, скот в хлевах и пехи пели на задворках.

Если б посторонний часа через два прошел деревню, он с трудом поверил бы, что деревня была когда-либо оставлена жителями, и восхитился бы спокойствием населения, со всех сторон, однако, окруженного войною: так потекла там жизнь обычною колеєю и каждый предмет казался вполне на своем месте.

Однако внимательный наблюдатель, особенно же любопытный, был бы озадачен этим самым спокойствием, исключительно наружным, только для глаза, так сказать, существующим, где семейной жизни не было, за отсутствием матерей и детей, и где малейшие действия, поступки по-видимому самые ничтожные каждого индивидуума казались заранее определены на вес и меру.

Словом, Севен в глазах этого любопытного наблюдателя скорее имел бы вид большой казармы, чем деревни

трудолюбивых горцев. Ни песен, ни веселья, ни смеха, ни споров, ни драки, как это встречается в больших селениях на пороге кабаков, напротив, везде видны были одни сосредоточенные лица, холодно обменивались сдержанными словами и во всех местах сходки, вечером например, на посиделках, никогда не длившихся позднее восьми часов — мертвое молчание точно мрачное траурное покрывало нависло над этим странным населением, словно окаменелым.

Так продолжалось дней восемь с правильностью механизма, когда в одно утро, часу в пятом, человек пятнадцать всадников, в плащах, белых от снега, прискакали в деревню, окружая несколько лиц, закутанных до глаз в толстые накидки, похожие на шерстяные кафтаны ломовых извозчиков в окрестностях Парижа, лица эти казались в одно и то же время предметом самого заботливого внимания и бдительного надзора.

Во главе этой группы всадников, неслышно скользивших по снегу точно привидения, ехал на вороном коне человек, как две капли воды похожий на Дессау, которого мы в предыдущей главе видели в такой странной роли.

Всадники направились без малейшего колебания к стоявшему почти на середине деревни большому дому, окна которого ярко были освещены, тогда как все остальные дома погружены были во мрак.

Некоторые из всадников сошли с лошадей у дома, где их точно будто поджидали, потому что дверь отворилась сама собою, прежде даже, чем они постучали, чтобы дать знать о себе, и несколько человек с зажженными факелами в руках появились у входа.

Дессау, или, вернее, Штанбоу — пора вернуть ему настоящее имя, — сделал едва заметный знак рукой тем из всадников, которые соскочили наземь, они подошли к вышеупомянутым особам, взяли их лошадей под уздцы, подвели к двери и помогли им сойти, на что те согласились с очевидным неудовольствием и опасением, но не говоря ни слова.

Они вошли в дом, предшествоваемые бароном фон Штанбоу, а за ними следовали несколько человек с факелами и три-четыре кавалериста, которых тяжелые палаши гремяли по плитам пола.

Поднявшись на лестницу в конце длинного коридора, Штанбоу очутился на площадке, куда выходило несколь-

ко дверей, одну из них он отворил и ввел шедших за ним в помещение, состоящее из нескольких комнат, порядочно меблированных: они были освещены, и в каминах горел яркий огонь, последняя комната, самая большая, с четырьмя кроватями, предназначалась для спальни.

Две женщины с наглым взором, грубыми чертами и непривлекательными ухватками стояли в этой спальне, как бы ожидая приказаний.

— Милостивые государыни, — холодно и с надменным поклоном сказал Штанбоу, обернувшись к особам, о которых мы упоминали, — вот назначенное вам помещение, эти две женщины будут вам служить, они в вашем распоряжении.

— Нам никого не надо, — возразила одна из дам, откинув капюшон и оставив этим движением на виду бледное лицо госпожи Гартман, — мы сами будем служить себе.

— Как вам угодно, — ответил Штанбоу с насмешливой улыбкой, — я ни в чем не хочу стеснять вас, впрочем, и не худо, пожалуй, если вы научитесь обходиться без прислуги, — виноват, кажется, вы устали. Я ухожу, чтоб дать вам отдых, необходимый после продолжительного пути. В смежной комнате приготовлена для вас закуска.

С минуту Штанбоу стоял неподвижно, как бы в ожидании ответа, но, видя, что ответа нет и госпожа Гартман без церемонии повернулась к нему спиною с выражением убийственного презрения, он отвесил глубокий поклон, движением руки удалил странных камеристок и вышел с сопровождавшими его людьми.

За ним дверь на площадку заперта была на ключ в два поворота и часовой поставлен на площадке.

— Гм! — усмехнулся толстый господин, спускаясь с Штанбоу по лестнице. — Вот, ей-Богу, бой-баба.

— Вздор, — возразил Штанбоу улыбаясь, — я знаю ее с давних пор, весь этот гнев в час времени растает в потоке слез. У меня страшное оружие против нее — хочет либо нет, а согласиться она должна на то, что я потребую.

— Не думаю, чтоб вы успели, — заметил собеседник, покачав головой.

— Тем хуже для нее, если так, — презрительно сказал Штанбоу, — клянусь вам, я сломя ее без малейшего колебания.

— Как хотите, барон, вам лучше знать, что делать, но берегитесь: французы и то обвиняют нас не без основания в жестокости к женщинам.

— Французы собаки! — вскричал барон вне себя. — Впрочем, как им и знать, что здесь произойдет, — прибавил он спокойнее, — разве мы здесь не у себя?

— Так-то так, однако верьте мне, остерегитесь и свидетелей Ивика.

— Благодарю, доктор, — ответил Штанбоу насмешливо, — совет хорош, я припомню его, чтоб принять все меры осторожности. Не пойдете ли вы со мною на совет?

— Как же, барон, иду.

Они вместе вышли из дома.

Площадь уже опустела, всадники скрылись.

Отпустив людей, которые следовали за ними, двое мужчин перешли площадь, направляясь к дому, стоявшему напротив того, где заперты были женщины и окна которого осветились несколько минут назад.

Когда в десять часов утра Штанбоу вышел из дома, где поместился, и проходил площадь, он увидел группу всадников, человек в двенадцать, с генералом в саксонском мундире во главе, который, остановившись у двери деревенской гостиницы, вел с трактирщиком переговоры. При генерале находился штаб-офицер. Всадники, сопровождавшие генерала, были в мундирах саксонской гвардии и под командою старого унтер-офицера с угрюмым лицом.

Само собою разумеется, Штанбоу переоделся и теперь был в полувоенном, полуштатском костюме, который совершенно изменил его иставлял на вид выгодную наружность. Штанбоу, как мы и заявляли в надлежащее время, не только был молод, едва тридцати двух лет, но и справедливо слыл за одного из красивейших и образованнейших дворян прусского двора.

Машинально бросив, по привычке все наблюдать, равнодушный взгляд на приезжих, он нашел как будто знакомыми черты генерала. Чтoб удостовериться, не ошибается ли, Штанбоу переменял направление и пошел к гостинице, которой достиг в ту самую минуту, когда офицеры входили в дверь.

Что же касается конвоя, то конюх отворил ворота и саксонские солдаты, под наблюдением унтер-офицера, ставили лошадей в конюшню и холили их с тою забот-

ливостью, которую кавалеристы прилагают к этому важному для них занятию.

— Ба, ба, ба! — вскричал генерал, увидав Штанбоу. — Вот счастливая-то встреча! Не ожидал я найти в этом захолустье знакомое лицо.

И, бросив трактирщика, с которым говорил, он подошел к барону с улыбкой на губах и протягивая ему руку.

— Барон Фридрих фон Штанбоу, если не ошибаюсь, — сказал он.

— Кажется, я имею честь видеть графа Отто фон Дролинга, — ответил барон, дружески пожимая протянутую ему руку.

— Самолично, барон, — пошутил его превосходительство, — я очень рад, ей-Богу, что встречаю вас, не ожидал никак подобной удачи в этой горной норе.

— Очень счастлив, граф, и весь к услугам вашим, если могу быть чем-нибудь полезен.

— Благодаря тысячу раз, принимаю ваше обязательное предложение так же искренно, как оно сделано. Большое удовольствие найти с кем перемолвить слово среди плоских эльзасских лиц, которых выпученные глаза точно поглотить вас хотят. Доннерветтер! Нас недолюбливают здесь в краю.

— Действительно, не любят, граф, — ответил Штанбоу с улыбкой немного насмешливой.

— Однако знаете, барон, я удивляюсь, как это вы сразу узнали меня, когда мы, если память не изменяет мне, виделись всего один раз, лет пять назад.

— Совершенно верно, граф, на бале эрцгерцогини Софии в Берлине. Вы удостоили меня чести обменяться со мною несколькими словами.

— Так точно, дер тейфель! Какая у вас память, барон, чудо просто!

— Правда, — ответил Штанбоу с самодовольством, — я одарен довольно редким свойством: стоит мне раз увидеть кого-нибудь и я узнаю это лицо хотя бы через двадцать лет.

— Вижу, — сказал генерал и отвернулся, чтоб скрыть улыбку, которая заставила бы барона задуматься, если б он мог видеть ее. — Позвольте представить вам полковника Врангеля, — продолжал он, — моего двоюродного брата и друга. Барон Фридрих фон Штанбоу.

Они поклонились друг другу церемонно.

— Я много наслышан о бароне, — сказал полковник с изысканной учтивостью.

— Атака врангелевских кирасиров под Вертом осталась знаменитою в прусской армии, — ответил барон тем же тоном.

Знакомство состоялось. Сели, приказали принести закуску, закурили сигары, и разговор стал общий: речь шла о разных событиях войны, планах, более или менее удачных, известных генералов, об окончательном, крайне близком торжестве, о Франции, разоренной и навсегда распавшейся на части, о многих вопросах, еще важных для прусских офицеров, и при всем этом усердно пили и курили.

Генерал Дролинг вполне смотрел старым воином — толстяк средних лет, рослый и сильный, он не брил бороды, нос имел красный, выдающиеся скулы синеватого оттенка и, очевидно, комплекцию, склонную к удару, лицо его буквально разделялось надвое громадным шрамом, который придавал ему выражение грозное, так как рот и правый глаз постоянно подергивало вследствие раны, и, кроме того, глаз слезился, а веко, красное как кровь, казалось точно вывернутым.

Что касалось полковника Врангеля, то он был без малого шести футов и соразмерной худобы, ему, казалось, по меньшей мере шестьдесят лет, длинные волосы и борода были серебристо-белого цвета, составлявшего резкую противоположность с багровой краснотой небольшой части его лица, которая оставалась на виду, его маленькие, огненные, с косыми прорезами глаза и плоский нос придавали ему некоторое сходство с калмыком.

Впрочем, два саксонских офицера казались весельчаками, они курили исправно, пили еще исправнее и толковали с пламенным увлечением, которое очень забавляло их неожиданного собеседника.

— Как вы попали сюда, граф? — спросил барон между разговором. — Эта деревня, насколько мне известно, не стоит ни на какой дороге.

— Смотря по тому, куда едешь, барон, — ответил генерал, осушив залпом громадную кружку.

— Положим. Куда же вы едете?

— Вас занимает это? — спросил генерал, подмигнув левым глазом, отчего сделал страшную гримасу.

— Меня, граф? Нисколько, клянусь вам!

— Тем лучше, сказать я не могу.

— Так и говорить об этом не станем, — смеясь, возразил барон.

— Вот именно. Кажется, здесь командир полковник фон Экенфельс?

— Как вы изволите говорить? — переспросил барон, вздрогнув от изумления.

— Видно, я дурно выразился, — добродушно продолжал генерал. — Эта деревня ведь называется Севен?

— Так точно, граф, это Севен.

— Ну, я и говорю, что деревню занял с неделю назад полковник фон Экенфельс, чтоб сыграть шутку с этими чертями *маркарами* или вольными стрелками, как угодно будет назвать.

— Как вы узнали?.. — вскричал Штанбоу в крайнем изумлении.

— Не чуть ли вы расспрашиваете меня? — перебил генерал с оттенком строгости.

— Простите, ваше превосходительство, но...

— Любезный барон, — перебил граф, — так как я имел счастье встретиться с вами и вы любезно предложили мне ваши услуги, будьте обязательны и попросите полковника фон Экенфельса прийти сюда через час, мне надо подготовиться принять его. Потрудитесь передать полковнику, что я требую его по делу службы.

— Исполню приказание вашего превосходительства, но если вы позволите...

— Насколько мне известно, барон, — перебил генерал, вставая, — вы не входите в состав войска?

— Это правда, ваше превосходительство, но...

— Довольно об этом. Я не удерживаю вас, барон. Очень рад буду видетсья с вами еще до моего отъезда. Где мои комнаты, эй, ты? — обратился он к трактирщику.

— Здесь, ваше превосходительство, — отозвался тот, бросаясь к двери с шапкою в руке.

Генерал и полковник раскланялись с бароном и удалились, предшествуемые трактирщиком, который униженно кланялся на каждом шагу.

— Идиоты солдаты! — вскричал Штанбоу в сердцах, едва остался один. — Из таких ослов ничего не вытянешь.

Он вышел из гостиницы исполнять поручение, которое ему дали, и затем уже направился поспешными ша-

гами в дом, служивший тюрьмой господам Гартман и Вальтер с их прелестными дочерьми.

Хотя измученные усталостью, они не ложились — горе их было так сильно, тоска так велика, что они подумать не могли об отдыхе. Смелое похищение, которого они сделали жертвою, буквально поразило их оцепенением. Они не знали, чему приписать поступок, ничем не оправдываемый, который для политики не имел никакого значения и только мог быть орудием личной мести. Кто же, однако, мог желать мстить им?

Они делали одно добро, или, говоря точнее, осыпали благодеяниями всех несчастных, которые обращались к ним даже через других.

Изнемогая от усталости, две девушки, не угадывая чистою душою грозившего им несчастья, заснули на стуле, прислонив голову к спинке кровати, возле которой сидели, одни матери их не смыкали глаз, и бессознательно для них проходили долгие, мрачные часы. Горе приглушает чувства и мысли.

Внезапно они вздрогнули.

Шум шагов раздался в комнате, смежной с тою, где находились они.

В дверь, которая заперта не была, постучали два раза как бы в насмешку.

— Войдите, — ответила госпожа Гартман безотчетно на стук.

Дверь отворили, на пороге показался мужчина.

Это был барон фон Штанбоу.

— Господин Поблеско! — вскричала госпожа Гартман в крайнем изумлении.

Она узнала его только теперь.

Прибавим, что достойная женщина, которой ни муж, ни Мишель не открывали ничего, знала о Поблеско одну лицезвую сторону и считала его человеком, преданным их семейству.

— Да, я, милостивая государыня, — ответил молодой человек с низким поклоном.

— Слава Богу! — воскликнула она, сложив руки. — Он послал вас для нашего спасения.

— Я сильно желаю этого, — ответил он с легким оттенком изумления.

Он полагал, что она все знает.

— О! Умоляю вас, спасите главное, спасите детей наших! — вскричала она с глубоким чувством.

— Постараюсь, милостивая государыня, — ответил он холодно и сдержанно, — но это трудно будет.

— Трудно?

— Да, всего более это зависит от вас.

— От меня!

— От вас, — повторил он с недоброй улыбкой, — скажите слово, одно только слово, и не пройдет пяти минут, как дверь, теперь запертая на запор, распахнется настежь и вы будете свободны.

— Свободны?.. Я не понимаю вас. Как можете вы, поляк, пользоваться такою властью у немцев, ваших природных врагов? Это поистине удивительно.

— Достаточно двух слов, — ответил он, прикусив губу, — и вам объяснится...

— Ваша гнусная измена, милостивый государь! — вскричала Лания, вдруг встав перед ним надменная и презрительная.

— Подобные слова! — пробормотал он, невольно отступая перед гордою девушкой.

— Справедливы, — подхватила она с жаром. — Мать моя, кроткая, святая женщина, гнусности вашей не знает, ей неизвестно, что вы презренный прусский шпион, что вы похитили нас в эту ночь из среды наших друзей — вы, явившийся к нам в роли изгнанника, просящего приюта. Вон! Мы гнушаемся вашего подлого присутствия.

Грозные слова эти не только не сразили Штанбоу, но еще заставили его поднять голову с циничной усмешкой.

— Вот это я называю говорить, — отозвался он, — вы сказали сущую правду, но всему единственная причина — вы. Если я поступил таким образом, если решился на похищение, то знайте, потому что люблю вас и дал клятву, которую сдержу, хотя бы гром должен был разразиться надо мною, что, пока я жив, вы будете принадлежать мне и никому другому.

— Господь справедлив, он накажет вас, я пренебрегаю вашими угрозами.

Барон пожал плечами и презрительно улыбнулся.

— Быть может, — сказал он и бросил на девушку взгляд тигра.

Потом, обратившись к трем бедным женщинам, которые присутствовали, пораженные оцепенением, при страшном разговоре, он сказал:

— Милостивые государыни, вы приговорены военным советом к расстрелянию за грабеж, учиненный надомною и банкиром Жейером некоторым Мишелем Гартманом, разбойником вне закона, который выдает себя за начальника вольных стрелков. Через час вы будете расстреляны на площади. Предайте душу Богу!

Он отвесил холодный поклон и пошел к двери, на пороге, однако, обернулся.

— Одна ваша дочь может спасти вас, — сказал он с особенным ударением на каждом слове, — пусть она согласится принадлежать мне.

— Какой ужас! — воскликнула молодая девушка и, сложенная горем, упала без чувств на руки Шарлотты и госпожи Вальтер.

— Никогда! — вскричала госпожа Гартман с героической твердостью и, указывая ему на дверь, прибавила: — Вон, проклятый, вон!

— Я вернусь через час, — ответил он с страшною усмешкой.

Он медленно вышел и запер за собою дверь.

Несчастные женщины залились слезами и плакали навзрыд.

Здесь вольные стрелки торжествуют окончательно

Полковник фон Экенфельс не только был дворянин, графского рода, но еще офицер в высших чинах и пруссак старых провинций Бранденбургского маркграфства: три причины, чтобы он был высокомерен и горд свыше всякой логической оценки. Если мы прибавим к этому, что пруссаки и саксонцы от души ненавидят и презирают друг друга, а потому очень плохо ладят, когда потребности войны случайно сводят их, читатель поймет, с каким удовольствием он получил через Штанбоу приглашение явиться к генералу Дролингу.

Мы не преувеличиваем, утверждая, что одна весть о прибытии в деревню генерала уже привела его в дурное расположение духа, но, получив приглашение явиться к нему, он буквально рассвирепел.

Приглашение было просто облеченное в вежливую форму приказание, от которого уклониться он не мог — для дисциплины в прусских войсках не существует различия рангов, она одинакова для солдат и для офицеров, для последних даже тяжелее, потому что бичует их гордость, тогда как солдат, в сущности животное, страдает только наружно, от кожи, немилосердно отколачиваемой палками, и то он не приписывает этому важности — раны скоро заживают, долголетняя привычка порождает равнодушие.

Полковник фон Экенфельс, ругаясь и посылая генерала к черту, однако собирался исполнить его приказание.

Напялив свой богатый мундир, он в полной парадной форме вышел из дома, где жил, и в сопровождении двух офицеров, служивших ему на то время адъютантами, так как он был тут главный начальник, направился самым величественным шагом к гостинице, с твердой решимостью в душе дать понять, разумеется с надлежащей почтительностью, саксонскому генералу, что офицеры его прусского величества не привыкли к такому бесцеремонному обхождению со стороны хотя бы и генералов, но под непосредственным начальством которых не находятся.

Вокруг генерала тщательно содержался караул.

У входа в гостиницу на лошади, точно конная статуя, стоял неподвижно саксонский гвардеец.

Большая зала гостиницы превращена была в некоторое подобие караульни, саксонские солдаты сидели у столов, пили и ели, старый унтер-офицер с угрюмым лицом прохаживался взад и вперед между своими подчиненными, на которых бросал мрачные взгляды, не переставая, однако, курить огромную трубку, всегда находившуюся при нем.

Полковник с своими адъютантами вошел в гостиницу. Унтер-офицер остановился, сказал слово солдатам, которые тотчас вскочили, вытянулись и отдали полковнику честь с подобающим церемониалом.

— Генерал Дролинг где? — спросил полковник у трактирщика, который подбежал к нему, сняв шапку.

— Его превосходительство изволят завтракать, — почтительно ответил хозяин, — совсем уже кончают.

— Хорошо, доложите генералу, что полковник фон Экенфельс спрашивает, угодно ли ему будет принять его.

— Сию секунду, господин полковник, — ответил трактирщик.

И, отдав честь, он бегом помчался вон из залы.

— Господа, — обратился полковник к адъютантам, — вы подождете меня. Не здесь, — прибавил он, бросив презрительный взгляд на солдат, которые все стояли вытянувшись в струнку, неподвижные и держа руки под козырек, — но в отдельной комнате, где вы будете одни.

Трактирщик вернулся.

— Его превосходительство просит ваше высокоблагородие пожаловать наверх, — сказал он.

— Показывай дорогу.

И, махнув двум офицерам на прощание рукой с видом покровительственным, он вышел из залы вслед за трактирщиком.

Как только удалился их начальник, офицеры отворили дверь боковой комнаты и расположились в ней с комфортом.

По знаку унтер-офицера саксонские солдаты сели опять к столам и продолжали есть, тогда как он взялся за трубку и по-прежнему стал расхаживать взад и вперед.

Полковник был встречен генералом с чисто военной простотою.

Дролинг сидел за столом против своего молчаливого товарища, на столике, нарочно поставленном под рукою, было множество пустых блюд и грязных тарелок и, кроме того, штук десять пустых бутылок да столько же нераскупоренных, между которыми четыре бутылки шампанского занимали самое видное место.

Генерал и его сотрапезник были красны как раки: они усердно оказали честь заказанному ими плотному завтраку.

— Садитесь, полковник, — сказал генерал, дружески протягивая ему через стол руку, — я истинно рад вас видеть. Дер тейфель! Я не приглашаю вас завтракать, потому что, как видите, мы уже принялись за десерт.

— Очень благодарен, ваше превосходительство, я также завтракал, — ответил полковник, садясь.

— Тем лучше, тысяча чертей французов! Но если есть не хотите, выпить вы должны, клянусь бородою дьявола! Ну, ты, — обратился он к трактирщику, — подавай господину полковнику стакан, проклятая свиная кожа! Да раскупорь бутылку шампанского, торопись смотри, или я переломаю тебе все кости, баранья ты голова!

Трактирщик поспешил исполнить приказание.

Стаканы были наполнены и осушены.

— Превосходное вино, — заметил генерал, облизываясь с наслаждением, — превосходное вино, однако ниже достоинством наших добрых рейнских вин.

Полковник Врангель отозвался каким-то фырканьем или ржанием, где ни одного отдельного слова слышно не было, и снова налил стаканы.

— Хорошо вам живется здесь, полковник? — спросил Дролинг, выбирая сигару в великолепной сигарочнице.

— Нисколько, ваше превосходительство, жизнь преглупая.

— Я понимаю это. За ваше здоровье!

— За ваше, генерал!

— Кстати, прочтите-ка эту бумагу.

Он подал полковнику сложенную бумагу, которую достал из кармана мундира.

— Приказ генерала фон Вердера находится под вашей командой?! — с изумлением вскричал Экенфельс.

— Неприятно вам это? — спросил генерал, осушая стакан, который молчаливый товарищ его только что наполнил.

Этот странный не то товарищ, не то адъютант, по-видимому, имел обязанностью наливать стакан начальника и пить как бочка: два дела, исполняемые им добросовестно и с редким усердием.

— Нисколько, ваше превосходительство, — возразил Экенфельс, стараясь скрыть гримасу, — напротив, я очень рад. Итак, ваше превосходительство сменили генерала фон Вердера в командовании Эльзасом?

— Да, — ответил тот небрежно, — возьмите же себе сигару. Барон Мольтке находит его слишком вялым и в особенности слишком мягким с населением бунтовщиков.

— Я не скажу этого.

— Однако это так. Отличный военный этот барон Мольтке! — вскричал Дролинг, взявшись за стакан. — За его здоровье!

— Исполин! — восторженно вскричал полковник и осушил свой.

— Чудо! — сиплым голосом подтвердил адъютант.

Знакомство было сделано, вместе курили, пили вино и кофе. У немцев особенные правила гастрономии.

— Прескверные у вас шпионы, — заговорил опять Дролинг между двух клубов дыма, — оттого они и служат вам самым жалким образом.

— Вы находите, ваше превосходительство?

— Доказательства имею. Общее правило, полковник, никогда к службе не должно примешивать страстей, иначе все пойдет наыворот: собою не владеешь, в глазах мутно и суждение притупляется. За ваше здоровье!

— За ваше! Однако я не совсем понимаю, что вы хотите сказать этим, ваше превосходительство.

— У французов, да разразит их небо, есть поговорка: за двумя зайцами погонишься и одного не поймаешь. Я же скажу: двух дел разом не сделаешь, и своих, и служебных, дер тейфель!

— О! — вскричал Экенфельс, залпом осушив свой стакан, так как почувствовал, что побледнел, и движением этим хотел скрыть свое внезапное волнение.

— Понимаете? — продолжал Дролинг добродушно.

— Понимаю, ваше превосходительство.

— Тем лучше, это избавит меня от труда входить в дальнейшие объяснения, мы отлично все знаем в главной квартире.

— Вижу, ваше превосходительство.

— А вы ничего еще не знаете. Хотите доказательств? Я тысячу представлю вам.

— Позвольте заметить, ваше превосходительство, что, находясь на месте...

— Вы тем не менее ровно ничего не знаете, — перебил генерал с громким смехом.

— О! — воскликнул полковник с движением протеста.

— Вот видите, Врангель! — обратился генерал к своему адъютанту, выразительно пожав плечами.

— У них глаза есть, чтобы ничего не видеть, и уши, чтобы ничего не слышать, — ответил тот мрачным голосом, от которого Экенфельс внутренне содрогнулся.

— Послушайте, полковник, — продолжал генерал, — два дня назад один из главных шпионов ваших повешен был вольными стрелками в немногих милях отсюда.

— Один из главных шпионов наших?

— Да, полковник, банкир Жейер из Страсбурга, если уж надо открыть вам его имя. Что вы об этом думаете?

— Это ужасно!

— Это еще ничего.

— О! Ваше превосходительство...

— Сейчас сами можете судить, — холодно продолжал генерал, ставя назад на стол свой пустой стакан, который адъютант не замедлил налить опять, также и свой, разумеется, — вы, верно, слышали о баронессе фон Штейнфельд, полковник, женщине очаровательной красоты, которая оказала нам величайшие услуги.

— Как не слышать, ваше превосходительство, часто даже и с величайшими похвалами.

Генерал и спутник его разразились демонским хохотом, от которого Экенфельс оторопел вконец.

— Виноват, полковник! — вскричал Дролинг. — Простите, не в силах был удержаться, дер тейфель! Просто хоть лопни. Ну-с, эта очаровательная баронесса, которую вам так часто хвалили, влюбилась, извольте видеть, в одного из начальников вольных стрелков, этих воплощенных демонов.

— Она, ваше превосходительство?

— Самолично, докладываю вам, женщины быстро ведут дело, особенно когда сердце в доле. Баронесса, извольте видеть, передалась неприятелю с руками и ногами — пока вы тут сидите в вашей мнимой засаде, она выводит из Эльзаса проклятых вольных стрелков по непроходимым тропинкам. Если мы не остережемся, они ускользнут от нас, они завтра уже будут вне нашей власти.

— Однако, ваше превосходительство, барон фон Штанбоу уверял меня...

— Штанбоу прекрасный малый, я очень люблю его, но в этом случае он совсем промахнулся. Дело в том, что Штанбоу также влюблен — в девочку, которую похитил и привез сюда. Не подозреваете ли вы, что мне кое-что известно, полковник? — прибавил генерал, бросив на него взгляд, от которого он вспыхнул и опустил глаза. — Впрочем, довольно об этом предмете, я не хочу ни разыскивать виновных, ни наказывать их, я только хочу, если возможно, поправить то, что они наделали.

— И вы сомневаетесь, ваше превосходительство?

— Нет, я знаю, вы военный в душе и преданы святому делу Германии. Поймите меня с полуслова: были доносы высшим властям — у каждого есть завистники и враги. Я зла вам не желаю, каковы будут ваши действия, такова и награда. Поняли?

— Ваше превосходительство, — вскричал полковник подобострастно, — что бы ни приказали вы мне, я исполню, рассчитывайте на меня.

— Хорошо, я принимаю это к сведению. Сколько у вас тут народа?

— Всего, ваше превосходительство?

— Да, солдат и мнимых крестьян.

— Тысяча двести человек: четыреста изображают население деревни, восемьсот расставлены вокруг в засадах.

— Это действительно хорошо. Вслушайтесь-ка внимательно, теперь я говорю с вами по службе.

— Слушаю, ваше превосходительство, — сказал полковник, встав.

— Позиция этой деревни превосходна, я хочу сохранить ее — она может принести нам величайшую пользу для известных планов, которые я сообщу вам в надлежащее время.

— Слушаю, ваше превосходительство.

— Тотчас отсюда вы незаметно выедете из деревни. Есть же у вас, надеюсь, офицеры, к которым вы имеете особенное доверие?

— Два есть, ваше превосходительство, они здесь, внизу.

— Очень хорошо, вы возьмете их с собою. Ведь в деревне у вас войска нет?

— Нет, ваше превосходительство.

— Правда, надо было сохранить наружный вид; но теперь засада бесполезна и требуются другие распоряжения. В числе офицеров у вас должен быть капитан Шимельман.

— Как же, есть, отличный офицер.

— Знаю, — улыбаясь, ответил Дролинг. — Дайте ему двести человек под команду и прикажите войти в деревню через час — необходимо содержать здесь хороший караул.

— Слушаю, ваше превосходительство, все будет исполнено.

— А вы, полковник, соберите все отряды, расставленные по засадам, и не теряя ни минуты направьте их к Бельфору, в особенности позаботьтесь о четырех горных единорогах — они вам пригодятся при встрече с вольными стрелками.

— Так вы меня посылаете в погоню за вольными стрелками?

— Менее чем в три часа они будут в ваших руках, если вы сумеете взяться, полковник, и в этот раз уж более не уйдут: они окружены со всех сторон.

— Вы извещены обо всем, ваше превосходительство, просто на диво!

— Да, нам шпионы служат исправно, как я вам говорил. Когда ваше войско выступит, вы, полковник, ска-

чите сюда во весь опор принять от меня последние инструкции. Выпейте стакан шампанского и в путь — нельзя минуты терять, чтобы иметь успех.

— Мы восторжествуем! — вскричал полковник.

— Надеюсь, — ответил генерал с загадочною улыбкой, — за ваше здоровье, полковник. Главное, никому ни слова, даже лучшему другу вашему, это вопрос жизни и смерти.

— Буду нем, ваше превосходительство.

Чокнулись стаканами и выпили.

— Желаю успеха, полковник, я буду ждать вас здесь.

— Я вернусь менее чем в час, ваше превосходительство.

— Тем лучше, быстро надо вести дело.

Полковник поклонился и вышел. Спустя минуту он и два офицера его выезжали из деревни на отличных лошадях, которых, по приказанию полковника, тотчас велел привести один из его адъютантов.

Экенфельс не встретил никого, стало быть, ни с кем и не мог обменяться словом.

Генерал и его товарищ, прячась за оконными занавесками, следили беспокойным взором за его движениями, а едва он скрылся из виду за деревней, как они сели, весело потирая руки, и переглянулись насмешливо.

По знаку генерала адъютант его позвал хозяина.

Тот явился моментально.

— Ступай сюда, негодяй! — крикнул Дролинг. — Знаешь ты барона фон Штанбоу, сугубый дуралей?

— Знаю, ваше превосходительство, — ответил бедняга дрожа.

— Чего трясешься-то, баранья голова? Не съем же я такую гадину, как ты! Беги сию секунду к барону фон Штанбоу, свидетельствуй ему мое почтение и проси пожаловать сюда, дескать, желаю переговорить с ним. Понял меня, олух Царя Небесного?

— Понял, ваше превосходительство.

— Так улепетывай, не то бока переломаю.

Бедный трактирщик не ждал исполнения угрозы, он пустился бегом из комнаты и чуть не кубарем скатился с лестницы.

Между тем Врангель взялся за свою громадную трубку, а генерал закурил превосходную сигару.

Через десять минут Штанбоу входил в комнату, занимаемую генералом.

— Вы меня требовали к себе, ваше превосходительство? — сказал барон с почтительным поклоном.

— Да, барон, — дружелюбно ответил Дролинг. — Я желал, если вам это не в тягость, пользоваться несколько минут вашею приятною беседой.

— Много чести, граф.

— Садитесь, пожалуйста. Не прикажете ли стакан шампанского? Оно превосходно.

— Простите, граф, я никогда не пью, — возразил Штанбоу, садясь.

— Что ж это вы диету соблюдаете, уж не больны ли чем?

— Нисколько, граф, просто дело привычки, — улыбаясь, ответил Штанбоу.

— Странно, немец и пить отказывается!

— Сознаюсь в этом, граф, и потому прошу извинения.

— Ну хоть сигару возьмете, надеюсь? Получил прямо от графа Бисмарка, он никогда других не курит, ручаюсь вам.

— Приму с благодарностью.

Барон взял сигару из сигарочницы, которую подал ему генерал, и закурил ее.

— По желанию вашему, граф, я прислал к вам полковника Экенфельса. Остались ли вы довольны свиданием?

— Вполне. Экенфельс не только отличный офицер, но и человек хорошего общества, он дворянин от головы до пят, в обществе его всегда почерпнешь что-нибудь полезное.

— О! — с улыбкой заметил барон. — Неужели разговор достойного полковника так назидателен? Признаться, этой особенности я за ним не знал.

— Верно докладываю вам, мы много говорили о вас.

— Обо мне?

— Да, но, разумеется, одно хорошее, барон. Вы имеете в полковнике драгоценного друга.

— Вы полагаете?

— Уверен, барон, он то и дело расхваливал вас при всяком удобном случае.

— Это что-то чересчур! — засмеялся Штанбоу.

— Ей-Богу так.

— Да это очаровательная любезность.

- Не правда ли?
- Признаться, граф, она тем для меня очаровательнее, что я никак этого ни ожидал.
- Да, знаю, он мне говорил, вы немного просчитались.
- Ах! Он сказал вам...
- Все. Речь, кажется, шла о молодой девушке, которую вы похитили и которую он требовал на свою долю добычи, основываясь на том, что, захватив двух красавиц, могли же вы уступить ему одну.
- Неужели я так ошибся?
- Пожалуй, я выболтал чего не следовало.
- Нет, но вопрос-то щекотливый.
- Понимаю, любовь. Но ведь речь идет только о француженках, не так ли?
- О двух эльзасках, граф.
- Так это и Бог велел! — вскричал генерал с хохотом. — Разве эльзасцы не должны платить контрибуцию, когда мы сражаемся только из-за того, чтобы присоединить их к обширной германской семье?
- Вы не осуждаете, граф...
- Что вы увиваетесь около девчонок? Дер тейфель! Это свойственно вашим годам, барон. Я об одном жалею, что не могу делать того же. Кстати, в самом деле они хорошенькие?
- Очаровательны, граф.
- Так я понимаю, почему вы с Экенфельсом расхоронились, как два боевых петуха.
- Правда, но все уладилось.
- Знаю. Что ж, полюбили вас?
- Ненавидят, граф.
- Это в порядке вещей. Тем интереснее.
- Кто знает!
- И вы сомневаетесь, когда все выгоды на вашей стороне?
- Ах! Этот болтун Экенфельс, видно, рассказал вам все.
- Господи! Да зачем ему бы и скрывать? Я с своей стороны ничего в этом деле не вижу, что бы не приносило вам чести. О чем речь, в конце концов? Женщины обвинены и уличены не только в родстве, но и в сношениях с французскими вольными стрелками, то есть с разбойниками, поставленными вне закона, кроме того, женщины

эти участницы в громадной краже у немецких подданных, вследствие чего военный совет по справедливости приговорил их к смерти. Заметьте, что с точки зрения закона приговор этот совершенно лишний и вы полное имели право расстрелять женщин на месте. Вместо того вы даете разжалобить себя и соглашаетесь спасти виновных с условием, чтобы молодые девушки выказали вам некоторую признательность, ведь это сущая безделица, черт возьми! Совсем бездушные они существа, если отказываются от таких снисходительных условий!

Пока генерал говорил таким образом, Штанбоу всматривался в него внимательно, чтоб убедиться, в насмешку или искренно он излагал такую странную теорию. Он трудился напрасно и ничего не высмотрел, генерал говорил с величайшим добродушием и, по виду судя, с полным убеждением, на лице его, верно, отражались мысли, излагаемые им с таким жаром. Барон улыбнулся, он нашел в графе Дролинге того, кого искал, чтобы впоследствии, если понадобится, оправдать поступок, для названия которого нет слов.

«Гм! — думал он про себя. — Уж не прав ли был Гейне, когда писал: *Пруссак глуп, образование делает его лютым*. Этот достойный генерал, очень ученый, как я слышал, кажется, лишен всякого нравственного чувства. Какие великолепные орудия подобные люди в руках умеющих ими пользоваться, и как хорошо знает их Бисмарк!»

— Навестили вы своих пленниц, барон? — продолжал Дролинг с улыбкой.

— Да, граф, я был.

— Голову даю на отсечение, что вас прогнали как лакея и осыпали бранью.

— Вы угадали, граф.

— Так я и знал.

— Но что же делается на площади? — вдруг вскричал барон, встав со стула, чтоб подойти к окну.

— Разве там делается что-нибудь? — ответил генерал прехладнокровно, украдкой переглянувшись с своим молчаливым адъютантом.

— Как же, и нечто очень странное в придачу.

— Что же, барон, скажите, пожалуйста?

— Множество мужиков прибыло с телегами, нагруженными зеленью, живностью и всякого рода припасами.

— Э! Да ведь это вовсе не так неприятно, как мне кажется.

— Положим, граф, но это случается в первый раз, тогда как мы здесь уже неделю.

— Все должно иметь начало. Что вы находите в этом опасного?

— Ровно ничего бы не находил, если б не здесь это было, — ответил Штанбоу значительно.

— Дер тейфель! — вскричал граф, ударив себя по лбу. — Из ума вон, клянусь честью!

— А, теперь вы согласны?

— О, еще бы!

— Тотчас надо предупредить полковника. Я бегу...

— Напрасно будет, — сказал генерал, остановив его движением руки, — полковник Экенфельс в отсутствии.

— В отсутствии, Экенфельс?

— Да, он исполняет важное поручение, которое я ему дал.

— Вы, граф?

— Почему же нет, барон, когда я командую здесь?

— Вы командуете здесь?

— Так точно, — ответил генерал ледяным тоном, который буквально заставил замереть слова на сжатых губах барона.

Настала минута молчания.

Барон был поражен, мрачное предчувствие сдавило ему сердце.

Генерал не оставлял его долго под этим тяжелым впечатлением.

— Вам-то что до этого? — продолжал он с неизъяснимым простодушием. — Вместо скрытого врага, вы, напротив, имеете теперь сильного друга, вполне расположенного вам служить.

— И вы действительно были бы мне другом, граф? — недоверчиво спросил Штанбоу.

— Почему нет? Разве есть что-нибудь, за что я могу на вас сердиться?

— Нет, благодарение Богу!

— Почему же мне тогда не быть вашим другом?

— Правда, прошу извинить меня, граф, я не знаю, что говорю, точно голову потерял, прости Господи!

— Любовь — весна жизни, — затянул фальшивым басом адъютант Дролинга.

— Врангель прав, барон, — со смехом заметил генерал, — любовь вам вскружила голову, надо скорее вылечиться, единственное средство, как вам известно, это обладание предметом страсти.

— Увы! — пробормотал Штанбоу глухо. — Я сильно опасаюсь, что эта обаятельная девушка упорно будет отвергать меня.

— Дер тейфель! Если вы сами сомневаетесь в успехе, то вы погибший человек. Какие мокрые курицы теперешние молодые люди! Знаете, барон, я рассмеялся бы над вами, тысячу чертей! Если б, в сущности, все это не было так жалко! Как! С вашей железною волею, для которой не существует преград, вы, способный для вашего честолюбия идти, не смущаясь духом, в крови по колено, приходите в трепет перед двумя детьми, первый раз в жизни колеблетесь, отступаете! Это просто непонятно, дер тейфель!

— Ваше превосходительство, — вмешался Врангель самым мрачным голосом, — предоставьте барону обделывать свое дело — он мечтает о пленительной идиллии с барашками в лентах, во вкусе Флориана или госпожи Дезульер. Вы ничего в этом не смыслите, ваше превосходительство. Это прелестно, осмелюсь доложить.

— Доннерветтер! — вскричал барон, стукнув по столу кулаком с такою яростью, что заплескали бутылки, стаканы и тарелки. — Не позволю я этой девчонке безнаказанно насмеяться надо мною. Клянусь, или она будет моей, или ничьей, хотя бы мне заколоть ее пришлось собственной рукою.

— Ну вот наконец-то я вас узнаю, дер тейфель! — вскричал генерал смеясь. — Хотите вместе пойти навестить гордую красавицу?

— Пойдемте! — сказал Штанбоу глухим голосом.

— Вспышка гнева, которая погаснет от одной слезы, — про себя пробурчал адъютант, однако так громко, чтоб было слышно.

Барон подавил крик ярости.

— Увидим! — сказал он с порывом бешеного гнева.

Они вышли.

Площадь полна была народа: множество крестьян с телегами въехали в деревню разными дорогами со всех сторон и, став на площади, превратили ее в рынок, где подняли шум и гам, крича, споря и предлагая свой товар встречным и поперечным.

На открытом воздухе барон как будто немного успокоился и овладел собою — он остановился и подозрительно поглядел вокруг.

— Я не пойду, — сказал он решительно, — извините меня, господа, если я оставляю вас так внезапно, другие заботы, более важные, требуют всего моего внимания, здесь происходит что-то, чего я не понимаю, однако разведать должен. Я чую измену. Мы скоро увидимся опять.

И прежде чем два спутника его, вовсе не ожидавшие такого крутого поворота, успели опомниться от изумления, барон юркнул в толпу и был таков.

— Мы остались в дураках, — вскричал генерал, — этот человек надул нас!

— Он пронюхал, кто мы, — ответил другой, — что делать?

— Идти напролом, отступить уже нельзя.

— Да, борьба завязана, надо выдерживать ее до конца во что бы ни стало и храбро пасть, если мы будем побеждены.

— На Божью волю. А ведь началось так хорошо!

— Правда, но мы неосторожно натянули веревку, она и порвалась в наших руках. Пойдемте.

Они крепко пожали друг другу руки и вернулись в гостиницу.

Общая зала была полна народа.

Крестьянин подошел к генералу и шепнул ему на ухо несколько слов.

— Там! — ответил генерал, указывая на дом, где заключены были пленницы.

Крестьянин тотчас ушел.

Генерал сделал знак угрюмому унтер-офицеру и вышел из залы с товарищем, который преспокойно курил свою громадную трубку.

Едва они вошли в свою комнату, как унтер-офицер появился вслед за ними.

Генерал сделал было движение, чтоб затворить дверь.

— Напротив, оставьте ее настежь, — сказал унтер-офицер, — никогда не знаешь, что кроется за затворенною дверью, другое дело, если она отворена, можно остеречься: видишь, кто идет.

— Правда, — согласился генерал.

— Ну, что нового? — спросил унтер-офицер. — Дело идет как по маслу, не правда ли? Я связал мнимого

трактирщика и поместил его в погреб освежиться, этот молодец страшно сердил меня.

— Друг Оборотень, дело вовсе не идет как по маслу, — сказал адъютант.

— Ба! Что же случилось, господин Петрус? Ведь все шло отлично.

— Чересчур отлично, мы позволили себе немного лишнее, и машина испортилась.

— Да, подлец Поблеско почуял нас и ускользнул из рук как настоящая змея.

— Отчасти по вашей вине, господин Отто, он был в руках у вас, выпускать не следовало.

— Вы правы, — согласился молодой человек со вздохом, — но сделанного не вернешь.

— Ба! Еще не все потеряно, — с живостью сказал Петрус, — я не отчаиваюсь в успехе. Что Штанбоу чует измену, это очевидно, но до уверенности далеко. Не верю я, чтобы попытка такая смелая, так ловко начатое дело рушилось жалким образом.

— Будем надеяться, впрочем, всегда нам останется средство умереть с честью.

— Хорошо утешение! — засмеялся Оборотень. — Надо спасти дам.

— Увы! Теперь это трудно.

— Вот капитан Шимельман с двумястами человек выходит на площадь, — объявил Петрус.

— Ладно! Держите ухо востро, Оборотень, а нам надо приняться за наши роли.

— Я вижу Поблеско, — сказал Петрус, не отходивший от окна, — он говорит с капитаном.

— Не беспокойтесь насчет этого, любезный Петрус, я знаю Шимельмана с давних пор, это дурак, от него Поблеско ничего не добьется.

— Дай-то Бог! Капитан вводит свой отряд в дом на площади, он уходит от Поблеско, который идет вслед за отрядом, а сам направляется в эту сторону.

— Хорошо! Будем готовы принять его.

Оборотень возвратился в общую залу.

Протекло несколько минут, потом на лестнице раздались тяжелые шаги, дверь отворилась и капитан Шимельман показался на пороге.

— Войдите, капитан Шимельман, — сказал Отто с самым любезным видом.

— Ваше превосходительство изволите знать меня! — вскричал колосс, польщенный тем, что был назван по фамилии.

— Разумеется, я знаю вас, капитан, — подтвердил Отто, — ведь я и указал вас полковнику.

— Знаю, ваше превосходительство, покорнейше благодарю.

— Я хотел иметь при себе храброго воина. Что делает полковник?

— Господин полковник собрал все отряды, стал во главе их и пошел как будто на Бельфор.

— Так, так, капитан, сведения ваши верны, с этой минуты вы принимаете командование здесь в деревне. Помните, что я выбрал вас преимущественно перед всеми другими, ваше производство в ваших руках, исполните в точности мои приказания и вскоре вы будете уже не капитаном более. Поняли?

— Понял, ваше превосходительство.

— Идите, капитан.

Офицер взял руку под козырек и, повернувшись на каблуках, направился к двери.

— Стой! Направо кругом! — скомандовал генерал.

Капитан повиновался с точностью машины.

— Остерегайтесь барона фон Штанбоу, — прибавил генерал, — на него были доносы.

— Прикажете арестовать его, ваше превосходительство?

Генерал задумался.

— Нет, — сказал он спустя минуту, — только следите за ним, не надо допускать, чтобы он имел сообщение с пленницами.

— Слушаю, ваше превосходительство.

В эту минуту на площади поднялся страшный шум, мужики, по-видимому обуреваемые страхом, бегали, толкались и кричали — суматоха была неообразимая.

Когда капитан отворил дверь, чтоб выйти, громадная собака бросилась на него и схватила за горло, человек и собака грохнулись оземь.

Борьба длилась недолго. Оборотень, который входил в эту минуту, кинулся на растерявшегося капитана, всунул ему кляп в рот и связал его в одно мгновение.

— Вот и товарищи! — вскричал Петрус. — Они входят с трех сторон под команду Мишеля, Ивона и Люд-

вига, они захватили полковника Экенфельса и ведут его пленником, наши, которые вошли сюда крестьянами, схватили оружие и забирают прусских солдат, переряженных мужиками.

— А Поблеско? — спросил Отто.

— О нем ни слуху ни духу.

— Тем хуже.

— Мы найдем его.

— Быть может, поздно, — пробормотал Петрус.

— Долой немецкие мундиры, — скомандовал Отто, — пленников запереть, если сопротивляться будут, стрелять их без пощады! В десять минут чтоб в нижней зале было пятьдесят человек. Живо, Оборотень! Это последняя ставка!

— И мы выиграем, командир! Да здравствует республика!

— Да здравствует республика! — подхватили два остальных, проворно сбрасывая немецкие мундиры.

Через пять минут Петрус и Отто фон Валькфельд, с обычною уже своею наружностью, появились в общей зале, где пятьдесят вольных стрелков в крестьянской одежде, но хорошо вооруженные, встретили их с восторгом и неумолкаемыми восклицаниями: «Да здравствует республика!»

Между тем в деревне сражались повсеместно, все солдаты, которых не успели захватить, а это была большая часть, сомкнулись в плотную группу под командою пяти-шести офицеров и отбивались от вольных стрелков, со всех сторон нападавших на них с отчаянною решимостью людей, которые считают себя погибшими и пожертвовали жизнью.

— Вперед! — вскричал Отто, размахивая длинною шпагою.

— Вперед! — повторили вольные стрелки.

И вслед за ним они ринулись очертя голову в самую свалку.

Дамы в своей темнице выносили пытку, которой не передать словами: они видели и слышали все, что происходило на площади, и попеременно переходили от надежды к отчаянию, смотря по обороту, который принимала борьба.

Вдруг отворилась дверь их комнаты и на пороге остановился человек.

Это был барон фон Штанбоу.

За ним несколько солдат стояли мрачно и неподвижно.

Дамы отвернулись с чувством ужаса и вместе отвращения.

— Час прошел, — сказал барон ледяным тоном, — я пришел за ответом.

— Смерть скорее, чем позор, — гордо сказала госпожа Гартман, — убейте меня, презренный человек!

— И дочь ваша того же мнения? — спросил барон с злою усмешкою.

— Подлец! Подлец! — вскричала Лания и залилась слезами, бросившись на шею к матери, которую долго и крепко обнимала.

— Разлучить этих женщин! — вскричал барон в бешенстве.

Солдаты подошли.

Госпожа Гартман запечатлела долгий поцелуй на бледном лбу дочери и, опустив руки, которыми обвивала ее, сделала шаг вперед и гордо сказала солдатам:

— Пойдемте.

— Пойдемте, — повторила и госпожа Вальтер, смело становясь возле нее.

Молодые девушки, точно смертельно пораженные, опустились на пол и оцепенели.

— Вперед! — громко крикнул барон.

При звуке этого ненавистного голоса они содрогнулись всем телом, встали, грозные, и, высоко подняв голову, в порыве возвышенного самоотвержения бросились вперед заслонить собою матерей и вскричали с твердостью:

— Нам следует умереть!

Солдаты замялись, даже эти грубые натуры, сохранившие, быть может, какое-нибудь человеческое чувство, испытывали жалость к прекрасным созданиям, которые, бледные и с распущенными волосами, молили о смерти вместо матерей.

— Ну же, кончать скорее! — грубо крикнул Штанбоу, поняв, что месть уйдет от него, если медлить долее.

Солдаты подались вперед.

— Колите их штыками, когда они не отходят! — крикнул он.

Вдруг в нижних этажах дома поднялся страшный гвалт, крики и угрозы попеременно с выстрелами и стонами.

— Скорей! Скорей! Идут! — крикнул барон солдатам, которые было попятились, поняв, быть может, наконец, к какому ужасному преступлению их побуждали.

— А! Так-то! — вскричал Штанбоу в безумной ярости. — Хорошо же, я сдержу свою клятву, она не будет принадлежать никому!

И, выхватив из кармана револьвер, он прицелился в Ланию.

Раздался выстрел.

Молодая девушка, ухватившись за платье матери, не хотела расставаться с нею, смерть ее была неминуема, одно чудо могло спасти ее.

Госпожа Вальтер, у ног которой Шарлотта лежала без чувств, сломленная страданием, наклонилась к дочери и поцеловала ее в лоб, прошептав одно слово:

— Прощай!

Потом движением быстрее мысли она откинулась назад и храбро телом своим заслонила группу из матери и дочери, которые крепко обнялись и спасены были ее геройским самопожертвованием.

Пуля поразила госпожу Вальтер прямо в грудь, и она упала, не испустив даже стона, с светлою улыбкой на губах.

Ее не стало.

Барон взревел как дикий зверь.

— О! Я убью ее! — крикнул он, скрежеща зубами.

Он не имел времени исполнить свой гнусный замысел.

Послышались торопливые шаги, бежало несколько человек, но женщина, в безумном горе, мчалась впереди всех, не зная преград, она кинулась к барону.

— Спасайтесь, спасайтесь! — вскричала она прерывающимся голосом, — спасайтесь, иначе вы погибли! Они идут, вот они, спасайтесь, если не для меня, то для нашего сына, для нашего ребенка, которого смерть ваша оставит сиротою!

Барон оттолкнул ее так грубо, что бедная женщина упала наземь в нескольких шагах от него.

Она приподнялась на колени и, сложив руки, воскликнула с глубокою скорбью:

— Ради Бога, спасайтесь, Фридрих, я умоляю вас!

Дико блуждали глаза барона, волосы его становились дыбом над бледным лбом, беловатая пена сочилась из крепко сжатых губ, казалось, им овладело неистовое бе-

шенство. Вдруг взор его опустился на бедную женщину, все еще умоляющую.

— А! Это ты, Анна Сиверс! — вскричал он с ужасным скрежетом зубов. — Это ты, демон! Всегда ты, везде ты! Ты мое преступление, ты укор совести, пусть же будет так, пусть ад поглотит нас вместе!

Он выхватил револьвер.

Но в то же мгновение поднялась страшная суматоха.

Благодаря Тому, этой умной собаке контрабандиста, вольные стрелки открыли брешь, ворвались и летели на помощь к пленницам, все опрокидывая на своем пути.

Том внезапно кинулся на Поблеско, схватил его за горло и повалил.

Пуля попала в стену, револьвер выпал из руки Поблеско, и Отто вонзил ему шпагу в грудь.

Шпион страшно вскрикнул и остался недвижим.

Однако ожесточенная борьба завязалась между французами и немцами, последние, мало-помалу оттесненные, приняты были в штыки и вынуждены бежать из дома.

— Эхе! — сказал Оборотень, увидав тело Поблеско, от которого Том не отходил, упорно карауля его. — Этому молодцу досталось не на шутку, однако он, пожалуй, опять очнется. Примем осторожность!

И, взяв тело своими мощными руками, он просунул его в окно и вышвырнул на площадь.

Немцы, окруженные со всех сторон, должны были оставить деревню и отступить окончательно.

Ивон и Мишель усердно суетились вокруг молодых девушек.

Господин Гартман с женою плакали над холодеющим телом госпожи Вальтер, на губах которой еще была последняя светлая улыбка.

.....

Прошло полтора года.

Отто фон Валькфельд, или, вернее сказать, граф де Панкалё, тотчас после своего брака с Анною Сиверс решившийся продать свои поместья в Баварии и переселиться с прелестною женою во Францию, прибыл за несколько дней назад в Мюнхен, в окрестностях которого находились все его имения. Графиня жила у отца и ма-

тери, встретивших со слезами радости и распростертыми объятиями возвращение в родительский дом обожаемой дочери.

Однажды граф, которого все дела были кончены, желая перед отъездом во Францию проститься с старыми друзьями, отправился в дворянское собрание, где его встретили с горячими изъявлениями дружбы.

Он не был еще получаса в собрании, когда, к великому своему изумлению, увидел барона фон Штанбоу, который входил, высоко подняв голову, с улыбкой на губах и надменным видом.

— Проклятие, — пробормотал граф про себя, — этот подлец жив еще! Правду говорил Оборотень, что он, пожалуй, очнется. Посмотрим, однако, отделается ли он так счастливо теперь?

Он рванулся, чтоб встать и подойти к барону.

— Оставьте, граф, это мое дело, — с улыбкой остановил его председатель собрания, с которым он разговаривал.

И, приблизившись к Штанбоу, он сухо и даже не поклонившись сказал ему:

— Мы очень изумлены, барон, вашим появлением в нашем кругу.

Все члены собрания встали молча за председателем.

— Что это значит, милостивый государь? — спросил барон высокомерно.

— Разве вам не передали вашего исключения, скрепленного подписями всех членов? — холодно возразил председатель.

— Именно по поводу этого оскорбительного исключения я и пришел требовать объяснения.

— На это отвечать надо мне, — вмешался один из присутствующих, выходя вперед, — и — доннерветтер! — объяснение будет коротко и ясно.

— Того-то я и желаю, генерал.

Генерал, это новое действующее лицо, из главных начальников баварского войска, улыбнулся насмешливо.

— Будьте же довольны, — продолжал он грубо, — вы изгоняетесь из дворянского собрания, потому что членами его могут быть только люди с честью.

Штанбоу позеленел.

— Генерал! — вскричал он задыхаясь. — Подобное оскорбление не останется безнаказанно, клянусь!..

— Не клянитесь, сударь, никто не выйдет с вами на бой, — холодно перебил его генерал, — наши шпаги слишком чисты, чтобы скрестить их с вашей.

— К тому же, — прибавил председатель, — по возвращении домой вы найдете приказ короля, которым изгоняетесь из Баварии, и конвой, которому велено выпроводить вас за границу.

— Что это значит?.. — вскричал Штанбоу вне себя.

— Значит то, — продолжал генерал ледяным тоном, — что мы храбрые солдаты и люди с честью, что, вынужденные высшими соображениями политики быть заодно с Пруссией во время войны, мы хотя и поневоле пользовались доносами подкупленных шпионов, однако тем не менее смотрели на них как на презренных подлецов и слагаем всю гнусность их действий на одно правительство, которое содержало их с макиавеллизмом, противным всякому нравственному чувству. Вон отсюда, шпион и убийца! Не ваше место в кругу благородных людей!

— О, — воскликнул Штанбоу в припадке ярости, — мне, мне выносить такой позор, такие оскорбления! Разве никто не сжалится надо мною!

— Никто, вон отсюда, если не хотите, чтоб вас вышвырнули лакеи!

— О! — вскричал барон, бросаясь к графу де Панкалё, которого вдруг узнал, — вы, по крайней мере, вы, француз и враг мой, вы не откажетесь скрестить со мною шпагу!

Граф покачал головой с грустным достоинством.

— Вы ошибаетесь, — сухо возразил он, — во время войны я пытался не раз раздавить вас под каблуком, как ядовитую гадину, теперь между нами нет уже ничего общего. Я буду обещен навсегда, если коснусь вас одним пальцем.

Вскрикнув как дикий зверь, загнанный охотниками, Штанбоу бросился вон из комнаты.

Подходя к своему дому, он увидел солдат у дверей. Он вошел и поднялся к себе наверх, там ждал его офицер и подал ему приказ об изгнании.

— Хорошо, — холодно ответил барон, — я прошу у вас пять минут.

Офицер поклонился молча.

Штанбоу прошел в следующую комнату.

Почти мгновенно стекла задребезжали от выстрела. Сбежались со всех сторон.

Взломали дверь: барон фон Штанбоу лежал на полу с раздробленным черепом.

Шпион сам осудил себя.

Спустя два дня граф с своею женой, от которой скрыл это ужасное происшествие, выехал из Баварии, чтоб вернуться во Францию и примкнуть к семейству Гартман.

Ивон Кердрель и друг его Мишель уже женаты, оба приезжают проводить все свободное от военной службы время в доме Филиппа Гартмана, поселившегося в Фонтенбло, где он основал новую фабрику и взял всех прежних своих работников.

Оборотень счастлив: ему поручен надзор над большими владениями графа де Панкалё, и он день и ночь рыскает по лесам с своим неразлучным Томом.

Его умный и ловкий мальчуган воспитывается с сыном графини, которая сдержала данное ему слово.

Петрус удачно защитил свою диссертацию. Он отправился в Алжир с первыми эльзассскими эмигрантами.

СОДЕРЖАНИЕ

ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШЕЛЯ ГАРТМАНА

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Черная собака

ГЛАВА I	
Поблеско появляется вновь	7
ГЛАВА II	
Бурное объяснение	23
ГЛАВА III	
По горам и по долам	35
ГЛАВА IV	
Анабаптисты	49
ГЛАВА V	
Площадка Конопляник	64
ГЛАВА VI	
Розги	78
ГЛАВА VII	
Здесь Мишель делается партизаном	91
ГЛАВА VIII	
Красивый тип трактирщика в горах	106
ГЛАВА IX	
Нападение на транспорт	121
ГЛАВА X	
После битвы	137

ГЛАВА XI	
Тут читатель встречается два лица, которые давно потеряны им из виду, и узнает новости о многих других	157
ГЛАВА XII	
Жейер попадает из огня да в полымя	174
ГЛАВА XIII	
Мишель Гартман имеет полное основание предполагать, что кончил с успехом два важных дела	191
ГЛАВА XIV	
Как Мишель Гартман достиг Дуба Высокого Барона	207
ГЛАВА XV	
Предчувствие	224
ГЛАВА XVI	
Как Оборотень сыграл с пруссаками шутку-другую	242
ГЛАВА XVII	
Продолжение предыдущей	258
ГЛАВА XVIII	
Дядя Звон обрисовывается	275
ГЛАВА XIX	
Путешествие непродолжительное, но с сильными ощущениями	291
ГЛАВА XX	
Военный совет	306
ГЛАВА XXI	
Во время отступления	324
ГЛАВА XXII	
Здесь Мишель остается один при своем мнении . . .	342

ГЛАВА XXIII	
Готовятся важные события	360
ГЛАВА XXIV	
Брошенная деревня	380
ГЛАВА XXV	
Коварная, как волна	400
ГЛАВА XXVI	
Мальчуган и Лилия	421
ГЛАВА XXVII	
Сыроварня в Вогезах	441
ГЛАВА XXVIII	
Как Жейер встретил Паризьена и что из этого вышло	463
ГЛАВА XXIX	
В Севене	482
ГЛАВА XXX	
Здесь вольные стрелки торжествуют окончательно	502

Г. Эмар

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

Том 22

Редактор *И. Шургина*
Художественный редактор *И. Лопатина*
Технический редактор *Н. Привезенцева*
Корректоры *В. Антонова, М. Александрова,*
В. Рейбекель

ЛР № 030129 от 02.10.91 г.
Подписано в печать 01.06.95. Уч.-изд. л. 30,5.

Издательский центр «ТЕРРА». 109280,
Москва, Автозаводская, 10, а/я 73.

Оригинал-макет и диапозитивы подготовлены
ТОО «Макет».
141700, Московская обл., г. Долгопрудный,
ул. Первомайская, 21.



